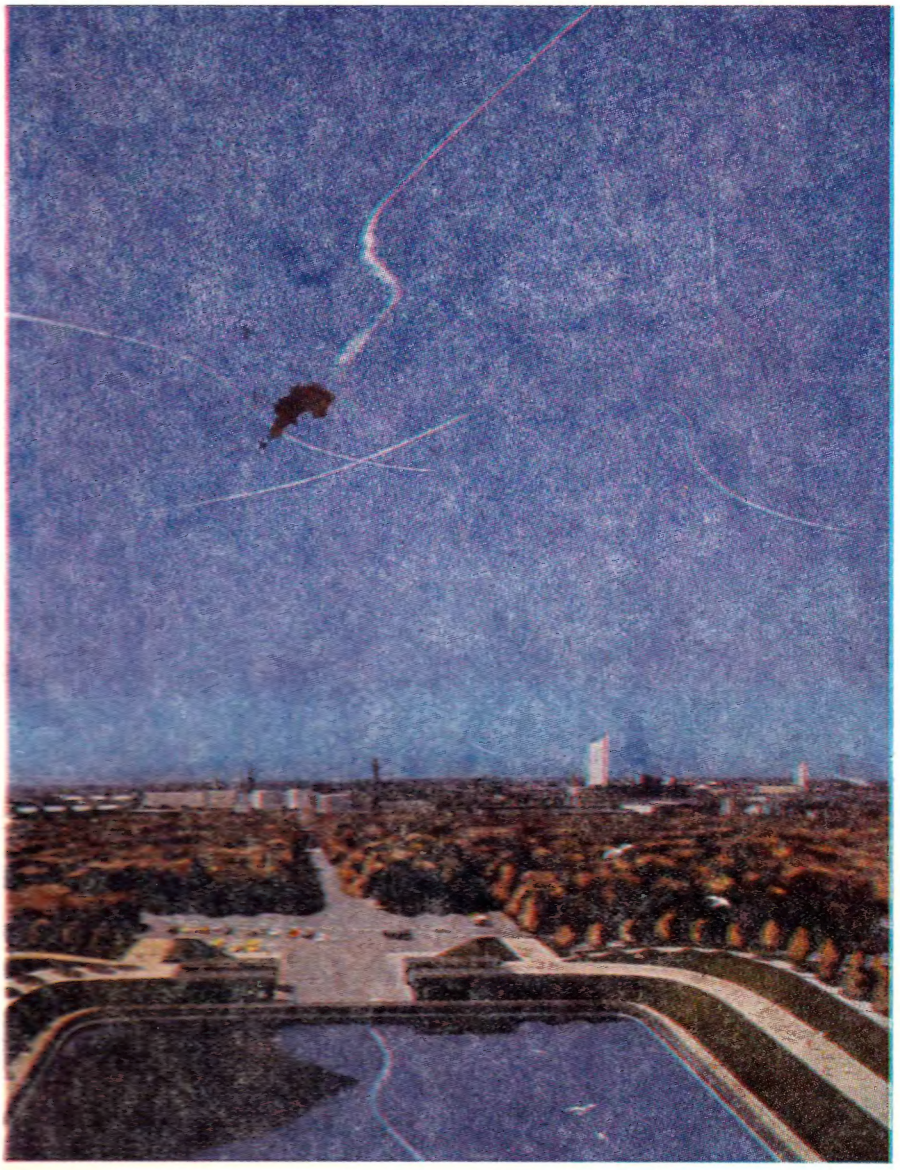
ISSN 0130–6545

10. 1989

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Лейпциг.

Цветные иллюстрации номера — работы Вольфганга Матойера

На 1-й и 4-й страницах обложки —
Сизиф со своей командой.
Горящая гитара.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

**Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»**

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (ГДР)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (ФРГ)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
А. М. ЗВЕРЕВ
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. В. ЛАНИНА
Т. Л МОТЫЛЕВА
В. Ф. ОГНЕВ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
В. С. ПЕРЕХВАТОВ
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного редактора

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

10 октябрь 1989

СОДЕРЖАНИЕ

ДЖОН ФАУЛЗ — Дэниэл Мартин *(Роман. Перевод с английского Ю. Здоровова)* 5

ИРЕНЕУШ ИРЕДЫНЬСКИЙ — Террористы *(Пьеса в трех действиях. Перевод с польского В. Климовского)* 89

Из классики XX века

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Улисс *(Роман. Продолжение. Перевод с английского В. Хинкиса и С. Хоружего)* 121

Е. Гениева — Комментарии 160

Литературное наследие

СЮЭ ТАО — Стихи *(Перевод с китайского и вступление Михаила Басманова)* 164

Публицистика

ИНГМАР БЕРГМАН — Laterna Magica *(Продолжение. Перевод со шведского А. А. Афиногеновой)* 172

Критика

А. ЗВЕРЕВ — Кёстлер и тьма — прикосновенье к истокам 208

Литературный мир об «Улиссе»

Карл Юнг, Ван Вик Брукс, Торнтон Уайлдер, Владимир Набоков *(Составление Екатерины Гениевой. Перевод с английского И. Дорониной)* 218

Читальный зал

Книги, о которых говорят

Маятник Фуко — маятник Эко... *(Вступление, составление и перевод с итальянского Е. Костюкович)* 222

Резонанс

ДЖОРДЖ УОЛДЕН — Мирное созабытье, или Иной способ кануть в Лету 226

АНДРЕЙ НУЙКИН — Того ли надо бояться, г-н Уолден? *(Реплика публициста)* 230

Почта «ИЛ» 235

Курьер «ИЛ» 250

Авторы этого номера 256

© «Иностранная литература», 1989

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.**
Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая., д. 41, телефон 233-51-47.

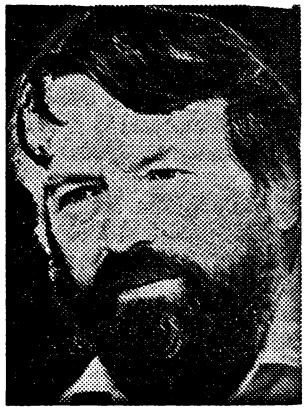
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 8.08.89. Подписано в печать 11.10.89. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая, бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,93.

Тираж 420 000 экз. (1-й завод: 1 — 350 000 экз.). Зак. 3047.

Ордена Трудового Красного Знамени типография
«Известий Советов народных депутатов СССР» имени
И. И. Скворцова-Степанова, 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.



ДЖОН ФАУЛЗ

Дэниэл Мартин

РОМАН

Перевод с английского Ю. ЗДОРОВОВА

Кризис — это когда старое умирает, а новое еще не способно родиться; тут-то и появляется множество самых разных болезненных симптомов.

Антонио Грамши.
«Тюремные тетради»

Жатва

Что стряслось с ним?
изо дня в день с утра до ночи
он сидит, уставясь в огонь,
а сегодня при встрече на лестнице
он вдруг сказал мне:
плоть утолится волна испарится душа эфемерна
ветер забывчив всегда забывчив ныне и присно
и лишь огонь неизменен.
А еще он сказал: я люблю женщину,
но она ушла от меня куда-то,
быть может, в нети, и все же
не думай, что я одинок.
Я пробую жить огнем,
ибо огонь неизменен.
И тут он мне поведал историю своей жизни.

Георгос Сеферис.
«Стратис Мореход описывает человека»[1]

Нужен цельный взгляд, чтобы не впасть в отчаяние. От леса, некогда росшего на этих холмах, осталась только буковая рощица на восточном склоне, слишком крутом и каменистом для плуга. Поле начиналось у самого леска и мягко спускалось на запад к открытым воротам, выходящим на Фишэйкрскую дорогу. У живой изгороди рядом с воротами лежали темные плащи, прикрывавшие кувшин с сидром, и сверток с едой, да две косы, которыми рано утром сделали прокосы по краям пока еще росистого поля. А сейчас валки занимали уже половину пшеничного поля. С высокого сиденья когда-то ярко-красной, но теперь поблекшей жатки Льюис среди светлых стеблей высматривал камни: рука его лежала на рычаге, в любой миг готовая поднять ножи жатки. Капитана понукать было не надо: за много лет старый мерин привык ходить по свежему жнивью вдоль стены стоящих колосьев. Льюису приходилось дружелюбно покрикивать на него только на

© by J. R. Fowles Limited

[1] Здесь и далее перевод стихов Б. Хлебникова.

поворотах. Салли, кобыла помоложе, тянувшая с Капитаном жатку на крутых склонах, сейчас паслась на привязи неподалеку от ворот и, помахивая хвостом, объедала кусты боярышника.

По стеблям пшеницы взбираются вьюнки; среди колосьев виднеются красные маки и уже опушившиеся кусты чертополоха; а пониже — маленькие полевые фиалки, или анютины глазки, голубая вероника и багряный сочный цвет.

Кроме Льюиса с жаткой в поле еще четыре человека. Багровощекий мистер Ласком с кривой ухмылкой и косящим глазом за стеклами металлических очков, на нем залатанная куртка в мелкую серую полоску с обтрепанными рукавами и брюки из рубчатого плиса с матерчатыми клинышками для подтяжек, но подпоясанные широким кожаным ремнем. Билл, его младший сын, девятнадцатилетний здоровяк в кепке, сантиметров на двадцать выше любого на поле, руки его что свиные окорока, парень он медлительный и неуклюжий во всем, кроме работы... видели бы вы его за косьбой: коса в его руках словно игрушка, мощный мах, ровный ритм — мастерство подлинное и величественное. Старый Сэм одет в бриджи с подтяжками, ботинки и гетры — лицо уже забылось, а хромоту помню; на нем еще рубашка без ворота и соломенная шляпа, тулья которой сбилась набок («неужто не видно, что так хоть чуточку голову продувает?»); за черную ленту заткнут букетик увядших анютиных глазок. И наконец, нанятый на время уборки подросток лет пятнадцати в совершенно не пригодной для работы одежде: полотняных брюках, желто-зеленой тенниске и старых парусиновых туфлях.

Они работают парами в разных концах поля; ставят снопы в бабки, одни идут по солнцу, другие — против солнца.

Цепляешь сноп правой рукой чуть выше шпагата, но ни в коем случае не за сам шпагат и идешь к следующему снопу, который подбираешь точно так же, только левой рукой, затем подходишь к ближайшей неполной бабке (бабка — это четыре пары снопов и еще по одному — «чтоб дверь закрыть» — с каждого бока) и рядом с другими снопами втыкаешь корнями в стерню свои два, одновременно прижимая их колосьями друг к другу. Самая простая работа в мире — так, наверное, думает Квини, которая по пути из приходской церкви остановила свой велосипед и из чистого любопытства смотрит через открытые ворота на работающих. Парнишка машет ей рукой с дальнего конца поля, она машет ему в ответ. Когда через минуту он снова поднимает голову, она все еще стоит в своем желто-коричневом платье и бежевой летней шляпе с белой шелковой лентой и искусственной розой; заднее колесо тяжелого старого велосипеда затянуто сеткой.

Подросток ставит первые два снопа новой бабки. Но они тут же валятся набок. Он успевает подхватить их и начинает все заново. Неподалеку от него у старого мистера Ласкома первая пара снопов застывает как вкопанная. У него они никогда не падают. Мистер Ласком криво ухмыляется, обнажая гнилые зубы, и подмигивает косым глазом; в стеклах его очков играют солнечные зайчики. Взгляд выхватывает его бронзово-красные руки и старые коричневые башмаки. Подросток корчит гримасу, но берет свои снопы и ставит их рядом с первой парой старого фермера. Руки уже саднит, пальцы ломит. Когда приходится нести снопы на приличное расстояние, он рывком подкидывает их повыше и, прижимая к себе, царапает кожу колючками чертополоха. Но боль даже приятна — она часть обряда, так же как мгновенный провал в глубокий сон вечером после работы и одеревеневшие мышцы на следующее утро.

Хрустит стерня под ногами, шуршат снопы. Тарахтит жатка, стрекочут ножи косилки, медленно вращаются крылья ветряка. В углу поля слышен голос Льюиса: «Хоп, хоп, Капитан, левее, левее, левее, хоп, хоп». Потом протяжный звук «н-н-н-о-о-о», лязг цепи и снова

тарахтенье и стрекотанье. Пух чертополоха медленно плывет над полем к югу, с теплым воздухом поднимаясь новыми звездами в небо.

Так пройдет весь день — под ярко-голубым небом они будут ставить пшеницу в бабки. Время от времени старый Ласком будет выдергивать колосок из снопа и растирать его тяжелыми ладонями; потом сложит ладони лодочкой и сдует шелуху; вглядится в зерна, возьмет одно, надкусит и, ощутив в сердцевине вкус земли и праха, выплюнет; остальные зерна он бережно положит в карман брюк, чтобы вечером скормить курам. Раза три-четыре за день жатка неожиданно заглохнет. Дружно подняв головы, они будут смотреть, как Льюис слезает со своего высокого железного дырчатого сиденья — снова забило вязалку: за жаткой тянется полоска несвязанной пшеницы, ящик с инструментами открыт. Загорелый Льюис, механик семейной фермы, застенчив и хмур, он много мельче своего младшего брата. Та пара, что поближе, подойдет к жатке (каждый возьмет рассыпанные стебли в охапку, зажмет их под мышкой, потом выдернет три стебелька, скрутит из них обвязку — одно ловкое движение, и сноп готов; оставив Льюиса копаться с вязалкой, они вернутся к своей работе. Молча, не глядя друг на друга, с хрустом приминая стерню.

В час пополудни мистер Ласком вытащит свои карманные часы, громко крикнет на все поле и начнет сворачивать сигарету. Истекая потом, они медленно побредут к воротам и встанут в кружок около плащей; последним придет Льюис, которому сперва надо выпрячь Капитана и привязать его в тени рядом с Салли. Сначала открывают бидон с сидром. Первым из алюминиевой кружки пьет подросток. Билл поднимает пятилитровый бидон и льет сидр струйкой прямо в рот. Старый Сэм ухмыляется. Подросток чувствует, как кисловатая зеленая жидкость течет по пищеводу; прошлогодний сидр прекрасен, как пшеничный дух и тень сада в жаркий день. Льюис потягивает холодный чай из жестяной банки с проволочной ручкой.

Общий план из-за несжатого клина: пятеро человек идут вдоль изгороди к тенистому ясеню. Старый Сэм отстал, ему надо помочиться. Все рассаживаются под деревом; из белого кухонного полотенца с голубыми полосками вынимают большие круглые хлебы с поджаренной до черноты корочкой; появляется желтое масло, крупные куски ветчины, миска с розовым мясом и белым салом; хлеб режут толстыми, в два пальца, ломтями. Желтое масло переливается перламутровыми каплями сыворотки — каждый кусок равен недельному пайку.

— Ма сказала, надо все съесть,— говорит Билл.

После обеда они беседуют, попивая сидр и заедая его яблоками. Льюис курит сигарету и смотрит на залитую солнцем жатку. Слегка опьяневший подросток лежит на колючей стерне и купается в зеленом море родных девонширских голосов — это его Девон и его Англия; голоса обсуждают, что где посеять в будущем году. Язык их настолько здешний, так фонетически уплотнен в невнятной скороговорке, что в сознании подростка он сейчас, да и в будущем тоже, неотделим от удивительных пейзажей этих мест, от их долин и усадеб, канав и изгородей. Подросток стыдится чрезмерной правильности своей речи.

Затем издалека, с расстояния в восемь — десять километров, перекрывая голоса говорящих, доносится вой сирены.

— Кажется, в Торки,— говорит Билл.

Подросток садится, всматриваясь в небо на юге. Все молчат. Вой замирает. В буковой роще за полем сипло кричит фазан-петух. Билл резко поднимает палец; палец еще не успевает завершить дугу, когда вдалеке раздается взрыв. Потом другой. Затем следуют еле слышные басовые раскаты пушечного выстрела. Три секунды тишины — и еще один выстрел. И снова фазаний крик.

— Поймали гада,— говорит мистер Ласком.

— Да, самолет немецкий,— соглашается Билл.

Они выходят из-под ясеня, всматриваясь в горизонт на юге. Но голубое небо пусто, чисто и спокойно. Прикрывая глаза ладонью, они высматривают точку, вспышку, дымный хвост — ничего не видно. Но вот послышался рев мотора, сначала слабо, потом громче, ближе и вдруг совсем рядом. Пятеро мужчин предусмотрительно возвращаются в тень ясеня. Длинную лощину заполняет грохот адской машины, обезумевшей от злобного страха. Начитанный подросток понимает, что так надвигается смерть.

Несколько душераздирающих мгновений самолет летит над ними, над верхним краем долины, на высоте всего метров семидесяти — черно-зеленый, только низ фюзеляжа голубой, да на крыльях белые кресты; при виде длинного громадного двухмоторного «хейнкеля», реального, как сама война, люди цепенеют от ужаса, голуби в испуге взлетают с дерева, Салли встает на дыбы, Капитан с диким ржанием срывается с привязи, пускается в галоп, потом переходит на крупную рысь. Но гигантский овод уже улетел, волоча за собой свой звериный рев. Мистер Ласком бежит тяжело, совсем как его старый мерин, и кричит: «Тпру-у-у, Капитан. Стой, малыш, стой». Билл догоняет отца. Мерин, весь дрожа, останавливается у края нескошенной пшеницы. Снова ржет.

Подросток поворачивается к Льюису:

— Я видел пилота!

— Нашего или ихнего? — спрашивает Старина Сэм.

Подросток кричит ему на ухо:

— Немец! Немец был!

Льюис поднимает палец. Слышно, как где-то на севере «хейнкель» ложится на западный курс.

— В Дартмут полетел,— говорит Льюис тихо. — По-над рекой.

Скорость, мощь и бесчеловечность чудовищной машины выбили его из колеи; работаешь до седьмого пота на дрянных лошадях, которых не реквизировали для армии только из-за фермы... разве выстоят мягкие кельты против железных римлян? В центре поля отец поглаживает Капитана и осторожно ведет его обратно к жатке. Билл смотрит на трех человек у изгороди; затем, изобразив выстрел из пистолета вслед «хейнкелю», показывает на холм, в который самолет должен был бы врезаться. Даже у Льюиса появляется сдержанная улыбка.

Возвращаясь на поле, они настороженно прислушиваются, но отзвуков войны более не слышно: ни захлебывающегося уханья самолетной пушки, ни взрывов около Тотнеса или Дартмута, ни рева «харрикейнов», преследующих врага. Только когда Льюис, возобновляя работу, легонько стегает вожжой Капитана, а остальные нагибаются за первыми снопами, в небесной лазури раздается хриплое карканье. Подросток поднимает голову. Высоко в небе, кувыркаясь и наскакивая друг на друга, летят на запад четыре черные точки. Два ворона с молодыми птенцами; извечный сонный голос неба, издевающегося над человеком.

Тайное: каким образом фазан услышал взрыв раньше людей? Кто послал воронов в этот полет?

Хлеб наш насущный: снопы и бабки; день клонится к вечеру, легкая тень от ясеня крадется по стерне.

Жатка неумолимо съедает пшеничный клин. Из нескошенной полосы выбегает кролик. Льюис кричит. Кролик обегает еще не убранные снопы, перепрыгивает, словно заяц, через один из них и прячется в бабке. Билл, который ближе других, хватает камень и ползет к бабке. Но кролик, помахивая белым хвостиком, снова мчится по полю, брошенный камень шмякнулся на землю, не задев его.

После трех пополудни на поле дружно появляются новые люди — будто они прятались где-то неподалеку и точно знали, когда прийти. Два-три старика, тучная молодая женщина с коляской, высокий цыган с борзой собакой, словно приклеенной к нему,— этот мрачный длиннолицый человек по прозвищу Простак был сущим кошмаром для местного констебля и, если верить слухам, гнал яблочный самогон в Торнкумском лесу. Из школы в деревушку Фишэйкр возвращаются дети, их семь или восемь: пятеро мальчишек, две девчонки и один парнишка постарше. Пасть открытых ворот заглатывает всех проходящих мимо. Квини и старая миссис Хелльер, как и многие другие взрослые и дети, оказались здесь, видимо, не случайно. Появляется миссис Ласком — чернобровая, небольшого росточка женщина, в руках у нее корзинка с провизией. Рядом с ней строгая дама с добрым лицом и несообразной прической «под мальчишку», одетая в серо-белое платье, старомодное даже по тем временам,— это тетя подбирающего снопы подростка. А люди все идут и идут.

Длина оставшегося клина — метров пятьдесят, а ширина такова, что он будет скошен всего за пять-шесть прогонов. На повороте Льюис кричит стоящим неподалеку мужчинам: «Тут их видимо-невидимо!»

Все становятся вокруг нескошенной полосы: и подбиральщики снопов, и дети, и старики, и Простак с борзой; эта нервная, настороженная темно-каштановая собака с покорным многострадальным взглядом ни на шаг не отстает от своего хозяина. Тучная молодая женщина с опухшими лодыжками оставляет коляску у ворот и несет ребенка на руках. Кто вооружился палкой, кто — камнем. Кольцо возбужденных лиц, внимающих каждому шороху в прямоугольнике нескошенной пшеницы, сжимается: старшие, более опытные и внимательные, выкрикивают команды: «Не суетись, малыш, не лезь вперед». В центре прямоугольника шевелятся колосья, время от времени всколыхнется полоска, будто водная гладь, потревоженная форелью. На склоне холма, за дорогой, серовато-бурая самка фазана разражается суетливым квохтаньем. Все смеются. Маленькая девочка взвизгивает. С короткой стороны клина выскакивает крольчонок, ошеломленно застывает и вновь пускается наутек. Подросток с улыбкой наблюдает, как орава детей, спотыкаясь и падая, бежит за маленьким зверьком, а тот петляет, замедляет и ускоряет бег и, наконец, снова скрывается в пшенице.

— Не топчи, паршивец, пшеницу, — кричит мистер Ласком самому прыткому мальчишке. — Черт окаянный.

На другой стороне поля Льюис громко свистит и машет рукой. Теперь выбегает крупный кролик и несется к изгороди с той стороны, у которой стоит цыган с собакой. Уворачиваясь от палок и камней, огибая лежащие снопы, кролик проскакивает сквозь человеческое кольцо. Цыган издает тонкий, протяжный свист. Собака срывается с места и стремительно летит над полем. В последний миг, вильнув в сторону, кролик увертывается от ее острых зубов. Борзая проскакивает мимо, разворачивается, поднимая когтями красноватое облачко пыли. Все следят за погоней. Даже Льюис остановил лошадь. Во второй раз собака не промахивается. Она впивается кролику в загривок и свирепо трясет его. Цыган снова свистит, и борзая, опустив длинную морду, быстро бежит к хозяину; в ее зубах бьется пойманный зверек. Цыган поднимает кролика за задние лапы и резко бьет его по шее. Здесь каждый знает, как Простак приобрел борзую и свое прозвище. В деревне шутят, что однажды вечером дьявол пришел в Торнкумский лес и в благодарность за то, что цыган опоил американских солдат дрянным самогоном, подарил ему борзую. Но теперь, наблюдая за цыганом и собакой, люди понимают, что дело не в кроликах: в любую лунную ночь цыган без особых

трудов может наловить их в окрестных полях сколько душе угодно. Он пришел сюда ради древнего промысла, дабы напомнить о временах, когда люди еще были охотниками, и оказать честь полю земледельца.

Льюис трогает жатку с места. Теперь кролики, и большие и маленькие, выскакивают через каждые несколько метров: одни — обезумев от ужаса, другие — с холодной решительностью. Старики бросаются на белые комочки, бьют их палками, спотыкаются, падают; дети ведут себя точно так же. Гогот, визг, ругань, победные возгласы; безжалостная борзая молча носится, вертится, щелкает зубами. Последний прокос. У невидимых ножей жатки раздается пронзительный крик — так кричат от боли младенцы. Не останавливаясь, Льюис показывает за спину. По стерне ползет кролик с искромсанными задними лапками. Подросток подбегает и поднимает его: вместо задних лап торчат кровавые обрубки. Из меха под хвостиком вываливаются зеленые катышки. Кролик конвульсивно дергается и снова кричит. Подросток бьет кролика раз, другой, третий; потом поворачивается и швыряет тушку в кучу. Остекленевшие глаза, застывшие усики, мягкие уши, белоснежные хвостики. Он подходит ближе и внимательно разглядывает — там уже никак не меньше двадцати кроликов. И в сердце его рождается недоброе предчувствие того далекого дня, когда в пустынном поле он будет все это оплакивать.

Подняв голову, он замечает свою тетю и миссис Ласком — единственных, кто не принимает участия в бойне. Они беседуют, стоя у скатерти, которую расстелили на стерне под ясенем. Неподалеку вьется голубой дымок; над костром на камнях стоит старый чайник. Последний, самый терпеливый кролик проскакивает между ног подслеповатого Старины Сэма и убегает от припустивших за ним мальчишек. Борзая, пытаясь продраться сквозь эту ораву, падает, теряет кролика из виду; потом, жалобно взвизгнув, растерянно оглядывается — вокруг толпа орущих, размахивающих руками, чего-то требующих двуногих существ, наконец, она замечает мелькающий хвостик и возобновляет погоню. Но кролик добирается до изгороди первым. Цыган свистит. Собака, понурив голову, трусит назад.

Начинается дележ добычи. Старый мистер Ласком немного смущен — роль Соломона ему непривычна. Один — этому, другой — тому, маленький — ребенку, большой — Простаку, крупный — Старине Сэму. Шесть тушек подростку, подбиравшему снопы.

— Отнеси их к ясеню, Дэнни.

И Дэнни, который хочет, чтобы его звали Дэном, зажав в каждой руке по три пары задних лапок — сущий Нимрод [1], — идет по полю туда, где готовятся к чаепитию.

Коренастая миссис Ласком с бровями-запятыми, уперев руки в бока, стоит у костра и с улыбкой смотрит на него.

— Неужели это все ты поймал, Дэнни?

— Я поймал только двух. Да и то один не считается. Он в косилку попал.

— Бедняжка, — говорит его тетка.

Миссис Ласком выражает свое недовольство вежливо, но твердо:

— Если бы ваш сад не был защищен каменным забором, дорогая, вы бы о них не лили слез.

Тетя по-матерински улыбается подростку, пока миссис Ласком берет у него из рук кроликов, на глазок оценивает их вес, ощупывает, одобрительно хмыкает и, наконец, отбирает пару крупных тушек.

— Это тебе на ужин, Дэнни.

---

[1] Персонаж ветхозаветной мифологии, богатырь и охотник. *(Здесь и далее прим. перев.)*

— Да что вы, — говорю я. — Это все мне?! Громадное спасибо, миссис Ласком.

— Не слишком ли много? — спрашивает его тетя. — Просто не знаю, что бы мы делали без вас.

— Где отец? — спрашивает подросток.

— Его, кажется, вызвал благочинный[1]. Насчет паперти.

Он кивает, упиваясь своим одиночеством, ужасной Эдиповой тайной; он уже подошел к развилке дорог, которую должен пройти каждый сын.

Он говорит:

— Надо дело закончить.

И возвращается в поле, где снова кипит работа, только теперь работников гораздо больше — как на картине Брейгеля. Дети наперегонки подтаскивают снопы старшим; последние двадцать минут помогает даже цыган.

Потом все снова садятся под ясенем; обряд чаепития соблюдается с тем же тщанием, что и ритуал святого причастия: извечная скатерть в розовую клетку, хлеб, литровая банка сметаны, горшки с малиновым и красносмородинным джемом, белые кружки с оббитыми краями, два заварочных чайника с коричнево-желтыми потеками; точно такой же цвет у пирога с изюмом и смородиной. Но самое вкусное — это запретные топленые сливки, желтая корочка которых тонет в роскошной белизне. Ничто не сравнится с этими сливками; такое чувство голода бывает только во время жатвы; светит яркое солнце, десятки детских глаз с любопытством следят за трапезой, остро пахнет потом. Вспоминается и коровник, и луга, и дыхание красных девонширских коров. Пища богов, смерть, сладкий малиновый джем.

— Ты его видела, ма? Вы видели, мисс Мартин? Последнего так и не поймали, верно, Дэнни?

Позднее.

Он один среди высоченных буков над мергельной долиной, над сжатым и теперь уже безлюдным полем; каждую весну он приходит сюда искать первые адоксы, странные маленькие хрупкие, пахнущие мускусом четырехгранники. Почему он любит этот цветок — загадка и для него самого. На западе садится солнце — наступает его любимое время дня. Косые лучи выявляют рельеф пастбища на противоположной стороне долины — ровные волны, где когда-то, много веков назад, прошелся плуг, запряженный быками, и куда он вскоре, по мальчишеской прихоти, придет за другими своими сокровенными цветами — орхидеями Spiranthes spiralis с медовым запахом, которые об эту пору уже должны зацвести на старом лугу. Он дорожит тем немногим, что имеет — знанием мест, где гнездятся птицы и растут цветы, фрагментами из латыни и фольклора,— поскольку лишен многого другого. Лучи заходящего солнца пронизывают листья бука. Воркует горлица, где-то рядом громко свистит поползень.

Он сидит, прислонившись к стволу бука, и смотрит сквозь листву на раскинувшееся внизу поле. Без прошлого и будущего, исторгнутый из времени, он обдумывает уходящий, чреватый бытием день. Пусть его урожай еще не собран, но он уже одно целое с землей — вот почему он так испугался. Дело не в смерти, не в агонии под ножами косилки, не в крике и кровавых обрубках... а в том, что невыносимо не дожить до следующего урожая.

Абсолютно безвинный, но уже отгороженный от других.

Вид снизу, он почти замаскирован листьями. Так прячутся птицы.

---

[1] Священник англиканской церкви, наблюдающий за духовенством нескольких приходов.

Я нащупываю в его кармане складной нож, вытаскиваю его и втыкаю лезвие в красную землю, очищая его от зловонных остатков печени и кишок двух кроликов. Он встает, поворачивается и начинает вырезать на дереве свои инициалы. Серая кора отваливается, обнажая сочную зелень живого ствола. Прощай, мое детство, прощайте мечты.

Д. М.

И ниже: **21 авг. 42.**

Игры

— Ты справишься.

— Нет.

— Должен.

Он улыбается в темноте.

— К писательскому труду, Дженни, слово «должен» неприменимо.

— Хорошо, меняем «должен» на «сможешь».

Он говорит ей как ребенку:

— Тебе пора спать.

Он стоит неподвижно, глядя из окна темной комнаты в ночь; его взгляд скользит поверх пальм, кротонов и рицинника, поверх сада. Перед ним центр города — бесконечное поле разноцветных огней. Он закрывает глаза, вырубая картинку.

— Призраки явились. Никуда от них не денешься.

— В твой романтизм не очень-то верится.

— Ну, конечно... Вот если бы меня нашли мертвецки пьяным в замызганной пивнушке — тогда другое дело.

— Перестань, Дэниэл.

Он не отвечает. Она тоже молчит. Вспыхивает язычок зажигалки. В оконном стекле он на миг видит отражение ее лица, длинные волосы, желтые тени на диване. И белизну, где разошлись полы незапахнутого сине-фиолетового кимоно. Прекрасный кадр; он еще прекраснее оттого, что никакой самой современной оптикой его не снимешь. Зеркала. Темная комната. Оторвав взгляд от красной точки и белого пятна в стекле, он остается один на один с морем синих, гранатовых, алмазных огней рекламы.

Она шепчет:

— Ну, что ты застыл?

В такие моменты он сам себе противен, но ничего поделать не может: все еще живущий в нем подросток продолжает восхищаться тысячу раз виденной картинкой; по-прежнему волнуется, переживает, обмирает от восторга, издевается над всем, что он за свою жизнь познал, прочувствовал, оценил.

Он поворачивается и идет через всю комнату к двери, где стоит стол à la «бидермейер».

— Хочешь чего-нибудь?

— Только тебя. Без содовой. В виде исключения.

Он добавляет в свой виски воды, пробует, добавляет еще, поворачивается.

— Тебя надо укладывать спать как ребенка.

— Ради бога, сядь, пожалуйста, рядом. — Она поворачивает к нему голову. Потом говорит: — Ты заставляешь меня играть.

— Прости.

— Я этим за день сыта по горло. Ты, надеюсь, еще не забыл, что я актриса.

Он садится рядом с ней, потом наклоняется и отпивает глоток из стакана. Она продолжает:

— Когда это началось?

Все разговоры он привык делить на две категории: когда просто говоришь и когда говоришь, чтобы слушать себя. В последнее время вторых было все больше. Нарциссизм — это когда человек с возрастом начинает верить в свою неповторимость и влюбляется в собственную усложненность; будто бы ложь, оправдание провалов или смрад успеха могут заменить иллюзии молодости.

— Сегодня днем. Когда ты убежала. Я вышел и начал бродить по студии. Все эти пустые павильоны. Появилось чувство... впустую потраченного времени. Напрасных усилий. И вообще всего.

— Да и меня еще пришлось ждать.

— Но ты же работала!

— Но все же это началось из-за меня? — Он качает головой. — Кинозвезда и жеребец.

— И ты веришь в эти старые бредни? В этот миф?

— Я, может, и нет, но здесь в него по-прежнему верят.

— Будь снисходительней к аборигенам, Дженни.

Она закидывает руку за спинку дивана, вглядываясь в его профиль.

— Вот за это я и ненавижу Остолопа. Он, видимо, считает себя парнем хоть куда — проницательным и неотразимым. Только увидит тебя, сразу бросает в мою сторону сальные и противные взгляды. Я у него как-нибудь обязательно спрошу, зачем он надевает на глаза презервативы.

— Это должно добавлять страсти в ваши сцены.

Она встает, подходит к окну, тушит сигарету (да, она и вправду играет) о керамическое блюдо, стоящее рядом с телефоном; потом тоже долго смотрит на искусственную ночь гнусного города.

— Чего я никогда не пойму в этом мерзопакостном городе — так это как им удалось изгнать отсюда всякую естественность? — Она поворачивается, подходит к дивану и стоит, сложив руки на груди и глядя на него сверху вниз. — Почему они ее так боятся? Почему не могут поверить, что мы, двое англичан, можем быть просто... о боже, Дэн. — Она садится, берет его руку и кладет ее себе на плечи; целует ладонь другой руки и опускает ее на свою грудь.— Ладно. Итак, ты бродил по студии. Но это еще ничего не объясняет... продолжай.

Он уставился взглядом в темное пространство.

— Тут дело, видимо, в реальном мире. В невозможности постичь его. В павильонах до сих пор стоят старые выгородки. Этих фильмов уже никто не помнит. И все королевские пьесы, все королевские сценарии... ни Шалтая-Болтая, ни любого из нас собрать не могут.

— Не забудь напомнить, в каком месте я прикладываю платок к глазам.

Он громко вздыхает; потом нежно сжимает ее грудь и убирает руку.

— Что лишь подтверждает мои слова.

— Не напрашивайся на комплименты.

— И в мыслях не было.

— Ты ведь отлично знаешь, что с тобой рядом и поставить-то некого...

— На здешнем безрыбье...

— Не мели чепухи.

— Дорогая, когда ты хочешь...

— О, боже, опять ты за свое.

После некоторой паузы он говорит:

— В твоем возрасте я смотрел только вперед. А ты, когда доживешь до моего...

— Слушай, а к окулисту ты не обращался?

— Нет. «Коль цену хочешь знать подпоркам, спроси руины».

— «Так в этом мы с тобой похожи. Иеронимо вновь безумен»[1].— Она приподнимается и, усмехнувшись, грозит ему в темноте пальцем. — Ты, верно, забыл продолжение. С актрисами не стоит выпендриваться. Может, мы и коровы, но уж в знании классиков вам не уступим.

— Опять играешь.

Она опускает глаза:

— Нет, режиссер из тебя никудышный.

— Тщеславие. Вспомнил собственное неувядаемое произведение.

— Ах, ах. Куда нам до Шекспира!

Он шепчет:

— Боюсь, что мне пора.

Она снова усаживает его рядом с собой, снова заставляет обнять себя и утыкается лицом в его плечо.

— Какая же я наглая баба.

— То моя вина.

Она целует его плечо через рубашку.

— Чувствую — руины есть и в твоей душе. Ненавижу себя за то, что лишь усугубляю твои проблемы.

Он прижимает ее к себе:

— Ты-то как раз из тех редких подпорок, что помогают выстоять.

— Если бы только я...

— Мы уже все решили.

Она берет его руку в свои ладони:

— Расскажи мне, что произошло днем.

— Я попал в старую декорацию артуровского Камелота[2]. И тут меня осенило: это же обо мне. Вот она, измена мифам. Будто я стал совсем не тем, кем должен был быть. — Он помолчал и добавил: — Да и делал всю жизнь совершенно не то.

— А что следовало делать?

— Ты думаешь, на это легко ответить?

— А ты попытайся.

— Искать свои средства выражения.

— Ну и?

— Если бы я надеялся найти их, то искал бы не в театре и не в кино. Театр и кино... все та же измена правде.

— А в чем она, эта правда?

— Бог знает, Дженни. Может, в том, чтобы честно рассказать о себе? Но это ведь кошмарный солипсизм.

— Который свойствен, как ты мне сам однажды сказал, любому искусству.

Он долго молчит, вперившись в темноту.

— Большую часть своей сознательной жизни я потратил на то, чтобы освоить лаконичную манеру письма, чтобы научиться делать сцены живыми, прятать смысл между строк, создавать других людей. Всегда других. — Он снова замолкает. — Будто бы в меня вселился кто-то другой. Много лет назад.

— Кто?

— Соглядатай.

— Чушь. Но продолжай.

Он гладит ее волосы.

— Это так просто. Ты пишешь: комната, средний план, женщина и мужчина лежат на диване, ночь. Потом выходишь. И пусть Дженни с Дэном будут другие. Пусть другой говорит им, что делать. Пусть другой снимает. Сам ты никогда ничем не рискуешь. К черту других. Мне нужна только ты. — Он перестает гладить ее воло-

---

[1] Томас Кид (1558 — 1594), «Испанская трагедия».

[2] Место, где легендарный Артур вершил суд.

сы. — Вот и все, Дженни. Новую жизнь я начинать все-таки не хочу. Видимо, я просто устал от сценариев.

— А также от Голливуда. И от меня.

— От тебя — нет.

— Но ты ведь хочешь домой.

— В каком-то переносном смысле — да.

— Опять двадцать пять. Значит, пиши мемуары.

— Я придумал так много бумажных людей, что себя добавлять к ним не хочется. Все равно одно вранье. Ничего честного о жизни у меня не получилось.

— Так напиши роман. — Он хмыкает. — Ну, почему бы тебе его не написать?

— Не знаю, с чего начать.

— Начни с нас.

— Идиотка.

Она становится на колени и задумчиво разглядывает его.

— Нет, серьезно.

Он улыбается:

— С климактерического бреда немолодого мужчины и голой кинозвезды, как у Гарольда Роббинса? [1]

Она запахивает кимоно.

— Зачем ты так о нас?

— Пресытившись сексом, он вспомнил что мог из Аристотеля и набросал свою теорию...

— Никакая я не кинозвезда, я — твоя Дженни.

— Чьим терпением я изрядно злоупотребляю.

— Деньги у тебя есть, так что и время найдешь.

— Слишком много грехов на моей совести.

— Что это значит?

— Что я угробил слишком много персонажей, чтобы породить хоть одного живого.

— Значит, ты теперь вооружен опытом. А потом — чего ты боишься?

— Боюсь потерять мой шесток.

— Какой еще шесток?

— Тот, который должен знать всяк сверчок.

Она замолкает, внимательно разглядывая его.

— Может, что-то с новым сценарием не ладится?

Он качает головой.

— Он мне до смерти надоел, но сценарии я могу писать даже во сне. Как машина. — Он встает и снова идет к окну. Она поворачивается и смотрит ему в спину. Помолчав немного, он продолжает, уже спокойнее: — Блудному сыну, Дженни, обратного пути нет. Вот все, что я имел в виду. Это все равно что пытаться... глупости... пытаться вернуться в утробу матери. Остановить время. — Он оборачивается к ней с улыбкой: — Ночные бредни.

— Экий ты пессимист. А всего-то и надо — записать наш сегодняшний разговор.

— Это последняя глава. Каким я стал.

Она опускает глаза, наступает пауза — «перебив», как говорят киношники.

— Недавно Билл интересовался твоими делами. Почему ты сам фильмов не ставишь.

— Ну и?

— Я ему ответила твоими словами.

— А он что сказал?

— Что-то очень умное. Что стремление к совершенству подчас лишь форма экзистенциального страха.

---

[1] Современный американский автор популярных романов с порнографическим душком.

— Очень мило с его стороны.

— И видимо, верно?

В темноте он улыбается, хотя и не видит выражение упрека на ее лице.

— Что толку называть меня трусом?

Она медлит, потом встает, подходит к нему и целует в губы; ведет его обратно, сажает в кресло напротив окна; опускается на ковер, кладет руки ему на колени. Из окна падают слабые отблески света.

— Трезво мыслишь.

— Да, Дженни.

—А моя шотландская прабабушка была ясновидицей.

— Ты уже мне об этом говорила.

— Вот тебе и первая глава.

— А следующая?

— Что-то произойдет. Например, окно откроется. Нет, лучше дверь. Дверь в стене. — Она отстраняется, изображает сивиллу — складывает руки на груди, кусает губы.

— А что за дверью?

— Твоя жизнь. Правдивая история твоей жизни.

На его губах играет усталая усмешка.

— Какой жизни?

— Той, что ты вел, пока не нашел себя... И пока мы не расстались. — Усмешка исчезает с его лица. — Ты *можешь* восстановить нашу беседу? Это очень важно. Ты должен ее запомнить.

— Я хочу уйти только потому, что люблю тебя. Понимаешь?

— Отвечай на вопрос.

— Не уверен.

— Тогда я сама попытаюсь записать ее. Завтра. Между съемками. Самое основное.

— Включая и мой последний вопрос?

— Конечно. Как запомнила.

Они смотрят друг на друга. Наконец он тихо произносит:

— Боже, как я ненавижу ваше поколение.

Она в ответ улыбается, будто ребенок, которого похвалили; не сумев сдержать радости, опускает голову. Он протягивает руку и ерошит ей волосы, потом поднимает ее с колен. Она останавливает его.

— Подожди. Я еще с тобой не закончила.

— Сумасшедшая. Тебе же надо поспать.

Она подходит к телефонному столику; опускается на колени, включает настольную лампу; стаскивает телефонный справочник Лос-Анджелеса на ковер, бросает взгляд на обложку, поднимает голову и задумчиво смотрит на собеседника. Он сидит, напряженно подавшись вперед, готовый встать и уйти.

— Дженни.

Она снова опускает глаза.

— Возьмем что-нибудь спокойное. Уединенное. — Она открывает справочник и наклоняется, чтобы разобрать мелкий шрифт. — Черт возьми, здесь совсем нет английских фамилий.

— Что ты еще придумала?

Но она не отвечает. Неожиданно лезет в конец справочника, быстро листает страницы; останавливается, вытягивает шею, что-то находит и радостно улыбается ему:

— Эврика! Вульф.

— Вольф?

— Вульф, «у» как в слове «дудка».— Она ведет пальцем вниз по списку имен. — Вот она. Очень симпатичная буква. «С». И находится все это в неизвестной мне Альтадене-Драйв.

— Это рядом с Пасадиной. Если ты сейчас же...

— Заткнись. «Стэнли Дж.» Нет, не пойдет. — Она закрывает справочник, придирчиво — как барышник на сомнительную лошадь — смотрит на мужчину, затем указывает на него пальцем: — Саймон.— Складывает руки на груди. — Помнишь детский стишок о простаке Саймоне? Так вот, ты тоже простак. А «Дж.» можно опустить

Он смотрит на ковер:

— Слушай, вот возьму сейчас и отшлепаю тебя.

— Но ты же не можешь использовать в романе свое собственное имя. Да и уж очень оно мещанское и добропорядочное. Ну, кому может понравиться герой, которого зовут Дэниэл Мартин?

Ему не привыкать к ее прыжкам и кульбитам, он осторожно замечает

— Иногда он мне очень нравится.

Она кладет руки на колени, изображая смущенную невинность.

— Она только хочет удостовериться, что получит книжку с автографом.

Он встает:

— Если через минуту она не ляжет спать, то завтра получит жуткий нагоняй за синие круги под глазами.

За ее спиной раздается пугающе резкий звонок телефона. Они оба вздрагивают. Дженни, не вставая с пола, ухмыляется:

— Мне самой поговорить с мистером Вульфом или ты возьмешь трубку?

Он направляется к двери:

— Нет уж, уволь. Скорее всего псих какой-нибудь.

Но она зовет его уже всерьез; его предположение, кажется, напугало ее. Он останавливается и, стоя вполоборота, смотрит на ее спину в сине-фиолетовом кимоно и руку, поднимающую трубку цвета слоновой кости. Он слышит, как она говорит сухим, официальным тоном:

— Да, он здесь. Сейчас позову. — И протягивает ему трубку, вновь закусив губу. — Междугородный. Из Англии. У тебя дома дали мой телефон.

— Кто?

— Телефонистка не сказала.

Он глубоко вздыхает, подходит к ней и едва не вырывает трубку. Она отворачивается к окну. Он называет себя, его просят подождать у телефона. Он рассматривает профиль молодой женщины. Она — чувствуя, что он наблюдает за ней, — поднимает руки, поправляет волосы, будто бы только что встала утром с постели, и не может сдержать улыбки.

— И чего я нервничаю?! Сто против одного, что это какой-то полоумный газетчик с Флит-стрит, которому к утру позарез нужна статейка.

— Или моя шотландская прабабушка.

Она размышляет о полуночных безмерностях Лос-Анджелеса, довольная собой и по-английски несносная. Он протягивает руку, хватает ее и грубо привлекает к себе; в сердцах пытается поцеловать, но она разражается смехом.

В трубке — немыслимые расстояния.

Звучит голос, и совершенно невероятно — так бывает только в романах — в стене открывается дверь.

Женщина в камышах

Ветер раскачивает обвисшие ветви и шершавит длинный речной плес. Далекие лесистые холмы на западе и лежащие перед ними луга покрыты тенями легких летних облаков. У дальнего берега Черуэлла студент-выпускник, орудуя шестом, ведет плоскодонный ялик

против течения. Девушка в темных очках, сидящая на носу лодки лицом к молодому человеку, наклоняется и опускает правую руку в воду. Ему двадцать три года, он занимается английской филологией; она на два года моложе и изучает филологию французскую. На нем хлопчатобумажные армейские брюки и голубой свитер с высоким воротником; она одета в широкую темно-зеленую крестьянскую юбку с красно-белой вышивкой, белую блузку и красный пейслианский шарф. У ее босых ног валяются сандалии, сумка из тростниковой соломки и книги.

Молодой человек выглядит вполне современно; если не считать короткой стрижки, он даже сегодня сошел бы у молодых за своего. Ее же широкая домотканная юбка и рукава буфф на блузке производили впечатление чего-то старомодного даже в то время; цвета одежды чересчур бравурны, слишком уж заметно рассчитаны на то, чтобы хозяйку не окрестили «синим чулком»... И это немного раздражает, поскольку в такой демонстрации нужды нет. Она, пользуясь студенческим жаргоном того времени, «шикарная девушка»; в ней сочетаются физическая привлекательность и строгость, игривое изящество и почти полное равнодушие к производимому на мужчин впечатлению. Ее младшая сестра, например, одевается несравненно лучше; она бы ни за что на свете не надела на себя эдакое крестьянское старье. Но девушка в ялике может себе это позволить — возможно, потому, что уже помолвлена (но не с нашим гондольером) или же просто чувствуя, что ее положение и репутация исключают любые подозрения в дурном тоне и аффектации. Прошлой зимой она вызвала бурю аплодисментов, появившись на сцене в колготках, длинном золотисто-каштановом парике и студенческой мантии. *«Если бы Рита изучала классические языки и философию...»* А фамилия этой Риты была Хейуорт[1]. И успех ее был связан не с очередным остроумным вышучиванием Аспасии и гетер и не с удачным исполнением фривольной песенки (которую сочинил молодой человек с шестом), а с убеждающе выразительной живостью мимесиса.

У нее хорошо очерченные брови, карие глаза, гармонирующие с цветом волос — при определенном освещении почти черных, — классический нос, широкий и всегда немного улыбающийся рот; даже сейчас, когда она наблюдает за своими опущенными в воду пальцами, губы ее чуть приоткрыты в улыбке, словно она все еще вспоминает ранее сказанную шутку. Во всех мужских колледжах Оксфорда сестры были известны под прозвищем Прекрасные Близнецы, хотя между ними был год разницы в возрасте, младшая училась на курс ниже, да и во многом ином они сильно отличались друг от друга. Когда одна была на втором, а другая, соответственно, на первом курсе, они часто одевались одинаково, отчего, видимо, их и приняли за близнецов. Освоившись в университете, сестры стали вести себя проще и естественнее.

Была у них и еще одна особенность. До Оксфорда они вместе с отцом-дипломатом долго жили за границей. В начале войны отец умер, а через год их мать вновь вышла замуж — за другого дипломата, на сей раз, правда, американского. Девушки всю войну провели в США, и дух американской культуры все еще витал над ними... Прямота, едва заметный акцент (он вскоре исчез), раскованность, которой не хватало их сверстницам-англичанкам, выросшим при продуктовых карточках и авиационных налетах. К тому же сестры были еще и богаты, хотя и не выставляли это напоказ. Их английские родители были достаточно состоятельны, да и американский отчим, который, правда, имел двоих детей от предыдущего брака, слыл далеко не бедным человеком. Когда людям столько дано, живой ум и

---

[1] Рита Хейуорт (род. в 1918 г., настоящее имя — Маргарита Кансино) — популярная американская киноактриса, известная весьма скандальной личной жизнью.

красота кажутся уже несправедливым излишеством. Близких подруг у сестер в университете не было.

Девушка поднимает глаза на молодого человека:

— Мое предложение остается в силе.

— Все в порядке. Честно. Физические нагрузки весьма кстати. Три последних дня я зубрил без продыху. — Он вытаскивает шест из воды, переносит его вперед, опускает конец на дно, ждет, пока не иссякнет сила инерции, потом мощно отталкивается и с помощью того же шеста выравнивает направление движения. На лице молодого человека появляется гримаса.

— Я провалюсь. Кожей чувствую.

— Чепуха! Спорю, что сдашь лучше всех.

— Место лучшего давно отдано Энтони.

— Энтони нервничает из-за древней истории. Боится, что не дотянет до высшего балла. — Передразнивая кого-то, она опускает очки на кончик носа. — Фукидида[1] я проштудировал далеко не так, как полагается.

Он ухмыляется. Она, повернув голову, смотрит вперед. Навстречу, вниз по течению, плывет еще один ялик, в котором четыре студента-второкурсника: девушка и трое юношей. Они разглядывают пару в ялике, что плывет против течения. Один из юношей что-то говорит девушке; и все четверо снова оглядывают выпускников — нарочито лениво, небрежно, как смотрят искушенные путешественники на местных знаменитостей. «Знаменитости» никак не реагируют; они привыкли.

Через несколько сотен метров молодой человек делает более продолжительную, чем обычно, паузу между толчками и вытирает лоб тыльной стороной ладони.

— Слушай, Джейн, я совсем выдохся. И проголодался. До Виктории еще далеко.

Девушка поднимает голову и бросает на него озабоченный взгляд.

— Давай пристанем к берегу. Мне все равно.

— Впереди как раз канал. Мы можем свернуть в него. Там ветер потише.

— Прекрасно.

Через минуту появляется канал — старая, обсаженная ивами дренажная траншея, вырытая под прямым углом к восточному берегу реки. Тропа идет по противоположному берегу. Около устья канала стоит старый облупившийся щит: *«Частная собственность. Высадка на берег строжайше запрещена»*. Подплыв ближе, они замечают у берега еще один ялик. Два студента-выпускника читают учебники, развалясь в разных концах лодки, между ними стоит открытая бутылка шампанского; обернутое в золотую фольгу горлышко второй бутылки торчит из зеленой воды на уровне кормового сиденья, к которому бутылка и привязана бечевкой. Один из студентов — тот, что повыше, с копной светлых волос и красноватым лицом — вскидывает голову. Взгляд его тусклых серо-зеленых глаз никогда ничего не выражает.

— Боже ты мой, Джейн, радость моя. Дэниэл. Неужели от друзей *hurge* нет покоя?!

Дэниэл замедляет ход ялика и, усмехнувшись, смотрит на блондина, который держит в руках учебник.

— Эндрю, да ты никак читаешь?! А мы-то верили тебе!

— И правильно делали. Это все мой проклятый старик. Поставил сотню фунтов, что я провалюсь.

Джейн улыбается:

— Глазам своим не верю. Ты случайно не заболел?

---

[1] Фукидид (ок. 460 — 400 гг. до н. э.) — древнегреческий историк.

— Слушайте, а кое-что тут даже интересно читать. Правда, Марк? — Второй студент, который гораздо взрослее, хмыкает в знак согласия. — Может, выпьем по глотку шипучки?

Джейн снова улыбается:

— В отличие от тебя мы действительно хотим позаниматься.

— До отвращения плебейское времяпровождение.

Все улыбаются. Дэниэл машет рукой и продолжает толкать ялик дальше по каналу. Когда они немного отплывают, Джейн начинает нервно кусать губы.

— Теперь весь Оксфорд будет говорить, что у нас роман.

— Держу пари, что не будет. Эндрю до смерти боится, как бы весь «Буллингдон» [1] не узнал от нас о его зубрежке.

— Бедный Эндрю.

— Эндрю — богатый.

— Никогда не понимала, чем забита его маленькая головка.

— Он не такой дурак, каким кажется.

— Значит, блестяще притворяется?

Он смеется, направляя ялик сквозь островки водяных лилий и кувшинок. Ветер срывает несколько белых лепестков с цветущего на берегу терновника. Девушка приподнимает из воды кувшинку — вода каплями сбегает по борту ялика — и, не сорвав, отпускает.

— Может, остановимся здесь?

— Немного дальше есть что-то вроде пруда. По крайней мере было год назад. Мы с Нелл здесь не раз бывали. — Она изучающе смотрит на него поверх темных очков. Он пожимает плечами и улыбается: — Завтракали на свежем воздухе.

— До отвращения постное времяпровождение.

Он самодовольно ухмыляется. Впереди кричит камышница, ялик огибает первый тростниковый островок, за которым открывается плотная стена зеленых зарослей.

— Черт! Все заросло. И тем не менее рискнем.

Он упирается шестом в дно и, навалившись всем весом, направляет ялик туда, где стебли, как ему кажется, стоят пореже. Когда они врезаются в зеленую стену, девушка вскрикивает и наклоняет голову. Плоский нос ялика углубляется в заросли метра на три и, наткнувшись на что-то мягкое, замирает.

— Дьявол.

Джейн смотрит в сторону. А затем — он в это время пытается выдернуть шест из ила — рывком поворачивается к нему: рот раскрыт, лицо искажено гримасой ужаса.

— Дэниэл!

Она закрывает лицо руками:

— Что случилось, Джейн?

— Назад, Дэниэл. Назад.

— Что стряслось?

Зажав рукой нос и рот, она свешивается за противоположный борт.

— Боже, я уже чувствую запах. Быстрей отсюда, пожалуйста.

Не выпуская из рук шеста, он переступает через спинку сиденья, смотрит в воду и видит...

Под носом ялика он видит в воде серовато-белое женское бедро. Дальше в камышах небольшая прогалина — там, видимо, туловище и голова. Ног не видно, они скорее всего под яликом.

— Боже.

— Меня сейчас вырвет.

Он торопливо оборачивается и пригибает ее голову к коленям; затем пробирается к корме, остервенело выдергивает шест из ила, едва не падает и, с трудом удержавшись на ногах, начинает толкать

[1] «Буллингдон-клаб» — клуб студентов-спортсменов из состоятельных семей в Оксфордском университете.

суденышко назад. Ялик подается не сразу, но, в конце концов, медленно выплывает из камышей. На глазах Дэниэла на поверхность всплывает что-то темное и страшное.

— Как ты себя чувствуешь, Джейн?

Она кивает едва заметно, не поднимая головы. Он неуклюже разворачивает ялик, затем судорожными толчками направляет его к реке, огибает тростниковый островок, причаливает к берегу, закрепляет ялик воткнутым в дно шестом.

— Как ты себя чувствуешь?

Она кивает, медленно поднимает голову, каким-то странным движением снимает темные очки и смотрит на него.

— О, Дэн.

— Какой ужас.

— Это...

— Я знаю.

Мгновение они смотрят друг на друга в полной растерянности, утренний мир разорван смертью. Он берет ее за руки, потом бросает взгляд в сторону реки.

— Надо сказать Эндрю.

— Да, пожалуй. Мне уже лучше.

Он еще раз внимательно всматривается в ее лицо, затем встает и спрыгивает на берег. По высокой траве бежит к реке. Девушка сидит, опустив голову на согнутые колени — словно не желая ничего видеть.

— Эндрю! Эндрю!

Сквозь ивовые ветви выглядывают два лица; Дэниэл стоит на берегу над ними.

— Мы только что нашли в воде труп.

— Что нашли?

— Мертвеца. Труп. Кажется, женский. В камышах.

— Боже правый!

Студент, которого зовут Марком, выбирается на берег — он на несколько лет старше других, загорелый, усатый, с прямым взглядом серых глаз; Дэниэлу он известен только как ничем не примечательный друг Эндрю Рэндолла, у которого таких друзей хоть пруд пруди.

— Вы не ошиблись?

— Нет. Мы буквально врезались в него.

К ним подходит Эндрю.

— Где Джейн?

— Там, в ялике. Ничего серьезного. Она просто испугалась.

Марк говорит:

— Пойдемте посмотрим.

— Подождите минутку. — Эндрю возвращается к ялику, шарит в карманах своего пиджака, достает серебряную фляжку в кожаном футляре. Трое молодых людей быстро идут по берегу. Джейн поднимает голову. Эндрю спускается к ней и открывает фляжку.

— Глотни капельку, Джейн.

— Уже все в порядке.

— А ну, не возражать. Один глоточек.

Она берет фляжку, глотает, у нее перехватывает дыхание. Марк смотрит на Дэниэла.

— Покажите, где она.

— Жуткое зрелище.

Выражение серых глаз не меняется.

— Я высаживался в Анцио [1], старина. А вам, кстати, доводилось видеть утонувшую овцу, которая много дней пролежала в воде?

— Ради всего святого не надо, мы были как раз над ней..

[1] Небольшой приморский городок в центральной Италии. Место кровопролитных боев между немецкими войсками и войсками союзников в январе — мае 1944 года.

— Хорошо. Давайте проверим.

Дэниэл колеблется, а потом идет вслед за Марком туда, где начинается стена камыша.

— Вон там.— Он показывает рукой.— В середине.

Марк скидывает ботинки, спускается к воде, раздвигает камыши и ступает в воду. Его нога уходит вниз. Он осторожно ищет опору для второй ноги. Дэниэл оглядывается. Джейн стоит в высокой траве метрах в сорока и наблюдает за ними. Подходит Эндрю и протягивает ему фляжку. Дэниэл качает головой. Камыши смыкаются за Марком, почти скрывая его, вода ему уже выше колен. Дэниэл неотрывно смотрит на островок лилового иссопа на берегу. Две синефиолетовые стрекозы с чернильными крыльями дрожат над цветками, потом улетают прочь. Где-то далеко кудахчет куропатка. Спина Марка в свитере цвета хаки исчезает в плотных зарослях зеленых стеблей, уже сомкнувшихся за ним; слышны только шуршание, хлюпанье и всплески.

Рядом раздается шепот Эндрю:

— Спорю на пять фунтов, что это уличная девка. Опять наши доблестные американские союзнички постарались. — Потом громко зовет:— Марк?

— Я здесь. Нашел ее.

Но больше он не говорит ничего. Им кажется, что он невероятно долго бродит в камышах; время от времени то там, то здесь сгибается камышиный стебель. Наконец, мокрый по пояс, он с трудом вылезает из камышей и взбирается на травянистый берег; ноги его покрыты черной грязью, вокруг разносится резкий запах ила и еще чего-то, отвратительно сладкого. Марк корчит гримасу, оглядывается на Джейн и говорит тихим голосом:

— Она умерла давно. Чулком задушили. В волосах уже личинки завелись. — Марк рвет траву и стирает с ног куски грязи. — Надо идти в Викторию и сообщить в полицию.

— Ну что за жизнь! Только начал привыкать к подножному корму с шампанским — и на тебе!

Дэниэл опускает глаза, ему не до шуток. Он чувствует, что оба они презирают его... хлюпика и эстетствующего буржуа. Надо же — сумели воспользоваться его собственной находкой. Но он ведь в Анцио не высаживался; да и вообще, за два никчемных года в армии ни в каких военных действиях участия не принимал. Они возвращаются к Джейн. Марк уже все решил:

— Вы вдвоем оставайтесь здесь и ждите полицию. А мы на лике поплывем в Викторию. И ради бога, никого близко не подпускайте. Я и так там достаточно натоптал. Пошли, Эндрю.

Эндрю с улыбкой смотрит на Дэниэла.

— За тобой пять фунтов, старина.

— Я же не спорил.

И Дэниэл мгновенно чувствует на себе насмешливо-издевательский взгляд аристократа. Ему протягивают фляжку.

— Может, глотнешь немножко? Очень уж у тебя вид испуганный.

Дэниэл сухо отказывается. Эндрю посылает Джейн воздушный поцелуй и отправляется вслед за другом.

Дэниэл бормочет:

— Боже, они, кажется, находят в этом удовольствие.

— А кто этот второй?

— Бог его знает. Какой-то герой войны.

Джейн глубоко вздыхает и слабо улыбается Дэниэлу.

— Да... Снова начнут нам косточки перемывать.

— Мне очень неприятно.

— Я сама предложила эту прогулку.

Марк кричит и машет рукой, подзывая их к себе. Дэниэл машет в ответ.

— Иди к реке, Джейн. Я пригоню ялик.

Когда он подплывает к устью канала, она уже стоит под ивами. У ног ее лежит бутылка шампанского. Она делает гримасу:

— Прощальный дар сэра Эндрю Эйгчика [1].

Дэниэл оборачивается — другой ялик уже проплыл сотню метров к противоположному берегу, у которого можно укрыться от ветра. Он привязывает свой ялик, поднимается к Джейн и закуривает сигарету. Они садятся — лицом к реке, спиной к ужасу, что в сотне метров за ними. Мимо них, вниз по течению, проплывает ялик, в нем пять или шесть человек, правит девушка, неумело, едва не теряя шест, — смех и крики.

— Он не говорил, старая она или молодая?

— Нет.

Она берет у него сигарету и, сделав затяжку, возвращает.

Он говорит:

— В детстве, в войну, когда я помогал убирать хлеб, в ножи косилки попал кролик.— И замолкает.

Она неотрывно смотрит на другой берег реки.

— Я знаю, что ты хочешь сказать. Будто все это было во сне.

— Больше я о том дне ничего не помню. Да и обо всем лете тоже.

Она откидывается назад на ствол ивы, слегка наклоняет и поворачивает к нему голову. Темные очки остались в ялике. Она закрывает глаза. Он смотрит на ее лицо, ресницы, губы, на эту серьезную девушку, которая изредка притворяется легкомысленной.

Она шепчет:

— Такое идиллическое место.

— Да уж.

Они замолкают. Мимо них к Оксфорду проплывают еще два ялика. Тучи сгущаются, с запада, из-за Кумнорских холмов, надвигается лиловая гора дождя. Солнце прячется. Он смотрит на небо:

— Тебе не холодно?

Она качает головой, не открывая глаз. Над ними с ревом проносится громадный американский бомбардировщик, «летающая крепость». Он летит низко, ниже туч, видимо заходит на посадку в Брайз-Нортон. Может, Эндрю и прав, может, убийца пилотирует именно этот самолет: сидит себе там в бейсбольном шлеме, жует резинку и наблюдает за приборной доской. Когда девушка начинает говорить, ревущая громадина уже пролетела километра четыре, превратившись в точку на горизонте.

— Может, так нам и надо. Что мы на нее наткнулись.

Дэниэл поворачивается, Джейн уже открыла глаза и смотрит на него.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Только... то, что три последних года мы жили в нереальном мире.

— Это были три самых прекрасных года моей жизни.

— И моей тоже.

— Я встретил Нелл... тебя... Энтони.— Он разглядывает свои ботинки.— Да и все остальное.

— Но разве мы жили в реальном мире?

— Я считал, что у нас перемирие в метафизических спорах.

Помолчав, она говорит:

— Вчера я перечитывала Рабле. Fais ce que voudras[2].

---

[1] Комический персонаж из «Двенадцатой ночи» У. Шекспира.

[2] «Делай, что хочешь» *(франц.)* — принцип жизни Телемской обители. См. Ф. Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль, часть I, гл. 57.

— С каких пор это стало грехом?

— А что, если мы хотим невозможного или просто несуществующего?!

— Но ведь мы действительно делали то, что хотели. Пусть даже у нас и не все получалось.

— Да, но не в реальном мире, а в вымышленном... литературном. В своего рода Abbaye de Thélème[1].

Он показал большим пальцем за спину.

— Если ты это вот называешь реальным миром... то извини... какую-то уличную девку...

— Понятно, она для тебя что-то вроде кролика, попавшего в косилку.

— Но уж, во всяком случае, не человек нашего круга.

— Ты уверен?

— Разумеется, уверен.— Задрав голову, он ухмыляется.— Представляю, что было бы с Энтони, если бы он услышал твои речи.

— Возможно, это ограниченность самого Энтони.

— Учти, я передам ему наш разговор слово в слово.

Она нежно улыбается, наклоняется вперед, утыкается лицом в колени, говорит в домотканную юбку:

— Мне страшно, что те годы могут оказаться лучшими в нашей жизни. Для всех четверых. Мы любили, взрослели, весело проводили время. Никакой ответственности. Одно лицедейство. Игры.

— Мы и сейчас неплохо проводим время.

Она поднимает голову, подпирает подбородок рукой, изучающе смотрит на него. Не говоря ни слова, встает, подходит к бутылке шампанского и берет ее за позолоченное горлышко. Потом, размахнувшись, неожиданно бросает бутылку в реку. Взлетают брызги, бутылка скрывается под водой, на мгновенье всплывает и снова тонет, теперь уже навсегда.

Он оторопело смотрит на нее:

— Зачем ты это сделала?

Не отрывая глаз от реки, от того места, где утонула бутылка, она говорит:

— Вы с Нелл думаете пожениться, Дэн?

Он пытается заглянуть ей в глаза:

— С чего это ты вдруг спрашиваешь меня об этом?

Она опускается на колени рядом с ним, не глядя ему в глаза.

— Просто так.

— А что Нелл говорит?

Она качает головой.

— Вы оба делаете из этого страшную тайну.

— Тебе не надо объяснять, что ты — первая девушка, кроме, естественно, Нелл, с которой я отправился на прогулку за последние полтора года? — Он касается ее руки.— Джейн, ради всего святого... пусть вы и заморские сироты, но это не дает тебе право строить из себя чересчур строгую сестру. Как ты думаешь, зачем бы я с такой настойчивостью добивался места здесь, в Оксфорде?

— Ты прав. Прости.

— Нелл считает, что глупо выходить замуж на последних курсах. Я тоже. А ждать официальной помолвки...— Он замолкает, закрыв глаза рукой.— Боже ты мой. Обыкновенный кирпич. На человека случайно падает кирпич.

— Значит, ты считаешь нас с Энтони vieux jeu[2]?

— Вот те на!

— Нет, скажи честно.

— Ты отлично понимаешь, что я имел в виду.

— Что мы ископаемые?

---

[1] Телемская обитель *(франц.)*.

[2] Здесь: старомодные *(франц.)*.

— Да нет же. Что... ты не Нелл. А Энтони — не я.

Она кивает в знак согласия:

— Понятно.

Он вскидывает на нее глаза, выпрямляется.

— Скажи мне, Джейн, ты поэтому поехала сегодня со мной?

— И поэтому тоже.

— Хороша, ничего не скажешь.

— Настоящая клуша.

— А Энтони знает?

— Он сам это и предложил.

Дэниэл, отвернувшись, фыркает.

— Все понятно. Завтра, по возвращении, он тайно уединится с Нелл. Дьявольская западня.

— Обращение язычников в христианскую веру.

— Он, конечно, неисправим. Но о тебе я был лучшего мнения.— Она улыбается. Он продолжает: — Интересно, где найдут они свой труп?

— Идиот.

Выдержав паузу, он говорит:

— К вопросу о секретах... как ты думаешь, он сумеет обратить тебя в католичество?

— Я для себя еще не решила, Дэн.

— Жаль, что ты не знала моего отца. Это на всю жизнь отбило бы у тебя охоту даже думать о религии.

— Разве можно судить о вере по людям, которые ее исповедуют?

— Я тем не менее надеюсь, что у Энтони ничего не получится.

— Это почему же?

Он смотрит через реку на затянутый тучами западный небосклон.

— Тебе это не понять. Да и Энтони тоже. Откуда вам знать, каково жить при церкви?! Только тот, кто сам пережил все это, знает, как много приходится таить в себе. Нереальный мир. Не более реальный, чем Оксфорд в твоем писании. Только хуже. Вообще без удовольствий.— Он внимательно разглядывает темные холмы.— Я в этой жизни могу стать кем угодно, но только не христианином.

— Эдипов комплекс, да и только.

Их взгляды встречаются, они с улыбкой опускают глаза — молодые настолько остро воспринимают новые ощущения, новые знания, новые ситуации, что глухи ко всему, кроме этой новизны. Он смотрит на часы.

— Им уже пора бы вернуться. Пойду погляжу.

Он выходит в поле, за ивы, выглядывая на востоке силуэты людей. Вскоре она подходит к нему и тоже начинает всматриваться в горизонт. Не поворачивая головы, говорит:

— Мне кажется, Дэн, Нелл можно позавидовать. Вот еще одна причина, по которой я устроила нашу прогулку.

— Энтони тоже можно позавидовать.

Она шепчет:

— Ах, уж эти счастливчики! — И прежде чем он успевает решить, что означает оттенок горькой нежности в ее голосе, она машет рукой и говорит самым обычным тоном: — Вон они!

На противоположном конце поля, гораздо южнее, чем они ожидали, из ивняка появляются пять фигур: две — в форме и три — в штатском. На плечах у полицейских висят болотные сапоги. Один человек в штатском несет в руке свернутые носилки. Другой тащит на себе черный ящик. Дэниэл машет, один из полицейских, заметив его, поднимает руку.

Дэниэл говорит, глядя на плывущие по морю лютиков фигуры:

— Почему ты выбросила шампанское в реку?

Потом оборачивается к ней. Она разглядывает траву у своих ног.

— Мне показалось, что так надо.

Он обнимает ее за плечи и целует в голову. Она продолжает разглядывать траву.

— Зачем ты это сделал?

Он улыбается:

— И мне показалось, что так надо.

Дверь в стене

— Дэниэл? Это Нелл.

— Кто?

— Твоя бывшая жена.

Его рука соскальзывает с плеча Дженни.

— Что-нибудь с Каро?

— С ней все в порядке.— Неловкая пауза.— Прости за такой поздний звонок. Но мы совсем запутались, высчитывая, который у вас час.

— Я еще не ложился. Ничего страшного.

— Я звоню насчет Энтони, Дэн.

— О боже. Неужели все?

— Нет... видишь ли, я у Джейн. В Оксфорде. Она хочет поговорить с тобой.— Он не отвечает.— Ты меня слышишь?

— Слышу, просто на время потерял дар речи.

— Она сама все объяснит.

Он смотрит на Дженни, потом прикладывает указательный палец, словно дуло пистолета, к виску. Она глядит на него в недоумении, перестает смеяться, опускает глаза и отворачивается.

— Дэн?

— Джейн.

В его голосе странно смешались теплота, обида и — прежде всего — полное неверие в происходящее. Возникает небольшая пауза.

— Мне тяжело беспокоить тебя. Ни с того ни с сего.— Еще одна пауза, длиннее первой.— Ты слышишь меня?

— Кого-кого, а тебя я совсем не ожидал услышать...

— Прости. Спасибо за то послание, что ты передал через Каро.

— Жаль, что это не произошло много раньше.

Он ждет ответа; но она снова молчит. Он в западне, его разрывают два прошлых: сиюминутное, все еще находящееся с ним в комнате, и очень далекое; его опаляют два огня, которых он боится больше всего,— страсть и безумие.

— Как он себя чувствует?

— Он сейчас в больнице. Здесь, в Оксфорде.

— Как это ужасно для всех для вас.

— Мы уже свыклись с этим.

Снова наступила тишина, он пытается угадать, что произошло, откуда этот снег на голову.

— Может быть, здесь, в США, это как-нибудь лечат, и я мог бы...

— Боюсь, что нет. Ему уже ничего не поможет.— Еще одна зияющая пауза.— Дэн, я всю неделю собиралась с духом, чтобы позвонить тебе. А теперь не знаю, как после всего, что между нами произошло, сказать тебе.— Она снова замолкает, а потом выпаливает одним духом: — Перед смертью он хочет увидеть тебя.

— Увидеть меня?!

— Да. И отговорить его невозможно.— Потом добавляет: — Болен он неизлечимо. Но мыслит по-прежнему трезво.

Дэниэл чувствует себя альпинистом, потерявшим опору над пропастью.

— Но, Джейн, при всем моем сострадании к нему все это так...— Теперь уже он ищет спасения в молчании. Старается придать голосу

менее испуганное выражение: — Видит бог, вы оба были правы. Я давно простил вас обоих. Прошу тебя, передай ему.— Не дождавшись ее ответа, спрашивает: — Я угадал? Речь идет об этом?

— Да... в какой-то степени.

— Поверь. От всего сердца. Полное прощение. В том, что касается меня.

— Он просил передать, что речь идет о... незавершенном деле.

— Но, дорогая... Я хочу сказать... Разве недостаточно, что ты сама ему все перескажешь? Слово в слово.

— Это не каприз, Дэн. Я бы не посмела беспокоить тебя из-за пустяка.

И она ждет; как всегда ждала, задав вопрос или изложив просьбу. Сила ее требований всегда заключалась не столько в словах, сколько в молчании.

— Я могу ему позвонить?

Вообще никакого ответа. Он говорит «Алло?» один раз, другой, третий. Затем слышит негромкий спокойный голос Нелл:

— Это снова я.

— Что случилось?

— Ничего... она сейчас не может говорить.

— Нелл, чего, черт возьми, от меня хотят? Я предложил позвонить ему в больницу.

— Этого мало, требуется твое присутствие.

— Но почему, бог ты мой?

— Точно не знаю. Знаю только, что ни о чем другом он сейчас и слышать не хочет.

— Еще до отъезда я спросил через Каро, могу ли я чем-нибудь помочь.

— Я знаю. Но мне кажется, что он хочет о чем-то попросить тебя перед смертью.— Дэн чувствует, как она подыскивает слова.— Мы пытались объяснить, что это слишком сложно для тебя. Но он одержим этой идеей. Я была у него только вчера вечером. Так что дело не в Джейн.

— Не понимаю, почему мне нельзя было дать знать заранее.

— Джейн водила его за нос. Он думает, что все это время она пытается связаться с тобой. Она не хотела впутывать тебя в эту историю. Я сама только что все узнала. Именно я в конце концов и заставила ее хоть что-то предпринять. Мы почти всю ночь проспорили. Во всем виновата я.

— Что говорят врачи? Сколько времени ему осталось?

— Немного. И дело не только в том, когда он умрет. Важно, долго ли он еще будет в состоянии связно излагать свои мысли.— Потом добавила: — Если я правильно поняла Каро, ты закончил свой очередной фильм.

— Более или менее. Но дело не в этом.

— Ах, да. Недавно в «Экспрессе» я видела фотографию твоей пассии. Поздравляю.

— Перестань, ради бога.

Она невозмутимо продолжает:

— Если ты думаешь, что для меня и Джейн было легко...

— Я еще не совсем лишился воображения, Нелл. Хватит об этом.

В его голосе слышится несвойственная ему резкость. Наступает молчание. Затем, как бы убедившись, что старое оружие не заржавело, она продолжает спокойно:

— Прости. Не подумай, что мы шантажируем тебя. Мы просим.

— Прошло так много времени.

— Не для Энтони.— Потом добавляет: — Впрочем, решать тебе.

Он колеблется, раздумывает, смотрит на центр Лос-Анджелеса, раскинувшийся в десяти километрах от него; неожиданно вздрагивает от страха, будто испугавшись собственного отражения в стекле;

он растерян, как рационалист, столкнувшийся с чем-то сверхъестественным, однако в голову ему лезут мысли не о двери в стене, а о ловушках, попрании свободы, эксгумации трупов; он понимает, что речь идет не только о смерти Энтони.

— Джейн все еще там? Я могу с ней поговорить?

— Минуточку... да. Передаю ей трубку.

— Извини, Дэн. Мы обе совсем замучились.

— Ничего, Джейн. Я понимаю. Теперь послушай. Вернись мысленно на тысячу лет назад. Постарайся вспомнить тот день, когда ты бросила бутылку шампанского в реку. И когда я спросил, почему ты это сделала, ты ответила — за точность слов не ручаюсь — что-то вроде: «Мне показалось, что так надо». Ты помнишь это?

— Помню.

— Тогда забудь все эти годы молчания. Свой гнев. Мое предательство. И постарайся ответить столь же вдохновенно и просто, как тогда. *Надо* ли, чтобы я приехал? Хочешь ли ты этого?

— Я не вправе решать такие вещи.

— Если я тебя об этом не просил бы. Но я ведь прошу.— Потом добавляет: — Один фильм я закончил, к другому еще не приступал. Мне уже давно пора наведаться домой.

Он ждет и, словно обдумывая новый сценарий, уже видит различные варианты, повороты сюжета, неожиданности.

— Энтони был бы тебе вечно благодарен. Как бы глупо это ни звучало, имея в виду его теперешнее состояние.

— А ты?

Наконец она говорит:

— Пожалуйста. Если можешь.

— Что, осталось совсем немного?

— Дело не в этом.

Он почти физически ощущает необходимость принять решение.

— Хорошо. Этот разговор и так уже обойдется вам недешево, поэтому слушай. Скажи Энтони, что я вылетаю. Передай также, что я искренне ему сочувствую. А теперь дай мне, пожалуйста, на минутку Нелл.

— Мне иногда кажется, что вместо бутылки я должна была выбросить самое себя.

— Когда мы встретимся, я потребую у тебя объяснений.

Наступает еще одна пауза, последняя. Потом она говорит:

— Я не знаю, что сказать, Дэн. Прости меня.

Затем трубку берет Нелл.

— Я постараюсь вылететь завтра. Предупреди Каро, ладно?

— Сегодня же вечером.

— Спасибо.

И прежде чем она нашлась, каким тоном выразить раскаяние или признательность, он бесцеремонно кладет трубку на рычаг. Затем смотрит на залитую светом калифорнийскую ночь и видит при этом серое зимнее утро в Оксфорде, до которого восемь тысяч километров. Откуда-то снизу доносится невротический прерывистый вой полицейской сирены.

— Налей мне побольше виски, Дженни. Без содовой, пожалуйста.

Когда она молча приносит стакан, он сначала разглядывает его, а потом с кривой ухмылкой переводит взгляд на нее:

— Черт бы побрал твою прабабушку.

Она испытующе всматривается в его глаза:

— Что случилось?

— Мой бывший свояк хочет видеть меня.

— Я думала... это тот, который болен раком?

Он делает большой глоток, не отрывая глаз от стакана. Переводит взгляд на ее лицо, потом снова смотрит на виски.

— Когда-то мы были очень близки, Дженни. Я никогда тебе об этом не рассказывал.

— Ты говорил, что они порвали с тобой все отношения.

Он избегает ее взгляда, снова рассматривая бесконечный город.

— В Оксфорде он был моим лучшим другом. Нас было... четверо. Две сестры. Он и я.— Дэниэл искоса смотрит на нее, пытаясь понять, что она думает.— Призраки.

— Но...— Она пытается скрыть укоризну.— Ты едешь?

— У него, кажется, осталось совсем немного времени.— Она смотрит на него так, словно он обидел в ней и ребенка и взрослого. Если он теперь обманет ее, то тем самым в чем-то обманет и себя.— Это из-за Каро, Дженни. Мы так долго разрывали ее на части. Я не могу отвергнуть оливковую ветвь, когда она мне наконец протянута.

— Почему он так хочет видеть тебя?

— Бог его знает.

— Но должно же у тебя быть хоть какое-то предположение.

Он вздыхает:

— Энтони — профессиональный философ, да к тому же еще и католик. Такие люди живут в своем собственном мире.— Он берет ее за руку, но смотрит в окно.— Его жена удивительный человек. Очень... порядочная. Очень строгая. Она никогда бы не прервала многолетнее молчание, если бы...— Он не заканчивает предложения.

Дженни высвобождает свою руку. Потом подходит к дивану и закуривает.

— Зачем надо было выбрасывать бутылку с шампанским в реку?

— Так она однажды проиллюстрировала свою мысль о том, что в Оксфорде мы все жили в фальшивом раю.— Он говорит чуть быстрее обычного.— Слишком далеко от реальных проблем. Я тебе как-нибудь расскажу.

— Тебе нечего оправдываться. Я просто спросила.

Он говорит:

— Может, оно и к лучшему.

— Ну, спасибо.

— Отдохнем друг от друга.

— А я и не подозревала, что наши отношения так утомительны для тебя.— Она берет чистую пепельницу и безо всякой нужды переворачивает ее над корзиной для бумаг.— Ты сюда вернешься?

— У тебя здесь работы максимум на три недели.

Она долго молчит.

— Что ж, это мне наука, с ясновидением не шутят.

— Да, пожалуй.

Дженни укоризненно смотрит на него.

— Сделай мне еще раз предложение.

— Зачем повторять ошибки?

— Ты сам мне только что сказал, что вся твоя жизнь — ошибка.

— Тем более не стоит привязывать тебя к себе.

— А я бы и не согласилась.

— Тогда зачем же?

Она наклоняется и начинает взбивать подушку.

— Я часто думаю об этом. И видимо, гораздо серьезнее, чем ты. Хотя и говорю об этом меньше.

— Тебе и карты в руки, значит, теперь ты знаешь, почему из этого ничего не получится.

— Конечно, всё против нас. Ты прав.— Она продолжает перекладывать подушки, потом берет одну из них и рассматривает отрывающуюся тесьму.— И все-таки я иногда спрашиваю себя: разве плохо, что ты не будешь повсюду таскаться за мной, а я не брошу свою профессию, только чтобы штопать твои носки? Такой муж, как ты,— это лучший для меня вариант. Роль домашней хозяйки меня не устраивает. Она уже разрушила мою... единственную до тебя привязан-

ность. И разрушит союз с любым нормальным мужчиной моего возраста.— Затем добавляет: — Я говорю начистоту.

— Вот поэтому-то у нас ничего и не получится, Дженни. Такие браки не могут обойтись без взаимного обмана. А нам это не по силам. Ни тебе, ни мне.

Она кладет подушку на место.

— Ты, кажется, не хочешь понять, насколько ты мне нужен. В самых разных своих ипостасях.

— Не столько я, сколько просто близкий человек.

Дженни отходит от дивана и садится в кресло, согнувшись и опустив голову.

— Я уже боюсь.

— Лишнее доказательство, что тебе нужен не я.

— Мне надо решить — стоит ли браться за новую роль.

— Ты знаешь мое мнение. Человек он неплохой. И сценарий не испортит. Берись.

Она говорит:

— А ты избавишься от меня. Только этого и ждешь. А сам будешь там.

— Буду. Столько, сколько ты пожелаешь. Тебе это известно.— Он думает, чем бы ее успокоить.— А ты тем временем можешь перебраться в мою хижину. Эйб и Милдред будут довольны.

— Конечно, могу. Но ты не виляй.— Она затягивается сигаретой, выдыхает дым, смотрит на него. Он все еще стоит у телефона.— Признайся, ведь ты неспроста не говоришь, что лучше жены, чем я, *тебе* тоже не найти.

— Ты уже торгуешься.

— А ты скрываешь от меня важные вещи. Это еще хуже.

— Что я скрываю?

— Свое прошлое.

— Не совсем так. Прошлое — это прошлое.

— Это глупый, неискренний, уклончивый ответ.

Дженни произносит слова отрывисто, словно бьет кнутом. Он отворачивается.

— То же самое можно сказать и о большей части моего прошлого.

— Опять играешь.— Он молчит.— То же самое можно сказать о большей части прошлого любого из нас. Не понимаю, чем уж так ужасно твое прошлое.

— Я не говорил, что оно ужасное. Просто непросветленное.— Он подходит к дивану и садится вполоборота к ней.— Я не имею в виду какие-нибудь факты, Дженни. И даже не личные обстоятельства. А только то, как сам человек себя осознает.— Она молчит. Он продолжает: — Я сегодня поневоле ошибся — то чувство, что я испытывал днем,— это не ощущение пустоты. Совсем наоборот. Чувство пресыщения. Тяжести в желудке. Камня.

Она разглядывает кончик своей сигареты.

— Чем разозлила тебя твоя бывшая жена?

— Упоминанием фотографии в «Экспрессе». Не могла не съязвить.

— И ты так же к ней относишься?

— Как — «так же»?

— Все еще ненавидишь ее? Я слышала, как ты сказал, что прошло так много времени.

— Как ты думаешь, двадцать лет — это много?

— Ладно. Не будем об этом — не хочу больше мучить тебя.

Он несколько мгновений наблюдает за выражением ее лица и видит в нем и упрямого, обиженного ребенка, и молодую ревнующую женщину, ему очень хочется взять ее на руки и растопить возникший лед, но он сдерживает себя, а сдержавшись, внутренне радуется

этому. Потом переводит взгляд на то, что осталось в стакане от большой порции неразбавленного виски.

— Мы молились не тем идолам. Мы слишком многому верили, слишком многим доверяли. В истории двадцатого века есть громадная пропасть. Рубеж. Она разделяет тех, кто родился до тысяча девятьсот тридцать девятого года и после. Мир, время... все изменилось. За одно десятилетие теперь проходит три. Мы, допотопные существа, выброшены на обочину, Дженни. Твое поколение все знает о внешней стороне явлений. Об облике и звучании. Это вы знаете и о тридцатых, и о сороковых. Но вы не знаете, как в них жилось. Какие следы они оставили в наших душах.

Она долго молчит.

— А может, тебе лучше позвонить в аэропорт?

— Дженни.

— Это не пропасть, Дэн. А расчетливо построенная тобой баррикада.

— Она построена, чтобы защитить нас обоих.

Она гасит сигарету.

— Я иду спать.

Потом встает и подходит к двери в спальню; остановившись, смотрит на него через плечо.

— Обрати внимание, сколь порядочно я поступаю, не хлопая дверью.— И, уже войдя в спальню, она нарочито оставляет дверь полуоткрытой. Затем бросает на него еще один взгляд: — Все в порядке, ветеран?

Дженни уходит. Он несколько секунд сидит неподвижно, потом допивает виски. Затем подходит к тому месту, где лежит его пиджак, вынимает записную книжку и, возвращаясь к телефону, перелистывает ее. Набирает номер и, ожидая соединения, смотрит на дверь спальни, которая, словно та, другая, дверь, будто самое действительность, этот предельно противоречивый вымысел прошлого, находится в вечном сомнении: пригласить или отвергнуть, обвинить или простить — и всегда ждет... того, кто наконец-то обретет уверенность, что так надо.

Вечер

Полицейская машина довезла их до Северо-Оксфордской улицы, где Дэн снимал жилье. Небо совсем заволокло тучами, начал накрапывать дождь. Они быстро шли между рядами солидных, чопорных, неправдоподобно банальных викторианских домов. Ветер уже срывал с деревьев первые желтые листья. Пасмурная осень надвигалась пугающе рано. Они молча дошли до его дома и поднялись в его комнату.

Это была лучшая жилая комната в доме: на втором этаже, окнами в сад; но основное ее достоинство составляла хозяйка, ортодоксальная марксистка, которая, получив каким-то образом разрешение на сдачу жилья студентам, позволяла им невиданные по тем временам вольности. За редкую возможность наслаждаться безнадзорной жизнью студенты легко мирились с нерегулярным питанием и коммунистическими брошюрами. В 1950 году Дэн слыл человеком передовых взглядов. Кроме государственной стипендии он имел немного своих денег, и поскольку до повального увлечения Art Nouveau [1] было еще целых двадцать лет, в лавках старьевщиков за один-два шиллинга он приобрел немало безделушек этого стиля.

О чем сейчас говорят фотографии той комнаты? О театральных интересах хозяина: по стенам были развешаны почтовые открытки

[1] «Новое искусство» *(франц.)*; направление в архитектуре и декоративном искусстве конца XIX в., опиравшееся на неклассические пропорции и формы.

с портретами эстрадных и опереточных звезд первого десятилетия нашего века (эта коллекция сохранилась до сей поры и иногда даже пополняется), на столике рядом с окном, выходящим в сад, стоял игрушечный театр, над камином висел подлинный эскиз декорации Гордона Крейга[1] (в то время это был предмет его гордости, но много лет спустя он по глупости подарил его женщине, из-за которой его жена начала бракоразводный процесс) и заключенная в рамку театральная афиша с именем квартиранта (он был одним из либреттистов этого ревю); был там и набор масок из спектакля Ануя «Антигона» (к fin de siècle[2] они отношения, конечно, не имели, чем и обнаруживали подозрительный эклектизм вкуса своего хозяина). О его научных склонностях: в комнате стоял шкаф с английской художественной литературой, висела карикатура на профессора Толкиена[3], которого попирал сапогом русский стахановец со знаменем в руках; при более внимательном рассмотрении этот стахановец оказывался оксфордским студентом, а лозунг на знамени — шотландской прокламацией *«Долой англосаксов!»* (карикатуре этой после выхода в свет «Властелина колец» не было бы цены, но, к сожалению, три недели спустя после описываемых событий, а точнее, в последний день выпускных экзаменов, ее сожгли вместе с отвратительным «Беовульфом»[4] и другими печатными орудиями пыток древности — все это в отместку за степень бакалавра третьего класса, о вероятности получения которой его, собственно, многократно предупреждали).

О семье и личной жизни судить было трудно, но сама скудость свидетельств была красноречивее всяких слов. Насколько я помню, семейных фотографий не было совсем, если, конечно, не считать семейной фотографией размытый снимок старого каменного крыльца с неразборчивыми цифрами по фронтону (он на память знал выбитую на камне цифру — 1647). На стенах, видимо, были развешаны и рекламные плакаты различных любительских спектаклей, к которым Дэн был причастен; и уж наверняка там был студийный фотопортрет Нелл, он обычно стоял на его столе, который теперь был завален кипами книг и бумаг, что служило верным признаком предэкзаменационной зубрежки. Самое же странное впечатление производил выставленный напоказ (а может, и болезненно переживаемый) нарциссизм хозяина — в комнате было не менее пятнадцати зеркал. Не спорю, их собирали ради рам, сделанных в стиле Art Nouveau, во всяком случае так утверждал хозяин комнаты, но, как бы то ни было, во всем Оксфорде не найти было лучших условий для созерцания самого себя. В предыдущем семестре эту слабость Дэна жестоко высмеял журнал старшекурсников (впрочем, в Оксфорде было страшнее остаться незамеченным, чем пережить любую, даже самую злую насмешку). В журнале поместили подборку «характеров» в духе Лабрюйера[5], Дэниэла окрестили мистером Specula Speculans[6], «который умер от шока, случайно взглянув в разбитое зеркало и увидев не утонченные черты своего лица, а неприукрашенное изображение собственной души».

Не следует забывать, что эти смешные попытки украсить свой быт делались вопреки — или по причине — суровости, скудности и

---

[1] Эдвард Гордон Крейг (1872 — 1966) — известный английский театральный художник, повлиявший своим творчеством на театр и кино нашего века.

[2] Здесь: «новое искусство».

[3] Дж. Р. Толкиен (1892 — 1973) — профессор филологии в Оксфорде, приобрел мировую известность после публикации в 1954 — 1955 годах своей сказочно-героической эпопеи «Властелин колец».

[4] «Беовульф» — наиболее значительный из сохранившихся памятников англосаксонского эпоса

[5] Жан Лабрюйер (1645—1696) — французский писатель, автор книги «Характеры, или Нравы нашего века», написанной в подражание «Характеров» Теофраста.

[6] Наблюдатель, наблюдающий *(лат.)*.

всеобщей унифицированности окружающей жизни. Британия все еще переживала осадное положение. Для того времени поведение Дэна было по меньшей мере вызывающим. Дополнительную пикантность его положению придавала жившая внизу хозяйка, которая клеймила позором и пригретого на груди змея, и буржуазный декаданс его безделушек, и его легкомысленные взгляды на жизнь — во всяком случае, Дэн любил именно так представлять их отношения своим гостям. Правда же состояла в том, что пожилая дама, несмотря на всю свою эксцентричность, была далеко не дурой и знала истинную цену их фрондерству много лучше, чем они сами. Ни один из ее постояльцев, с кем Дэн делил кров и кто, подобно ему, занял впоследствии хоть сколько-нибудь заметное положение, не стал коммунистом; но что еще примечательнее — ни один из них не стал и консерватором.

Джейн настолько хорошо знала эту комнату, что такие подробности ее в тот день не занимали. Подойдя к окну, она смотрела на раскинувшийся внизу сад. Потом стянула с головы красную косынку и, тряхнув головой, распустила свои темные волосы; так, задумавшись, и стояла у окна.

— Хочешь чего-нибудь попить, Джейн?

Она повернула голову и мягко улыбнулась.

— Может быть, попьем чаю?

— Пойду налью воды в чайник.

Когда он вернулся из ванной, она стояла в том углу, где у него была импровизированная кухня.

— Молоко у меня только порошковое.

— Пустяки.

— Могу немного позаимствовать у нашей коммунистической матроны.

— Не стоит.

— Ее нет дома.

— Честно, не стоит.

Она взяла две чашки, чайник для заварки, ложечки и опустилась на колени перед камином. Он поставил чайник на электроплитку, взял в углу на столике сухое молоко, чай, сахар. Затем сел на ковер напротив нее и стал наблюдать, как она сыплет в заварной чайник черные листочки.

— Нелл сегодня не придет?

Он покачал головой:

— Отдыхаем друг от друга.

Она кивнула. Он почувствовал, что говорить ей не хочется. И все же ощущение пустоты в безмолвном доме в такой час чем-то смущало его.

— Может, камин затопить?

— Как хочешь.

Газовая горелка вспыхнула голубовато-золотистым пламенем; посыпались ослепительно-розовые искры. На плитке тихонечко засвистел чайник. Несмотря на собственное молчаливое смущение и молчание Джейн, Дэн почувствовал некоторое облегчение. Ум его, склонный сочинять диалоги (в то время эта чудовищная способность еще казалась ему радостным даром), перебирал возможные варианты будущего занимательного рассказа: высокомерный тон полицейских, пижонское поведение Эндрю, его приятель («я высаживался в Анцио, старина»)... и что-то еще, связанное не с печальной находкой, серыми ягодицами, похожими на сырую требуху, и червями, кишащими в волосах (в его рассказе он видит их сам),— но с Джейн, кумиром курса, почти знаменитостью.

Все студенты Оксфорда знали, что со своими способностями, позволявшими ей замахиваться на более серьезные вещи, чем копирование Риты Хейуорт — несомненным доказательством тому служила

ее Виттория в «Белом дьяволе»[1],— и внешностью она многого, очень многого добьется. Джейн сидела, заложив руку за спину, чуть наклонившись, и смотрела на газовое пламя камина. По ее теперешнему виду никак нельзя было догадаться ни о присущей ей живости, ни о способности к подражанию и перевоплощению, которыми она отличалась на сцене; ее лицо, напротив, несло печать меланхолической задумчивости. Многие уже давно заметили, что в ней жило как бы два человека и что она была намного интереснее своей сестры; именно это, а не игра случая сближало ее с Энтони — студентом-философом, выпускником Винчестерского колледжа[2], будущим профессором, человеком ума логичного (во всем, кроме религиозной веры, которая в то время считалась не меньшим дендизмом, чем коллекционирование зеркал в стиле Art Nouveau), остроаналитического и афористичного. А зрелых людей, хлебнувших военного опыта, таких, например, как Марк, было в то время в Оксфорде хоть отбавляй; у всех на памяти был случай, когда один из «бульдогов»[3] проктора грубо обошелся со студентом, кутившим в кабачке, и только потом обнаружил, что его жертвой стал молодой полковник, у которого он на фронте служил ординарцем. Зрелость Энтони была иного свойства, он лучше других представлял и свои истинные возможности, и свое будущее. Почти все завидовали его дружбе с Джейн, но лишь те, кто плохо знал обоих, считали, что они не пара. При всей внешней непохожести они поразительно дополняли друг друга.

Вот что он мог бы рассказать о ней в то время; одним словом, он был влюблен в нее. Что его и смущало. Он знал об этом уже, по крайней мере, целый год; знал он и о том, что выхода нет. Его будущий брак с ее сестрой был обречен задолго до свадьбы. Казалось, он должен был бы испытывать чувство вины перед Нелл, а на самом деле ему было не по себе при мысли об Энтони, и совсем не потому, что в те дни Энтони устроил себе передышку перед последними испытаниями (в качестве временного убежища на выходные дни он избрал какой-то монастырь в Глостершире).

Дэна продолжали смущать и его отношения с Энтони — он никак не мог понять, что нашел в нем этот блестящий воспитанник Винчестерского колледжа. Он несравненно лучше отдавал себе отчет в том, что сам получал от дружбы с ним: общение с гораздо более изощренным и острым, чем у него, интеллектом, с личностью, которая намного глубже уверовала в душевные и духовные ценности и была менее подвержена модным поветриям. В каком-то смысле Энтони был *своим* в Оксфорде, а Дэн — всего лишь гостем. Если уж говорить начистоту, Дэн научился у Энтони большему, чем у своих университетских наставников. Он никак не мог избавиться от убеждения (правда, глубоко запрятанного), что его дружба с Энтони — это дружба неравных людей.

Отдавая должное Дэну и историческим фактам, следует заметить, что по меркам студенческого престижа, который тесно связан с популярностью, его затаенное чувство неполноценности показалось бы окружающим странным. Дэна знали лучше, чем Энтони, и ему чаще завидовали; он принадлежал к тем выпускникам, которые вышли за узкие рамки академической карьеры и достигли известности в более широком мире и которые, при нынешнем ретроспективном взгляде, определяли лицо всего университетского поколения. Но в

---

[1] Речь идет о трагедии английского драматурга елизаветинской эпохи Джона Вебстера (1580 — 1625).

[2] Винчестерский колледж — одна из девяти старейших престижных и привилегированных мужских школ с высокой платой за обучение; основан в 1382 г. Уильямом из Уикама, епископом Винчестерским.

[3] Прозвище помощника проктора — надзирателя, следящего за поведением студентов в Оксфордском и Кембриджском университетах.

нем, как и в Джейн, тоже жили два человека, хотя, в отличие от нее, он не склонен был в этом признаваться. Может, и проявлялось это только в тайных чувствах к Энтони да и к самой Джейн. Он даже немного завидовал ее женской сущности, которая позволяла ей быть, с одной стороны, естественнее, а с другой — серьезнее; и в издевке, и в похвале она могла себе позволить многое из того, что ему было недоступно. Обычно в спорах, когда Энтони слишком уж усердно начинал играть роль молодого профессора, Джейн и Дэн вместе подтрунивали над ним. Но это был театральный союз, объединение сценических трагиков против интеллектуала, и он лишь маскировал то истинное родство душ, которое связывало Джейн и Энтони.

А теперь Дэн искал утешения в подобии интимности — мирной тишине, почти не нарушаемой уютным шипением чайника. Небо потемнело необычной для середины лета темнотой. Дождь усилился. Чайник закипел, Джейн сняла его с плитки и принялась заваривать чай. Именно тогда и прозвучал ее немыслимый вопрос:

— Ты спишь с Нелл, Дэн?

Выражение ее сосредоточенного лица не изменилось.

— Дорогая...— Он судорожно вздохнул и от потрясения не смог продолжить. Она все с той же сосредоточенностью поставила чайник на кирпичи камина. Мне кажется, по крайней мере одно достоинство у Дэна было. Он умел быстро улавливать настроения других людей — по едва заметным сдвигам в интонации, мимике, жестах,— но только настроения, а не намерения.

Он наконец выдавил из себя:

— А разве Нелл?..

— Далеко не все сестры говорят о таких вещах.— Она положила в каждую чашку по ложечке сухого молока.— Ты хочешь сказать, что все-таки спишь с ней?

— А разве бывает по-другому?

Да, бывает и бывало, особенно в те времена; и немногие пары, позволявшие себе близкие отношения до брака, тщательно заботились о сохранении их в тайне.

— У нас с Энтони как раз по-другому.

Он не мог понять, зачем она говорит ему это. Зная взгляды Энтони, он и сам догадывался; они с Нелл вполне были уверены в этом.

— Католикам нельзя до свадьбы?

Она протянула ему чашку чая; на поверхности плавали пылинки еще не растворившегося молока.

— Нельзя.

— Он к этому серьезно относится?

— Да.

— Несмотря на все свои шутки и эпиграммы?

Она едва заметно улыбнулась, и уже второй раз за день ему показалось, что она в чем-то упрекает Энтони. Она отпила чай.

— Я уже не девушка, Дэн. В моей жизни уже был мужчина. На первом курсе. Еще до знакомства с Энтони.

Это признание нарушило что-то целомудренное в их отношениях.

— Он знает?

Она скорчила гримаску.

— Тогда бы я тебе об этом не рассказывала. Как видишь, репетирую.

— О, боже.

— Так глупо. Ну что мне стоило сказать ему об этом в самом начале? А теперь уже поздно. Западня какая-то. И дело совсем не в том, что я это когда-то сделала. А только в том, что я вовремя не сказала.

Он предложил ей сигарету, сунул щепочку в пламя камина, дал прикурить ей, потом прикурил сам.

— И он так ни разу и не удосужился спросить тебя об этом?

— Для человека умного он неправдоподобно доверчив. Он принимает на веру в людях такое, что никогда бы без проверки не принял в логической теории или силлогизме.— Она затянулась.— Во всяком случае, я так думала раньше.

— А сейчас?

— А сейчас мне иногда кажется, что он просто боится. Что, в свою очередь, сдерживает меня всякий раз, когда я наконец собираюсь с мужеством рассказать ему все.

— Когда-то ведь придется.

— Сейчас, перед самыми выпускными экзаменами? Боюсь, что он это поймет как...

— Как что?

Ее прекрасные глаза светились добротой; сейчас, глядя на огонь, она казалась много моложе Нелл.

— В нем живет иезуит. Если я скажу сейчас, он будет искать в этом скрытый смысл.

— А может, ты для него — просто еще один дьявольский искус?

Она улыбнулась.

— Раз уж ты заговорил об этом, признаюсь, что, видимо, заменяю ему целый притон.

— А он не перегибает палку со своей католической этикой?

— Ну, ты же его знаешь.— Она пожала плечами.— Он никогда не навязывает свое мнение. Как истинный последователь Габриеля Марселя[1] и теории личного выбора. Из кожи лезет вон, чтобы ничего не решать за меня.— Она откинулась назад, оперлась на локоть и чуть отодвинула от камина ноги, но глаз от огня не оторвала.— На этой неделе я неожиданно по-настоящему поняла Рабле. Насколько он современнее всей этой толпы из Сен-Жермен-де-Пре. И насколько он более экзистенциалист, чем все они. Именно это я тебе и хотела сказать на реке. Подумать страшно, до какой степени Англия одержима самоотречением. За рамками того мирка, который мы создали для себя здесь. Кажется, что с религиозностью Энтони происходит нечто похожее. Он всегда погружен в прошлое и озабочен будущим. Где уж тут наслаждаться настоящим?! И Рабле им всем как кость в горле. У него в романе есть такие места... когда вокруг отчетливо понимаешь, что он — единственный здравомыслящий представитель рода человеческого.— Она уставилась на кончик своей сигареты.— Позавчера вечером я пыталась объяснить это Энтони.

— И он тебя не понял.

— Напротив. Понял все. За исключением того, что я только что изменила ему с другим мужчиной. В душе.

Дэн спрятал ухмылку.

— Но ты ему не призналась в этом.

— Нет, но именно так я себя и чувствовала. Изменницей и еретичкой. Особенно когда он огласил этический приговор моему утлому женскому уму.

— Перестань. Он совсем не такой.

— Конечно, не такой. Но он был очень забавен. Потому как был совершенно уверен в моем легкомыслии.— Она начала водить пальцем по узору вытертого турецкого ковра.— Его беда в том, что он может быть только самим собой. А ты и я — мы можем быть и другими.

---

[1] Габриель Марсель (1889 — 1973) — французский философ, основоположник католического экзистенциализма. В центре внимания философии Марселя — проблема бытия, преломленная через индивидуальный опыт.

— Теперь ты отказываешь ему в воображении. Это несправедливо.

— Не в воображении. В умении его использовать. Он никогда бы не смог писать пьесы. Романы. И вообще все, что требует перевоплощения. Никогда.— Наступила тишина; неожиданно Джейн круто изменила тему.— Не могу понять, нравится он Нелл или нет.

Дэн пережил очередное потрясение.

— Конечно, нравится. Ты же сама знаешь.

— Интересно, она чувствует его неприязнь?

Дэн бросил на нее быстрый взгляд, но она по-прежнему разглядывала ковер.

— Это и для меня новость, Джейн.

Лжец! Он давно это чувствовал и давно этого боялся. День начинал проявлять неожиданные грани, разрывы, временные смещения — странный день, необычный. В ее решимости сорвать пелену с его глаз было что-то одновременно зловещее и трогательное, каковым бывает любое обнажение глубинных чувств.

— Он старается скрывать это. Даже от меня.

— Но чем, черт возьми, она ему так не угодила?

— Предполагаю, он догадывается, что ты спишь с ней. Боится, что и я такая же. Женскую привлекательность он понимает слишком буквально.

— Но это ведь еще ни о чем не говорит. Ему ли не знать?!

— Он знает.

— А я чем лучше ее?

— Нет, тебя он не винит. Ты — дитя природы. Из чего следует, что он не такой уж педант.— Она искоса смотрит на него.— Тебя это все коробит?

— Мне кажется, он ужасно неискренен.

— Он искренне любит вас обоих.

— Премного благодарны.

— И он пытается вас понять.

— Тут какое-то противоречие. Ну, зачем же на людях притворяться, что он любит Нелл, а за спиной жалеть, что я попал в цепкие руки вавилонской блудницы?

— Он боится за тебя.

Дэн уставился на нее, но она не отрывала глаз от пламени камина. Он снова почувствовал ее превосходство.

— Ты это имела в виду, когда говорила сегодня на реке о нашей с Нелл женитьбе?

— Не понимаю.

— Вы с Энтони решили, что нам этого делать не стоит, так, что ли?

— Я на сей счет ничего не решала.

Он помолчал, потом обиженно хмыкнул:

— А я думал, что, по крайней мере, ты одобряешь наши планы.— Помолчав, добавил:— Тогда почему ты сказала, что Нелл повезло?

— Потому что я так думаю.— Затем произнесла медленно:— Но судить об этом объективно не могу.

Он снова попытался заглянуть ей в глаза.

— Почему?

— Потому.

— Но все же?

Голос ее стал глуше.

— Потому что я ревную.

— Из-за того, что для нас постель не проблема?

— Я ведь сказала: не завидую, а ревную.

До него дошло не сразу. Она неотрывно смотрела на ковер... Он

уставился на свои собственные вытянутые ноги — сидя на полу рядом с камином, он чувствовал себя альпинистом, идущим с завязанными глазами по краю обрыва. Она прошептала:

— Fais ce que voudras [1].

— Мы, кажется, начинаем усложнять себе жизнь.

— Кто знает, может, мы ее себе наконец упростим.

— Но ты и Энтони, я думал...

Она повернулась к нему спиной, опершись на другой локоть. Он смотрел на нее.

— Этим летом, когда бы мы ни собирались вчетвером, ты старательно избегал смотреть на меня. Да и мне стоило усилий смотреть на тебя нормально.

Опустив голову и не поворачиваясь, она ждала ответа.

— Я не знал.

— Что глаз на меня поднять не можешь?

— Про тебя.

— И мысли такой не допускал?

— Ну... раз или два. Например, в тот вечер, когда мы были в кабачке «Траут».

— Зачем бы я тогда взяла тебя за руку?

После закрытия кабачка они отправились к Розамунд. Нелл с Энтони шли впереди. Джейн в темноте нежно взяла его за руку... но такого он, конечно, предположить не мог.

— Я считал то рукопожатие сестринским.

— Весь тот вечер я ненавидела Нелл. Сестринских чувств во мне не было совсем.

Воцарилась тишина. Он смотрел на ее затылок, абрис лежащего тела. Дождь почти прекратился, но тучи не рассеялись. Его начала охватывать сладкая истома, он с трудом выдавил из себя признание:

— Это безумие. Но я, кажется, влюблен в вас обеих.

— То же самое чувствую и я.

— Боже. Что за чертовщина.

— Я во всем виновата. Не стоило мне начинать.

— Это все из-за той женщины в камышах.

— Наверное.

— Со мной это уже давно творится. Ты всегда имела такой успех... Я не знал, как подойти к тебе.

Они снова замолчали.

Джейн сказала:

— Это состояние очень похоже на грипп. Когда чувствуешь, что заболел, ничего уже поделать нельзя.

— Есть все же одно отличие. Грипп легко лечится.

Она ответила не сразу:

— В таких случаях ложатся в постель, верно?

Дэн долго молчал. Потом прошептал:

— Джейн? — Она лежала, свернувшись калачиком и подперев голову рукой.— Ты с ума сошла.

Она покачала головой:

— Мне трудно объяснить. Чувствую, что Энтони лишил меня чего-то. То, что есть у вас с Нелл. То, о чем мечтает мое тело.

— Рабле?

— Нет, просто хочу быть падшей и развратной.

«Падшая и развратная» было очень популярным студенческим клише того времени и всегда употреблялось саркастически.

— Но ты только что сказала...

— Я действительно люблю его, Дэн. И каким-то странным образом все это именно потому, что я люблю его.— Потом добавила:— Хочу любить его.

---

[1] См. сноску на стр. 23.

Ему было все больше не по себе, но остановиться он уже не мог:

— Хочешь узнать, любишь ли его?

Снова наступила тишина. Когда она наконец заговорила, голос ее звучал так глухо, что он едва расслышал слова:

— Всего один раз. Acte gratuit[1].

Он разглядывал носки своих ботинок.

— А завтра?

— Если бы мы только отдавали себе отчет в том, что делаем. Если бы мы только могли изгнать этот день из времени. Как изгоняют нечистую силу.

Он незаметно сглотнул.

— Какую же нечистую силу ты собираешься изгонять на сей раз?

— Память о том, что должно произойти. Что произойдет.

— Даже зная, что мы любим друг друга?

— Даже зная, что когда-то мы желали друг друга. И что, по крайней мере однажды, набрались смелости признаться в этом.

Он чувствовал, как его захлестывает физическое возбуждение; ему совсем не хотелось с ним бороться, хотя вслух он сказал:

— Не знаю, как мы сможем смотреть им в глаза.

— До сего дня нам удавалось скрывать свои чувства. Даже друг от друга.

Он сказал:

— Это совсем не значит, что я...— Но фраза осталась неоконченной.

Дэн был парализован немыслимой чудовищностью происходящего. Молчание продолжалось, она лежала недвижно. Из-за сада сквозь дождь донесся звук гобоя, на котором быстро и умело исполнили несколько восходящих и нисходящих гамм. Потом снова наступила тишина.

Джейн села и повернулась к нему. Она впервые решилась посмотреть ему в лицо. В нежном, но испытующем взгляде ее карих глаз было в тот момент что-то непорочное, девическое, испугавшееся собственной взрослой дерзости; слабая же улыбка если и не отрицала, то, во всяком случае, уравновешивала целомудрие взгляда, ибо были в ней вызов и насмешка над Дэном.

Студент-гобоист начал играть Делиуса, и она протянула над ковром руку — таким жестом призывали женихов средневековые невесты.

Дорога

Из-за дорожной пробки Дэниэл едва не опоздал на самолет. Смога на этот раз почти не было, стояло прекрасное зимнее калифорнийское утро. Седоволосый таксист-поляк костерил автомобильные дороги вообще и шоссе на Сан-Диего в частности и проявлял гораздо больше нетерпения, чем его пассажир: тот вверился судьбе и смотрел на себя как бы со стороны, будто бы все это происходило в книге или в чужом сценарии... ни дать ни взять «Саймон Вульф», идею которого ему подсказали накануне вечером. Может, старое его прозвище, мистер Specula Speculans, было и не таким уж метким: любовь к зеркалам проще всего объяснить нарциссизмом, а что, если за ней кроется попытка посмотреть на себя чужими глазами — говорить о себе не в первом лице, а в третьем?

В своих размышлениях о романе, к которому он изрядно охладел (Дэниэл прекрасно знал причины: с одной стороны, это дурное

[1] Немотивированный поступок *(франц.)*.

влияние его métier[1], а с другой — ленивая уверенность, что у него, калеки-астматика, уже не хватит ни силы воображения, ни долгого дыхания, потребных для такой работы), повествованию от первого лица он отвел особо темный угол; и, что весьма показательно, чем ближе повествовательное «я» приближалось к авторскому, тем этот угол становился угрюмее и мрачнее.

Пока Дэн слушал вполуха водителя и нерешительно соглашался с ним (водитель очень хотел показать, что уже стал настоящим американцем: Америка — совершенное общество, а в совершенных обществах ни заторов, ни иных недостатков быть не может, так что, какого черта нас здесь держат?!), ему вдруг пришло в голову, что, может быть, его уклонение от собственного «я», неизбывного для любой честной оценки своей жизни, есть не что иное, как боязнь вынести суждение и что (замечание Дженни о стремлении к совершенству оказалось много ближе к истине, чем она могла предположить) поступки, которых он втайне желал, самым тесным образом связаны с теми, что он втайне ненавидел.

Но вот они поползли вперед, добрались до места аварии и мигающих огней, которые и образовали громадные неподвижные вереницы беспомощных людей на колесах. Совершенно по-английски Дэн аккуратно отметил еще одно обстоятельство из тех, что неумолимо вынуждали его быть самим собой: нет, уж если он когда-нибудь и попытается совершить невозможное, то хуже, чем писать от первого лица, ничего не придумаешь... даже мифический Саймон Вульф и то лучше.

Мое знакомство с Энтони — а мы были одногодками и учились в одном колледже — перешло в дружбу летом 1948 года, когда мы были еще на первом курсе университета. Как-то случайно я зашел в его комнату — мы жили на одной лестничной площадке, и я собирал деньги на подарок увольнявшейся прислуге, которая убирала и у него, и у меня. На письменном столе Энтони в банке для варенья стоял цветок — орхидея Aceras. Так обнаружился общий интерес, хотя для меня увлечение орхидеями было скорее воспоминанием, эхом прошлой жизни. У него же дело обстояло серьезнее; в его жизни почти все было методичным и последовательным. Школьником я познакомился с ботаникой настолько хорошо, что смог пользоваться старой книгой Бентама и Гукера[2], которая была у нас в доме, а подростком попал под загадочное обаяние орхидей. Больше я Энтони ни в чем не признался и тем самым не признался и в том, какую великую роль играла для меня природа в юности. Студентом я уже стыдился этого, а угнетающая эрудиция Энтони не располагала к откровенности... ни тогда, ни позже.

По-моему, естественно, что, как и подобает настоящему философу, Энтони выделялся среди нас. Одевался он достаточно строго, в движениях его и походке, когда он, например, пересекал университетский двор, была рассчитанная порывистость, казавшаяся мне несколько аффектированной. Друзей у него было немного. Он был выше меня, черты лица имел правильные, а взгляд — слегка вызывающий; не исключено, что такое впечатление возникало только из-за его не свойственной англичанам привычки смотреть в глаза собеседнику. Когда мы заговорили об орхидеях, я неожиданно открыл для себя, что глаза его могут быть и дружески-внимательными. Его заинтересовало, где я занимался ботаникой и насколько серьезно. Я был польщен: подумать только, такой утонченный и блестя-

[1] Ремесло, профессия *(франц.)*.

[2] Имеется в виду известный обзор всех родов цветковых растений, написанный выдающимися английскими ботаниками Джорджем Бентамом (1800 — 1884) и Джозефом Гукером (1817 — 1911).

щий ум, как считали многие — будущий крупный ученый, проявляет ко мне интерес! Однажды, много лет спустя, когда я в Италии подшучивал над ним по поводу газетной публикации о разоблачении очередного плутовства при сотворении христианского чуда, он сказал: «Удивляюсь, что ты не веришь в чудеса, Дэн. Ведь только чудом можно объяснить, что мы с тобой встретились».

Вскоре он взял меня с собой на прогулку в Уотлингтон; потом последовали новые вылазки на природу. Первые барьеры между нами мы преодолевали с помощью орхидей. А барьеры между нами были — даже по университетским меркам. Я уже писал для журналов, был не чужим человеком в университетском театре; носил маску (притворную) легкомысленного человека, на учебу тратил минимум времени. У меня была тьма знакомых, которых я тогда называл друзьями, но почти все они мало чем отличались от меня самого и в Оксфорде прожигали жизнь, проводя время весело и шумно; нас связывали не столько симпатия и общие интересы, сколько склонность к публичному самолюбованию. С отрочества и даже со времени приезда в Оксфорд после военной службы мой характер претерпел разительные перемены. Я многое отринул. Я писал себя, писал главным героем пьесы, причем был не только вымышленной фигурой, персонажем и актером, играющим этот персонаж, но и автором, который сидит в задних рядах партера и восхищается написанным. Все мои так называемые «друзья» тоже в большей или меньшей степени жили на сцене; Энтони же в отличие от них лишь сидел рядом со мной в зале.

Что касается орхидей, то я придерживался точки зрения Энтони: подобные увлечения надо делить только с такими же любителями этого дела и не докучать другим. В то время я еще не понимал, что природу он не любит. Что он просто хорошо овладел полевой ботаникой — точно так же, подозреваю, как в дальнейшем он профессионально овладел философией. У меня так и не хватило терпения (или же ума) прочитать его книги. Когда он стал профессором и философия заняла место ботаники, он перестал говорить о ней с кем-либо вне своего узкого профессионального круга. Еще одно открытие я сделал гораздо позже: хотя мы были практически ровесниками, в каком-то смысле он заменял мне отца. Эта мысль в то время привела бы меня в такое исступление, что наверняка убила бы нашу дружбу — именно так я тогда сознательно «убил» в себе образ моего настоящего отца и его замшелого мира. Не знаю, понимал ли это Энтони. У него хватило бы проницательности, но вот времени на Фрейда не было совсем.

В наших походах за орхидеями мне всегда отводилась роль «шикари»[1] — в мою задачу входило найти дичь, стрелял всегда Энтони. Мне доставляло особое удовольствие находить редкие экземпляры — мои первые (и, увы, последние) пурпурные Венерины башмачки недалеко от Горинга, одинокий цветок Cypripedium reginae под залитой солнцем рябиной на опушке березовой рощи в Чилтернских холмах. Для него же не было большей радости, чем попасть в сырое болото, где в изобилии рос обычный ятрышник, а потом считать, измерять и записывать малейшие признаки гибридизации. Мне хотелось найти цветы, ему — открыть новые подвиды. Я жил поэтическими переживаниями (которые таил), он — ботанической систематикой. Детское одиночество вынуждало меня искать убежища в природе — моей поэзии, моих мифах, единственном доступном мне театре; пусть на девять десятых то были эмоции и сублимированные желания, но они имели ауру, тайну, первобытную магию. Многие годы моей взрослой жизни прошли без настоящего общения с природой, но детские травмы помнятся долго. И до сих пор, чтобы выз-

[1] Охотник-туземец, помогающий белому на охоте.

вать во мне юношеские переживания, достаточно сущего пустяка — цветущего сорняка у бетонной стены, птицы, мелькнувшей за окном городской квартиры; прежние переживания рвутся наружу всякий раз, когда мне напоминают об утрате. Я боялся ездить с Дженни на машине по Америке, ибо знал, что буду проноситься мимо тех мест, где один обязательно остановился бы; и не как серьезный натуралист, хотя, возможно, именно такой вид я бы на себя и напускал, а как обиженный, запуганный ребенок, который когда-то прятался в зеленых холмах Девона.

Эта часть моего «я» совершенно подавлялась антисептическим присутствием Энтони; кроме того, в те времена его целеустремленность еще казалась мне достоинством — она лишний раз подчеркивала мою незрелость и мой мягкий характер. Лгать об этом я начал ему... а потом уже Нелл и Джейн.

С Джейн я был плохо знаком на первом курсе; о ней уже говорили, она уже произвела фурор в университетском драматическом кружке, а я ощущал себя сосунком. Нелл тогда еще в университете не училась. Однажды, желая пустить Энтони пыль в глаза, я представил его Джейн. Она пожаловалась, что ей надо написать сочинение о Декарте; Энтони принялся объяснять. Мне было пора на занятия, и я оставил их, втайне удивляясь, что двое столь разных людей могут иметь между собой хоть что-то общее. Их сближение произошло далеко не сразу. Мне кажется, что до конца того семестра их видели вместе всего один или два вечера. Каникулы они провели порознь, но, видимо, переписывались; а к концу календарного года их уже считали парой. Тут и появилась Нелл, мой утешительный приз. Она была симпатичнее Джейн, и девическая сдержанность еще скрывала в ней будущую светскую львицу. По моим представлениям, мы все четверо на редкость подходили друг другу. Голое тело Нелл — когда я был к нему допущен — доставляло мне огромную радость и весь второй курс помогало мне скрывать мои истинные чувства.

Два последних студенческих лета сестры нередко участвовали в наших походах за орхидеями и высмеивали наше увлечение как могли. Не хотелось, чтобы об Энтони создавалось впечатление как о человеке, лишенном чувства юмора, но в его жизни все было слишком расчисленно. Любую одержимость он считал дурным вкусом. Он почти никогда не смеялся над собой, но всегда откликался на девичьи поддразнивания. Фраза «Ну-ка, вычертим этого типа» стала чем-то вроде дежурной шутки в нашей компании. Я до сих пор не понимаю, что она означает, но тогда мы просто корчились от еле сдерживаемого смеха. Чаще всего мы употребляли ее в разговорах о посторонних. А среди нас — по отношению к Энтони, чем и грешили против истины. Потому как настоящим посторонним в нашей компании был я. Для девушек природа была прогулками, пикниками и слушанием соловьев на Отмуре — мы с Энтони в это время занимались ботаникой; для него — кроссвордом, отдыхом от абстрактных идей в мире конкретных вещей. А для меня — всем, чего я более никогда не обрету.

Когда много позже, после развода и мстительной пьесы, я наконец увидел эту часть самого себя в истинном свете, решение нашлось быстро. Но вновь пустить корни в знакомых с детства местах после всего пережитого оказалось намного труднее, чем я предполагал. Ферма в Девоне мне быстро наскучила, я начал томиться одиночеством, прежняя магия исчезла, а нынешняя природа казалась монотонной и однообразной. Я пристрастился к кочевой жизни, все чаще покидая Торнкум. Только благодаря частым отлучкам я и не возненавидел его.

Именно тогда я попал под обаяние новых мифов и новой магии, ибо как раз к тому времени относятся мои первые успехи в кино, которое дало мне новую возможность — похожую, если не в деталях, то по существу на предоставленную мне Оксфордом — носить маску и выдумывать для себя характеры... снова писать самого себя. Я с готовностью увлекся позолоченными химерами карьеры: счастьем постоянной занятости, необходимости людям, свободой от семейных и прочих уз, вечными перелетами, трансатлантическими телефонными звонками ни о чем. Я стал на одну треть американцем и на одну треть евреем; а оставшуюся английскую треть я, смотря по обстоятельствам, или выпячивал, или прятал. Дженни права: я пользовался этой английской третью как оружием от скуки и отрекался от нее, когда мне было хорошо; короче говоря, низвел ее до положения Золушки. Моя английская треть была служанкой у двух других.

Я настолько мало бывал в Торнкуме, что начал подумывать: а не продать ли мне его? Возвращаясь туда после предательски долгих отлучек, я с огорчением всматривался в укоризненные глаза, которыми глядят заброшенные сады и здания. Я видел, как выросли посаженные мною деревья или кусты, и тосковал о маленьких ежедневных открытиях в крошечном мирке, которые знакомы только крестьянам. И тогда я снова влюблялся в это прекрасное место. И со временем меня все меньше беспокоила мысль, что через пару недель я снова начну маяться скукой. С Торнкумом все было в порядке, беспорядок гнездился во мне самом.

Может, именно в этом и заключается сокровенная сущность английского характера: скорее терпеть несчастье, чем пытаться деятельно избавиться от него. Мы кичимся своей способностью к компромиссам, которые суть не что иное, как отказ от выбора: в отказе же от выбора немало трусости, апатии, эгоистичной лени; с годами я все больше убеждаюсь, что наша любовь к компромиссам отражает также и особенности нашего воображения, нашу национальную и индивидуальную склонность к метафоре, наше умение придать гипотезе о нас самих, нашем прошлом и будущем почти такую же достоверность, как и действительным событиям и судьбам. Другие нации смотрят на себя в зеркало и либо мирятся с увиденным, либо делают практические шаги к тому, чтобы улучшить свой облик. Мы же рисуем на стекле свой идеальный или воображаемый образ, а потом коснеем во грехе несовпадения со своим идеалом. Ничто так не отличает нас от американцев, ничто так точно не характеризует, как то, насколько по-разному мы используем наш общий английский язык — для них он является инструментом даже в поэзии, а мы поэтизируем его, используя всего лишь инструментально; то же самое различие объясняет и невиданные семантические тонкости обычной английской интонации в сравнении со скудостью нюансировки даже самой утонченной американской речи.

Эти два диалекта представляются мне двумя разными реакциями на одно и то же: на жажду свободы. Американский миф — это свободная воля в самом простом, примитивном смысле. Человек волен выбирать свой путь и добиваться желаемого; и это абсурдно-оптимистическое предположение пустило настолько глубокие корни, что породило практически все громадные социальные несправедливости США. Неспособность достичь успеха считается моральным, а не генетическим изъяном. Лозунг «Все люди рождаются равными» превращается в существенно иной: «Приличное общество не может помогать тем, кто не сумел остаться равным». Этот миф настолько овладел американским обществом, что в него верят даже бедняки, которые в первую очередь должны были бы в нем разочароваться. По моим наблюдениям, это заблуждение разделяют в США даже самые тонкие и умные либералы. Европейские переселенцы отправ-

лялись в Америку, дабы избежать двух вещей: политической тирании и неравенства шансов в борьбе за существование — они так до сих пор и не поняли, что две эти цели несовместимы и что изначальная несправедливость жизни ничуть не меньше старой европейской экономической несправедливости. С последней американская система пыталась справиться, предположив, что все люди в одинаковой степени наделены силой, талантом и удачливостью; и ничего удивительного, что в конце концов столкнулась с еще большей несправедливостью.

Это предположение разделялось, конечно, и англичанами шестнадцатого и семнадцатого столетия. Но мы уже давно отказались от него. Несправедливость и неравенство столь же присущи жизни, как и слезы Вергилия[1], и мы изъяли свободу из любой жизненной реальности. Она есть чистая идея, Утопия, в которую мы тайно бежим от нашей повседневности; вот почему я всегда жил в Торнкуме более мысленно, чем на самом деле. Именно эта черта объясняет необычайную терпимость англичан к национальному упадку, к привычке прозябать; именно она привела нас к социальному консерватизму и консервативному социализму. Наше общество в его теперешнем состоянии — ничто, мертвая реальность, лишенная живого воображения; вот почему мы выработали язык, которым подразумеваем больше, чем говорим — и эмоционально, и образно. У американцев все наоборот: они подразумевают и чувствуют намного меньше, чем говорят. В обоих случаях цель одна: ощутить себя свободным. Американские циники лишь притворяются таковыми; настоящие циники, истинные квиетисты[2], живут на Британских островах.

Я пытаюсь оправдать себя, а не объяснить различие культур. Мое отношение к природе, прошлому, Торнкуму в какой-то мере связано с моей жизнью и моей наследственностью; но в не меньшей степени и с тем, что я англичанин.

Немотивированный поступок

Когда под крылом самолета, летящего в Нью-Йорк, показались заснеженные пространства (началась та часть мира, где зима — настоящая), перед его мысленным взором поплыли события того дня. Дэн перевел часы на местное время.

События, произошедшие в 1950 году в моей оксфордской комнате, покажутся сейчас неправдоподобными; уже трудно представить и греховность, и серьезность случившегося. В моей далеко не целомудренной жизни не было соития более чудовищного и пугающего. Оно, видимо, было и достаточно ужасным в самом обычном смысле. Никаких подробностей, кроме того, что Джейн уступала в опыте своей сестре, не помню. С Нелл мы уже позволяли себе вольности (вернее, то, что в те времена под этим понималось) и были весьма знающими людьми с точки зрения сегодняшних руководств по интимной жизни. Физическая наивность и невинность Джейн поражали; когда мосты были сожжены, она стала совершенно пассивной. Мы забрались в постель, я овладел ею, продолжалось все это, подозреваю, недолго. Если я и помню те минуты, то только за их мучительно-притягательную порочность, предательство, ирреальную реальность, за их непонятную связь с женщиной в камышах; и, превыше всего, за осознание того, что после открытия воображаемых дверей возврат к невинности стал в чем-то невозможен. Мы, если угодно, сделали шаг (в то первое послевоенное, насыщенное мар-

[1] Данте Алигьери. «Божественная комедия», «Ад», песнь XIV.

[2] Квиетист — последователь религиозного учения, доводящего пассивное подчинение богу до безразличия к «спасению» собственной души.

шами время все были одержимы этим занятием) не столько в дьявольскую тьму, сколько в собственную исключительность; прежде такое никому и в голову прийти не могло, ни один другой век не мог похвастаться нашей раскованностью, нашей готовностью к эксперименту. Возможно, то был действительно наш первый шаг в двадцатый век.

Я думаю о Дженни, той простоте и беззаботной грации, с которыми она, словно угорь, выскальзывает из одежды в наготу и плотские забавы. Я думаю о смуте тех дней, о нашем невежестве и чувстве вины... сегодня Рабле с лихвой наверстал упущенное, все теперь намного проще. Теперь не надо изгонять бесов единообразия; не надо высвобождать *ид*[1]; не надо мучительно пережидать долгие годы, отделявшие когда-то половую зрелость от того, что она с собой приносит. Нет слов, в чем-то мы преуспели; сублимировалось столь многое и столь долго, что мы поневоле приобрели по крайней мере рудименты истинной культуры. Мы с Джейн были тогда на пять лет моложе поколения наших детей в сексуальном развитии, его физическом и языковом выражении и на пять лет старше почти во всем остальном. Вот и еще одна пропасть.

Наша уступка экзистенции и друг другу, разумеется, таила зло. Замарав печатный текст жизни, нарушив ее законы, она познакомила Дэна с губительным вкусом прелюбодеяния, соблазна, с той ролью, что потом исполнила Джейн. Может, тогда в этом и виделось добро, какое мы обычно связываем с великим, но безнравственным искусством, с обожествлением собственного «я», но мы еще не знали, что жизнь и искусство не взаимозаменяемы. Дэн не понимал происходящего; не понимал, что мало найти вход, надо еще знать и выход.

Они лежали, обнявшись, в оцепенении, больше похожие на Кандида и Кунегунду[2], чем на молодых интеллектуалов. Потом повернулись на спину и, взявшись за руки, смотрели в потолок.

Дэн спросил:

— Что будем делать?

Она пожала его руку.

— Ничего.

— Но не можем же мы... — Он не закончил фразы.

Помолчав, она сказала:

— Я действительно люблю Энтони. А Нелл любит тебя.

— Но мы же любим друг друга.

Она снова пожала его руку:

— Мы могли бы любить друг друга.

Пальцы их рук переплелись, теперь уже он стиснул ее руку.

— Мы не можем притворяться, будто ничего не произошло.

— Должны.

— Но это будет чудовищной ложью. Такой...

— Мы просто не будем об этом говорить.

Он замолчал. Хотел посмотреть на нее, но не смог; опять уставился в потолок.

Она сказала:

— Мы сохраним это в тайне. Они ничего не должны узнать.

— Разве можно жить на пороховой бочке?

— Вот почему ее и надо было взорвать. Я леденела от ужаса: а что, если Нелл заметит?!

И тут впервые в жизни у Дэна возникло ощущение, что им просто воспользовались.

— Так нельзя.

Снова наступила тишина. Потом она сказала:

---

[1] Ид — зародышевая структура, содержащая наследственные качества.

[2] Герои философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм».

— Когда мы пришли сюда, я про себя решила, что, если ты захочешь, я лягу с тобой в постель. Но уж после этого я не только выйду замуж за Энтони, но и... приму католичество.

Он, наконец, взглянул на нее.

— Безумие какое-то.— Он подыскивал слова.— С точки зрения католика, ты только что совершила смертный грех.

— Каковой и должна теперь искупать. — Она еле заметно улыбнулась, и он, поскольку не отвел от нее взгляда, почувствовал, что сказано это было всерьез. Потом добавила:— И ты тоже.

— Всю жизнь?

— Дай мне сигарету, пожалуйста.

Он потянулся за пачкой, достал две сигареты, прикурил обе и одну передал ей. Она села, выбравшись из-под простыни, он обнял ее. Она склонила к нему голову.

— И еще я решила, что казнить себя за это не буду. Никогда.

— Но ты только что сказала, что мы должны искупить этот грех.

— Прости, я знаю, в этом нет логики. Я не стыжусь того, что было. Но стыдилась бы, если бы не могла взять себя в руки. Если бы мое желание оказалось для меня важнее Нелл и Энтони.

— Тебе даже не особенно понравилось.

— Понравилось. Все было так, как я и ожидала.

— Что ж, для первого раза...

Она прижалась к нему головой, провела под простыней рукой по его бедру и легонько ущипнула. Он притянул ее к себе. Но едва они начали целоваться и Дэн снова почувствовал, что еще ничего не решено окончательно, как внизу громко хлопнула входная дверь. Хотя дверь комнаты была заперта, они оцепенели от страха и уставились на дубовые створки так, будто верили, что человек, как в мультфильме, сможет беспрепятственно пройти сквозь них. В голове у Дэна мелькнуло, что это может быть Нелл; и она, не исключено, дождется хозяйки и попросит ее открыть дверь комнаты Дэна...

Никогда в жизни я так не боялся, ни до, ни после; но шаги были слишком быстрыми и тяжелыми. Они действительно замерли около моей двери, раздался стук, кто-то подергал за ручку, немного подождал и ушел наверх. Двое в постели услышали шаги над собой. Это был Барни Диллон, студент, живший в комнате наверху.

Джейн повернулась, обняла Дэна и поцеловала его быстро и страстно; потом отстранила от себя и долго смотрела в глаза. Затем встала с постели и начала одеваться. Они застелили постель — все делалось лихорадочно, но молча. Сверху доносились звуки радио, какая-то музыка; потом снова шаги. Они чувствовали, или по крайней мере Дэн чувствовал, одновременно и облегчение, и страх. А ведь вместо Барни могла прийти Нелл, и эта опасность пока не миновала. А еще он чувствовал себя оскорбленным и обманутым, будто неожиданное вторжение постороннего организовала Джейн. Она же причесывалась, напряженно вглядываясь в одно из зеркал. Потом протянула к нему руки, и он взял их в свои.

— Мне пора. А вдруг он спустится?

— Но...

— Не надо, Дэн.

— Я не смогу скрывать это.

— Ты должен.

— Мы так много еще не успели сказать друг другу.

— Все равно не смогли бы. Это не важно.

Она снова поцеловала его и снова отстранилась первой. Немного постояла, уткнув голову в его плечо. Потом сказала:

— Проверь, пожалуйста, нет ли кого-нибудь.

Он осторожно отпер дверь. Они на цыпочках спустились вниз, Джейн несла туфли в руках. Пока он выглядывал из парадного, она надела их.

— Все в порядке.

Она в нерешительности опустила голову.

— К Нелл я зайду позднее. — Потом добавила: — Если ты, конечно, не против.

Он затряс головой. Что на самом деле означало: не понимаю, как ты вообще можешь думать об этом... хотя необходимость такого шага ему была очевидна. Она подняла голову и посмотрела ему в глаза:

— Я могу справиться с этим сейчас как раз потому, что не могла раньше. Хоть это-то ты понимаешь?

Он не ответил, лихорадочно соображая. Но в конце концов кивнул. Выражение ее глаз было странным, в них угадывалось что-то близкое к отчаянию, желание получить то, чего дать он не мог. Она подалась вперед и неожиданно поцеловала его в губы. В следующий миг она уже была за порогом. Он закрыл дверь и какое-то время смотрел на замок и на свою застывшую руку, стараясь представить, чего он отныне лишился и каким будет наказание за содеянное.

Потом на цыпочках поднялся наверх и скользнул мимо своей комнаты в ванную. Вернувшись к себе, он громко хлопнул дверью — на случай, если Барни прислушивался. Все в комнате казалось странным, неуловимо изменившимся; особенно его собственное лицо в зеркалах. И вдруг он почувствовал необычную радость и даже улыбнулся себе. В конце концов, все случившееся было фантастичным, невероятным, по-настоящему удивительным, ужасно современным и взрослым; и потом, ничего окончательно не решено — Джейн любит драматизировать будущее. Важно только, что это произошло; и вдруг глубоко запрятанное чувство неполноценности, связанное с Энтони, каким-то странным, но очень основательным образом ослабло. Дэн в очередной раз начал писать самого себя.

И настолько успешно, что через каких-то десять минут нашел в себе достаточно наглости и самообладания, чтобы подняться наверх к Барни Диллону.

Возвращения

В аэропорту Кеннеди пришлось около часа ждать лондонского рейса. Мне бы следовало за этот час найти по телефону Дэвида Малевича, который был в это время в Нью-Йорке, и поговорить с ним о новом сценарии, посвященном Китченеру[1]. Но я слишком устал и был слишком поглощен прошлым. Единственное, что мне удалось сделать,— это послать телеграмму о своем приезде Каро — ее матери я не доверял.

В последнее время Каролайн вызывала у меня все меньше угрызений совести. Немало лет я и своей дочерью ее не считал — так, нечто отданное когда-то Нелл, к чему меня время от времени, не утруждая себя любезностями, допускали. Наши короткие встречи омрачались взаимными подозрениями. Нелл приучила ее видеть во мне предателя и отступника, я, со своей стороны, приписывал ребенку слишком много материнских черт. Внешне она очень походила на свою мать, а вот умом — нет. Не помогали, естественно, развитию ее ума ни сельская жизнь, на которую ее обрекли мать и отчим, ни прогулки верхом на лошади, ни отвратительная школа-интернат для болванов из высшего общества (этот выбор Нелл оплачивал, естественно, я). Когда Каро была подростком, я потратил немало сил на попытки привить ей азы культуры и разубедить в том, что сельские консервативно настроенные дворяне — единственные порядочные люди на этом свете. Но мои старания разбивались о стену смущенного непонимания. Два года назад для меня и Нелл пришло время

[1] Г. Г. Китченер (1850 — 1916) — граф, английский фельдмаршал.

определить ее будущую деловую карьеру. Об университете (даже самом захудалом) и речи быть не могло. За границу она ехать не хотела. В конце концов мы остановились на секретарских курсах в Кенсингтоне [1] — заведении для бедных умом девиц из богатых семей.

Вот тогда-то я и начал знакомиться с ней по-настоящему и под личиной наивной глупости постепенно обнаружил приятного для себя человека. Я открыл в ней зачаточные формы независимости, которые не без тщеславия относил к действию своих генов; нежность и совершенно новое к себе отношение. Я многое узнал о Нелл и Эндрю и ее собственной очень замкнутой жизни в Комптоне. Поскольку сплетничать она не любила, все эти знания были прочитаны между строк. Жизнь в Лондоне — пусть и в общежитии, за которым надзирали с тюремной свирепостью,— открыла ей глаза на свой дом, где многое ей истолковывали неверно; особенно все, касавшееся меня. Короче говоря, мы переживали запоздалый для отца и дочери роман. Мне позволялось подтрунивать над некоторыми ее недостатками, она, в свою очередь, вышучивала мои. У нее были молодые люди, ничего предосудительного или нездорового я в этом не находил. Однажды она неожиданно заговорила о наших прежних неловких свиданиях — их скованности и скуке,— и мы дружно смеялись, припоминаная все новые и новые отвратительные подробности. Как это было прекрасно: словно ты увидел перевернувшуюся лодку, но никто не пострадал, и в конечном счете происшествие это лишь повеселило участников.

Прошлым летом она закончила курсы и, немного отдохнув, устроилась на работу. У нее был неплохой выбор, но она, по моему совету, предпочла редакцию газеты... назовем ее «Санди Таймсервер». Все другие предложения были связаны с Сити[2], а я хотел, чтобы она занималась чем-то более человечным, чем курсы акций и жаргон делового мира. Литературных способностей у нее не было совсем, но мне казалось, что работа в большой газете — пусть даже и в самой скромной должности — наскучит ей не так быстро, как все остальное. К тому времени у нее появился более или менее постоянный молодой человек. Я знал, что она с ним спит и что, возможно, выйдет за него замуж; так что мне оставалось только занять ее делом и подождать, пока она приобретет хоть какой-то жизненный опыт, выходящий за пределы глостерширского поместья и кенсингтонского интерната. Ей хотелось иметь собственную квартиру, но на время моей работы в Калифорнии я предложил ей свою. Эта старомодная, но большая квартира в Ноттинг-Хилл[3] была последней в нашей совместной жизни с Нелл; по договору о найме я мог распоряжаться ею в течение девяноста девяти лет. Было бы глупо не использовать ее. Поэтому Каро вскоре переехала туда, а я отправился в Калифорнию. Писала она редко, но если писала, то не упускала случая посетовать на то, как «ужасно», что она вынуждена занимать мою квартиру; эти сетования, естественно, обижали. Они означали, что еще не все нормально в наших отношениях. То же самое происходило и с деньгами, с которыми она обращалась весьма экономно (этой добродетелью она, видимо, обязана своему отчиму). Начав работать, она сразу отказалась от моей помощи. И хотя причины назывались самые благородные (я уже и так «состояние» истратил на ее образование и прочее в этом же роде), меня это сильно задевало. И все же Дженни была права: я гораздо больше ныл о мелких недостатках своего сближения с дочерью, чем наслаждался очевидными крупными достоинствами этого обстоятельства.

Мысль о том, что я скоро вновь увижу ее, доставляла искреп-

---

[1] Фешенебельный район в центральной части Лондона.

[2] Историческое ядро Лондона, крупнейший финансовый и коммерческий центр Великобритании.

[3] Бедный район в западной части Лондона.

нее удовольствие, смешанное с не менее искренним чувством вины, ибо я пробыл в Америке намного больше, чем первоначально намеревался. Я знал, что Каро догадывается об истинной причине моей задержки. В письмах я пару раз упоминал имя Дженни, хотя, естественно, характера наших отношений не касался. Слухи о них уже наверняка дошли до Каро, и я внутренне приготовился к ее ревности. Последние три недели она мне вообще не писала. Но с другой стороны, учитывая ее теперешний опыт и самостоятельность, я рассчитывал, что оксфордская трагедия вновь сблизит нас.

Объявили посадку на мой рейс. Я поднялся в самолет и занял сразу три кресла — народу было немного, самолет садился в Лондоне в два часа ночи, когда мудрые люди обычно не прилетают. Потом я попытался решить, чего мне больше хочется — есть или спать. Спать, решил я и сел в кресло в ожидании взлета.

В салон вошел последний пассажир. Когда он проходил мимо меня, я поднял на него глаза и наши взгляды встретились. Он потолстел, заметно полысел, но на губах его играла все та же чуть саркастическая, немного насмешливая улыбка; на какой-то миг в его глазах мелькнуло запоздалое сожаление, что он взглянул вниз и увидел меня. А вот удивление было искренним — и с его, и с моей стороны.

Он сказал:

— Боже ты мой. — Затем закрыл лицо рукой и произнес те же слова, что сорвались с моего языка всего несколько часов назад: — Призраки явились.

И я наконец понял, что тот далекий день в Оксфорде уходить в небытие не собирается.

Несмотря на его кривую ухмылку и постоянную готовность ужалить в незащищенное место, знакомством с ним в университете гордились. Диллон-остроумец, Диллон-проныра, Диллон — столп «Айсиса»[1]: тогда известность была миррой и ладаном, а Барни Диллон мог создать ее. Он представлял собой другой, отличный от Энтони, тип зрелого человека; его уже знали на Флит-стрит[2], уже тогда он появлялся на телеэкране, уже тогда он умел говорить приятные вещи в лицо людям неизвестным и язвительно-острые шутки — в спину знаменитостям. Уже тогда в своих кино- и театральных рецензиях он напускал на себя вид разочарованного денди, в колонке светской хроники был расчетливо злобен, а в более серьезных работах свою патологическую эгоцентричность успешно выдавал за неподкупную честность. Кроме всего он обладал еще и забавнейшей мимикой.

Поднявшись наверх, Дэн застал Барни с книгой на кровати. Барни тоже готовился к выпускным экзаменам. Оторвавшись от книги, он подмигнул Дэну с видом завзятого спекулянта:

— Хочешь, продам хорошую шутку за пятерку?

Дэниэл ухмыльнулся и подхватил игру:

— Я тебе сам сенсационную новость задаром отдам.

— А я их покупаю мешками, приятель. Как картошку.

— Серьезно, Барни. Нечто фантастическое... невероятное.

Диллон уставился на него; потом осторожно улыбнулся:

— Ладно. Вываливай.

Через неделю в колонке светской хроники появилась следующая заметка:

Мы узнали прямо на кладбище, что один из наших многообещающих Бенов Джонсонов раздражен сверх всякой меры. «Ну и что здесь такого?» — спросите вы, а вот мы не спросим, ибо хорошо к

[1] Студенческий журнал Оксфордского университета.

[2] Лондонская улица, на которой находятся редакции большинства крупнейших английских газет.

нему относимся. Похоже, он в полной рассеянности перепутал Прекрасных Близнецов и катал на лодке по тихой заводи не ту из близняшек, как вдруг... впрочем, вы все сами знаете из газет. Так откуда же раздражение? Дело в том, что указанная заводь пользуется дурной репутацией и в своем тимьяне видела не одну только Нелл. Несчастная пара утверждает, что отправилась на реку почитать в тишине. Давно мне не приходилось встречать такую милую непосредственность. Когда же мы повзрослеем?

Дэна обидела не развязность тона, а краткость публикации.

И вот теперь, четверть века спустя, я стоял и тряс его руку.

— Сколько лет, сколько зим, Барни.

— Невероятно. Я ведь только вчера говорил о тебе.

Барни тряс головой в растерянности, которую и не пытался скрыть. В левой руке, через которую был перекинут плащ, он держал портфель; одет он был в нарочито модный, но вызывающе-нестрогий костюм и рубашку без галстука.

Барни продолжил:

— С Каролайн. — Он, должно быть, заметил, что я ошарашен. — По телефону. Разве она тебе не говорила?

— Что не говорила?

— Что она работает у меня секретарем. Вот уже три недели.

— Мне помнится, ты ушел...

К нам подошла стюардесса и широко улыбнулась Барни. Она, судя по всему, знала его.

— Пилоты уже начинают раскручивать пропеллер. Не хотите ли занять свое место, мистер Диллон?

— О, боже. А я еще, черт возьми, не готов. — Он перевел свою ухмылку с нее на меня. — Она знает, что я боюсь летать, как последний трус. Очень рад видеть тебя, Дэн. Прости, пойду брошу свое барахло. А потом все объясню.

Он прошел в глубь самолета и остановился у свободного ряда кресел. Та же самая стюардесса продолжала суетиться вокруг него, шутливая пикировка продолжалась. По другую сторону прохода я заметил английскую чету; они, видимо, тоже узнали Барни: должно быть, видели по телевизору.

После окончания университета пути наши довольно часто пересекались: в клубах, на дружеских вечеринках и театральных премьерах. Я тогда писал пьесы, а он занимался театральной критикой. Мои первые две пьесы он отрецензировал весьма дружелюбно, а через некоторое время опубликовал в каком-то театральном журнале слащаво-хвалебную статью обо мне. Затем он на время отошел от театра, и мы потеряли друг друга из виду. Но ко времени постановки в Лондоне моей пятой пьесы — той самой, о моем семейном разрыве — его имя снова замелькало в театральных колонках газет. Тщательно разобрав мою пьесу, он камня на камне от нее не оставил. Надо отдать ему должное: о предстоящей экзекуции он сообщил мне заранее и даже принес своего рода извинения: мол, обязан выполнить свой долг. Впрочем, ту пьесу кисло приняла вся театральная критика. У меня не вызывала никакой изжоги техническая сторона его разноса, я сам понимал, что пьеса плохая и рыхлая; но использование приватной информации, ссылки на «непрожеванный личный опыт» и тому подобное я простить не мог. То, что он был прав, никакого значения для меня тогда не имело. Я считал, что уж если не старую дружбу, то старое приятельство он предал и что впредь я с ним общаться не буду. С тех пор, учитывая наши занятия, мы, конечно, время от времени видели друг друга. Он иногда писал обзоры и по кино, и я не могу пожаловаться на несправедливое к себе отношение.

Главное в моей неприязни к Барни — отнюдь не его личные качества, а скорее всего то, что он был критиком. Ни один творец не лю-

бит критиков. Слишком уж велика разница между двумя этими видами деятельности. Задача одной — создавать, другой — резать хирургическим скальпелем. Чем бы ни оправдывалась критика, ее суд всегда вершится тем, кто не имеет (евнухом), над тем, кто имеет (производителем); тем, кто ничем не рискует, над тем, кто ставит на карту почти все — и благосостояние, и честь.

В последние десять лет Барни все чаще появлялся на телеэкране, а недавно стал автором и ведущим передачи, в которой интервьюировал знаменитостей. Я ее даже пару раз видел. Он был, пожалуй, чересчур увлечен собой: пытался обмениваться шутками с профессиональным комиком; слишком часто прерывал известного политика. Как и все лицедеи, привыкшие работать перед безжалостной телевизионной камерой, он в конечном итоге вызывал у зрителя недоумение: что этот человек пытается скрыть и почему не может быть самим собой? Программа, которую он вел в последнее время, принесла ему популярность и деньги, но, когда я смотрел ее, то не мог не вспомнить прежнего Барни и его цинизм. Да, в свое время он придерживался более высоких мерок; и уж чего-чего, а подобострастия перед знаменитостями себе не позволял. Он, видимо, сказал бы, что это все признаки возмужания, но оводы не мужают, они, потерзав нас, просто дохнут. Одну из его передач я выключил на середине. Гнев, который я когда-то испытывал к нему, сменился скукой — каким же пустоцветом он, судя по всему, стал.

И вот теперь этот пустоцвет сел в кресло рядом со мной и застегнул свой привязной ремень. Супружеская чета напротив продолжала бросать на нас взгляды.

— Я заказал виски. Не возражаешь?

— Прекрасно. Расскажи мне о Каро. Я считал, что ты ушел из газеты.

— Полаялись, но потом все уладили. — Он пожал плечами. — Просто взял другую колонку. Не хочу терять навыка. — Он кисло ухмыльнулся в мою сторону. — Я стал чертовски знаменит. Я еще помню времена, когда считал удачей получить угол стола в редакции. А теперь у меня свой кабинет и даже секретарша.

— Польза от нее хоть какая-нибудь есть?

— Ну, что ты! Прекрасный работник. Моментально освоилась.

— Рад слышать.

— Никого ко мне не пускает. Меня самого тоже держит в ежовых руковицах. Еще немного — и она меня заменит. — Я улыбнулся. — Потрясающая секретарша. Честное слово.

Барни очень старался быть любезным. А я уже в мыслях унесся к Каро. Хотя, если мне не изменяла память, я никогда не говорил с ней о Барни,— может, Нелл говорила? — у меня мелькнула догадка: а что, если она каким-то образом почувствовала, насколько мне будет неприятна ее работа у Диллона, и пошла на это из мелкой мести за мою связь с Дженни? Разговор наш перешел на другое. Я спросил, что привело его в Штаты.

— Пишу статью о выборах. Обычное дерьмо. — Он скривил губы. — Вонючая страна. Ненавижу. Кажется, они никогда не повзрослеют. Ты, должно быть, и сам с этим сталкиваешься?

— В какой-то степени.

— Конечно, на Западе, в Калифорнии... — Он пожал плечами, потом резко сменил тему: — Я думал, ты там сейчас пишешь сценарий для Голливуда.

— Я лечу повидаться с Энтони Мэллори. Разве Каро?..

— Да, да, она мне говорила. Ужасная история. — Он помолчал.— Мне казалось... — Он осекся, потом усмехнулся: — Прости, это не мое дело.

Он наверняка знал от Каро, что я уже долгие годы не поддерживаю отношений с семьей моей бывшей жены. Я объяснил, что про-

изошло, и мы поговорили немного об Энтони и раковых заболеваниях.

После взлета начали разносить еду. Есть я не хотел, а предыдущую ночь не спал — это было удобным предлогом, чтобы прервать беседу. Я откинулся в кресле и тут же провалился в сон без сновидений.

Тарквиния

Был у них и свой золотой период. На следующий год после окончания университета Энтони от кого-то узнал о пустующей в Риме квартире, и они вчетвером прожили в ней полтора летних месяца. Трое выпускников распростились со студенческой жизнью только формально. Энтони преподавал в Вустер-Колледже [1]. Дэн ставил пьесы в университетском драматическом театре; кстати, платили ему там буквально гроши, жил он на полученные в наследство восемьсот фунтов годового дохода. Энтони и Джейн поженились в декабре; ко времени поездки в Рим она была уже на четвертом месяце беременности. Их свадьба была помпезной и многолюдной — присутствовала вся мыслимая родня с обеих сторон; Дэн исполнял роль шафера. За месяц до этого Джейн приняла католичество. После Нового года молодожены переехали в отдельный домик в Уитеме. У Дэна и Нелл, зарегистрировавших брак в мэрии после выпускных экзаменов невесты, свадебная церемония была много проще, и Рим стал для них символическим медовым месяцем. Если кто-нибудь предыдущим летом сказал бы Дэну о возможности подобного путешествия вчетвером, он не поверил бы. Но за год много воды утекло.

После acte gratuit Джейн ему видеть не хотелось. Но назавтра она явилась к нему домой вместе с Энтони. Это, как она того и хотела, произошло настолько внезапно, что совершенно избавило его от тягостного ожидания неизбежной встречи. Утренние газеты уже сообщили, что они с Джейн накануне обнаружили труп (убийца так никогда и не был найден). Энтони был заинтригован и хотел выслушать версию Дэна. Дэн должен был вести себя с ним как ни в чем не бывало. С Нелл тем же утром ему пришлось держать себя точно так же. Она знала, что он готовится к экзамену, и, проезжая на велосипеде мимо — по пути на первую лекцию,— заглянула к нему на минутку. Обмануть ее не составило труда. Загородная прогулка Дэна и Джейн вызвала у нее не подозрения, а искреннее возмущение: чудовищно, невероятно, «такой идиллический уголок...».

Он обнаружил, что может смотреть на Джейн безо всякого смущения. Он даже начал испытывать запоздалую жалость к Энтони, но, убедившись, что пускать пыль в доверчивые глаза — дело нетрудное, стал снисходительнее и к себе. То была комедия, решил он, десятиминутное безумие. Он уже чувствовал, что все обошлось, что не надо драматизировать события, и даже сравнивал мысленно Джейн и Нелл, убеждая себя, что Нелл лучше и что ревности он не испытывает. Но тут Энтони вышел из комнаты в туалет, и они остались вдвоем. День был теплый, она забралась с ногами на подоконник и, подперев руками подбородок, смотрела в сад, а Дэн лежал на кровати. Они молчали, не глядя друг на друга, и на смену «притворству» снова пришла неуступчивая действительность. Джейн вдруг спрыгнула на пол и подошла к кровати. Он посмотрел ей в глаза.

Она медленно произнесла:

— «О, будь конец всему концом...»

— Об этом не беспокойся.

---

[1] Один из колледжей Оксфордского университета, основан в 1714 году.

[2] У. Шекспир. «Макбет». Действие I, сц. 7.

— Нелл?

— О ней тоже. Она уже забегала утром.

Он так пристально смотрел на нее, что она отвернулась. Положив руки на каминную доску, она сосредоточенно разглядывала незажженную газовую горелку.

— Ты на меня сердишься?

— Помнишь, как кончается эта реплика Макбета?

— Нет.

— «Кто стал бы думать о грядущей жизни?»

Она открыла рот, намереваясь сказать что-то, но передумала. Наступило долгое молчание.

— Мы вчера вечером долго говорили о тебе. Я и Нелл.

— Обменивались впечатлениями?

Она проглотила сарказм и сказала спокойно:

— Ты сердишься.

Он заложил руки за голову и уставился в потолок.

— Ты, кажется, уже жалеешь о том, что произошло.

— Только если в тебе осталась горечь.

— Так что вы с Нелл решили? Я для нее достаточно хорош?

Из коридора донесся голос Энтони; они догадались, что он, видимо, столкнулся в коридоре с соседом Дэна, которого знал еще по Винчестерскому колледжу. Джейн ответила не сразу:

— Дэн, если мы сейчас остановимся, я еще могу быть счастлива с Энтони. А если не остановимся... Нелл на самом деле хочет выйти за тебя замуж. Ты и не подозреваешь, как сильно она любит тебя.— Она бросила на него быстрый взгляд сверху вниз, стоя по-прежнему лицом к камину. — В чем-то мы с тобой навсегда останемся ближе друг к другу, чем к ним.

— В безумии.

Она улыбнулась, а потом заговорила серьезнее:

— В том, чем мы пожертвовали ради них.

Дверь открылась, и в комнату вошел оживленный Энтони. Джейн повернулась к нему:

— Дорогой, наш студент хочет заниматься. Я тоже.

Он ненавидел ее в тот момент. Она даже говорила с интонациями Нелл. Обстоятельства, конечно, оправдывали ее притворство, но такая искусная игра обесценивала только что сказанное, ту мудрость и самопожертвование, которые как бы приуготовляли ее к исполнению роли праведной католички. И все же, как это ни странно, он в глубине души чувствовал, что она по-своему любит его, понимает его намного лучше, чем Нелл, физически желает его, а не Энтони. То, что произошло, представлялось попыткой вырваться из оков своего «я»... в раблезианский миф; но, потерпев неудачу, заплатив непомерную моральную цену, она теперь еще крепче привязалась к прежним ценностям.

А затем словно по мановению волшебной палочки они с Джейн начали избегать оставаться наедине. Иногда он осторожно искал ее взгляда. Она нежно улыбалась ему и опускала глаза. Слов не требовалось, все навечно забыто. Видимо, какую-то роль сыграло и ее принятие католичества, что исподволь сказалось на взаимоотношениях всех четверых.

Изменилась и Нелл. Их отношения с Дэном никогда не отличались — во всяком случае, так казалось Дэну — исконной праведностью и преданностью, которые связывали Джейн и Энтони. Они понимали друг друга, и не только в постели, любили бывать вместе на людях. Но в Нелл всегда было что-то мелкое, непостоянное, нетерпеливое. Она любила веселые вечеринки, любила нравиться и флиртовать — по меткому замечанию Джейн, «сорить нежными взглядами». Нелл гораздо чаще, чем сестра, пользовалась своей внешней привлекательностью, пытаясь этим компенсировать недостаток дру-

гих качеств. Впрочем, серьезность Джейн постепенно подействовала и на нее. Нелл по-настоящему взялась за учебу и повзрослела в других, самых неожиданных отношениях: например, начала играть роль заботливой хозяйки в квартире на Бомон-стрит, куда переехал Дэн. Женитьба надвигалась неотвратимо. По сравнению с собой прежней Нелл стала любящим и преданным существом. Дэну это нравилось; и когда стало известно о беременности Джейн, все его прежние тайные мечты и сомнения улетучились. Он окончательно смирился с тем, что судьбой ему предназначена Нелл.

Раньше никто из нас в Италии не был — все казалось новым и волнующим. Нам даже жара нравилась; запущенная, но просторная квартира с кафельными полами приводила нас в восторг; чего уж говорить о бесконечных сиестах, шатании по городу или вылазках на природу. Из-за жары и беременности Джейн мы ходили не торопясь. Иногда я отправлялся с Нелл на прогулку вдвоем, но в то лето мы, все четверо, на удивление хорошо ладили между собой, лучше, чем когда-либо раньше. Между мной и Джейн — в Риме нам, разумеется, иногда приходилось оставаться наедине — ни слова не было сказано о прошлом. Поскольку мы уже научились притворяться, будто между нами никогда ничего не было, а также могли обсудить картину или вместе, как старые друзья, пойти в соседний магазин за покупками, я решил, что мы наконец выросли. Она относилась к своему будущему ребенку с благоговейным трепетом, Энтони же переживал острый приступ невроза, связанный с заботами о ее здоровье и здоровье своего первенца; но эта слабость казалась нам и подкупающей, и простительной. Когда мы все смеялись над его суетливой заботливостью, он, в свою очередь, смешил нас рассказами о несуразностях католического Рима. Религиозность не отгораживала Энтони и Джейн от внешнего мира. Мы с Нелл привычно подшучивали над ними, когда они начинали, словно пара гурманов, с наигранным тщанием выбирать по путеводителю церковь для воскресной мессы. После их ухода мы служили нашу собственную мессу, занимаясь любовью на залитой солнцем террасе. Нам они казались людьми для своих лет чересчур солидными, но приятными в общении.

Истинной же Библией для всех четверых в то лето был роман «Море и Сардиния» [1]. Мы дружно считали, что имперский Рим был невыносимо вульгарен. Все доброе мы относили только к Лоуренсу и этрускам. Нас влекли все достопримечательности, связанные с ними. Мы, конечно, изображали из себя язычников и были, разумеется, заурядными оксфордскими эстетами.

Высшей точкой и символом тех голубовато-охряных недель стала Тарквиния. Погребальные склепы с росписями были в то время еще закрыты для посещения, но Энтони назвал хранителю имя своего нового друга — профессора Оксфордского университета, и осмотр нам разрешили. Закончили мы его только с наступлением вечера. Впечатления были удивительными: во мне они возродили многое из моего девонширского детства. Хотя Энтони знал об этрусках намного больше меня, я чувствовал, что понимаю их глубже. Кажется, именно тогда я впервые осознал всю никчемность понятия «прогресс в искусстве»: ничего и никогда не может быть лучше или красивее увиденного. Печальное искусство, но в каком-то благородном, запоминающемся, плодоносном смысле.

Мы вернулись в маленький городишко, сели пить вино и, как водится в таком возрасте, заговорили о своих чувствах, о том, как все это было ужасно трогательно, как... и вдруг решили, что остаемся здесь на ночь. Зашли в две-три гостиницы — все номера были заняты отдыхающими итальянцами.

[1] Книга путевых очерков английского писателя Д. Г. Лоуренса (1885 — 1930).

Однако в одной из них нам рассказали о pensione на берегу моря, километрах в пяти от городка. Две сестры и я легко справились с сомнениями Энтони. В пансионе нашлась всего одна свободная комната, но в ней были две двуспальные кровати, и мы отпустили старое такси, на котором приехали. Потом долго ужинали и снова пили вино во дворе под виноградными лозами. Было душно, и, слегка опьянев, мы пошли гулять по пляжу вдоль молчаливого равнодушного моря. Нелл и Джейн захотели искупаться. Мы разделись, разбившись на пары по полу, а не семьями. Женщины вошли в воду, потом дружно повернулись и позвали нас. В свете звезд они стояли, словно нимфы, взявшись за руки. Какой-то миг я даже не мог с точностью сказать, кто есть кто, хотя Джейн была немного выше. Мне подумалось: «Он никогда раньше не видел голой груди и лона Нелл».

Нелл сказала:

— Что с них возьмешь, стесняются.

Сестры отвернулись и пошли дальше. Дно моря было очень пологое, и мелководье тянулось далеко. Дойдя до места, где вода им была по пояс, сестры нырнули — одна из них вскрикнула — и поплыли. Несколько секунд спустя мы с Энтони уже плыли за ними вдогонку. Заметив, что море фосфоресцирует, они остановились, с трудом доставая дно ногами. Каждое движение вызывало слабое зеленоватое свечение. Образовав круг в теплой воде, мы обсуждали необычное явление. Затем Джейн протянула одну руку Энтони, другую — мне, Нелл последовала ее примеру. Это было по-детски смешно — словно мы собрались водить хоровод. Первой, кажется, начала кружиться Нелл. Глубина, на которой мы находились, позволяла совершать только очень медленные и плавные движения. Четыре головы, лишенные тел; прикосновения под водой. Я почувствовал легкое касание голой ноги Джейн — разумеется, случайное. Заметил, что Энтони улыбается мне.

Не знаю, чем объяснить неожиданно возникшее единение — может быть, прекрасными росписями этрусских захоронений, которые остались где-то на земле, за пляжем, а может, тем, что отпуск заканчивался; и все же причина, мне кажется, лежала глубже, то было единение мистическое и, несмотря на нашу наготу, странным образом непорочное. В жизни я не часто испытывал религиозные чувства. Основное различие между Энтони и мной — и между двумя типами людей, которых мы представляем,— состоит в том, что я действительно несколько мгновений ощущал безотчетное счастье; а для него, религиозного человека, все это было, насколько я заметил, не очень удачной полночной шуткой. Или же, говоря иначе: он видел во мне приятного родственника, я же в нем — возлюбленного брата. То был момент, заключавший в себе и бесконечность, и мимолетность — невероятную близость, столь же непродолжительную, как и краткая жизнь светящихся водных организмов.

В последующие годы я несколько раз пытался вставить впечатления об этих мгновениях в мои работы — и всегда их потом вымарывал. Немало времени прошло, прежде чем я уяснил, что и атеисту необходимо чувство святотатства. И чувство безвозвратной потери. Подобно исчезнувшим этрускам, нам больше никогда не испытать такой близости. Возможно, я понимал это уже тогда.

Ловушка

Стюардесса разбудила меня, когда самолет подлетал к Лондону. Я вышел в туалет, умылся, переставил часы еще на один час вперед. К моему креслу подошел Барни:

— Дэн, меня встречает Маргарет. Может, мы подбросим тебя в город?

Я бы отказался, если бы это не выглядело слишком уж невежливо. Ведь среди ночи к себе домой их можно и не приглашать. Мы вышли вместе из самолета, вместе прошли паспортный контроль, стали ждать багаж. Он пошел в дальний конец зала за багажной тележкой. Я все еще как следует не проснулся, мне было не по себе. Вернулся он с довольной ухмылкой на лице:

— Либо у тебя замечательная дочь, либо моя секретарша умеет читать мысли на расстоянии.

Я посмотрел поверх таможенных столов. Найти Каро среди множества лиц я не смог. Барни сказал:

— Она рядом с Маргарет. Кажется, теперь у тебя есть собственный транспорт.

Кто-то в толпе взмахнул рукой. Я ответил. В телеграмме я просил не ждать меня дома и уж тем более не тащиться ночью в аэропорт Хитроу. По транспортеру медленно пополз багаж. Моего не было — мне не везло, и похоже, не только с багажом.

Жена Барни была все той же маленькой невыразительной женщиной — наигранная улыбка и обильная косметика ничего не меняли. Старела она стремительно; впрочем, она всегда казалась мне необычно провинциальной рядом со щеголем Барни. Я смутно помнил их дом в Мазуэлл-Хилл. Каро выглядела преувеличенно озабоченной — без сомнения, ей было неловко, что она не сообщила мне о своей новой работе. Она бросила быстрый взгляд на Барни и тут же попала в мои объятия. Я взял ее за плечи и отстранил от себя.

— Мне кажется, моей просьбы нельзя было не понять.

— Теперь я сама себе хозяйка.

Я снова обнял ее; и тут раздался голос Барни:

— Не волнуйтесь, Каролайн. Я дал вам прекрасную характеристику.

— Благодарю вас, мистер Диллон.

В ее ответе я различил едва заметную издевку: она, видимо, не знала, что он прилетел из-за океана раньше времени.

— Ты помнишь Маргарет, Дэн?

— О чем ты говоришь?!

Мы пожали друг другу руки, завязалась общая беседа о раннем приезде Барни, об общих знакомых... ни о чем. Мы вышли на улицу, я шел впереди с Маргарет. Я слышал, что Каро спросила у Барни о каком-то интервью, но ответа не разобрал. Когда они догнали нас, Барни попросил, чтобы Каро не звонила ему завтра домой без «крайней» необходимости.

— И ради бога, никому не говори, что я уже вернулся.

— Хорошо.

Мы с Каро проводили их до машины, а потом я повез багажную тележку к малолитражке Каро. Я наблюдал за дочерью, когда она отпирала дверцу машины: длинный плащ, что был на ней, я видел впервые. Что-то новое появилось и в выражении лица. Потом, пока она держала дверцу машины, я уложил сумки на заднее сиденье.

— Я все знаю. Мне мама вчера сказала.

— Она в Оксфорде?

— Коротышка заболел свинкой. Она на пару дней вернулась в Комптон.

Коротышка — это прозвище ее десятилетнего сводного брата, сына и наследника Эндрю. Я разогнулся и посмотрел на нее:

— Ты удивлена?

Она кивнула и потупилась.

— Мне очень жаль его. Каро. И наши семейные неурядицы здесь ни при чем.

— Я знаю, папа.

Ее «папа» всегда имело иронический оттенок, который на сей раз

стал основным тоном. Она подошла к правой дверце и отперла ее. Согнувшись в три погибели, я сел на переднее сиденье рядом с ней.

— Когда-то мы были очень дружны.

Она бросила взгляд на дорогу. Машина Диллонов тронулась с места.

— Это же надо: чтобы вы снова встретились, должно было случиться такое несчастье...

— Дорогая, если ты приехала сообщить мне, что ваше поколение семьи считает, что мы вели себя как кретины...

— Я приехала, потому что люблю тебя. Понятно?

Я наклонился и поцеловал ее в щеку, она включила зажигание.

— Сегодня вечером я позвонила тете Джейн. Как только получила твою телеграмму.

— Как она?

Мы тронулись. Каро неловко переключила скорость и состроила гримасу.

— Держится прекрасно. Как всегда. Мы говорили больше о моих проблемах.

— Высплюсь и сразу поеду к ним.

— Да, я так ей и сказала.— Каро заметно волновалась.— Она очень тебе признательна.

— На самом-то деле я лишь искал предлог, чтоб прилететь сюда. Очень соскучился по тебе.

Каро помолчала, едва заметно улыбаясь:

— А она красивая?

Рано или поздно это должно было случиться, и меня даже обрадовало, что она заговорила об этом сразу и без обиняков.

— Да. И все же я действительно соскучился по тебе.

— Говорят, она очень талантливая.

Я ответил не сразу:

— Ты очень расстроилась?

— Не говори глупостей. Ты мне самой очень нравился.

— Это еще как понимать прикажешь?

— В школе я часто рассказывала о тебе самым близким подругам. Какой ты потрясающий человек.

— Кого же я потряс? — Она ухмыляется.— Тебя?

— Помнишь, когда я была маленькой, ты взял меня в замечательную поездку по Девону, земле наших предков? Тогда я впервые серьезно задумалась о тебе и маме. И никак не могла понять, зачем она ушла от такого прекрасного человека.— Потом добавила: — Тогда я тебя еще толком не знала.

— Если бы не твои комплименты...

Она снова усмехнулась, но за этой ухмылкой я ощутил какое-то беспокойство, которое она прятала за беззлобным поддразниванием. Мы обогнали грузовик. Свернули к туннелю, ведущему на шоссе М4.

— Как Ричард?

— Никак. С ним все кончено.

Я взглянул на нее. Она сделала вид, что поглощена дорогой; но вскоре скривила рот и пожала плечами. Однажды я видел, как на ипподроме она верхом преодолевала препятствия. Чего-чего, а решительности и смелости ей было не занимать.

— С каких это пор?

— Да уже около месяца. Со времени моего последнего письма.

— У тебя кто-то новый появился?

— Да нет...— Она снова пожала плечами.

— Бедный старина Ричард. Он мне нравился.

— А вот и нет. Наверняка ведь считал его итонской[1] гнидой.

Перечить мне таким образом было для нее делом обычным. Еще

[1] Одна из старейших привилегированных школ Англии.

с тех пор, как я начал «выводить ее в свет»: дескать, она, может, и дура, но отличить, когда я шучу, а когда говорю серьезно, еще способна.

— И ты оказался прав,— продолжала она.

— Тебе хочется поговорить об этом?

Мы выехали из туннеля. Я испытывал то смещение ощущений, которое наступает после долгого путешествия, когда даже знакомый пейзаж кажется чем-то нереальным, когда бóльшая часть тебя самого находится еще там, откуда ты прибыл. Проклятая промозглость английской зимы.

— Это случилось в Комптоне. Мы ездили туда на выходные. И последней каплей послужило то, что все носились с ним, как с будущим зятем.

— А он-то тут в чем виноват?

— Ты и представить не можешь, каким он оказался мещанином. На поверку. Он так всем этим упивался. Прилип к Эндрю. Притворялся, что интересуется надоями молока, охотой и черт знает чем еще. Я неожиданно поняла, что он ничтожество. Во всем.

— Значит, он заслужил отставку.

Бедный Ричард был во многом похож на Каро; умом тоже не блистал. Его семье принадлежало известное лондонское издательство, и он осваивал свою профессию в соответствии со старым английским правилом: раз способности наследуются, значит, нет нужды демонстрировать их на практике. От обиженных мелких чиновников — которых он сам в будущем будет притеснять — Ричард набрался весьма левых взглядов. Впрочем, не исключено, что он просто испытывал необходимость поделиться со мной теми мнениями, которые дома не мог высказать ни под каким видом.

— Он был *такой* противный, ты себе не представляешь. У него хватило наглости сказать, что Флит-стрит развращает меня. Однажды он заявил, что я стала слишком раздражительной. «И весьма вульгарной, моя дорогая». Я совсем взбесилась и запустила в него бутылкой джина. Наглец. И не улыбайся, пожалуйста.

— А от квартиры что-нибудь осталось?

— Это происходило в его квартире.

— Хорошо. Никогда не бросайся своим джином.

Она прикусила губу. Машина натужно взбиралась на шоссе М4.

— Ты ведь все знал с самого начала. Мог бы и предупредить меня.

— Это с моим-то опытом выбора спутников жизни?!

— Неужели ты так ничему и не научился?!

— Увы.

Она задумалась.

— Ты собираешься на ней жениться?

— Ее зовут Дженни. Нет, не собираюсь.

— Я не хотела...

— Знаю.

В наших с Каро отношениях намерения частенько не соответствовали результату. Что-то в ней изменилось. Возможно, полгода в новом окружении и должны именно так воздействовать на молодую женщину. Я догадывался, что на Флит-стрит ей нелегко и что она научилась давать сдачи. С клеймом «весьма вульгарная» согласиться не могу, но в ней появилась какая-то незнакомая мне резкость, обозначился переход от невинности к агрессивной уверенности. Шутка о том, что я ей нравился, полгода назад была бы совершенно невозможна, как и подразумеваемый упрек моему поколению в глупости.

— А как работа?

— Очень нравится. Даже в самые сумасшедшие часы.

— А новый босс?

— С ним интересно работать. Скучать не приходится. Я теперь полжизни провожу на телефоне.

— Почему ты мне ничего не написала?

— Боялась, что ты... Он напечатал об одной из твоих работ разгромную рецензию.

— Он публиковал о моих фильмах и хорошие рецензии. При чем здесь это?

— Ты прав. Причина в том, что я в письмах делаю слишком много ошибок.

Я почувствовал, как она внутренне напряглась, и решил не настаивать.

— Ладно. Тем более что я все равно уже здесь.

Но видимо, она продолжала думать о той обиде, которую, как ей казалось, нанес мне Барни.

— Ты еще не знаешь, как меня принимали на работу. Сначала он проверил, как я печатаю на машинке, а потом спросил, как меня зовут. Я не смогла отклонить такое предложение. Это же повышение, и немалое.

— Конечно. Я очень рад за тебя.

Помолчав, она сказала:

— Мама говорила мне, что ты всегда его недолюбливал.

— Это когда было?!

— Вы говорили в самолете?

— Поболтали о том о сем. О прежних временах. О тебе.

— Он тебе завидует.

— О чем-то таком он сам намекал в разговоре.

— Это правда. Хотя «зависть» и неточное слово. Он говорит, что просто обожает почти все твои работы.

— А свои просто презирает, верно?

— Он очень сомневается в себе. В глубине души.— Я промолчал.— Все они одним миром мазаны, ты не представляешь, какие это нытики. Мы, секретари, все видим. Мелкое соперничество: *А* получает на полколонки больше, чем *Б*, или *В* приглашен на обед важной шишкой, или же *Г* выбил себе право подписывать работы полным именем. Если их лишить возможности злословить заглазно друг о друге, они сойдут с ума. Бернард лучше большинства из них. Он, по крайней мере, относится ко всей этой возне с юмором. Все это ужасно противно: сплетни, подслушивание, перемывание косточек друг другу.

Я улыбнулся про себя: меня радовала уверенность и объективность ее суждений; раньше я старался не выпячивать перед Каро романтическую — или, скорее, ту, что считается романтической,— сторону моей профессии. Сколько бы я ни предавался самолюбованию в Оксфорде, я потом сумел избежать той его отвратительной разновидности, что столь популярна в мире кино. В моем кабинете много книжных полок и одно-два зеркала; но зато самых лживых зеркал — дипломов в рамочках, позолоченных статуэток, афиш и рекламных снимков — там нет; кроме того, я старался держать ее подальше от знаменитостей. Теперь я начал догадываться, что все эти предосторожности, пожалуй, были излишни.

Мы поговорили о семейных делах, о дяде Энтони, о том, что будет с Джейн и их детьми. Каро теперь стала больше похожа на ту дочь, с которой я расстался летом. Мы подъехали к дому, и я, взяв дорожные сумки, пошел следом за ней наверх, в квартиру. Я уже совершенно проснулся — начинала сказываться громадная разница во времени. В тот момент в восьми тысячах залитых солнцем километров от Лондона Дженни у себя дома, видимо, принимала душ после дневных съемок — вечер там был еще впереди; а может, она уже успела поговорить с Милдред. Я представил, как она собирает свои вещи, готовясь перебраться ко мне. Очень захотелось позвонить в Калифорнию, но я задушил это желание. Не все, что сладко, хорошо.

В гостиной меня ждали цветы, у камина стояла неоткупоренная бутылка виски, стакан и молвернская вода. Каро с удовольствием иг-

рала роль заботливой дочери: включила свет, удостоверилась, что я заметил знаки гостеприимства. Я поцеловал ее:

— А теперь ложись спать. Такой замечательной дочери я не заслуживаю.

— Когда ты будешь завтракать?

— А когда тебе надо уходить на работу?

— Все равно. Ведь Бернард официально еще не вернулся. Надо будет только днем там появиться.

— Выспаться я вряд ли сумею. Разбуди меня, когда встанешь.

— Постель и все остальное я тебе приготовила.

— Большое спасибо. И за то, что встретила, тоже. А теперь проваливай.

Она ушла, я налил себе виски, потом огляделся. На одном из канапе лежала новая подушка. Вот, пожалуй, и все; если не считать груды писем и счетов, которые я не собирался трогать до утра, здесь за эти месяцы ничего не изменилось, что меня, конечно, огорчило. Я надеялся, что Каро будет более энергичной хозяйкой, хотя и знал, что «домом» для нее всегда останется Комптон... Тут и сравнивать нечего — Версальский дворец и хижина.

Я был там всего однажды, задолго до того, как Нелл стала его хозяйкой. Когда Эндрю исполнился двадцать один год, в честь его совершеннолетия в Комптоне устроили бал, на который съехался весь сколько-нибудь известный студенческий Оксфорд — на машинах, в экипажах... несколько приятелей Эндрю по «Буллингдон-клаб» пожаловали в карете, запряженной четверкой, с кучером и рожком. Комптонский Уголок (в те дни этот уголок занимал площадь, на которой мог разместиться небольшой город) впечатлял не столько размерами, сколько величественностью: сады, парк, анфилады комнат, простор и комфорт. Ни с чем похожим мне ранее сталкиваться не приходилось. Думаю, что даже в те времена подобное двухдневное празднество ощущалось анахронизмом, молчаливым прощанием с прошлым, плевком семьи Эндрю в лицо послевоенного социализма. Это было одно из последних празднеств подобного рода, устроенных по полной программе — накануне в парке состоялось гулянье для жителей деревни и домочадцев. Теннис, крикет, крокет, верховая езда, реки шампанского и восхитительная — для тех лет строгой экономии — еда. Под тенью громадного бука оркестр в алых мундирах дул в серебряные трубы; на флагшток водрузили пару мужских брюк; Эндрю не просыхал. Праздник понравился даже Энтони, который и с Эндрю-то был едва знаком; мы приехали прежде всего ради наших дам, к которым, впрочем, Эндрю особого расположения не испытывал. В Оксфорде его личная жизнь была окутана тайной. Его иногда видели с девушками, говорили, что он завсегдатай публичного дома в Мейфэре [1], но чаще его имя связывалось с охотой, гончими и пьянкой. Мы считали его человеком со странностями; и я помню, как Нелл однажды обронила, что в постели Эндрю наверняка «безнадежен».

От Каро я знал, что усадьба и ее старый *façons de vivre*[2] разделили судьбу всего бренного в этом мире: налоги на наследство существенно уменьшили поместье, бóльшую часть парка распахали, а Нелл должна была теперь обходиться (на что она беспрестанно жаловалась) помощью итальянской четы и приходящей на день женщины из деревни. Но как я раньше завидовал Эндрю и его умирающему миру, так я теперь завидовал Каро и остаткам былой роскоши. Такие вещи очень легко осуждать политически — нет ничего проще. Но они похожи на поэзию Эзры Паунда[3]: строки и образы продолжают преследо-

---

[1] Фешенебельный лондонский район.

[2] Жизненный уклад *(франц.)*.

[3] Эзра Паунд (1885—1972) — американский поэт и теоретик искусства.

вать вас даже после того, как вы камня на камне не оставили от философии автора.

Я сидел со стаканом виски, раздумывая о ближайшем будущем и о прошлом, во всех несчастьях которого я склонен был винить Нелл. Скоро она, видимо, вернется к Джейн в Оксфорд; я могу помириться с кем угодно, но только не с Нелл. Пусть юридически, формально я и был виновной стороной, первопричиной разрыва я по-прежнему считал ее. Нет никакого сомнения, что все разводы повторяют историю Адама и Евы. Книга Бытия нема как могила, мы знаем только, что после изгнания из Эдема они родили двоих сыновей: убийцу и жертву. Нашим Каином-и-Авелем была полнейшая непримиримость.

Первые три года после развода мы с Нелл практически не разговаривали. Иногда она привозила Каро в Лондон, но чаще я сам приезжал в Оксфорд. Когда я забирал у нее ребенка и привозил его обратно, мы сквозь зубы обменивались несколькими фразами. Спустя какое-то время я уже был готов к более нормальным отношениям, но Нелл, увы, нет. Потом она вдруг написала, что хочет встретиться со мной в Лондоне без Каро. Надо кое-что обсудить. Я предположил, что речь пойдет об алиментах. В то время я уже мог позволить себе увеличить сумму, но решил без боя не сдаваться. Нелл жила далеко не в стесненных обстоятельствах, о чем я, естественно, знал. Мы договорились вместе пообедать. Оказалось, что она приехала не ради алиментов. Нелл решила выйти замуж за Эндрю.

Сначала я, словно не веря своим ушам, бессмысленно повторял его имя. Когда мы с Нелл разводились, в газетах появились сообщения о смерти его отца, и я отметил тогда про себя, что титул перешел по наследству к Эндрю; но мое отношение к нему это не изменило, в моих глазах он оставался надменным пьяницей, манерным пижоном, каким-то странным сочетанием повесы времен Регентства[1] и клоуна типа Тони Лампкина[2]... не говоря уже о том, что в студенческие годы он воплощал в себе те черты, которые мы демонстративно презирали. Его единственное достоинство заключалось, пожалуй, в какой-то особой эксцентричности, за которую его и терпели. Непроизвольную первую реакцию на сногсшибательную новость мне не простили; наказали меня скупостью рассказа о том, как произошла встреча, сообщили только, что это случилось в Оксфорде совершенно неожиданно с полгода назад. А теперь («Ты, конечно, мне не поверишь») он был влюблен в нее по уши. Я заметил, что о своей влюбленности она не сказала ни слова. Ее, видите ли, заботила только Каролайн, буквально «обожавшая» Эндрю. Жить они собирались в Комптоне.

Новость, при всей ее невероятности, пришлось проглотить; я, правда, так и не понял, зачем ей потребовалось сообщать мне об этом в личном разговоре, с глазу на глаз. Потом Нелл произнесла небольшую речь о Каро, о том, что она моя дочь и что мне, «видимо, не совсем безразлично» ее будущее. Это было прелюдией к обсуждению новых финансовых договоренностей. Меня не обманул ее неожиданный переход от хвастовства к выпрашиванию советов, и, как я подозреваю, Нелл в глубине души надеялась, что я выйду из себя или брошусь отговаривать ее; а может, мысль поговорить со мной ей подали Энтони и Джейн, которые, хоть и порвали со мной всякие отношения, едва ли стали менее щепетильными в этических вопросах. В чем я абсолютно уверен, так это в том, что примирения она не искала; скорее, можно предположить, что она хотела показать, до чего я ее довел... но и это глупо. Эндрю был богат, владел прекрасной усадьбой и титулом баронета; готов поверить и в его влюбленность — молодых девиц на выданье вокруг него вертелось предостаточно. Впрочем, не исключе-

[1] Период в истории Англии (1811 — 1820).

[2] Тони Лампкин — персонаж комедии О. Голдсмита (1728 — 1774) «Ночь ошибок, или Унижение паче гордости».

но, что и ей самой не была ясна цель приезда. Она очень нервничала, ведь это было первое в ее жизни серьезное, самостоятельное решение, и я вполне мог отнестись к ней подобрее.

Так она стала леди Рэндолл. С тех пор мы встречались всего раза три-четыре. Все наши встречи, кроме одной, проходили в присутствии Каро, что и заставляло нас держаться в рамках приличий. В тот единственный раз, когда не было Каро и когда мы обсуждали ее будущее после школы, к нам присоединился Эндрю. Как это ни смешно, но после первой скованности (мы не виделись с ним со студенческих лет) Эндрю и я, несмотря на все различия в образе жизни и политических убеждениях, весьма понравились друг другу. Он повзрослел и остепенился. Мне, выросшему среди крестьян, нравился в нем хитрый помещик, а мои сплетни из шоу-бизнеса находили отклик в его склонной к эксцентричности душе. Мы много говорили о прежнем Оксфорде. Чем больше в тот вечер мы с Эндрю напивались, тем молчаливее становилась Нелл. Я уверен, если бы не Нелл, он обязательно пригласил бы меня и в Комптон. Когда, выйдя из ресторана, мы стали прощаться, я уже внутренне радовался, что Нелл теперь замужем за таким приятным человеком.

Все это дела прошлые; а в тот момент, сидя без сна в своей квартире со стаканом виски в руках, я вновь подумал о Дженни. Мне захотелось услышать ее голос, захотелось, чтобы мне напомнили о более простом и не столь предопределенном настоящем. Может, Нелл была и права — эта квартира действительно оставляла впечатление чего-то тоскливого, временного, ненастоящего. Я долго смотрел на телефон и уже собирался было снять трубку, как вдруг в дверях появилось не воображаемое, а реальное настоящее: Каро в халате. Я сразу заподозрил неладное — по моим представлениям, она уже давно должна была спать. Вместо этого она стояла передо мной с видом провинившегося капризного ребенка.

— Чего-то не спится.

— Выпей со мной виски.

Она покачала головой, но в комнату вошла. Остановилась у окна с незадернутыми занавесями и посмотрела на улицу.

— Что стряслось, Каро?

Три-четыре секунды она стояла молча.

— У меня роман с Бернардом.— Она продолжала смотреть в окно.— Прости. Я не знала, как тебе сказать об этом раньше.

Несмотря на потрясение, я и на миг не усомнился, что она говорит правду; мог бы и сам, дурак, догадаться. Хотя они и пытались отвести мне глаза, совпадений было слишком много.

Она прошептала:

— Скажи что-нибудь.

— Как это, черт возьми, произошло?

Она пожала плечами, не поворачиваясь: как это вообще происходит? Я хотел спросить, что она в нем нашла. Он выглядел вполне по своим годам, я даже поздравил себя с тем, что сам пока не так измочален, изжеван и физически изможден...

— Я не знала, что вы летите одним рейсом. В последнем телефонном разговоре он сказал мне, что пробудет в Штатах еще пару дней. Когда я увидела... его жену, то чуть не убежала. Но она заметила меня раньше.

— Она знает?

Каро покачала головой:

— Думаю, что догадывается. Уже многие годы их брак — пустая формальность.

— Ты его любишь?

— Не знаю. Мне его жалко.

— Вот почему ты не писала?

Она кивнула, и мне показалось, что она вот-вот расплачется.

Я встал, взял еще один стакан, плеснул в него немного виски и подошел к ней.

— Пойдем сядем.

Она покорно подошла к дивану и села рядом со мной.

— Твоя мать знает?

— Нет... Я бы не хотела, чтобы ты ей говорил. Во всяком случае, пока.

Мы оба не отрывали глаз от своих стаканов.

— Зачем ты мне об этом рассказываешь?

— Затем, что большую часть жизни ничего тебе не рассказывала. Затем...— Она снова пожала плечами.

— Что-то вид у тебя не очень счастливый.

— Разговор не из самых приятных.

— Только и всего?

— Потом, эта неожиданная встреча с его женой.— Помолчав, добавила: — И то, что он возвратился без предупреждения.

— Думаешь, он до тебя жене не изменял?

— Я не настолько наивна.

— Тогда ты знаешь, что к чему. Маргарет он никогда не бросит.— После паузы я добавил: — Черт знает почему.— Она не ответила.— Ты поэтому порвала с Ричардом?

Она покачала головой:

— С Ричардом у нас давно не ладилось.

— Но поэтому стала его секретарем?

— Ты не поверишь мне, конечно, но я очень неплохой работник.— Она взглянула на меня.— Что в этом смешного?

— Только то, что твоя мать однажды бросила мне в лицо именно такую саркастическую фразу. Правда, в других обстоятельствах.

— Прости.

— Дорогая, меня сейчас волнуют не твои успехи в стенографии.

— Тебя волнует, что я связалась с человеком, которого ты презираешь?

Она не отрывала взгляда от ковра. Я ответил спокойно:

— Я не презираю лично его, Каро. Во всяком случае, не больше любого другого в вашем профессиональном мире.

— В который я попала по твоему совету.

— Справедливо. Но я надеялся, что тебя не обманет его мишура.

— А ты думаешь, Бернарда она обманывает?

— И тем не менее он не уходит из него.

— Не всем везет. Не забывай, что на его попечении жена и трое детей.

— Хорошо. Согласен.— Она продолжала смотреть вниз.— Что тебе нравится в нем?

— То, что он печальный. И добрый. Одинокий. И благодарный.

— Еще бы.

Она помолчала.

— И с ним можно поговорить.

— Это упрек? — Она покачала головой, впрочем, не очень уверенно.— Продолжай. Давай уж начистоту.

— Можно серьезно поговорить.

— О чем?

— О чем угодно, о чем с тобой не поговоришь. И с мамой тоже.

— Например?

— Неужели ты не понимаешь, что кто-то может любить вас обоих. Со всеми вашими недостатками.— Она не дала мне ответить.— Я знаю, какой стервой она может быть, догадываюсь, что и у нее есть основания называть тебя самовлюбленным ублюдком. Но дело не только в вас двоих. Дело во всей семье. Слишком многое мы вычеркнули из нашей жизни и захоронили в себе.

— Ты ведь знаешь, что произошло.

— При чем тут прошлое? Важно, как я отношусь к вам обоим. Сейчас.

— И он слушает? — Она кивает.— Он серьезно настроен? — Она молчит, и мне приходится подлизываться: — Я, наверное, очень старомодный отец.

— Он чувствует свою вину перед... женой.

Мне в это не очень верилось.

— А если он решит однажды, что более ни в чем перед ней не виноват?

— Я еще не сошла с ума. Так вопрос не стоит.

Мы замолчали. Я отпил виски, она к своему стакану так и не притронулась.

— Он всегда понимал, каким ударом это будет для тебя,— сказала Каро.

— А ты?

— Нет.

— Ну, конечно, мне ли его осуждать?

— Ну зачем ты так?

— А что?

— Я нисколько не стыжусь, что ты до сих пор привлекательный мужчина. Таким, как Эндрю, ты никогда не будешь.

— Что это значит?

— Что ты и его презираешь. Но как отец он все же гораздо лучше тебя.— После паузы она добавила: — Может, потому, что он всегда дома. И умеет ладить с мамой.

— Послушать тебя, Каро, так я, получается, всех и все презираю.

— Ты считаешь, что все должны думать и чувствовать как ты. Я не виню тебя, да и насчет Флит-стрит ты, видимо, прав, но...— Она снова покачала головой.

Я так и не понял, что она, собственно, осуждает: мою карьеру или меня самого; впрочем, обвинение было не новым, хотя в столь резкой форме я слышал его впервые. Утешал я себя только тем, что за ее резкостью видел попытку скрыть сомнение в собственных силах.

— Обещай мне хотя бы, что, когда выйдешь замуж, одним ребенком не ограничишься.

Она подняла на меня глаза.

— Почему?

— Потому что единственные дети сосредоточены исключительно на себе. Им и в голову не приходит, что кто-то другой может нуждаться в них. И одной нехваткой времени этого не объяснишь.

— Я имела в виду только твою работу. — Она выдавила из себя печальную улыбку. — В любом случае тебе уже поздно что-нибудь менять.

— Слава богу, хоть в чем-то мы согласны.

Она протянула мне свой стакан:

— Я не хочу виски.

Я вылил содержимое в свой стакан, она встала с дивана, подошла к камину и спросила, стоя ко мне спиной:

— Ты сердишься, потому что он сам тебе не сказал?

— Ему это было бы не просто. Только зачем из кожи лезть вон, чтобы изобразить из себя жалкого неудачника? Кого он этим хочет обмануть?

— Я так и знала. Ты всегда... — Она не закончила фразы.

— Продолжай. Чего уж.

— Что-то не помню, чтобы ты взахлеб хвалил свою профессию.

— Именно потому, что достаточно насмотрелся, как в семьях, профессионально связанных с кино, у детей воспитывают слепое обожание нашего дела.

— Я только недавно поняла, как ты меня обманывал. Многие на работе считают, что мне повезло с отцом.

— Это они по газетам судят.

Она немного помолчала.

— Когда Бернард жалуется, у него получается гораздо убедительней. На него все нападают. А на тебя почему-то нет.

— Что только доказывает мою правоту. Мужчины средних лет могут казаться тебе зрелыми, знающими, опытными... Но когда они дружат с девушками твоего возраста или возраста Дженни, все куда-то исчезает. В глубине души они по-прежнему отчаявшиеся подростки. Испуганные. Растерянные.

— А ты-то из-за чего растерялся?

Она сказала это одновременно смущенно и вызывающе. Я тем не менее был растроган — Каро очень точно определила пропасть между нами. Я подумал о сдержанном раздражении Дженни перед той же самой чертой. Даже если отвлечься от трехлетней разницы в возрасте, Дженни была и мудрее, и самостоятельнее; и все же я смутно почувствовал то, что толкает отцов и дочерей к инцесту... пугающую потребность вычленить невычленимое, упростить исконно сложное.

— Мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз. — По выражению ее лица я понял, что она обиделась. — Дженни гораздо опытнее тебя, Каро. Она приобрела... защитную броню. Я не хочу делать тебе больно. Только и всего.

Мы зашли в тупик. Каро была высокомерно-невежественна во всем, что касается Фрейда, а следовательно, и классической трагедии. Учитывая узость ее культурных интересов и британскую манию к телевидению, я мог представить, чем привлекал ее Барни. Он был по-своему знаменит; и, зная, как он играет роль либерального интеллектуала перед телекамерой, я понимал, что личина страстотерпца, которую он носил, общаясь с ней, могла быть вполне убедительной. Сыграть человека, одновременно обаятельного и ранимого,— задача нетрудная, во всяком случае, с неопытной девушкой, которая, вдобавок, сама нуждается в поддержке. Если я сам в этом отношении и выглядел получше, то только благодаря врожденному скептицизму Дженни, который она решительно пускала в ход, когда мои стенания становились слишком громкими.

— Ты ему скажешь о нашем разговоре?

— Конечно, скажу. А как же иначе?!

Мы снова замолчали. Я душил в себе свои невозможные вопросы: каков он в постели, приводила ли она его сюда, многие ли знают об их связи?.. Каро была достаточно симпатичной, но в редакции работало не меньше дюжины других смазливых девиц, которые к тому же держались более уверенно, что для таких, как Барни, служит дополнительной приманкой. Я злился все больше и чуть было не схватил телефонную трубку и не высказал ему все, что я о нем думаю. В конце концов я встал и налил себе еще виски. Мне хотелось обнять Каро за плечи, но я сдержался — жест получился бы неуместным и фальшивым.

— Зачем ты мне все это рассказала, Каро? — Она молча смотрела в камин. — Ты могла бы и дальше держать это в тайне.

— Чтобы тебя не беспокоить?

— Это удар ниже пояса.

— Прости.

— Тогда ответь. — Она по-прежнему молчала. — Ты, может, хочешь, чтобы я что-то предпринял?

— Чтобы ты просто понял меня.

— И благословил?

Она отвернулась.

— За что тебя любит Дженни Макнил?

Тут я почувствовал, что ловушка вот-вот захлопнется.

— Я не знаю, любит ли она меня.

— Назови это любым другим словом.

— Чтобы ты потом мне его возвратила? — Это прозвучало грубо, и я поспешно продолжил: — Тамошняя жизнь трудновата для нее. Ей там одиноко. Да и опыта со своими сверстниками ей не занимать. Они, кстати, не все похожи на Ричарда.

— Это я понимаю.

— Я не сержусь, Каро. Лишь бы ты была счастлива.

— Я и была. До сегодняшнего дня.

— Дай мне время. Не суди слишком строго.

Она кивнула, подошла ко мне, села на подлокотник кресла.

— Я тебе лучше кое-что другое расскажу.

— Что же?

— Я сегодня весь день осматривала квартиры. И кажется, нашла подходящую.

Мне бы рассердиться на нее. Как жаль, думал я в тот момент, что я не американский еврей или простой рабочий, кто угодно, но только не представитель английского среднего класса, который не способен ни высказать, ни как-то по-другому проявить свои чувства. Я понимал, что если у меня что-то не получается сразу, то и не получится никогда.

— Я все равно скоро уезжаю в Торнкум.

— И я с удовольствием поехала бы.

— Где ты нашла квартиру?

— Недалеко от Парламент-Хилл. В Кентиш-тауне.

— Не очень-то приличный район.

— Мне дом понравился.

— Ты позволишь...

— Живя в твоей квартире, я сэкономила достаточно денег.

Я попытался уговорить ее, но она была непреклонна; и я осознал, что Кентиш-таун в чем-то символичен — она отказывалась не только от отца. Я вспомнил также, что он находится по пути в Мазуэлл-Хилл. Квартира, кажется, освобождалась через две недели, и, хотя она была обставлена, ей хотелось «на время» взять у меня стол и пару других вещей. Может, она просто хотела показать мне, что я еще нужен. Мы замолчали, говорить было не о чем, хотя хотелось сказать многое. Она встала и сделала над собой последнее усилие — неуклюже наклонилась и поцеловала меня в щеку. Позволила мне задержать себя на несколько мгновений. Потом отвернулась и вышла из комнаты.

Стоп.

Нарушитель молчания

На Паддингтонский вокзал я приехал рано и в купе первого класса сначала сидел один, но ко времени отправления все места уже заняли. Что-то в каждом из этих пяти непроницаемых лиц, уткнувшихся в вечерние выпуски газет, говорило мне, что я наконец снова в Англии: добровольная отгороженность друг от друга, ненависть к попутчикам, словно нам было невыносимо стыдно делить купе, даже первого класса, с кем бы то ни было. Когда поезд тронулся, пожилая женщина, сидевшая напротив меня, бросила взгляд на слегка приоткрытое окно. Через минуту она снова взглянула на него. Я спросил:

— Может быть, закрыть?

— Конечно, если...

Я встал и закрыл его, ответом мне была застывшая гримаса дамы, призванная выразить благодарность, да два-три косых неодобрительных взгляда мужчин-попутчиков. Мой смертный грех состоял не

в том, что я закрыл окно, а в том, что открыл рот. В мире нет другой касты, которая была бы так уверена, что воспитанность и хорошие манеры сводятся к молчанию, и так единодушно исполняла эту заповедь, что любой наблюдатель неизбежно приходил бы к выводу о полнейшей племенной гомогенности... На мне была одежда, купленная в Калифорнии (пуловер и спортивная куртка, а не костюм с галстуком), и, не исключено, что они унюхали во мне чужака, которого следовало научить английским манерам. Я их на самом деле не осуждал; как этнограф я отметил этот факт, а как англичанин — понял его. Находиться в замкнутом пространстве с людьми, которым ты не представлен,— штука весьма рискованная: с тебя могут потребовать дань в виде каких-либо сведений о себе. Достаточно ведь сущей малости: даже самой незначительной фразой можно выдать свое происхождение, обнаружить несоответствие между голосом и одеждой, мнением и произношением.

Это совершенно нормальное английское молчание на сей раз задевало меня гораздо больше обычного. В нем не было спокойствия, напротив, оно таило взрыв; не молчание, а какой-то молчаливый крик — оно напоминало мне мое прошлое и ту семью, в которую я ныне возвращался. Достаточно давно в одной из своих пьес я проанализировал этот страх обнаружить себя, эту онанистическую привязанность к уединению, но его живучесть все же поражала. Он пережил молодежную и сексуальную революции, общество вседозволенности, «веселящийся Лондон»[1] и все остальное. Скрывай, скрывай, скрывай, таи. В поезде, конечно, ничего особенного не происходило: просто шесть англичан, представителей среднего класса, хотели, чтобы их оставили в покое. Но незаметное проникновение этого страха в мир личных отношений, его мертвящее влияние на доверие, терпение и любовь в конце концов и убили наш брак. Мы научились пользоваться молчанием как разящим мечом.

Дэн и Нелл решили не иметь детей, по крайней мере, в течение года — возможно, это была реакция на плодовитость других семей. Они считали, что поступают так из экономических соображений. Он ждал, как будет принят его драматический первенец, и хотел иметь подтверждения, что не ошибся в выборе призвания. Оба хотели переехать в Лондон. Реальной необходимости работать у Нелл не было, но в то время она была намного ближе своей сестры к еще не сформулированным идеалам «Движения за освобождение женщин»[2]. Дэн и Нелл, конечно, лукавили: личных доходов каждого хватило бы на жизнь и без работы. И если нам тогда и впоследствии не хватало денег, то только из-за нашего же мотовства — у Дэна оно развилось в ответ на его воспитание, у Нелл — в полном соответствии со своим. Стойкого пристрастия к экономии ни один из нас не обнаружил.

Увидел рампу «Пустой храм», моя первая пьеса, которой я хотел изгнать из моей жизни дух отца. Оценки в прессе, окрашенные традиционной снисходительностью к новым именам, колебались от средних до хороших. Пьеса сначала не имела кассовых сборов, но постепенно дело выправилось. Дэн впервые переживал настоящий публичный успех. По-моему, ему уже тогда следовало насторожиться: Нелл отнеслась к его успеху намного эмоциональнее, чем он сам. Все похвалы она принимала всерьез, а любую критику (большей частью справедливую, ибо если уж копируешь Ибсена, то изволь избегать мелодраматических трюков) — как личное оскорбление... словно покуша-

[1] Популярное в 60-е годы название, использовавшееся для рекламы Лондона как центра мод, музыкальной жизни и т. п.

[2] Феминистское движение в Англии, выступает за политическое, экономическое и социальное равенство полов, а также их равноправие в области семейных отношений.

лись не больше не меньше, как на ее выбор драматурга в мужья. Однажды на званом вечере — Нелл и Дэн к тому времени уже переехали в Лондон — она вдруг нагрубила театральному критику из журнала «Нью стейтсмен». Тот всего-навсего сделал драматургу несколько замечаний в своем обзоре. Именно в тот вечер, вернувшись домой, они впервые по-настоящему поссорились. Ссора, правда, быстро закончилась — она расплакалась, но постель их примирила. На следующий день Дэну пришлось даже уговаривать ее не посылать критику письменных извинений. Тогда он объяснил ее поведение чрезмерным отождествлением себя с его работой. На самом деле это был первый приступ ревности к его карьере.

Окончательно переехать в Лондон их заставил не только скромный успех его первой пьесы, но и совершенно неожиданное предложение Дэну написать киносценарий. Дэн убедил себя, что выбор пал на него в награду за удачные диалоги в его пьесе; но имей он более опытного литературного агента, тот объяснил бы ему, что радоваться нечему — его покупали по дешевке. Историю о любви на войне, позаимствованную из паршивого романа, не только снимать, но и читать не стоило. Но по неопытности Дэн считал, что найдет новые подходы и подправит диалог: привлекали и деньги — впрочем, по более поздним его меркам, мизерные. К тому же, неважно шли дела и с его новой пьесой. Не хочу делать вид, будто Дэн колебался и Нэлл его уговаривала. Широко известный и неисправимо бездарный английский продюсер, купивший книгу, грубо похвалил Дэна, и они с Нелл легко заглотали наживку. Какое-то время они словно бы смотрели каждый вечер новый фильм, а потом разносили сценарий в пух и прах или пытались извлечь для себя уроки. Дэн читал киноклассику и, подобно всем начинающим, увлекся профессиональным жаргоном, и, естественно, впал в грех режиссирования на бумаге, чего всегда старательно избегает любой приличный сценарист.

Вскоре нашлась работа и для Нелл. Одна из ее университетских подруг работала в издательстве. Она и рекомендовала Нелл на должность корректора, который им тогда требовался. Плата была смехотворно мала — ее едва хватало на одежду,— да и серьезных книг ей не поручали. Но зато ей часто позволяли работать дома, и они с Дэном по наивности считали это достаточной компенсацией за несправедливую оплату и нудный, утомительный труд. Все это происходило в небольшой квартирке, которую они сняли на Бромптон-роуд.

Зима прошла хорошо. Джейн без каких-либо осложнений родила Розамунд, Дэн и Нелл стали крестными родителями малышки. С Энтони и Джейн они виделись по-прежнему часто и в Уитеме, и когда те приезжали в Лондон. Дэн к тому времени уже понял, что никакое оживление диалогов не спасет неизбывный идиотизм заданного сюжета, но отосланный им первый вариант работы неожиданно получил незаслуженное одобрение.

Это был типичный образчик британской кинопродукции: реализованный со скупостью Гобсека паршивый замысел, в основе которого лежало два предположения: одно о том, что широкая английская публика не имеет вкуса,— вполне правомерное, а другое — что Великобританию и Соединенные Штаты разделяет лишь Атлантический океан — совершенно ни на чем не основанное. В романе главный герой был англичанин, но «американский интерес» потребовал незамедлительных корректив — будто бы это хоть на йоту могло улучшить тот двухчасовой вздор, который в конце концов попал на экраны кинотеатров.

Дэну потребовалось несколько лет, чтобы понять вполне очевидную вещь: полная неспособность Англии создать приличную коммерческую кинопромышленность, не говоря уже о воспитании хоть сколько-нибудь заметного числа киномастеров, коренится, в частности, в нашем безошибочном нюхе на скверных режиссеров, которых мы

предпочитаем всяким иным, и в почти всеобщей уверенности, что какой-нибудь полуграмотный оператор или обаятельный пустозвон лучше всех знают, как надо воспроизводить жизнь на экране. А Дэну следовало сделать этот вывод еще из общения со своим первым режиссером — ничтожеством, которое одним раболепием заслужило доверие посредственностей, заправляющих нашей кинопромышленностью последние четверть века.

Но ясное видение пришло позднее. А тогда Дэн сделал второй вариант сценария и, как мелкая креветка — актинией, был проглочен миром кино. Он уже нащупывал почву для следующего сценария, да и дела с новой пьесой пошли на лад.

Первые трещины в отношениях с Нелл стали появляться как раз в это время, весной 1952 года. С началом павильонных съемок Дэн был вынужден пропадать на студии «Пайнвуд». Нелл принялась брюзжать о том, как «скучна» ее жизнь, особенно на фоне «интересной» жизни Дэна. Он старался брать ее с собой на все вечера, просмотры и тому подобное, пару раз она была с ним даже на студии, но их совместной работе дома, бок о бок, пришел конец. Еще до начала съемок кое-какие переделки в сценарий он вносил в оффисе на Вардур-стрит. Дэну там выделили совсем маленькую клетушку, но ему теперь писалось легче, когда Нелл рядом не было. Может быть, потому, что дома она читала все им написанное; и даже когда он занимался пьесой, она продолжала суетиться вокруг него, чуть ли не выхватывая напечатанные листы из машинки. Это начинало раздражать Дэна; впрочем, злился он на Нелл напрасно — ведь с ее стороны это была попытка сохранить совместную жизнь. Чем меньше он работал дома, тем реже и она бывала там: корректуры читала в издательстве, заводила среди редакторов новые знакомства. Несмотря на это, они оба вдруг почувствовали, что их квартирка стала мала для них. Ее первые приступы молчания начались именно там. Он все чаще возвращался поздно.

Вина за растущее отчуждение тогда почти всецело лежала на Дэне. Для выпускницы Оксфорда, окончившей университет с более высокими оценками, чем у него, Нелл занималась работой мелочной и монотонной. А пока она вычитывала гранки или тратила время на другую ерунду, Дэн работал в свое удовольствие. (Впрочем, часто делал далеко не то, что ему на самом деле требовалось.) К тому же, он слишком быстро увлекся пошлыми соблазнами нового мира, хотя, разговаривая с людьми типа Джейн и Энтони, по-прежнему отзывался о кино пренебрежительно.

Коммерческое кино, подобно галлюциногенному наркотику, искажает зрение всех, кто в нем работает. Приличный фасад скрывает борьбу за лидерство и престиж, маскирует игорный дом, где каждый игрок, чтобы выжить, должен жульничать или хватать за глотку других. Успех всегда на стороне двуличных; для любого, попавшего в этот мир, шансов сохранить невинность (а Дэн искренне пытался сделать это) не больше, чем у человека, вошедшего в здание с неоновой вывеской «BORDELLO». То, что потаскухи, сводники, шлюхи и сутенеры этого мира выступают на публике под видом «заслуженных» режиссеров и артистов, известных продюсеров и сценаристов, лишь показывает, насколько много им приходится прятать.

В таком виде кино не может быть искусством. Искусство не может с неизменным постоянством предпочитать жулика честному человеку, Тартюфа — искреннему, посредственность — гению, а бухгалтерские соображения — всем эстетическим и моральным принципам; оно не может взывать к «народу» даже в популистском духе, а на самом деле обращаться к самым низменным и неразвитым вкусам. Когда-нибудь история спросит, почему в двух странах, обладающих наибольшими возможностями, было создано так мало истинно талантливых фильмов; почему от брака по расчету между еврейским

и англосаксонским интеллектами родилось так много отвратительной ерунды и так мало стоящего; и почему подавляющее число доказательств, что кино может быть искусством, и искусством великим, пришло из стран вне англоговорящего мира.

Вторая пьеса Дэна, «Красный сарай», как мне сейчас кажется, была если и не новым, то весьма свежим словом. Мне, пожалуй, повезло, что в то время я имел лишь самое смутное представление о находках Брехта.

Первый большой успех сродни юному телу, этому чуду, которым вполне может насладиться лишь сам молодой человек... да и то недолго. Как бы то ни было, всю следующую зиму Дэн жил в состоянии бездумной эйфории, которое позволяло не замечать мелких неурядиц. Единственное профессиональное огорчение состояло в том, что не удалось поставить пьесу в Нью-Йорке; зато после Нового года ее поставили в Швеции и Западной Германии, а переговоры об уступке прав шли еще с несколькими странами. Тучам на семейном горизонте он тогда не придавал большого значения.

Квартира в районе Ноттинг-Хилл, которую я снял на девяносто девять лет, была, возможно, наивысшим деловым успехом в моей жизни, но сомнения начали глодать Дэна и Нелл, как только они въехали в новое жилище. Свою роль сыграло, конечно, и непреложное в шоу-бизнесе стремление жить не хуже других, чего бы это ни стоило. Нелл и Дэн начали испытывать чувство ущемленности. Люди, с которыми они теперь общались, жили в более удобных районах и с большим шиком, чем часто позволяли их доходы. Дэн и Нелл осмотрели много небольших отдельных домов — у Сент-Джонзского парка, в Ислингтоне и Фулеме,— но все они не выдерживали сравнения с приглянувшимся им коттеджем в Уитеме. Им страстно хотелось купить тогда этот коттедж, но они находили десятки причин, чтобы уверить себя в невозможности подобного шага. Дэн даже обратился к профессиональному бухгалтеру: расчеты показали, что содержание квартиры в Лондоне не оставляло надежды на покупку вожделенного коттеджа. Квартиру в Ноттинг-Хилл обставили мебелью из «Хилз»[1], что легло заметным бременем на семейный бюджет. Тем не менее Нелл потом часто укоряла Дэна за некупленный коттедж, который на самом деле они не могли себе позволить.

Беременность у Нелл протекала тяжело, и новая квартира раздражала ее все сильнее. То вдруг она становилась слишком большой, то Дэн, видимо, «рехнулся», если не понимает, что первое, о чем ему следовало бы позаботиться,— это собственный сад для ребеночка. Она все чаще не хотела оставаться одна, все чаще рвалась обратно в наше прежнее «милое гнездышко». Готовить Нелл никогда не любила, и в последние месяцы ее беременности мы почти каждый день обедали в городе. Со временем я понял, что таким образом она избегает ссор. Каро родилась 10 апреля, и на время все прочие заботы ушли на задний план. Дэн закончил черновой вариант очередной пьесы, и на той же самой неделе, когда стал отцом, подписал контракт на свой второй киносценарий.

Пожалуй, нет ужаснее браков, чем те, в которых супруги пользуются ребенком для решения собственных споров. Каро переболела, кажется, всеми существующими детскими болезнями, измучив Нелл и нервно, и физически. Мне тоже доставалось — в это время я писал дома черновой вариант сценария. Но исподволь Каро повторила судьбу нашей квартиры: хороший замысел из-за дурного воплощения оборачивался ошибкой. Не обошлось и без соперничества сестер: Джейн, ждавшая уже второго ребенка, стала образцовой матерью, и Нелл не хотела отставать. Я предложил, чтобы она сдала какой-нибудь девушке одну или две пустовавшие спальни за услуги по дому

[1] Большой лондонский магазин дорогой мебели и предметов домашнего обихода.

или же просто пригласила к себе в дом для компании приятного человека, например, неработающую актрису. Но Нелл и одна справиться не могла, и признать, что не справляется, тоже была не в силах. Позднее она заявила, что отказалась от этой идеи только потому, что боялась оставлять меня наедине с гостьей на время своих поездок в Уитем.

В то лето она ездила туда все чаще, а я все меньше бывал дома. Проводив ее и малышку на Паддингтонский вокзал, я возвращался довольный к своей работе. В следующий уик-энд я обычно ездил в Оксфорд забрать их домой. Счастливые периоды моей холостяцкой жизни принимали такой же регулярный характер, как и ее поездки по оксфордской ветке. Может, настоящий разрыв начался именно с тесного союза сестер, Энтони и детей, из которого Дэн был частично исключен, хотя тогда он этого еще и не понимал.

Приблизительно с этой поры я уже не чувствовал себя виноватой стороной. В Лондоне Нелл томилась, сокрушаясь о несправедливости своего нового положения. Теперь ей уже представлялось, что ее работа в издательстве была не паллиативом, а несостоявшимся великим будущим. Стоило мне предложить простое решение — связаться с ее старыми работодателями и попросить для нее работу на дом,— как она с удивительной непоследовательностью (для меня это самая непривлекательная черта прекрасного пола) снова отыскивала в своей прежней работе тысячу недостатков.

Подобные безысходные ситуации, особенно когда дело касается двоих людей с обостренным чувством личной свободы, слишком хорошо ныне известны, чтобы описывать их во всех деталях и подробностях. Изменения в человеческих характерах и отношениях в таких случаях редко проявляются драматически; они накапливаются месяцами, прячась за примирениями, счастливыми периодами и новыми благими намерениями. Как некоторые формы смертельных заболеваний, они, прежде чем обнаружить жестокую правду, порождают множество успокоительных мифов.

На мой взгляд, самым зловещим симптомом пока еще скрытой болезни была крутая перемена отношения Нелл к моей работе в кино. Ей все стало одинаково противно — что касается первого фильма, уже вышедшего на экраны, основания для этого были. Критики устроили ему форменный разнос, и только двое — одним из них был Барни Диллон — подсластили пилюлю, отметив кое-какие достоинства у сценария неудачного фильма. Но новый сценарий обещал быть интереснее, и, кроме того, мне очень нравилось работать с Тони. Его не назовешь великим режиссером, как бы расширительно ни толковать это определение, но и дураком он не был, особенно по сравнению с предшественником.

Он знал, чего хочет, и умел направить меня в нужное русло, но в то же самое время был вполне восприимчив к чужим идеям. Именно он научил меня разграничивать работу режиссера и сценариста. Нелл раздражал мой энтузиазм после встреч с ним, и я начал скрывать его. Хотя она пока и не выражала своего мнения открыто, в ее отношении ко мне чувствовалось, что я-де изменил своему призванию и погнался за дешевым успехом и сомнительной популярностью. Однажды вечером, когда *что-то* все-таки было сказано, она сослалась на мнение Энтони и Джейн. Они, мол, не понимают, почему я связался со столь продажным demi-monde [1], почему не хочу ограничиться драматургией; по крайней мере, так это звучало в ее изложении. Они, конечно, не говорили мне таких вещей в лицо, но я чувствовал, что мы все больше отдаляемся друг от друга, что пропасть между нашими языками и нравственными ценностями все шире. Кино быстро интернационализирует человека, и я стал смотреть на Джейн и Энтони как на людей сугубо провинциальных. Две формы крайнего

[1] Полусвет *(франц.)*.

упрямства готовились к битве, и Нелл, игравшая роль пятой колонны в моем лагере, все больше раздражала меня.

Однажды (это было, наверное, в июле или августе), придя вечером домой, я обнаружил, что Нелл и Каро без предупреждения уехали в Уитем. Накануне вечером мы разругались в пух и прах, а утром, когда я уходил, она еще спала. В конце недели я поехал в Уитем и привез их обратно. Энтони, возможно, еще ничего не знал, но Джейн глядела на меня укоряюще. С ней Нелл, очевидно, откровенничала. Это взбесило меня, хотя я и не подал вида.

Тогда я как раз правил сценарий. Все спешили начать съемки, поскольку никто толком не знал, когда освободится исполнитель главной роли. В производственном отделе мне выделили комнату и в качестве секретаря прикомандировали ко мне помрежа. Андреа была на два года старше меня; я получил в свое распоряжение не скромную секретаршу, а одного из лучших помрежей по эту сторону Атлантики: эдакого полкового старшину, который сохраняет такт и трезвую голову даже на съемочной площадке, где остальные орут или надуваются как индюки. Она подкупала своим профессионализмом: нельзя было не восхищаться скоростью и качеством ее машинописи, трезвостью оценок моей работы, меткостью замечаний и предложений по сценарию. Физически она меня не привлекала: у нее была чересчур грузная фигура и свойственное работающим женщинам выражение обвиняющей покорности на лице. Тогда я еще не знал, что она замужем — о себе она почти не говорила. Единственной ее славянской (а она была наполовину полькой), во всяком случае не английской, чертой были глаза: красивые, правильной формы, почти нефритового цвета. Все развивалось очень медленно; вначале было чувство облегчения, ощущение резкого контраста между тревожным ожиданием, что еще выкинет вечером Нелл, и привычкой полагаться в работе на умное товарищество, которое придавало каждому прожитому дню смысл и спокойствие.

Вне работы у нас никаких отношений не было. Обычно она выходила из конторы и покупала мне сандвичи, иногда я приглашал ее перекусить в одно из дешевых кафе неподалеку. Но мало-помалу я узнавал о ее неудавшейся семейной жизни. Она вышла замуж за поляка, который во время войны бежал в Великобританию, где стал первоклассным летчиком-истребителем. Капитуляция Германии тем не менее превратила его в алкоголика-садиста, который пытался заниматься какими-то эмигрантскими делами. Сейчас Андреа жила со свой матерью-полькой где-то за Марбл-арч[1]. Что за мерзавец был ее муж и как по-скотски он с ней обращался, я узнал позднее, но уже и тогда догадывался об этом по отдельным намекам. У меня хватило ума не говорить о ней с Нелл. Они пару раз видели друг друга, и Нелл находила Андреа несимпатичной, во всяком случае, судя по ее словам. Правда, тогда Нелл раздражало уже все, связанное с моей работой в кино, и она едва ли ревновала меня к Андреа по-настоящему.

Когда начались съемки — снова на киностудии «Пайнвуд», — я делал последнюю правку сценария. Тони не терпел праздных людей на съемочной площадке, поэтому в павильоны я ездил редко. Чаще всего мы с Андреа оставались в производственном отделе вдвоем. Я продолжал приезжать туда, даже когда реальная необходимость отпала. В кино слухи распространяются быстрее, чем в любой другой творческой среде, и вскоре я уже знал, что сценарий хорош, Тони доволен и им, и мной. Я млел от радости, что пришелся ко двору, и решил освоить другие профессии моего нового дела. Втайне я даже мечтал, что когда-нибудь начну снимать сам.

---

[1] Триумфальная арка, сооружена в 1828 г. в качестве главного въезда в Букингемский дворец; ныне находится в районе Гайд-парка.

Примерно в это время передо мной встал вопрос, что делать дальше — Нелл буквально завалила меня бесполезными советами. На горизонте маячил уже новый сценарий. Но о настоящем выборе говорить не приходилось. Я знал (или думал, что знаю): кино никогда не станет для меня таким же серьезным делом, как театр. Но оно доставляло мне радость и приносило деньги. Когда мне надо сказать что-то по-настоящему личное и «важное», я могу это сделать только на сцене. В новой пьесе, замысел которой уже созрел у меня (в конечном варианте она называлась «Киносъемка»), я расскажу и о компромиссах, и о ложных ценностях и мотивациях, и о соблазнах, которые еще ждут меня в мире кино. Но это будет позднее, а тогда, откровенно говоря, я еще побаивался оскорбить курочку, которая несла золотые гонорары.

Но больше всего мною руководило желание доказать Нелл, что она не права. Когда я брался за третий сценарий, в нашей семейной жизни наступило временное затишье. Она, казалось, смирилась с тем, что я не собираюсь бросать свою вторую профессию; и если она так и не смогла одобрить мое решение, то приносимые сценариями деньги ее вполне устраивали. Стараниями нового литературного агента я выбрался из разряда мелких сошек. Пытался потакать Нелл. Закрывал глаза на то, что мы живем не по средствам, ибо считал это вполне приемлемой платой за семейный мир.

Потом случилось то, что нетрудно было предположить: однажды Андреа хандрила, Дэн поинтересовался причиной, она сказала, что у нее сегодня день рождения и еще что-то о днях рождения в детстве... и о том, как мы, когда вырастаем, не можем до конца свыкнуться с мыслью, что это самые обычные дни. Дэн, не долго думая, отправился в буфет и купил бутылку шампанского. Она рассмеялась, они выпили. Потом, за обедом, Дэн объявил о ее дне рождения другим, купили еще шампанского. И пожалуй, все. Так получилось, что они первыми вернулись в отдел. На ее столе стояла пустая бутылка шампанского; она повернулась и поцеловала его. Дело было не в поцелуе, быстром и нежном, в щеку, а не в губы. Что-то в неуверенности объятия, в ожидании, в выражении глаз, мелькнувшем, прежде чем она отвернулась, говорило ему, что ее товарищество — лишь вынужденное притворство. Но более в тот день ничего не произошло. В комнату кто-то вошел, а назавтра все уже было как всегда.

Через несколько дней вечером, когда Нелл и Дэн ложились спать, Дэн сделал один из тех жестов, которые вырабатывает каждая супружеская пара и которые означают предложение, и получил резкий отказ. Он извинился как можно мягче. Нелл не ответила. Через секунд пятнадцать она встала с постели и закурила сигарету — еще одна преамбула, значение которой он, к сожалению, слишком хорошо знал.

— Ну, что на сей раз стряслось?

— Ты сам отлично знаешь, что стряслось.

— Если бы знал, то не задавал бы вопросов.

Она ненавидела мой, как она говорила, «худосочный киношный сарказм». Молча отдернув одну из занавесок, Нелл уставилась в ночную темень.

— Не понимаю, чего ты хочешь.

— Я хочу развестись.

В тот день он задержался на работе и они чуть не опоздали на ужин к друзьям — чтобы быть совсем уж точным, к женщине, которая когда-то помогала Нелл устроиться в издательство, и ее мужу. Дэн видел, что вечер ей не нравится, что она все время о чем-то думает, но отнес это к хозяйке дома, ее болтовне об издательстве, к алогичной зависти, которую Нелл испытывала к тому, в чем она в общем-то не нуждалась. Но развод — это было что-то новое.

— Почему?

Он ждал, а она молчала. Его неожиданно охватил ужас — а вдруг Джейн сошла с ума, и... он повторил свой вопрос.

— Ты знаешь почему.

— Потому, что я лишил тебя работы, от которой тебя тошнило?

— Ради бога, не надо. — Она снова замолчала. Потом выпалила: — Надо отдать тебе должное — лжешь ты, черт возьми, прекрасно.

— Извини, но я по-прежнему не понимаю, о чем ты.

— О чем?! О твоей интрижке с этой польской коровой.

Он вздохнул: внешне могло показаться, что от ироничного презрения к обвинению, на самом же деле — от облегчения.

— Хорошо. Давай разберемся. Ты что, получила анонимное письмо?

— Значит, ты признаешь?

— Я не признаю абсолютно ничего. Но уж лучше бы ты была польской коровой, чем взбесившейся английской сукой.

— Ты, похоже, только об этом и мечтаешь.

Дэн встал с постели и направился к ней, Нелл резко обернулась. В тусклом свете уличных фонарей он различал ее лицо. Оно выглядело одновременно испуганным и злобным — одержимым. И это остановило его — ощущение, что она переродилась и он ее более не знает и не понимает.

Он сказал:

— Это неправда, Нелл.

— Мне сегодня звонил ее бывший муж. И кое-что рассказал о ней. Ты идешь по протоптанной дорожке. О чем, видимо, и сам догадываешься.

— Но этот человек не в своем уме. Она уже обращалась в суд, чтобы избавить свою мать от его издевательств. У нас все на работе об этом знают.

Они стояли друг против друга.

— Он мне показался вполне нормальным.

— Посмотрим, что на это скажут юристы. Я подам на негодяя в суд за клевету.

— Он говорит, что вся киностудия об этом знает.

Но в голосе ее уже звучало чуть меньше уверенности.

— Нелл, ради бога, человек психически болен. В прошлом году он то же самое начал вытворять с ее матерью. Он католик и развода ей не дает, он... боже мой, как ты могла поверить в такую чепуху?

— Потому что эта чепуха слишком похожа на правду. — Дэн отвернулся и взял сигарету. Он, должно быть, разозлился не на шутку, ибо готов был не только согласиться с ней, но и объяснить, почему она права. Но Нелл не дала ему опомниться: — На прошлой неделе он видел, как ты входил в ее дом.

— Я подвез ее на машине до дома. Она пригласила меня к себе, чтобы познакомить с матерью. Обычная беседа за бокалом вина. Каких-нибудь полчаса.

— О которой ты забыл рассказать мне.

— Насколько я помню, в тот вечер ты была так расстроена недомоганием Каро, что о нормальном разговоре и думать было нечего.

Это объяснение, казалось, удовлетворило ее.

— Ты всегда возишь ее домой?

— Она, черт возьми, отвечает за производственный отдел. И обычно с работы уходит последней. Конечно нет.

— Кажется, ты в курсе всех ее дел.

— Не вижу в этом ничего странного. Она, кстати, хороший работник. И очень приятный человек. — Он вздохнул. — Симпатия к человеку — это еще не измена, Нелл.

Она снова вперила взгляд в окно. Дэн сел на край кровати.

— Наверное, ты все ей рассказываешь о бешеной английской суке, на которой имел несчастье жениться?

— На такие глупости я отвечать не намерен.

Они замолчали; это было похоже на средневековый рыцарский поединок. После каждой атаки с копьем наперевес она останавливалась и обдумывала новую хитрость.

— Ты меня совсем исключил из своей жизни. Я о тебе больше ничего не знаю. Сегодня звонил Сидни. — Сидни был новым литературным агентом Дэна. — Об американском предложении. А я понятия не имею ни о каком американском предложении.

— Речь идет о новом, пока еще весьма проблематичном сценарии. Ничего не решено. А из своей жизни я тебя не исключал. Ты сама себя исключила.

— Я тебя все меньше понимаю.

— Потому что не хочешь взрослеть. Ты хочешь, чтобы нигде ничего не менялось.

Она горько ухмыльнулась:

— Конечно. Я просто обожаю этот отвратительный сарай и ежедневное сидение взаперти, когда ты уходишь и...

— Давай переедем. Давай купим дом. Давай найдем тебе компаньонку. Или няньку для ребенка. Кого пожелаешь.

— Все ясно. Лишь бы тебя оставили в покое.

— Хорошо. Я все бросаю и сижу дома, чтобы быть у тебя под рукой, когда тебе вдруг захочется поскандалить.

Она заговорила спокойнее:

— Не понимаю, почему Энтони и Джейн могут жить вместе в любви и согласии, а мы...

— К *дьяволу* Энтони и Джейн.— Помолчав, он взял себя в руки.— Если кто-то и завел интрижку, так это ты. С ними.

— Спасибо.

— Но это правда. Если ты хотела выйти замуж за университетского профессора и жить среди задумчивых шпилей, то какого черта...

— Ты был тогда совсем другой.

— Спасибо.

— Ты сам это начал.

И так до изнеможения. Кончилось все ее слезами и очередными твердыми решениями изменить жизнь. Правда, решения эти выполнялись достаточно непоследовательно. Позвонив своей подруге, она снова взялась за корректорскую работу; но вскоре ей это наскучило.

Самое смешное, что эта ссора существенно приблизила Андреа и меня к тому, что в конце концов и произошло. Я считал, что обязан предупредить ее о художествах несчастного Владислава, но не мог заставить себя сделать это в конторе. Через несколько дней Нелл, Каро и я поехали на выходные дни в Уитем, и Нелл решила остаться там до среды — или, точнее, выполняя одно из новых намерений, решила не оставаться, но я уговорил ее изменить решение. Итак, в один из вечеров я пригласил Андреа на ужин в ресторан — чтобы избежать недоразумений, я заранее предупредил, что мне необходимо сказать ей нечто важное. Думаю, она догадывалась, о чем пойдет речь, но мой рассказ все же потряс ее, она принялась извиняться, тут же захотела встретиться с Нелл, чтобы объяснить ей все... но Нелл взяла с меня слово, что я не сделаю того, что сделал, то есть ничего не скажу Андреа, которую она к тому времени уже перевела из разряда «польских коров» в категорию «бедных женщин».

В китайском ресторане, куда мы пошли, я наконец услышал историю ее замужества. Во время войны она работала в женской вспомогательной службе ВВС, знание польского языка очевидным образом определило и место работы, и круг обязанностей. Она влюбилась во Владислава и тут же выскочила за него замуж. Его неуравновешен-

ность казалась тогда вполне объяснимой реакцией на боевые вылеты, на постоянное напряжение воздушных боев. Мир и уступки союзников Сталину по польскому вопросу превратили его в англофоба, а провал попытки стать гражданским пилотом лишь усилил эти настроения. В то время он уже сильно пил. Андреа поневоле пришлось заниматься сначала «польским вопросом», а потом «католическим» и «эмигрантским». Тогда же она узнала, что никогда не сможет иметь детей. Все это оставило в ее душе горький осадок, презрение ко всему польскому (кроме, естественно, матери) и постоянное чувство вины перед проходимцем, за которого она вышла замуж. Работа в кино спасла ей жизнь или, во всяком случае, позволила не сойти с ума.

Мне бы не хотелось рисовать Андреа слишком трезво-объективной, флегматичной и бесстрастной. Французы называют таких женщин belle laide [1]; их чары овладевают мужчинами исподволь, медленно. Ее фигура не бросалась в глаза, особенно рядом с двадцатилетними пташками, которых продюсеры нанимают готовить кофе да ублажать взор и самолюбие. Но лицо ее было поразительным, и прежде всего глаза — таких замечательных глаз я в жизни ни у кого больше не встречал. В этом состояло ее преимущество перед другими женщинами — ведь больше всего смотрят именно в глаза. С ней нелегко было сохранять дистанцию, поскольку она не только обладала какими-то чертами femme fatale [2], но и догадывалась об этом.

Я в ответ рассказал ей немного о своей семейной жизни. Я не жаловался, я даже оправдывал Нелл — и существенно больше, чем делал это внутренне. Тот вечер мог только подтвердить, что какие-либо отношения между нами, кроме дружеских, решительно невозможны. Когда мы прощались около ее дома, я поцеловал ее в щеку, потом поймал такси и уехал. Я уже тогда мог представить себя с ней в постели, но понимал, что ни ее темперамент, ни наши служебные отношения не позволят нам ограничиться банальной интрижкой.

Пассажиры в купе зашевелились и задвигались. Я увидел туманные отражения уличных фонарей в черной воде. В тщательно оберегаемой английской тишине мы въезжали в самый английский из английских городов.

Rencontre [3]

Джейн я узнал сразу, еще стоя в очереди к билетному контролеру. Я махнул рукой, она подняла руку в ответ — словно мы не виделись два-три дня, а не шестнадцать лет. Я смотрел на женщину сорока пяти лет в длинном кожаном пальто, снизу и сверху отороченном мехом; она была без головного убора и сумки, руки держала в карманах; лицо ее сильно постарело, но сохранило прежнюю привлекательность и одухотворенность. Даже если бы я ее не знал и случайно встретил на улице, то наверняка бы обернулся вслед. Пожилой пассажир, прошедший билетный контроль раньше меня, заговорил с ней. Я видел, как она улыбнулась. Они перебросились несколькими фразами. Кожаное пальто — вот что придавало ей вид немного театральный и слегка вызывающий. Седины в волосах я не заметил, она, должно быть, красилась. Носила она их свободно, скрепив сзади лишь серебряным гребнем. В ее облике сохранилось что-то испанское — еще с юности бывшее для меня частью ее Gestalt'a [4]. Во всем остальном она выглядела элегантной женой оксфордского профессора, каковой и была.

---

[1] Здесь: привлекательная дурнушка *(франц.)*.
[2] Роковая женщина *(франц.)*.
[3] Встреча, дуэль *(франц.)*.
[4] Образ *(нем.)*.

Когда я добрался до билетного контролера, Джейн все еще говорила с пожилым господином. Она извинилась перед ним, и он ушел. Навстречу мне она не сделала ни шагу и лишь улыбалась, глядя, как я иду к ней. В последний момент потупилась. Наступил странный миг, когда мы оба не знали, что делать дальше. Она все еще держала руки в карманах. Потом протянула их мне.

— Я, кажется, забыла заготовленную речь.

Пожав протянутые руки, я неловко наклонился и поцеловал ее в щеку.

— Речей и не требуется.

Тут она подняла на меня глаза; в них блеснула прежняя ирония, а может, и вопрос.

— Ты не изменился.

— Да и ты тоже. Прекрасно выглядишь.

— Ну уж.

Крупные планы обнажили все приметы возраста — и морщины, и следы усталости. Косметикой она не пользовалась. Чувствовался в ней и затаенный страх. Она не знала, каким я стал. Мы улыбнулись, словно незнакомцы, от собственной неловкости.

— Машина на площади.

— Хорошо.

Она повернулась и пошла в темноту.

— Я... мы так благодарны тебе, Дэн, я...

— Мне давно надо было вернуться. Серьезно.

Не отрывая взгляда от мокрой мостовой, она еле заметно кивнула. Мы подошли к ее машине. Она посмотрела на меня поверх нее.

— Ты сможешь пойти к нему уже сегодня вечером?

— Конечно.

— Тебе, наверное, надо сначала чего-нибудь выпить. Мы по дороге можем заехать в «Рэндолф».

— Прекрасно. А после моего визита к Энтони я приглашаю тебя на ужин.

— У меня кое-что дома приготовлено...

— Никаких возражений я не принимаю.

Поколебавшись, она уступила, пожав плечами в знак согласия.

Во время недолгой поездки до «Рэндолфа» она рассказала мне сухо, почти безразлично, о состоянии Энтони. Первичный рак желудка дал обширные метастазы; операция ни к чему не привела. Он уже прожил больше, чем врачи первоначально предполагали. Мы поговорили о ее детях, о других родных, о Каро. О Барни я ей ничего не сказал. Чувство, которое мной владело, было не печалью, а, скорее, тайной радостью: все эти забытые — Оксфорд я тоже не видел шестнадцать лет — и одновременно не забытые улицы и дома, женщина за рулем рядом со мной; было в нем и что-то более глубокое: странные возвраты времени, прошлых переживаний... моменты, которые хороши уже тем, что ты дожил до них. Возможно, присутствие смерти всегда так действует на человека. Утерянные ценности вновь обретают значение, то, что ты все еще жив, по-прежнему ощущается великой удачей, которая меркнет в обычный день.

В «Рэндолфе» мы нашли свободный столик. Она сняла свое длинное кожаное пальто, под ним оказался брючный костюм и простая кремовая блузка, воротник которой был заколот брошью с крупным черно-коричневым агатом. Она показалась мне выше и тоньше, чем я ее помнил; возможно, все дело было в одежде. Я заказал кампари для нее и большую порцию шотландского виски для себя. Едва официант отошел от нашего столика, я решил, что время светских околичностей миновало.

— Все эти годы, Джейн, я не раз пытался представить себе сегодняшнюю встречу. Но, как выясняется, не смог.— Она не поднима-

ла глаз.— Во всем виноват я один. Чтобы к этому больше не возвращаться.

Она прошептала:

— Мы все виноваты.— После паузы продолжила: — Это один из немногих догматов веры, по которому мы с Энтони еще не расходимся.

— Ты отпала от веры?

Ее улыбка стала естественнее.

— Сколько же воды утекло.

— Вчера я целый вечер выведывал семейные секреты у Каро.

Она продолжала улыбаться.

— Боюсь, что я уже давно не католичка.

— А Энтони?

— Соблюдает все обряды. Принял уже и святое причастие. Если я не ошибаюсь. — Она, должно быть, поняла, насколько странно звучит такая неопределенность.— Во всяком случае, священники к нему ходят по-прежнему.— Потом добавила:— Вот уже много лет в нашей семье это запретная тема. А в запретных темах, говорят, нуждаются даже самые безупречные браки.

Официант принес напитки. По некоторым ее обмолвкам я заключил для себя, что и в безупречных браках есть свои проблемы.

— А дети в кого?

— В мать-безбожницу.

— Кто бы мог подумать?!

Она пригубила кампари. Я ждал, не последует ли тоста. Но столь очевидной и даже банальной возможностью выказать свои чувства она воспользоваться не захотела. Чего-то я в ней не понимал — может, потому, что накопил слишком много предубеждений... или неправильно истолковал рассказ о ней Каро. С одной стороны, я ожидал увидеть более уверенную в себе зрелость, а с другой — ощутить бóльшую теплоту. Постоянная, еле заметная улыбка, с которой я всегда связывал ее образ, кажется, исчезла навсегда; так же, как и ее прежняя жизнерадостность — внутренняя наэлектризованность, живость, поэзия, которыми были отмечены даже самые незначительные встречи: взмах руки с противоположного тротуара, беглая улыбка издалека на людном вечере. Теперь я чувствовал в ней громадную, невесть что таившую сдержанность.

— Я думаю, что только истинная вера способна вынести такие удары.

— Он всегда умел черпать уверенность в несовместимых событиях... или истинах.

— В абсурде, доведенном до предела?

— Что-то в этом роде.— Она сделала над собой усилие, пытаясь говорить яснее.— В меланхолии его не упрекнешь — он ведет себя весьма мужественно. Очень философски. Для философа. Но абсурд, пожалуй, ему ближе всего.— Она поморщилась.— Труден поиск вечных истин.

— Его можно понять.

— Можно. Chacun á sa mort[1].

— Это он говорит или ты?

Она едва заметно усмехнулась:

— Он умрет настоящим оксфордцем. Сохранив всю свою иронию.

Я обратил внимание на ее усмешку.

— Предполагаю, что мужество свойственно не только ему.

Она пожала плечами.

— Нелл считает, что я чересчур сурова.— Пока она подбирала понятные для иностранца слова, я разглядывал ее профиль.— За последние годы она стала вызывающе банальной и консервативной.

---

[1] Каждому — своя смерть *(франц.)*.

— То же самое говорила мне Каро.

— Столп общества. Кажется, мы недооценили Эндрю.

— Он никогда не был таким дураком, каким себя изображал.

— Да, я помню эту твою фразу.

— Она счастлива с ним?

На ее губах мелькнула улыбка: словно такие вещи вовсе не важны.

— Настолько, насколько может.

— Я рад.

Она по-прежнему избегала смотреть мне в глаза. Мы оба разглядывали группку студентов, сидящих в другом конце зала. На их фоне наш дендизм — дендизм конца 40-х годов — выглядел бы жалким. Джейн меня все больше озадачивала; своей неприветливостью и безразличием она молчаливо давала мне понять, что я нахожусь здесь не по ее воле. Я бы не возражал, чтобы в ней была хоть толика той банальности, в которой она только что обвинила Нелл. Я сделал еще одну попытку перебросить мост через пропасть, лежащую между нами.

— Чего он хочет от меня, Джейн?

— Наверное, слегка переиначить прошлое.

— Что это значит?

Она помолчала в нерешительности:

— Мы не говорили о тебе, Дэн. И о прошлом тоже. Вот уже много лет. Я знаю, что он очень ждет тебя... но он не снизошел до того, чтобы объяснить мне причину.— Она заговорила быстрее: — Беда цивилизованных людей в том, что они прекрасно научились скрывать нецивилизованную правду. Я знаю только, как он огорчился, когда я сказала, что мы не имеем права взваливать все это на тебя. И огорчился он вполне... искренне.

— Тогда я на его стороне. Уверен, что такое право у вас есть.

— Только не подумай, что я не благодарна тебе за твой приезд.— На мгновение я увидел ее почти прежние глаза: чистые, с искоркой самоиронии.— Сейчас я ни в чем не вижу ни надежды, ни смысла. Не обращай на меня внимания.

Этого я, конечно, сделать не мог: мне становилось все более не по себе, словно наши прежние отношения настолько изменились, что приходится напоминать о новом их статусе каждой фразой и каждым жестом. Она держалась так, будто я важен и знаменит, а ей, простушке, смешно рассчитывать на мое драгоценное время.

— Было бы странно, если бы ты чувствовала себя по-другому.

— Может быть.— Натянутую улыбку она попыталась спрятать за другим, тоже весьма странным, извинением.— Да, пока не забыла, Нелл просила меня передать тебе, что она сожалеет о своей выходке по телефону. О твоей подруге, она...

— И я себя вел не лучше.

— Я видела только один фильм с ее участием. Она очень хороша.

— Ее ждет прекрасная карьера. Если, конечно, она будет держаться подальше от таких типов, как я.

— У нее, как я понимаю, есть свое мнение на этот счет?

Я посмотрел на студентов в другом конце зала:

— Ее место там, рядом с ними, Джейн. А не за моим столом.

— Она хочет выйти за тебя замуж?

Я покачал головой:

— Я помогаю ей сделать первые шаги в Голливуде. Пытаюсь отсрочить неизбежное.

— Что именно?

— Время, когда она поверит в него.

Она снова едва заметно улыбнулась, но как бы из вежливости, думая о чем-то своем. Я заметил, как она взглянула на часы.

— Нам уже пора?

— Судя по времени, он уже съел свой так называемый ужин.

— А как же наш? Где сейчас можно хорошо поесть?

Джейн еще раз пригласила меня поужинать дома, Нелл в свой последний приезд из Комптона привезла ей пару фазанов... но я настоял на своем и, пока она звонила домой, успел заказать для нас столик в итальянском ресторане, который она порекомендовала. Может, мне пожить в гостинице? Настал ее черед проявить непреклонность. Мы отправились в больницу.

Это был тот редкий случай, когда наше состояние легче было бы запечатлеть с помощью кинокамеры: сомнения во взглядах, недоговоренности, обоюдное смущение и неловкость. У меня возникло чувство, будто я имею дело с женским подобием Энтони; но при этом место Джейн, которую я когда-то знал, заняла ее печальная и постаревшая копия, а ее прежняя независимость обернулась безразличием. Не была она похожа и на того человека, про которого мне рассказывала Каро; по какой-то причине от меня прятали и это лицо.

Мне предстояло вновь узнать ее и заново освоить язык общения. В Оксфорде, как нигде в Англии, умеют при желании отойти от привычных разговорных норм, которых придерживается весь остальной английский средний класс — от рассчитанной уклончивости, недоговоренностей и точно дозированной невнятицы. Я слишком долго жил в изгнании, в мире, где единственным «мерилом» является профессиональное мастерство человека в конкретной обстановке; от оксфордского мирка, который, несмотря на весь свой академизм, руководствуется главным образом идеальными и абстрактными — а подчас и абсурдными — понятиями индивидуальной правды и порядочного поведения, меня отделяла вечность.

За внешним почтением я тем не менее чувствовал к себе снисходительное отношение; так интеллектуал снисходит до крестьянина, делая тому скидку на невежество. Я начал подозревать, что от меня исходит запах того вульгарного мира, в котором я жил, это, по крайней мере, хотя бы частично объясняло, почему она столь осторожно выказывала свои чувства — скорее всего, считала, что я, пообтрепавшийся и поблекший в общении со второстепенными умами второсортного мира, не пойму ее. И все это каким-то странным образом сосуществовало со страхом, будто я отныне фигура мирового масштаба, переросшая их замок из слоновой кости со всеми его лингвистическими и этическими церемонностями. Наше препирательство о том, где ужинать — в городе или у нее дома,— было в этом смысле весьма символичным. Я потребовал уважения к своему нынешнему положению, и она подчинилась, несмотря на всю глупость моего каприза. Едва упомянув итальянский ресторан, она тут же начала возражать против него, поскольку он, видите ли, «ужасно дорогой»,— будто наши доходы и отношение к деньгам остались такими же, как в студенческую пору.

Словом, пока мы ехали в ее машине по туманным улицам Оксфорда, я чувствовал себя все более обманутым и разочарованным: я уже знал, насколько далека от меня сидящая рядом женщина, и догадывался, что ее муж едва ли окажется ближе. Я неожиданно вновь ощутил острую тоску по молодой женщине в далеком Лос-Анджелесе, которую я только что покинул ради благого деяния; и не по ее телу, а по ее искренности, открытости, умению жить сегодняшним днем. Для кино существует только «сейчас»; оно не позволяет заглядываний ни в прошлое, ни в будущее, а поэтому и является самой безопасной формой иллюзии. Вот почему я отдал ему так много времени и сил.

Преступления и наказания

Влияние истории общества на частную жизнь загадочно или, что точнее, загадочно для меня; было бы несправедливо упрекать наш век в том, что он не пытался разгадать эту загадку. Всю жизнь я мечусь

между верой в хотя бы относительную свободу воли и верой в предопределение. И теперь мне ясно, что решения, которые, как мне представлялось, я принимал сознательно, оказались нисколько не мудрее тех, что были продиктованы капризами слепой судьбы. В теологическом бестиарии XVII века, который составил мой отец, квиетизм был одним из самых страшных чудовищ; отцовские проклятия все же не мешали мне сочувствовать квиетистскому тезису о том, что добродетель и порок вкупе враждебны благодати. Благодати я в своей жизни, конечно, не обрел, но равным образом и не убедился, что подчиниться своей природе хуже, чем противиться ей. Главный же вопрос, настоящая западня — это, конечно, выяснить, в чем заключается эта наша истинная природа.

Я не помню, чтобы в моем окружении кого-то серьезно занимали и национальный разор послевоенного десятилетия, и всеобщее возмущение тем, что за победу в кровавой войне надо еще и расплачиваться. Сегодня я думаю, что самой заметной чертой не только моего класса, но и всего моего поколения был крайний эгоизм. Мы без сожаления (оно пришло позднее) наблюдали, как рушатся имперские и коммерческие основы нашей культуры — ведь с исчезновением национальной цели наш эгоизм получал дополнительный Lebensraum [1]. Если большинство из нас на людях были либералами, то в узком кругу — самими собой, то есть законченными эгоистами; этим и объясняется обилие перебежчиков в лагерь правых в шестидесятые годы. То время и предопределило сегодняшнее противостояние богатых и богатеющих.

Большинство из нас продолжало рассматривать это противостояние в рамках марксизма. Но истинного лица британского рабочего класса и его лейбористской партии мы тогда еще разглядеть не сумели. Кто мог предположить, насколько буржуазным и консервативным он станет? Кто мог догадаться, что политическая жизнь страны выродится в вялую борьбу даже не столько между «тори» и «социалистами», сколько между комфортом апатии (исторической судьбой) и редкими приступами свободного волеизъявления или же во взаимный шантаж труда и капитала? Кто мог знать, что последние национальные добродетели (гражданская терпимость, ненависть к насилию и т. п.) однажды окажутся не только результатом свободного выбора, но и проявлением самой обычной лени? Даже нелепая ностальгия по имперскому и военному прошлому, буйно — как опята на гнилом пне — растущая в последнее время, возникла не из политических убеждений, а, скорее, из смутного ощущения, что сегодняшний эгоизм нас самих же и обкрадывает.

Как и многие военнослужащие первого послевоенного десятилетия, вся страна ощутила себя демобилизованной — скинувшей с себя скучные многовековые обязательства перед другими, фальшивый престиж, притворное единообразие характеров и привычек. «Фестиваль Британии»[2] 1951 года не возвещал рождения новой эры, он хоронил старую. Именно тогда мы начали делиться на племена и классы, а затем и на отдельные личности.

В принципе я не против этого. Со школьной скамьи я себя уже не чувствовал «британцем»... только англичанином, хотя, впрочем, и это чувство сильным не назовешь. Но теперь уже ясно, что превращение нации одураченных патриотов в сообщество себялюбивых индивидуумов нам далось нелегко. Мы не смогли понять происходящее; не смогли мы и создать новые политические партии, которые бы отвечали потребностям — и опасностям — все более замыкающегося в себе общества; не хватило нам и честности, чтобы сбросить старые маски. Себялюбие стало всеобщим, а мы относились к нему как к

[1] Жизненное пространство *(нем.)*.

[2] Британская юбилейная выставка, устроенная в Лондоне в ознаменование столетия «Великой выставки» 1851 года.

личной тайне, которую не полагается знать другим; не знало границ и наше пуританское лицемерие — достаточно вспомнить бесконечные публичные плачи о национальной экономике, о новой роли Великобритании (театр, да и только!), о Суэцком фарсе; недавние вопли о порнографии и обществе вседозволенности; о победе Карнаби-стрит над Даунинг-стрит[1] и о триумфе телевизионного варианта «хлеба и зрелищ» над истинным демократическим чувством. Мое поколение и поколение следующее, произведенное моим на белый свет, заботятся только об одном — о личной судьбе; все другие судьбы ему безразличны. Может, так и надо, я уже ни в чем не уверен; но чудовищные нагромождения лицемерия и лжи, которыми сопровождается еще не закончившийся процесс, могут вызвать у истории разве что омерзение.

Не стану делать вид, будто Дэн был честен и всеведущ или же, напротив, с самого начала склонен скорее убить неродившееся дитя, чем хоть в чем-то ограничить свои удовольствия,— но все же мне сейчас хотелось бы, чтобы он тогда проявлял чуть больше боевитости и чтобы в его жизни было существенно меньше компромиссов и лжи. Если Дэн и был чуть лучше готов к будущему, чем большинство его современников, то только потому, что больше жертвовал своему эгоизму и, следовательно, мог чаще его тешить. Думаю, что их брак с Нелл был обречен с самого начала.

Эра эгоизма обращала старые грехи Дэна в сомнительные новые свободы. Нелл же она запирала в клетку. Вот в чем заключалась ее истинная ревность и его истинная измена.

Дэн — словно страна, которая изготовилась отразить нападение готтентотов, уже собравшихся в Кале,— отгораживался от окружающего мира.

Нелл становилась потенциальным соглядатаем, который может пробраться в «святая святых», пересчитать «золото», спрятанное в мозговых извилинах, и обнаружить его недостачу. Подозреваю, что наша несовместимость имела не только психологический, но и исторический характер.

Если бы я родился раньше, когда общество еще наказывало еретиков, то, скорее всего, никогда не предал бы Нелл — или, во всяком случае, скрывал бы предательство гораздо лучше. Но я занимался тем видом искусства, который викторианцы предали анафеме: я был драматургом. По-моему, они преследовали и калечили театр именно потому, что понимали, насколько сцена ближе, чем роман, к неприличной действительности. Театр полощет грязное белье на людях, выбалтывает секреты посторонним, его фразы не отданы анонимному шрифту, который ум поглощает в уединении, похожем на туалетное, а произносятся вслух перед большой аудиторией. Роман, печать — очень английские явления; театр (несмотря на Шекспира) — нет. Я всегда понимал этот парадокс, я всегда знал о моем сверхсекретном частном лике и лживом общественном, о моих ненаписанных «Сонетах» и слишком тщательно выписанных «Пьесах».

В 1954 году я написал свой первый «большой» — а всего четвертый — сценарий. Натуру предстояло снимать в Испании. Я отправился в Голливуд; это была моя первая поездка, поскольку я впервые работал с «большим» продюсером — священным чудовищем; в нем, как и в большинстве людей его типа, было больше от чудовища, чем от святости. Нелл и Каро поехали в Америку вместе со мной, но остались у ее матери и отчима на Восточном побережье. Три недели, что я был на Западе один, я спал с молодой женщиной, подцепившей меня в

[1] Карнаби-стрит — улица в Лондоне, известная магазинами модной одежды для молодежи; Даунинг-стрит — метафорически, английское правительство (по резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10).

баре гостиницы. Она искала доступа в тот мир, куда я сам едва только вступил. По своему типажу это была не законченная шлюха, а, скорее, запутавшаяся в жизни потаскушка, каких прекрасно играла Вероника Лейк [1] в фильмах Престона Стёрджеса [2]. Она мне нравилась и в постели, и в обычном общении — не в последнюю очередь, из-за принятия ею жизни такой, какая она есть, чем резко отличалась от Нелл, которая стремилась жить где угодно, но только не в настоящем. Мне нравились даже ее наивность и невежество (она сама приехала в Голливуд со Среднего Запада всего пару месяцев назад) — особенно учитывая, что мое превосходство в знаниях было очень сомнительным и проистекало разве что из наблюдений текущего дня.

Кроме того, это была моя первая встреча с женщиной, лишавшей секс всякой романтики и, подобно очень многим американкам, смотревшей на него как на некое сочетание анатомии и гастрономии, которое, словно достоинства пищи, можно обсуждать до, во время и после обеда. Подобная откровенность мне была внове и поначалу привлекала меня, но еще до возвращения к Нелл очарование это стало меркнуть и уже больше никогда не возвращалось. Части тела — существительные, действия — глаголы, и ничто так не разрушает интимную сферу, как необходимость вслух оценивать и анализировать то, что само по себе является превосходным языком и, словно музыка, должно вкушаться в молчании. Я не виню Элен за верность своей культуре — напротив, я ей обязан тем, что она помогла мне постичь ее, да и мою собственную тоже.

Одним словом, интрижку я завел с самой Америкой. И все же в свой первый приезд я так и не понял, насколько Калифорния отличается от всех остальных Соединенных Штатов. Калифорния меня очаровала, и не собственными достоинствами, а абсолютной непохожестью на Англию и неисчерпаемыми возможностями подавлять эту, английскую, часть моей натуры. Чувства вины по отношению к Элен я почти не испытывал; а если и испытывал, то ровно настолько, чтобы держать три недели наших свиданий и любовных утех по возможности в тайне. Я звонил Нелл чуть ли не каждый день — и не от тоски, а только чтобы удостовериться, что она не прилетит неожиданно и не застанет меня врасплох. Думаю, что к тому времени я уже стал вполне аморальным, если, конечно, не придерживаться морали арабского шейха. Нелл меня физически не отталкивала, что упрощало задачу обманывать ее в постели: как и большинство женщин, она придавала слишком серьезное значение подобной, ничего не доказывающей проверке. Понравилась мне и неделя, проведенная с нею в Коннектикуте перед возвращением домой — свою роль сыграло здесь и приглашение в Голливуд, которое в глазах ее родителей придавало мне веса и важности.

А вот из наших рабочих каникул в Испании, во время съемок натуры в том же году, ничего хорошего не получилось. Мы нашли на время небольшой коттедж под Валенсией, у самого моря, и наняли испанскую бонну для Каро. Но Нелл быстро наскучили долгие репетиции. Не могу винить ее в этом, поскольку вскоре и сам начал тяготиться ими, но это был мой первый опыт подобного рода, да еще с участием многих сотен статистов, и я считал своим профессиональным долгом присутствовать и на репетициях, и на съемках. Не оставлял меня в покое и продюсер — священное чудовище, его раздражительность и болезненное самолюбие неуклонно росли до начала съемок и оставались на достигнутом, очень высоком, уровне все последующие недели. О том, что такое считается в порядке вещей, меня предупредил молодой американский режиссер, для которого тот фильм тоже был первым крупным шансом, и вдвоем мы кое-как сумели перетер-

[1] Вероника Лейк (1919 — 1973) — американская киноактриса, популярная в 40-е годы.

[2] Престон Стёрджес (1898 — 1959) — американский сценарист и режиссер.

петь и потоки оскорблений, и постоянные угрозы увольнения. Сцены, которые еще накануне назывались «превосходными», за одну ночь — обычно непосредственно перед съемками — превращались в «тошнотворные». Еще когда я писал сценарий, отвратительный старик завалил меня собственными идеями, причем делал это с деликатностью горного обвала; к несчастью, своих идиотских идей он не забывал, и они заново появлялись недели и даже многие месяцы спустя, грозя похоронить с собой любой разумный путь, которому мы с режиссером пытались следовать. Все это лишь разжигало недоверие Нелл к моей работе.

Несколько месяцев спустя, весной 1955 года, я писал в Лондоне второй сценарий для Тони. Андреа по-прежнему работала помрежем, долго тлевшее чувство однажды все-таки вспыхнуло... Я не знаю, как Нелл догадалась об этом, но чтобы проверить свою догадку, она наняла частного детектива. Как-то вечером, вернувшись домой, я нашел на столе копию его отчета, которую оставили специально для меня. Нелл и Каро исчезли. Оправившись от первого потрясения, я почувствовал облегчение. Позвонил в Оксфорд. Они, должно быть, ожидали моего звонка — к телефону подошел Энтони. Нелл он позвать отказался и вообще отказался обсуждать что-нибудь по телефону, настаивая на личной встрече, ради которой он был готов приехать в Лондон.

Через пару дней он явился ко мне домой, и мы пошли в ресторан пообедать. Я ожидал чего-то, похожего на моральное аутодафе, но он был настроен на удивление по-деловому. Они с Джейн уже давно догадывались, что у нас с Нелл не все в порядке, но это дело моей совести, и он не вправе решать, кто тут и в чем виноват. Мне показалось, он опасался, как бы я не начал обвинять его и Джейн в том, что при малейшей размолвке Нелл сбегала в Уитем. Вслух же он заверил меня, что относится к моей профессии и моему кругу общения с пониманием и чуть ли не с уважением — ни один настоящий оксфордский профессор, каким он к тому времени уже безусловно стал, никогда в душе не одобрит ничего подобного.

Нелл «убита» и не о чем, кроме развода, говорить не намерена. И все же, если я хочу попытаться сохранить наш брак, они с Джейн готовы уговорить ее хотя бы повременить с официальным разводом. Он сам склонялся именно к такому решению и (вполне естественно) в качестве аргумента использовал Каро, но на удивление поспешно согласился с моим доводом, что постоянные ссоры наносят ребенку не меньше травм, чем развод родителей. Потом я рассказал ему — связав его словом, которое он сдержал,— что в моей жизни были и другие женщины. Имен или деталей я не называл, но легко заметил, что мое признание поразило обе его ипостаси: и английского обывателя, и католического философа. Во внешней же реакции проявилось что-то иезуитское; раньше он попытался бы выяснить, что побудило меня к такому поведению, а теперь счел за благо светски промолчать.

В тот же вечер он должен был вернуться в Оксфорд, и около трех мы с ним расстались, попрощавшись сдержанно и официально. Думаю, он был огорчен и тем, что не заметил во мне искреннего раскаяния (исключая Каро), и тем, что я не пытался казаться лучше, чем я есть (оказавшись, естественно, хуже, чем он меня представлял). Но в тот раз он ничем своих чувств не выдал. Вполне может быть, что я несправедлив к нему, что он старался остаться объективным, но наша взаимная сдержанность каким-то парадоксальным образом заставила меня пожалеть, что мы не нагрубили друг другу. Я для себя решил, что, прокляв меня в душе окончательно, он играл передо мной роль духовного пастыря и учтивость его относилась к нераскаявшемуся грешнику, а не к человеку, за которым, возможно, и нет никакого греха. А на самом деле все было намного проще: я по-прежнему дорожил его мнением, а он считал, что мне на него наплевать. Все это я объясняю, чтобы было понятно дальнейшее.

Мое настроение тогда колебалось между безразличием и весьма редким сожалением о том мире, доступ в который я сам для себя закрыл. Если мне и не хватало Нелл, то только в мелких хозяйственных делах. Но вскоре ко мне переселилась Андреа, так что и эта нужда в моей бывшей жене отпала. По ком я скучал, так это по Каро, хотя, если быть до конца честным, постыдно мало; самой значительной потерей для меня явилось общество Энтони и Джейн. Это помогло мне разобраться в том, почему я женился на Нелл, но от горечи, вызванной чувством отверженности, не избавило.

Наш разговор с Энтони подразумевал, что очередной ход теперь за мной. Неделя шла за неделей, а я бездействовал. Не хочу представить дело так, будто виновата Андреа; она не заявляла на меня своих прав и не строила планов на будущее. Но от этого возвращение к Нелл не выглядело привлекательнее. В конце концов Нелл сама сделала ход через своего адвоката. Я принял вину на себя. В суде Нелл — она пришла одна, без Энтони и Джейн,— вела себя с ледяной холодностью: за все время слушаний она, кажется, ни разу не взглянула на меня. А я если и смотрел на нее, то только из любопытства. Словно персонаж забытой пьесы, она уже принадлежала прошлому. После суда я намеревался поговорить с ней о Каро, установить хотя бы подобие мира, раз уж разрыв окончателен, но первое же мое поползновение было решительно отвергнуто. До разговора дело просто не дошло. Пока не закончились судебные формальности, я не настаивал на свиданиях с Каро, теперь же решил воспользоваться официальным судебным постановлением. Приближался день рождения моей дочери (ей исполнялось три года), и я хотел видеть ее. Я написал Энтони письмо. В конце концов договорились, что я приеду в Уитем, когда Нелл там не будет.

В Уитеме выяснилось, что Энтони тоже избегает встреч со мной. Дверь открыла Джейн. Кроме нее дома были двое ее собственных детей и Каро, которой она, как щитом, отражала все мои попытки перешагнуть грань сухой официальности. Джейн сказала, что у Энтони дневные занятия в университете и масса других дел, поэтому обедать домой он не приедет. Потуги растопить лед я оставил задолго до отъезда — любая моя попытка отклониться от сиюминутного и тривиального решительно пресекалась. Может, она считала меня во всем виноватым? Вот уж это мне было решать самому. Но ведь что-то она об этом думала? Какой ей, впрочем, смысл говорить со мной? О том летнем дне из нашего прошлого и намека не прозвучало. Меня подмывало заговорить о нем, но я понимал, что ничего, кроме резкости, в ответ не услышу. Я, видите ли, оказался недостоин нашего прошлого. Так я разжигал в себе обиду на Джейн: как она может обвинять меня в том грехе, к которому она же меня когда-то и склонила?! А теперь она вела себя так, будто я изменил прежде всего ей, а не Нелл. Джейн была похожа на героинь Джейн Остин — эдакая Фанни Прайс[1], которая глубоко верит, что живет по незыблемым моральным законам, и которая не способна понять, что другие люди живут по своим законам не только из-за непростительного отсутствия вкуса.

В тот день я все же кое-что узнал о Джейн и Энтони, а также и о Нелл. Я узнал, что они хотят купить дом в Оксфорде и что Нелл нашла себе какую-то библиографическую работу в Институте Тейлора[2], и, возможно, если им удастся купить достаточно просторный дом, будет снимать у них квартиру. Памятуя о прошлом тайном нерасположении Энтони к Нелл, я сомневался, что он действительно хочет этого, но спросить, конечно, не мог. Назывались только факты, мотивы не обсуждались. После обеда она со своими детьми ушла за покупками, на час оставив меня вдвоем с Каро. Этот час, проведенный

[1] Героиня романа Джейн Остин «Мэнсфилд-парк».

[2] Институт иностранных языков при Оксфордском университете, имеет большую библиотеку иностранной литературы.

наедине с ребенком, который успел от меня отвыкнуть, в доме, где мое физическое присутствие лишь подчеркивало мою отверженность, тянулся бесконечно. Зазвонил телефон, но трубку я не поднял. Джейн, вернувшись, сказала, что звонил, должно быть, Энтони. Я попытался вызвать ее сочувствие к трудностям, которые испытывал, общаясь с Каро; в ответ услышал о детском стремлении жить только в настоящем; о том, что, как она считает (и это их общее мнение), чем меньше я пока буду видеться с Каро, тем лучше. Надо исходить из ее интересов, а не из моих. Потом Джейн сказала, что придет время и Каро сама найдет меня. Это, пожалуй, были ее самые человечные слова за весь день.

Я был весьма озадачен ее сдержанностью, но еще сильнее она меня смутила психологически. Из нашей четверки мы двое изменились больше других, но в диаметрально противоположных направлениях. Вся ее прежняя лукавая игривость, искренность, теплота, казалось, исчезли навсегда. С Андреа у меня жизнь складывалась самым приятным образом: у нас не было ссор, зато хватало дружеских споров, спасавших наше существование от приторности. Андреа хорошо готовила, была прекрасной любовницей и с исключительным тактом относилась к моей работе: уходила утром заниматься своими делами, а возвращаясь вечером — в зависимости от моего желания,— либо помогала мне, либо пересказывала последние сплетни. Она была истово привязана к культуре — не на английский, а скорее на континентальный, европейский манер. За месяц я посещал с ней больше выставок и концертов, чем ранее за целый год с Нелл. И несмотря на все это, я покидал Уитем, еще раз пожалев, что не женат на Джейн. Я не могу этого объяснить. В тот день я ее просто ненавидел. В глубине души я чувствовал себя униженным и говорил себе, что Энтони превратил ее в холодную и безжизненную куклу. Я твердо решил, что более никогда не буду встречаться с дочерью в таких условиях (и решение это выполнил: отныне или я приезжал в Оксфорд, а не в Уитем, или Нелл привозила ее в Лондон).

Вернувшись домой, я рассказал Андреа об оказанном мне приеме; мой рассказ был пропитан горьким сарказмом, причем горечи, как заметила Андреа, было слишком много. В тот момент я ощущал себя падшим ангелом. Вслед за Люцифером я был готов воскликнуть: *взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой...* [1] и вознес его к звездам голливудским. В течение нескольких лет это чувство еще не раз посещало меня: мелкое тщеславие пыталось приукрасить заслуженную ссылку.

Но самый страшный грех был еще впереди, хотя замыслил я его задолго до того памятного посещения Уитема. Оправдания мне нет никакого — по крайней мере, с сегодняшней точки зрения. Тогда я, правда, видел какой-то смысл в содеянном и оправдывал себя потребностью все проанализировать, очистить от скверны; верил, что мое понимание этой весьма заурядной ситуации отличается искренностью, глубиной и способно подняться до общезначимого обобщения. В задуманной мною пьесе я намеревался все тщательно замаскировать, и в том, что касается прямых параллелей и мелких деталей, мне это удалось. Энтони я сделал школьным учителем из Западной Англии, себя — подающим надежды художником, а Джейн и Нелл — школьными подругами, а не сестрами. Энтони в пьесе был законопослушным ханжой, Джейн — покорной женой; Нелл мне пришлось польстить по чисто драматургическим мотивам — я показал, как она «искренне» разрывается между искусством и условностями: простить ли мужа за измену, которая и служила завязкой всего действия.

Несколько ее ссор с мужем почти дословно повторяли наши собственные; а заключительная сцена, в которой драматургический Энто-

[1] Книга пророка Исаии, 14, 13.

ни с чудовищным фарисейством оправдывает свое вторжение к покинутому женой художнику, была — он, без сомнения, узнал ее сразу — вульгарной пародией на нашу первую встречу вскоре после того, как Нелл ушла от меня. В чисто литературном плане это была одна из лучших сцен этой в общем-то плохой пьесы, что лишь усугубляло оскорбление. И, как назло, именно в тот раз Андреа подвело ее почти безупречное чувство меры. И все же сомневаюсь, что она тогда смогла бы остановить меня, настолько я был одержим: пусть знают, что я испытываю, пусть знают, что у меня гораздо больше возможностей взять публичный реванш, чем они думают.

Пьеса получила очень сдержанные оценки. Большинство рецензентов сходилось на том, что школьный учитель и его жена карикатурны, сюжет однолинеен, а всей вещи не хватает динамизма. Парочка рецензий, включая и разнос Барни, носили резко враждебный характер. Но рецензия, которой я больше всего боялся и которую больше всего ждал — так новичок подпольной городской герильи, наверное, ждет взрыва своей первой бомбы,— пришла раньше всех других. По несчастливой случайности (ни предвидеть ее, ни предотвратить я не мог) театр, поставивший пьесу, гастролировал тогда и в Оксфорде. Я до сих пор храню это письмо, датированное девятым января 1957 года.

Дэниэл!

Два дня назад здесь, в Оксфорде, мы с Джейн посмотрели твоих «Победителей». Название мне кажется неудачным. По нашему мнению, трудно нанести более жестокое поражение человеческой порядочности. Дело не только в том, что ты счел возможным написать злобную пародию на наши истинные взаимоотношения; и не в том, что ты понимал, насколько легко люди угадают настоящие имена, которые ты столь неумело (и, как я склонен думать, не без умысла) пытался спрятать; и даже не в том, что ты избрал столь дикий способ излить твою желчь на Джейн и меня — причем с помощью измышлений, которые, как ты прекрасно знаешь, не имеют под собой никакой реальной почвы. Более всего меня поражает твое очевидное желание представить дело так, будто ты не отвечаешь за свои поступки, и будто в том, что ты не сумел сохранить верность Нелл, следует винить ее самое, нас, но никак не тебя. Это наводит на мысль о столь безнадежном извращении твоего нравственного чувства — а я пишу тебе не как католик или философ, а просто как человек, который когда-то считал тебя своим близким другом,— что это письмо, возможно, совершенно не тронет тебя. У меня теперь есть самые серьезные основания усомниться, что ты сохранил хоть какую-то способность честной самооценки.

Несомненно, что любое искусство питается жизнью; и также несомненно, что на реальную жизнь в художественном произведении мы чаще всего смотрим сквозь призму личного опыта творца. Допускаю также, что какой-то личный опыт может оправдать и осуществление публичного возмездия. Чего я не могу представить — так это, каким образом мало-мальски ответственный художник может свою ясную и доказанную вину приписать невиновным. Даже если бы мы с Джейн не были католиками и не придерживались твердых взглядов на святость брака, то и тогда предположение, что мы могли подговаривать Нелл уйти от тебя, выглядело бы совершеннейшей нелепостью. На самом деле все наши советы ей вплоть до времени развода сводились к прямо противоположному. Тайный мотив, положенный тобою в основу одного из эпизодов (любовь педагога-ублюдка, сиречь моя, к жене художника),— лишнее доказательство твоего омерзительного пристрастия к извращению реальности. Ты глубоко заблуждаешься, думая, что я завидую твоей карьере. Даже если предположить во мне столь неправдоподобные устремления, наблюдения над тем, каким об-

разом твои занятия сказываются на тебе, должны были бы немедленно отрезвить меня.

Мы обратились к своей совести, мы обдумали наше отношение к тебе в последние годы, но так и не смогли понять, чем же заслужили такое. Наш гнев иссяк, осталась только жалость. Я не знаю, может, виной всему твой нынешний образ жизни, но мы пришли к выводу, что в какой-то момент ты вступил на негодный путь. Мы не можем поверить, что где-то в глубине души ты сам не осознаешь этого и что, если ты когда-нибудь придешь в нормальное человеческое состояние, не пожалеешь горько о том, что написал столь по-детски мстительное и лживое сочинение.

Мы лишены возможности отплатить тебе той же монетой или привлечь тебя к суду за клевету, нам остается только молча страдать. Ты это знал с самого начала. И что прикажешь говорить Каролайн и нашим собственным детям, когда они вырастут и прочтут твою пьесу? «Гению дозволено все» — сомнительное суждение даже в лучшие времена. К тому же ты едва ли входишь в эту категорию людей.

Мы не ждем ответа — ни извинений, ни оправданий мы принимать не намерены. Я уже дал знать Нелл, что ни я, ни Джейн ни при каких обстоятельствах не будем играть роль посредников между тобой и твоей дочерью или же предоставлять вам место для встреч. Отныне подобные вопросы тебе придется решать с адвокатом Нелл. Своей пьесой, насколько мы понимаем, ты и хотел нас вынудить к этому. Мы для тебя умерли; а с этого момента — и ты для нас тоже.

Письмо было написано от руки, в конце стояло полное имя Энтони. Я сразу же передал письмо Андреа — мы в этот момент завтракали — и, пока она читала, следил за выражением ее лица. Лицо ее оставалось бесстрастным.

— Удивлен?

— Да нет.

— Отвечать будешь?

— Что толку? — Она снова взглянула на письмо. Я продолжал: — Конечно, они не принуждали ее разводиться. Но будь уверена, они дали ей понять, что обо мне думают.— Она все еще смотрела на письмо, словно оно убеждало ее сильнее моих слов.— Представляю, с каким удовольствием он сочинял эту гневную проповедь.

— Проповедь?

— Как же?! Сегодня Зольная среда. День проклятия грешников.

И я рассказал ей о Джейн — я так нуждался в том, чтобы хоть один человек встал на мою сторону. За это я получил от Андреа частичное отпущение грехов; со временем — мы много говорили об этом — почти полное. Думаю, что «двуличие» Джейн она каким-то образом соединила с религиозностью своего бывшего мужа-католика, которая не мешала ему проявлять самую дикую самовлюбленность.

Вот уже много лет я знаю, что Энтони был прав. Ничего другого я не заслуживал, особенно если принять во внимание, что он даже не подозревал о случившемся между мною и Джейн. Только два года назад я наконец рассказал Каро начистоту, зачем я написал ту подлую пьесу; польза оказалась двоякой: я убедился, что уже могу отнестись к той выходке объективно, а кроме того, мы с дочерью открыли для себя новую, прежде запретную область общения.

«Победители» убили не только нашу дружбу. Потом я написал еще две пьесы, но радости ни одна из них мне не принесла. Избыток реальности пагубен не только для людей.

(Продолжение следует)

ИРЕНЕУШ ИРЕДЫНСЬКИЙ

Террористы

ПЬЕСА В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

Перевод с польского В. КЛИМОВСКОГО

Действующие лица:

Номер Первый, мужчина 40 лет.

Номер Седьмой, мужчина 22 лет.

Министр, 60 лет.

Мария Шварц, 37 лет.

Билл Ладури, 42 лет.

Молчаливый, 28 лет.

Действие первое

Гостиная в загородной вилле. Тяжелая, темного дерева мебель в колониальном стиле. На полу дорогой ковер. За широким окном во фронтальной стене видна субтропическая растительность. Двери слева и справа. На стенах картины модернистов вперемежку с работами местных художников.

На резном, похожем на трон стуле с высокой спинкой сидит спиной к залу Номер Первый. Другой мужчина, Номер Седьмой, сидит за роялем. Ударяет по клавишам. Глухой звук.

Номер Первый. Там кое-что есть.

Номер Седьмой встает, поднимает крышку рояля, вынимает три автомата. Кладет их на ковер, снова садится на табурет перед клавиатурой. Несколько минут играет.

Номер Первый. Что это?

Номер Седьмой. Лютославский.

Номер Первый. Русский?

Номер Седьмой. Нет. Поляк. *(Мягко опускает крышку клавиатуры. С минуту сидит неподвижно.)*

Номер Первый. Ты часто жалеешь, что бросил консерваторию?

Номер Седьмой. Никогда не жалею.

Номер Первый. Правда?

Номер Седьмой. Я стал бы всего лишь средним пианистом. *(Встает, прячет оружие в рояль, опускает крышку.)*

Номер Первый. Тебе не кажется, что это кощунство?

Номер Седьмой *(усмехаясь).* Буржуазный инструмент служит наконец-то народу.

Номер Первый. Ты выглядишь усталым. Выпей. И мне налей.

Номер Седьмой подходит к столику с напитками, наливает в два стакана, один подает Номеру Первому, из другого пьет сам. Левой рукой Номер Первый показывает на кресло, стоящее в углу сцены. Номер Седьмой садится в это кресло — лицом к зрительному залу.

Номер Первый. Расскажи, как там было, в горах.

Номер Седьмой. Разве Номер Десятый не докладывал тебе?

Номер Первый. Я хочу, чтобы ты мне сам рассказал.

Номер Седьмой. Слушаюсь, командант.

Номер Первый. Десятка признает только факты. Ценное качество, но иногда этого недостаточно... В данном случае важна прежде всего атмосфера, нюансы... Ты это тонко чувствуешь. А он что? Пришли, посмотрели, ушли.

Номер Седьмой. Он с отличием закончил Военную академию.

Номер Первый. Вот-вот. А тут речь идет о двух журналистах с мировым именем.

Номер Седьмой *(отпивает глоток, сует левую руку в карман)*. Она очень выносливая. Смелая.

Номер Первый. Ты имеешь в виду способность выдерживать физические перегрузки?

Номер Седьмой. Да. Ведь она уже не девочка... А держалась молодцом. Ему было легче. Он натренирован и к тому же мужчина... И все-таки не ей, а ему было плохо, когда мы показали им обезображенные трупы бойцов.

Номер Первый. Над которыми поработали гвардейцы?

Номер Седьмой. Да.

Номер Первый. Тут есть своя закономерность. Мужчины реагируют острее, когда видят других мужчин, которым запихнули в рот их отрезанные гениталии. Воображение у них начинает работать только в одном направлении... Они представляют себя на месте замученных. И у них сразу слабеют ноги... А у женщин воображение довольно изощренное, мягко выражаясь. Некоторым из них такая картина может показаться даже захватывающей.

Номер Седьмой. Только не ей!

Номер Первый. Возможно, мой мальчик, возможно... Наверно, ты прав...

Номер Седьмой. И кроме того, во время перехода она ни разу не пожаловалась, не попросила об отдыхе.

Номер Первый. Ты уже говорил, что она выносливая и смелая.

Номер Седьмой. Она болеет за наше дело. Словно родилась здесь. И много знает.

Номер Первый. А он?

Номер Седьмой. Ладури — бесстрастный профессионал. Мы для него — очередной сюжет. Точно так же он вел бы себя и с гвардейцами и снимал бы то, что они показывали ему. Специалист по войнам, революциям, восстаниям, по междоусобной резне... Поэтому я удивился, что его стошнило... Но уже через минуту он водил по трупам камерой так усердно, будто снимал научно-популярный фильм о минералах... Лег на землю, чтобы крупным планом снять распоротый живот беременной.

Номер Первый. Похоже, он тебя чем-то уязвил.

Номер Седьмой. Мы для него — только сюжет. На наше дело ему с высокой башни...

Номер Первый. Может, и так, но он всегда был на стороне угнетенных. И не забывай, он — звезда крупнейших телестудий в Штатах.

Номер Седьмой. Мне показалось, что его все время одолевает скука, если не считать момента, когда ему стало дурно.

Номер Первый. Я тебя понимаю. Но он не обязан любить нас. Если он покажет всему миру, что творит с людьми Национальная Гвардия, мы будем вполне удовлетворены. Как он — красивый малый, да?

Номер Седьмой. Ничего.

Номер Первый. А госпожа Шварц — еще весьма и весьма, ты не находишь?

Номер Седьмой. Интересней, чем на фотографии.

Номер Первый. Не ревнуй. Она не спит с ним с тех пор, как спуталась с тобой. А если даже спит, то не стоит из-за этого огорчаться. Наша нищая страна удручающе действует на цивилизованных женщин, вот они и ищут утешений попроще. Скоро она вообще исчезнет из твоей жизни.

Номер Седьмой. Десятка — сука.

Номер Первый. Ты считаешь, он должен был скрыть от меня?

Номер Седьмой. Но это мое личное дело.

Номер Первый. У революционера нет личных дел.

Номер Седьмой. Я знаю, но...

Номер Первый. Что ты там шерудишь в кармане? Пипкой играешь?

Номер Седьмой. Нет, вот этим... *(Вынимает из кармана проволоку, свернутую кольцом.)*

Номер Первый. Что это?

Номер Седьмой. Струна от рояля.

Номер Первый. Амулет из прошлого... У меня тоже есть что-то вроде этого. Черный камешек.

Номер Седьмой прячет струну в карман и вынимает руку из кармана. Отпивает еще глоток.

Номер Первый. А за то, что ты развлек госпожу Шварц в горах, я тебе признателен... Это еще больше расположит ее к нам.

Номер Седьмой *(после паузы)*. Ты что, специально послал меня?

Номер Первый. Может, жалеешь?

Номер Седьмой. Ты не ответил.

Номер Первый. Хороший ты парень — умный, обаятельный, эмоциональный, знаешь языки... Когда мы победим, из тебя получится замечательный министр культуры и искусства. И никто из руководства лучше тебя не справился бы с ролью духовного наставника этих журналистов.

Номер Седьмой. Ты предвидел, что я пересплю с ней?

Номер Первый. Ты с ней или она с тобой?

Номер Седьмой *(смеется)*. И об этом знаешь?

Номер Первый. Догадываюсь. Я знаю ее.

Номер Седьмой. Ты ведь ее не видел.

Номер Первый. Я много о ней читал... Не забывай, она тоже любит давать интервью... И хоть тебе она кажется единственной в своем роде, на самом деле такие женщины, как госпожа Шварц, встречаются не так уж редко. Сначала заполучила знаменитого Ладури — они ведь встретились случайно, она работает с ним впервые,— а потом обратила свой обволакивающий взор на юного пламенного революционера. Она обожает идеалистов, которые ежеминутно подвергают опасности свою жизнь. Ты можешь считать это извращением, но в этом есть и что-то благородное...

Номер Седьмой. Ты хочешь принизить ее в моих глазах... А я ее очень люблю.

Номер Первый. Принизить? Нисколько... Просто тебя самого, ты считаешь, принижает тот факт, что ее обволакивающий взор уже много раз останавливался на пламенных революционерах, кото-

рые ежеминутно подвергают свою жизнь опасности... Это хорошо, что ты ее любишь... Настоящий мужчина должен любить женщину, которую трахнул... Ну вот, наконец-то ты улыбнулся. Конечно, это идиотизм, но я люблю, когда люди вокруг меня улыбаются, хотя у диктатора на этот счет другое мнение... Я радуюсь, когда у близких мне людей хорошее настроение. Это очень помогает в работе... Только не потеряй голову из-за госпожи Шварц. Не забывай, она скоро исчезнет из твоей жизни.

Номер Седьмой. За ее здоровье.

Пьет.

Номер Первый. Такая женственная, а говорит и мыслит, как мужчина.

Номер Седьмой. Это точно.

Номер Первый. В чем ты сможешь убедиться сегодня вечером во время моего интервью.

Номер Седьмой. Ты подготовился?

Номер Первый. Зачем? Я буду говорить правду. Ничего, кроме правды... Секрет успеха ее нашумевших интервью с мировыми знаменитостями только в одном: она чувствует, когда человек врет, и загоняет его в угол. Атакует бесцеремонно и нагло, и тот в конце концов попадает в ловушку. Оскорбленный человек часто безоружен и потому позволяет себя поймать... Со мной такой номер не пройдет. Мне нечего скрывать. Наше дело правое и чистое. Мы боремся с одной из самых кровавых и отвратительных диктатур на свете — вот и все. И она вынуждена будет просто изложить мою платформу.

Номер Седьмой. Она заодно с нами — зачем ей атаковать?

Номер Первый. Минуту назад ты ее переоценивал, теперь недооцениваешь. Она будет нападать на меня, несмотря на симпатию к нашему движению, потому что всю свою профессиональную жизнь она делает одно интервью... Не забывай: я тоже был журналистом и разбираюсь в этой кухне. Меняются ее собеседники, но психологическая основа ее интервью остается та же: борьба двух «я». Победить... Очень часто ей это удавалось. Ее ego оказывалось сильнее. Победа нужна ей как воздух— для самоутверждения. Не стану вникать в мотивы, я знаю ее только по статьям ее и о ней. Но это так. Ей не столь важно, чтобы какой-то тип выговорился, ей важно победить, разоблачить. И такой стиль интервью принес ей славу. Людям нравится, когда их кумиров развенчивают, принижают. Она это знает, и это еще один повод, чтобы атаковать меня.

Номер Седьмой. Она приехала сюда, рискуя жизнью.

Номер Первый. Согласен.

Номер Седьмой. Мария — не Ладури. Войны, восстания — его стихия. А Мария впервые в такой ситуации. До сих пор она брала интервью в довольно комфортабельных условиях... А здесь — сам понимаешь...

Номер Первый. Официально она приехала, чтобы взять интервью у диктатора.

Номер Седьмой. Она его не получит.

Номер Первый. Посмотрим... Пойми, я не сомневаюсь в ее смелости и в благих намерениях... Я просто обнажил психологическую основу ее интервью... *(После паузы.)* Должно быть, она очень обаятельна. И к тому же — яркая личность... Она произвела на тебя огромное впечатление.

Номер Седьмой. Она... *(Молчит, подыскивая слово.)*

Номер Первый *(после паузы).* Разродись же, наконец.

Номер Седьмой. Она человечная.

Молчание.

Номер Первый. Прекрасное определение для человека. Давно не слышал.

Номер Седьмой. Когда мы победим, таких людей будет много.

Номер Первый. Завидую тебе.

Номер Седьмой. Почему?

Номер Первый. Я завидую твоей уверенности.

Номер Седьмой. А ты в это не веришь?

Номер Первый. Что за тип этот Ладури?

Номер Седьмой. Ты не веришь в это.

Номер Первый. Верю, мой мальчик... Но не люблю об этом говорить...

Номер Седьмой *(после паузы).* Ладури — молчун, да и по-испански он знает всего несколько слов.

Номер Первый. А Мария говорит свободно.

Номер Седьмой. Да. На шести языках.

Номер Первый. Очень вовремя они приехали... Настроить мировое общественное мнение в нашу пользу перед самым восстанием очень важно.

Номер Седьмой. Она понимает это и постарается сделать все, чтобы помочь нам.

Номер Первый. В таком случае скажи им, когда будешь сопровождать их ко мне, чтобы завтра, во время встречи с отцом Умберто в ризнице церкви Христа Спасителя, они вели себя тактично и ничего не говорили о нашем Движении. Пусть спрашивают о судьбе прихожан, о тех, кого убили в собственном доме, пусть поинтересуются и теми, кто еще жив.

Номер Седьмой. Скажу... Команданте, Мария просила... Я ей говорил, что это невозможно, но она уперлась — чтоб я попросил от ее имени.

Номер Первый. Говори.

Номер Седьмой. Она просит, чтобы ты разговаривал с ней без маски. Она понимает, что во время съемки ты будешь в маске, но хотела бы, чтоб интервью ей ты давал с открытым лицом, ей намного легче разговаривать, когда она видит лицо собеседника.

Номер Первый. Ничего не выйдет.

Номер Седьмой. Я ей так и сказал.

Номер Первый. Она увидит мое лицо, когда мы победим... Не раньше.

Номер Седьмой. Я не обнадеживал ее.

Номер Первый. Она будет настаивать. Честолюбивая женщина: хочет добиться того, чего другим не удавалось. Вот увидишь — будет настаивать. А когда поймет, что и ей это не удастся,— разозлится и начнутся ее яростные атаки на собеседника. Атаки, которыми она славится.

Номер Седьмой садится на табурет у рояля лицом к Номеру Первому.

Номер Седьмой. За что ты ее так не любишь?

Номер Первый. Бессмысленный вопрос. Почему я должен ее любить? Или не любить? Я доволен, что она появилась в Центральной Америке. Я ценю это. В отличие от тебя, лично к ней я никак не отношусь. Просто я наперед знаю, как она будет себя вести, хотя, может быть, я ошибаюсь. Посмотрим. *(Звонит телефон. Номер Первый берет трубку. Говорит в трубку.)* Он один? Гм-м-м... Спасибо. *(Кладет трубку. Поворачивается к Номеру Седьмому.)* Наш хозяин вернулся.

Номер Седьмой *(смеется).* Они прочесывают трущобы, а ты сидишь себе спокойненько в доме у министра.

Номер Первый. Он хочет сохранить свои заводы.

Номер Седьмой. Смешно.

Номер Первый. Смотря кому. *(Смеется.)* Для него это важно. Важнее даже, чем для тебя твоя страсть к госпоже Шварц... Она кричит в постели?

Номер Седьмой. Прекрати.

Номер Первый. Кричит?

Номер Седьмой. Нет.

Номер Первый. Может, она не хотела, чтоб ее крики услышал Ладури.

Номер Седьмой. Если так — за это стоит выпить.

Номер Седьмой поднимает стакан. Оба пьют.

Номер Первый. Я просил руководство задержать тебя здесь. Ты не вернешься в свой отряд.

Номер Седьмой. Почему? Я не могу оставить своих ребят. Ведь это я вытащил их из города.

Номер Первый. У тебя есть задание поважнее.

Номер Седьмой. Какое?

Номер Первый. Не погибнуть накануне победы.

Номер Седьмой. Я должен бросить своих ребят? Никогда!

Номер Первый. Это приказ.

Номер Седьмой. Я не заслужил такого отношения!

Номер Первый. Мне не нужны мертвые герои. Мне понадобятся потом кристально чистые люди. Преданные нашему делу.

Номер Седьмой. Я прошу тебя...

Номер Первый. Твой преемник уже назначен.

Номер Седьмой. Ребята подумают, что я трус.

Номер Первый. Они знают, что ты не трус. Много раз видели тебя в деле.

Пауза.

Номер Седьмой. Здесь тоже опасно.

Номер Первый. Конечно. Но я буду присматривать за тобой. Здесь ты не обязан подавать пример своим ребятам.

Номер Седьмой. Это свинство, командант.

Номер Первый встает. Подходит к сидящему Номеру Седьмому, гладит его по голове.

Номер Первый. Трое моих братьев погибли. Младший был твой ровесник. У меня никого нет.

Стучат в дверь. Номер Первый со стаканом в руке идет к центру гостиной.

Номер Первый. Войдите.

Открывается дверь, появляется Министр.

Министр. Можно?

Номер Первый. Вы в своем доме.

Министр входит, закрывает за собой дверь.

Министр. Это все в прошлом. Сейчас я гость революции... Здесь я любил после обеда выпить стаканчик... Ситуация меняется, а привычки остаются. *(Подходит к столику с напитками, наливает себе изрядную порцию виски.)* Странно, не правда ли?.. Я не мешаю?

Номер Первый. Прошу. *(Показывает Министру на кресло.)*

Хозяин виллы садится.

Министр. Да, ситуация меняется, а привычки остаются... Я когда-то читал воспоминания о концлагере, где-то в Европе... Кажется, лагерь Аушвиц... Вторая мировая война... Прибыл новый транспорт с заключенными. Автор рассказывает, что в их барак поместили трех новеньких... Капо — это такой надзиратель, назначенный из заключенных,— каждому для почину всыпал по двадцать пять палок. Потом стал выяснять у новеньких профессию. Один оказался инженером и получил за это еще двадцать. Другой — чиновник — тоже получил еще двадцать. А третий оказался священником. «Мог бы сразу сказать»,—

пробурчал капо, согнал какого-то заключенного с лучшего места на нарах и поместил туда священника. На следующий день капо не пустил его на работу. Когда вечером все вернулись в барак, священник был мертв. Его задушил капо. «Зачем ему мучиться»,— объяснил капо, привыкший относиться к священникам с большим уважением.

Номер Первый смеется.

Номер Первый. А что во дворце?

Министр. Старая Гиена не понимает всей серьезности ситуации. Он уверен, что гвардейцы справятся, как справлялись и прежде. Ему не мешало бы показаться психиатру.

Номер Седьмой. И притом лет двадцать назад.

Министр. Он спит и видит пышные торжества на предстоящем юбилее диктатуры. Отца Нации ему уже мало. Решил называться Величайшим Сыном Нации. На меня кричит, обозвал трусом за то, что я отправил семью в Европу. Я ему ответил: сам-то я здесь — тогда он успокоился.

Номер Первый. Кстати, о вашей семье... Все чувствуют себя хорошо, свежий воздух идет им на пользу.

Министр. А что, есть какие-нибудь...

Номер Первый. Письмо от жены и детей лежит в вашей спальне... А ваш старший сын назначен сержантом в один из наших отрядов.

Министр. Уговаривал ведь идиота в прошлом году вернуться в Гарвард. Но он предпочел здешних девок.

Номер Первый. После победы такой сын будет настоящим сокровищем.

Министр. Только бы не в деревянной упаковке.

Номер Седьмой. Он вас стыдится.

Министр. И правильно делает.

Номер Первый и Министр улыбаются друг другу.

Номер Первый. Все забываю спросить у вас...

Министр. Спрашивайте, но сначала сядьте, пожалуйста... А то я не знаю, как мне быть — будущий Отец Нации стоит, а я сижу.

Номер Первый *(садится на диван).* Меня заинтриговала обстановка вашей гостиной. Старинная колониальная мебель...

Министр. Подлинная, уверяю вас, дорогой мой команданте, подлинная.

Номер Первый. И эти картины. Новейшие направления в искусстве и наш отечественный фольклор.

Министр. Вы хотите сказать: картины не соответствуют мебели?

Номер Седьмой. Мне такое сочетание очень нравится. По принципу полифонии.

Министр. Благодарю. *(Номеру Первому.)* А вы бы повесили тут старинные картины?

Номер Первый. Да.

Министр. Плохо мое дело.

Номер Седьмой. О чем вы?

Министр. О своем будущем.

Номер Первый. Почему?

Министр. Потому что вы, кажется, доктринер не только в политике... Пристрастие к стилистическому единству не обещает ничего хорошего таким, как я... Боюсь, я не впишусь в новую систему, которую вы хотите создать.

Номер Первый. Вы обобщаете частности.

Министр. Только благодаря этому я еще жив.

Номер Первый. Но вы не ответили на мой вопрос... Почему вы выбрали эти картины?

Министр отпивает глоток виски.

Министр. Дорогой мой командантe, в этом интерьере как в зеркале отражается мое «я»... И «я» многих других, кто живет в нашей стране. Мебель — славные традиции, омытые кровью; картины — современность; а опусы деревенских художников — то, что утрачено нами в прошлом и настоящем.

Номер Первый. Вам нечего опасаться. Златоусты всегда найдут себе место при любом режиме.

Министр. Если они не лишены определенной дозы подлости. Как я, например.

Номер Первый. Я бы назвал это скорее меланхолическим цинизмом.

Министр. После таких комплиментов в свой адрес, надеюсь, я могу себе позволить еще одно обобщение. Так вот, дорогой Избавитель Отечества, все революции кроме целей социальных и политических ставят перед собой еще одну, невыполнимую задачу: воспитать Нового Человека. Человека с большой буквы. Что это должно означать? Подчинение личности лозунгам революции. А этого никогда не удается достигнуть, даже если в первом послереволюционном поколении пропаганда и добивается больших успехов,— потому что это означало бы окаменение. А жизнь — это отрицание окаменения. *(Отпивает глоток из стакана.)* К сожалению, вожди революции часто стремятся воплотить в жизнь этот утопический замысел. И чем больше общество упирается, тем более суровые меры к нему применяются. Доходит до того, что вожди сердятся на свой народ, он им даже мешает... Поэтому, когда вы заговорили о стилевом разнобое в моей гостиной, у меня по спине мурашки побежали.

Номер Седьмой. Но общество должно измениться.

Министр *(Номеру Первому).* Вот, пожалуйста... *(Номеру Седьмому).* Оно изменится, мой мальчик; только, как ни странно, этот процесс трудноуправляем.

Номер Седьмой. Ничего, мы справимся.

Министр. Увы, будете вынуждены.

Номер Первый *(с улыбкой).* Вы проявляете трогательную заботу о будущем, господин министр.

Министр. Люблю поболтать за стаканчиком виски.

Номер Первый. Я заинтересовался вашим интерьером, потому что в принципе мне здесь нравится.

Министр *(с улыбкой).* Отличный маневр... А я уж думал, что вас, как будущего Великого Мастера Унификации, с души воротит от такой стилистической мешанины... Что ж, всякий человек, когда ему грозит опасность, становится подозрительным.

Номер Первый. И все-таки я бы повесил здесь старинные картины.

Министр. Вы играете со мной, командантe. Словно кот с птичкой.

Номер Первый. О нет... Мое детство прошло в бедности. Хороший вкус в моем представлении — это та обстановка, которую я видел в домах моих богатых приятелей. Жалкая имитация колониальной мебели и убогая живопись в золоченых рамах. Чудовищно... Поэтому, если бы у меня была подлинная старинная мебель, я бы подобрал к ней картины из той же эпохи. Сбылась бы мечта детства.

Министр. Вам скоро предоставится возможность выбирать дворцы и виллы. Я охотно посвящу вас в секреты их интерьеров. С выбором не следует торопиться, потому что многие из этих достопочтенных строений набиты всяким хламом.

Номер Первый. Я, пожалуй, отдам предпочтение удобной функциональной современной мебели.

Министр. И тем самым создадите новый стиль. Вам будут подражать.

Номер Первый. Возможно... Нет, все же мне здесь нравит-

ся. Вы всегда были богаты, и ваша семья, и ваши предки, и вещи для вас были всего лишь вещами. Вы не побоялись осквернить старинный интерьер современностью и тем самым создали новый стиль...

Министр. Наконец-то у нас будет руководитель, который займется искусством.

Номер Первый. Я? Ни в коем случае! Для этого у нас есть вот он. *(Показывает на Номер Седьмой.)*

Номер Седьмой. Мы обеспечим художникам достойную жизнь, и пусть творят как хотят, лишь бы это отвечало целям революции.

Министр. Лучше уж сразу кастрируйте их.

Номер Седьмой. Я думаю, мы вправе требовать служения обществу за общественные деньги.

Министр *(Номеру Первому)*. А вы займетесь душами?

Номер Первый. И плотью... Плоть нужно накормить.

Министр. Кстати, не поужинаете ли вы сегодня со мной? Я сам приготовлю.

Номер Первый. Я поздно вернусь.

Министр. Я подожду.

Номер Седьмой. Еда команданте должна быть проверена

Министр. Я приготовлю ужин, а не отраву, дорогой мой мальчик.

Номер Седьмой. Не люблю, когда всякая буржуазная свинья называет меня «дорогой мой мальчик».

Номер Первый *(Министру)*. Поужинаем вместе. *(Номеру Седьмому.)* Господин министр преклоняется перед твоей молодостью, поэтому и называет тебя так. Незачем петушиться.

Министр *(Номеру Первому)*. Сдается мне, печальная судьба ждет того, кто забудет о вашем коварстве, Избавитель Отечества.

Номер Седьмой *(команданте)*. Зачем ты позволяешь ему называть себя титулами Старой Гиены?.. Он же просто смеется над нами.

Номер Первый. Да, в иронии ему не откажешь. Как ты думаешь, к чему он клонит?

Номер Седьмой. Я уверен, он хочет оскорбить тебя.

Номер Первый. И все? У тебя, милый мой, одно на уме... А ну-ка, пошевели же мозгами хорошенько!..

Номер Седьмой. Он приравнивает тебя к нему.

Номер Первый. Браво...

Номер Седьмой. Ты не должен ему этого позволять.

Номер Первый. Награждая меня напыщенными официальными титулами Старой Гиены, наш милый хозяин дает мне понять, что я стану точно таким же.

Номер Седьмой. Об этом я и говорю.

Номер Первый. А тебе не приходило в голову, что, возможно, он прав?

Министр. Оставьте мальчика в покое. Это политический стриптиз.

Номер Седьмой. Ты никогда не станешь таким, как Старая Гиена.

Номер Первый. Почему?

Номер Седьмой. Ты борешься за народ.

Номер Первый. Народ... Весьма расплывчатое понятие.

Номер Седьмой. Ты борешься за крестьян, за пролетариат, за всех обездоленных и угнетенных.

Номер Первый. Девятнадцать лет назад Старая Гиена победил благодаря обездоленным и угнетенным.

Номер Седьмой. Он заморочил народ лозунгами. Ему просто нужна была власть. Богатство.

Номер Первый. А может, я тоже такой?

Министр. Стриптиз. Настоящий стриптиз.

Номер Седьмой. Времена изменились. Благодаря тебе и твоим товарищам растет сознательность масс. Ты будешь руководить массами, но править массы будут сами.

Номер Первый. При сытых желудках активная и умелая пропаганда способна творить чудеса... Наш дорогой министр мог бы тебе кое-что рассказать об этом. Он советовал Старой Гиене, когда тот был еще вполне добропорядочным майором, а потом главой правительства, не слишком опираться на Гвардию, а лучше постараться поднять уровень жизни и позаботиться о пропаганде.

Министр. «Внешняя угроза...», «мы как твердыня...», «сплоченные вокруг...»

Номер Первый. Но тот его не послушал... И видишь — не за горами день, когда Отца Нации растерзает толпа.

Номер Седьмой. Да, но много лет он творил, что хотел.

Номер Первый. Ты что же — считаешь, что только политика кнута может дать реальные результаты?

Номер Седьмой. Врагов мы должны будем вывести.

Номер Первый. Вывести?.. Так говорят о насекомых.

Номер Седьмой. Убийцы и палачи — это вредные насекомые.

Номер Первый. Согласен... Но мы несколько уклонились от темы... Почему все же ты так уверен, что я не стану чем-то вроде диктатора?

Номер Седьмой. Потому что я тебя знаю.

Номер Первый. Власть развращает.

Номер Седьмой. Ты честный человек.

Министр. Завидую, что у вас такие люди, команданте.

Номер Первый *(после паузы, Номеру Седьмому).* Это ничего не значит.

Номер Седьмой. Значит. Очень много значит.

Номер Первый. Объясни.

Министр. Выпьем, господа, поговорим о женщинах...

Номер Первый. Объясни все же, что ты имеешь в виду.

Номер Седьмой. Ты честный человек!

Номер Первый. Что это значит?

Номер Седьмой. Тебе стыдно, что ты честный?

Номер Первый. Что это значит?

Номер Седьмой *(указывая на Министра).* Тебе стыдно перед ним?

Номер Первый. Не кипятись. Объясни же. Мне интересно.

Номер Седьмой. Перестань. Сам ведь понимаешь.

Номер Первый *(внимательно смотрит на юношу).* Может, и понимаю... Но я бы не хотел, чтобы ты меня идеализировал. Судьба революции не должна зависеть от одного человека, хотя бы и очень достойного, и такие, как ты, должны позаботиться об этом. Вы должны создать механизм, который обезопасил бы наше движение от извращений и произвола руководителей.

Министр *(весело, Номеру Седьмому).* Вам, кажется, предложили возглавить оппозицию... Вы, правда, называете это фракцией, но суть от этого не меняется. Что скажете?

Номер Седьмой. Если понадобится, возглавлю.

Министр. Обезоруживающая откровенность... Как подумаю, что сам когда-то был таким, так начинает под ложечкой сосать.

Номер Седьмой. От страха?

Министр. Разумеется. К счастью, я быстро поумнел... Ну, мне пора. *(Встает, допивает виски.)* Пойду полежу. Режим, правда, вот-вот рухнет, но нельзя же из-за этого забывать о сиесте. Хоть я и вспомнил о ней с опозданием.

Номер Первый. Но зато вы забыли о донесении.

Министр. Ах, да... *(Достает из кармана несколько сложенных*

листков, отдает Номеру Первому.) Здесь план перегруппировки Гвардии, дата и час наступления, перечень...

Номер Первый *(перебивает, прячет листки в карман).* Спасибо. Я посмотрю.

Министр *(идет к выходу, в дверях останавливается, оборачивается).* Надеюсь, с моими родными обращаются хорошо?

Номер Первый. Они ни в чем не нуждаются.

Министр. Кроме свободы.

Номер Первый. Вы скоро увидитесь.

Номер Седьмой. Мы не поступаем так, как вы.

Министр. У людей накопились обиды... Те, кто присматривает за ними,— живые люди, и если обиды возьмут верх над дисциплиной...

Номер Седьмой. На членов семьи мы вину не перекладываем.

Номер Первый. Можете быть спокойны. Я ручаюсь за безопасность ваших близких.

Министр. Простите... Я уже стар. Нервы сдают. *(Поворачивается и уходит.)*

Молчание.

Номер Седьмой. Спущенная шина.

Номер Первый. Что?

Номер Седьмой. Да эти господа, которые теряют власть, похожи на спущенные шины. Еще недавно такой был надутый и важный, а теперь — просто тряпка.

Номер Первый. Он не из худших... Льстец и проныра, но террор никогда не одобрял.

Номер Седьмой. Что с ним будет?

Номер Первый. Ничего.

Номер Седьмой. Но...

Номер Первый. Он помогает нам.

Номер Седьмой. Потому что вынужден.

Номер Первый. Нам нужна широкая поддержка... Если мы отпугнем промышленников, это гибельно отразится на экономике. Мы обязаны возродить страну.

Номер Первый встает, подходит к юноше, берет у него из рук стакан, относит оба стакана на столик. Оборачивается. Номер Седьмой встает.

Номер Седьмой. Я пойду.

Номер Первый. Иди... Поспи перед встречей с госпожой Шварц и этим Ладури.

Номер Седьмой. Почему ты был со мной таким...

Номер Первый. Каким?

Номер Седьмой. Недобрым...

Номер Первый. Небольшой психологический этюд. Своего рода терапия.

Номер Седьмой. А этот слизняк был свидетелем.

Номер Первый. Участником.

Номер Седьмой подходит к Номеру Первому.

Номер Седьмой. Я думал о твоем приказе... *(Номер Первый вопросительно поднимает брови.)* О том, что ты приказал мне остаться здесь...

Номер Первый. Ну, и что?

Номер Седьмой. Сначала я не понял тебя. А теперь понял... Я нужен тебе здесь. *(После паузы.)* Спасибо.

Улыбаются друг другу. Номер Седьмой уходит в те же двери, куда ушел Министр. Номер Первый подходит к телефону. Берет трубку.

Номер Первый. Зайди.

Подходит к дивану, ложится. Открывается вторая дверь, входит Молчаливый. Собирает стаканы, ставит их на поднос.

Номер Первый. Эта деревенщина, поручик Гомес, все еще жаждет повышения?

Молчаливый поворачивается к Номеру Первому. В руках у него поднос. Утвердительно кивает.

Номер Первый. Постарайся дать ему понять: он станет гордостью Национальной Гвардии, если завтра в двенадцать часов дня в ризнице церкви Христа Спасителя сумеет ликвидировать двух опасных иностранцев, врагов Отца Нации.

Молчаливый утвердительно кивает.

Номер Первый. И сегодня же эвакуировать отца Умберто в безопасное место. Все.

Молчаливый уходит с подносом в руках.

Действие второе

Склад. По бокам и в глубине сцены — пустые стеллажи. Бетонный пол. На нем несколько ящиков, перевернутых кверху дном. Две лампы с жестяными абажурами, свисающие с потолка, освещают сцену холодным светом. На одном из ящиков сидит Ладури, рядом на другом ящике лежит его телевизионное снаряжение. Мария Шварц стоит напротив Номера Седьмого.

Шварц. Почему он непременно должен разговаривать со мной в маске? Идиотизм.

Номер Седьмой. Нет, это — принцип.

Шварц. Вы не доверяете мне?

Номер Седьмой. Дело не в доверии, а в принципе.

Шварц. Послушай, что за тарабарщина?

Номер Седьмой. Говорю, как умею.

Шварц. Ну хорошо... Не сердись, я не хотела тебя обидеть... Но ваш шеф должен, черт побери, снять свою маску. Я не могу разговаривать с человеком, не видя его лица.

Номер Седьмой. Я ему об этом говорил.

Шварц. Значит, не убедительно.

Номер Седьмой. На всех пресс-конференциях он выступает в маске.

Шварц. Сама видела — на снимках и в фильмах. Идиотские маски. Утенок Дональд, пес Плуто, Микки Маус — прямо целый Диснейленд.

Номер Седьмой. Он человек с юмором.

Шварц. Или инфантилен.

Номер Седьмой. Что ты имеешь против утенка Дональда или пса Плуто?

Шварц. Я их обожаю... Только вот интервью я хочу взять у вашего руководителя, а не у них. Я должна видеть лицо человека.

Ладури смотрит на часы. То же самое делает госпожа Шварц.

Шварц. Без минуты шесть.

Номер Седьмой. Мы все очень пунктуальны... Если не случается что-нибудь непредвиденное.

Шварц. Скоро комендантский час.

Номер Седьмой. До восьми успеете в гостиницу, не беспокойтесь.

Шварц. Пусть ваш вождь наденет маску, когда Билл будет его снимать, но я должна видеть его лицо.

Номер Седьмой. От меня это не зависит.

Шварц. Я знаю. *(Достает сигарету, угощает Номера Седьмого. Закуривают.)* Я так говорю, потому что злюсь. Может, он боится меня, и поэтому не хочет показать мне свое лицо?

Номер Седьмой. Чего ему бояться?

Шварц. Лицо говорит о многом.

Номер Седьмой. Ему нечего скрывать.

Шварц. Посмотрим... А может, он уродлив?.. Но если даже его рожа безобразней, чем у дьявола, я предпочитаю смотреть на нее, а не на морду пса Плуто.

Из-за стеллажей выходит Номер Первый. Он без маски.

Номер Первый. Добрый вечер.

Ладури. Привет.

Мария Шварц молча смотрит на команданте.

Номер Седьмой. Номер Первый — госпожа Шварц, господин Ладури.

Шварц. Я идиотка. Скандалю тут уже десять минут, требую, чтоб вы говорили со мной без маски

Номер Первый. Теперь можете успокоиться.

Шварц *(Номеру Седьмому).* Ты знал, что он будет без маски?

Номер Седьмой. Нет.

Шварц *(Номеру Первому).* Почему вы ее не надели?

Номер Первый. Вы ведь просили об этом. Наверно, это важно для вашей работы.

Шварц. До сих пор вы никогда...

Номер Первый. Правильно... Но во-первых, я отношусь к вам с уважением и хочу создать вам для интервью самые благоприятные условия. А во-вторых, через несколько дней начнется восстание, и ни для кого уже не будет секретом...

Шварц. Уже началось в некоторых провинциях.

Номер Первый. Это увертюра... А если мы победим, мое лицо будут знать все.

Шварц. А если проиграете?

Номер Первый. Я надеюсь, вы умеете хранить тайны.

Ладури. А я смогу снимать вас без маски?

Номер Первый *(с улыбкой).* Мне говорили, что по-испански вы знаете всего несколько слов.

Ладури. Я тоже люблю сюрпризы... Так как же?..

Номер Первый. Я буду в маске.

Шварц. Утенка Дональда или пса Плуто?

Номер Первый. Сегодня в другой. В мексиканской карнавальной.

Ладури. Где же она у вас?

Номер Первый *(показывает на стеллажи, из-за которых он появился).* Там.

Ладури. Я знаю эти маски... Начну снимать, когда вы будете выходить из тени. Получится очень эффектно.

Номер Первый. Как вам угодно.

Ладури. Почему вы сегодня выбрали именно эту маску?

Номер Первый. Предостережение... Нет, скорее — приговор.

Ладури. Кому?

Номер Первый. Режиму.

Шварц. Можем начинать? И как я должна вас называть?

Номер Первый. Да. Можем начинать... И давай перейдем на «ты», так будет проще.

Мария Шварц садится на ящик, жестом приглашает сесть на другой. Номер Первый берет один из ящиков, садится напротив Марии.

Номер Седьмой. Команданте, я пойду проверю охрану.

Номер Первый. Хорошо.

Шварц *(Номеру Седьмому).* Останься.

Номер Седьмой. Но...

Шварц. Не хочешь посмотреть, как я работаю?

Номер Первый. Можешь остаться. Кое-что для тебя будет полезно.

Номер Седьмой. Я должен идти.

Шварц. Жаль.

Номер Первый *(Марии)*. Начнем?

Номер Седьмой исчезает за стеллажами. Мария Шварц включает репортерский магнитофон, гасит ногой сигарету.

Шварц. Номер Первый, ваше Движение называет президента Роблеса детоубийцей. Не так ли?

Номер Первый. Совершенно верно. Это один из многочисленных эпитетов диктатора.

Шварц. Но наиболее впечатляющий.

Номер Первый. Потому что убийство детей — одна из омерзительнейших форм геноцида.

Шварц. Детей нужно оберегать как самую большую ценность.

Номер Первый. Несомненно.

Шварц. В таком случае почему вы используете детей в боевых отрядах?

Номер Первый. Потому что хотим их уберечь.

Шварц. Это какой-то чудовищный парадокс.

Номер Первый. Он порожден самой жизнью.

Шварц. Посылать в бой — значит уберечь?

Номер Первый. Мы ведь говорим о подростках...

Шварц. У нас есть снимки девятилетнего мальчика с противотанковым ружьем и записи бесед с ним.

Номер Первый. Исключения из правил, конечно, бывают, но в основном у нас подростки.

Шварц. Дети.

Номер Первый. Да, это дети. Почти все — сироты. И сиротами их сделали Национальная Гвардия, полиция или боевики правительства. Да, мы могли бы бросить этих детей на произвол судьбы, и тогда мы назывались бы гуманистами. Мы не заставляли бы детей воевать. Но эти дети умерли бы с голоду.

Шварц. Вы можете организовать для них лагеря.

Номер Первый. Лагерям мы не можем организовать достаточно надежную охрану... Наша сила в мобильности, а лагеря — это стационары. Они стали бы слишком легкой добычей для Национальной Гвардии, и мы знаем, что Гвардия не щадит детей наших борцов. После резни, которую Гвардия устроит в таком лагере, достаточно подбросить несколько автоматов, пригласить фоторепортеров — и опять же получится, что наше движение использует в боевых операциях детей. Эта дилемма обсуждалась на заседании руководства в прошлом году... После длительной дискуссии было решено: маленьких детей мы разместим на территории, которую сможем надежно контролировать, и там они будут окружены заботой, максимальной в наших условиях. А подростки, которые рвутся в бой, будут приняты в отряды... Не забывай, в этих мальчишках огромные запасы агрессии. Если оставить их без присмотра и контроля, эта агрессия может принять весьма опасные формы... У нас появятся банды несовершеннолетних, а это сотни потерянных для будущего людей... В отрядах ненависть мальчишек к убийцам их родителей мы направляем в нужное русло, и она приближает нашу победу. К тому же с ними ведется воспитательная работа... Подростки к участию в боевых операциях допускаются лишь в крайних случаях, а в основном они просто помогают нам кое в чем, и они не голодают...

Шварц. Но гибнут сотнями, потому что воевать не обучены.

Номер Первый. Мы обучаем их... В этом возрасте не верят в собственную смерть. Хоть они и видят ее рядом. Кроме того, каждый

старается показать себя перед другими, отличиться... Маленькие macho[1].

Шварц. Ненавижу это слово.

Номер Первый. Можешь ненавидеть, но мужское начало в них играет. И гонит этих щенков туда, где опасней.

Шварц. Что будет с теми, которые выживут?

Номер Первый. После победы?

Шварц *(зло)*. Да, едрена мать, после победы!

Номер Первый. Ты тоже хочешь быть macho. Ругаешься, как мужик.

Шварц. Что будет с теми, кто выживет?

Номер Первый. Я не могу тебе сейчас ответить точно. Ясно одно: нужно будет заняться ими особо... Не знаю, откроем ли мы для них специальные школы или разместим их среди обычных детей, не знаю, этим займутся специалисты, педагоги и социологи... Может быть, следует создать для них интернаты... Самые старшие, вероятно, останутся в армии.

Шварц. У тебя есть дети?

Номер Первый. Нет.

Шварц. И не было?

Номер Первый. Нет.

Шварц. Ты был женат?

Номер Первый. Да.

Шварц. Последний вопрос не слишком личный? Я хочу задать тебе еще несколько в этом плане, прежде чем мы перейдем к более общим проблемам.

Номер Первый. Спрашивай.

Шварц. Что сейчас с твоей женой?

Номер Первый. Насколько мне известно, ты не пишешь для дамских журналов.

Шварц. Не хочешь отвечать?

Номер Первый. Она оставила меня... Уехала за границу.

Шварц. Почему?

Номер Первый. Почему оставила или почему уехала?

Шварц. И то и другое.

Номер Первый. Я не оправдал ее надежд. Она вообразила, что я обеспечу ей спокойное существование... А я не сумел.

Шварц. А почему уехала?

Номер Первый. Наша страна мало пригодна для людей, которые дорожат своей безопасностью.

Шварц. Святые слова... Тебе о ней что-нибудь известно?

Номер Первый. К сожалению, ничего.

Шварц. Она живет в Париже.

Номер Первый. Откуда у тебя такие сведения?

Шварц. Я разговаривала с ней.

Короткая пауза.

Номер Первый. Значит, ты знаешь мое имя.

Шварц. Это что-то меняет?

Номер Первый *(улыбается)*. Нет.

Шварц. Номер Первый, я основательно готовлюсь к интервью. Я не только читаю все, что необходимо по теме, но и расспрашиваю людей, которые знают того, с кем мне предстоит беседовать, и которые могут рассказать мне что-нибудь существенное. Если ты не возражаешь, я вкратце напомню теперь читателям историю вашего Движения. Все началось с волнений в провинции... Тупой, архаичный, кровавый режим Роблеса создал прекрасную питательную среду для всяческих брожений... Собственно говоря, партизанское движение в вашей стра-

[1] Самец *(исп.)*.

не было чем-то эндемическим, то есть свойственным данной местности. Но сейчас мы говорим о последних восьми годах. Во главе Движения стал Гутьерес. Он сделался популярной личностью, о нем писала зарубежная пресса. А потом вдруг замолчала. Партизаны исчезли, но зато появилось городское подполье. Его возглавил загадочный Номер Первый. Подполье провело несколько эффектных операций, но потом полиция и Национальная Гвардия перехватили инициативу. С террористами, как их называла пропаганда Роблеса, казалось, было покончено. Но это было не так. Террористы снова объявились в провинции, чтобы через некоторое время дать о себе знать и в городах... Руководство Движения представляет все общественные слои, в нем насчитывается около двадцати человек... Движение Освобождения в настоящее время охватывает всю страну... Хотя в руководстве преобладают левые элементы, зарубежные наблюдатели считают, что политическая платформа Движения пока неясна. Кое-кто не исключает, что после свержения Роблеса произойдет поляризация внутри Движения и победившая группа не удержится от репрессий по отношению к недавним союзникам. Пока что Движение Освобождения пользуется поддержкой многих государств. Тех, которые к режиму Роблеса относятся враждебно, и тех, которые считают, что режим скомпрометировал себя... Вернемся, однако, к фигуре Гутьереса. Он неожиданно выплыл в Париже, где ныне возглавляет группу беженцев из вашей страны, которые называют себя Партией Свободы... Пресса не интересуется ими, хотя они и стараются привлечь к себе ее внимание... Я беседовала с Гутьересом в течение многих часов... Он дал мне адрес твоей жены... Бывший партизанский вожак Гутьерес, парень не из робких, говорит о тебе со страхом, хотя, по-моему, и не отдает себе в этом отчета. Но я чую страх, как запах духов. Что ты на это скажешь?

Номер Первый. История нашего Движения изложена тобой довольно верно... Только я не понял твоих намеков на то, что господин Г. будто боится меня.

Шварц. Он называет тебя Зараженным.

Номер Первый. Это свидетельствует лишь о его богатой фантазии, но не о страхе.

Шварц. Ты не спрашиваешь, почему он тебя так называет?

Номер Первый. Я знаю почему.

Шварц. Так, может, ты мне скажешь?

Номер Первый. Пожалуйста... Он считает, что в борьбе с Роблесом я перенял его методы. Что я от него заразился.

Шварц. И это правда?

Номер Первый. В определенном смысле да.

Шварц. Что значит «в определенном смысле»?

Номер Первый. Мы убиваем.

Шварц. Однако ты сделал оговорку.

Номер Первый. Потому что мы применяем и другие методы. Прежде всего это пропагандистская работа, и она дает прекрасные результаты, в наших отрядах — много бывших гвардейцев... Еще мы отличаемся от них тем, что мы не жестокие... За измывательство над пленным у нас одно наказание: расстрел.

Шварц. А ваша контрразведка и народные тюрьмы?

Номер Первый. Случается, что люди из контрразведки применяют насилие.

Шварц. То есть пытки.

Номер Первый. Я сказал: насилие — но они обязаны получить на это согласие районного руководства. Идет война, без насилия не обойтись. Но никаких народных тюрем у нас нет. Это выдумка приспешников Роблеса, имеющая, правда, под собой некоторую почву: еще в первый период городского подполья мы захватили в плен несколько их палачей и объявили, что они находятся в народных

тюрьмах и скоро предстанут перед народным судом. В конце концов так оно и произошло, в чем все могли убедиться: их тела мы подбрасывали преимущественно к полицейским участкам или в другие эффектные места. Но это уже история... В настоящий момент у нас нет никаких народных тюрем по тем же причинам, по которым мы не стали создавать лагеря для сирот... Это стационарные объекты, а наша сила, как я уже говорил, в мобильности... Если к нам в руки попадают отъявленные мерзавцы, мы пускаем их в расход. А насильно мобилизованных в Гвардию крестьян, часто неграмотных, мы убеждаем в правоте нашего дела. Тюрьмы нам не нужны.

Шварц. Гутьерес утверждал, что у него были основания опасаться тебя ничуть не меньше, чем Национальной Гвардии.

Номер Первый. Адвокаты любят преувеличивать.

Шварц. Значит, это неправда?

Номер Первый. Ты это как себе представляешь — я пришел к господину Г., когда он был руководителем подполья, и сказал: «Уходи, теперь я займу твое место» — так, да? Он попросту потерял контроль над ситуацией, когда Движение стало шириться. Вместо того чтобы подобрать себе компетентных людей, способных вести всю штабную работу, он окружил себя посредственностями, которые во всем поддакивали ему... В итоге — поражение за поражением... Он был смещен на заседании командиров отрядов.. Это было политическое поражение... Часть тех командиров — члены нынешнего руководства... Другие либо погибли, либо устранились от борьбы, когда мы решили снова перенести ее в города.

Шварц. Где она тоже обернулась большими потерями.

Номер Первый. Мы проявили гибкость. И тотчас отступили в деревни. И добились неплохих результатов, тебе это известно.

Шварц. Значит, ты не приказывал убить Гутьереса?

Номер Первый *(с улыбкой)*. Приказывал.

Шварц. Признаешься?

Номер Первый. Если солидная сумма, предоставленная ему для выезда в Европу,— убийство, то признаюсь. Ему нельзя было оставаться здесь... Из-за любви господина Г. к саморекламе его мог узнать любой легавый или гвардеец, его фотографии висели в казармах... А на нас он обиделся... Вот мы и дали ему денег, чтобы он уехал... Зачем нам было его убивать? Среди нас нет Роблеса... Мы ведь руководствуемся нравственными принципами, на худой конец — крайней необходимостью. Убийство господина Г. не было бы продиктовано ни нравственными принципами, ни крайней необходимостью.

Шварц. Твоя жена подтвердила показания Гутьереса.

Номер Первый. Показания? Разве ты судья?

Шварц. В некотором роде — да.

Номер Первый. А скажи-ка мне — она с ним живет?

Шварц. Не знаю... Не думаю... Хотя возможно.

Номер Первый. Сотри две последние реплики, мою и твою. Это слишком личное.

Мария Шварц нажимает клавишу магнитофона, потом другую, слушает последние слова на пленке.

Шварц. Готово, можем продолжать.

Номер Первый. Спасибо. Не знаю, зачем она соврала. Ее давно уже не было здесь, в стране, когда решался вопрос господина Г. Дату ее выезда нетрудно проверить.

Шварц. Я об этом не подумала.

Номер Первый. Небольшая промашка.

Шварц *(после паузы)*. Так почему же Гутьерес боится тебя?

Номер Первый. Это ты сказала, что он боится меня.

Шварц. Он действительно боится.

Номер Первый. Возможно...

Шварц. Почему?

Номер Первый. Не знаю... Могу лишь догадываться.

Шварц. Может, поделишься своей догадкой?

Номер Первый. Не хочется играть в психологию...

Шварц. Поиграй.

Номер Первый. Возможно, он подсознательно приписал мне свой образ мыслей. Возможно, он сам постарался бы убрать своих бывших соратников, чтобы они ничем не могли угрожать ему в будущем... Отсюда и его страх.

Шварц. Безосновательный?

Номер Первый. Абсолютно.

Шварц. Ты не видишь в нем никакой угрозы для себя?

Номер Первый. Никакой.

Шварц. Даже если он вернется на родину после свержения Роблеса?

Номер Первый. Это его родина. Так же, как и моя... Он имеет право сюда вернуться. Мы примем его с почетом. Он был одним из первых, кто всерьез замыслил свержение диктатуры.

Шварц. Он не вернется.

Номер Первый. Значит, он человек не того масштаба.

Шварц. Или просто предусмотрительный.

Номер Первый. Будущее покажет.

Шварц. Он говорил мне, что получил от вас деньги на выезд... Что вы не ликвидировали его, потому что боялись, точнее — ты боялся раскола в Движении Освобождения... У Гутьереса оставалось еще много сторонников. Ты дал ему деньги, чтобы избавиться от него... И как только он организовал в эмиграции Партию Свободы, ты попытался убить его... На него совершено два покушения. Он остался жив только благодаря счастливым случайностям.

Номер Первый. Наверно, такими сказочками он хочет придать себе весу... Тешит свое ущемленное достоинство. Но кто виноват, что он оказался на обочине? Не забывай, он сам хотел уехать... Ему предлагали остаться и бороться.

Шварц. Сможет ли Партия Свободы в будущем стать политической альтернативой вашему Движению?

Номер Первый. Ты шутишь? Это маленькая группка оторванных от страны политиков, заседающих в парижских кафе, здесь им не на кого опереться.

Шварц. Я не согласна. Их могут поддержать средние классы.

Номер Первый. Отсутствующие всегда неправы.

Шварц. А если после свержения Роблеса они вернутся в страну и организуют легальную партию?

Номер Первый. Возвратиться они могут и должны. Нам нужны люди... Но ни о какой Партии Свободы не может быть и речи. Если они хотят заниматься политикой, то могут стать членами Движения Освобождения.

Шварц. Означает ли это, что вы хотите стать однопартийной страной?

Номер Первый. Социальный диапазон нашего движения охватывает разные социальные слои, в нем каждый найдет свое место.

Шварц. Старая песня.

Номер Первый. Согласен — но у нас это станет реальностью.

Шварц. Значит, оппозиция исключается?

Номер Первый. Вовсе нет. Но в рамках Движения Освобождения... будут сталкиваться различные направления.

Шварц. Это та же диктатура.

Номер Первый. Мы должны вытащить страну из разрухи, мы не можем тратить силы на партийную борьбу. Мы должны сплотить народ вокруг единой программы.

Шварц. Что ж это будет за программа?

Номер Первый. Та, которую выберет большинство участников нашего Движения.

Шварц. А остальной народ?

Номер Первый. Он должен одобрить... Мы боремся с Роблесом и, если победим, получим право решать.

Шварц. Право силы.

Номер Первый. Право пролитой крови, страданий и борьбы.

Шварц. Если перевести на язык менее напыщенный, вы боитесь демократии.

Номер Первый. Если демократия — это бесчисленное множество партий и группок, если это импотенция парламента, организационная беспомощность, расцвет коррупции, то такая демократия нам не нужна.

Шварц. Очень красиво... Ты считаешь, Движению Освобождения после победы не угрожает коррупция?

Номер Первый. Конечно, угрожает. Возникнут монополии административных структур... Чтобы предотвратить это, мы должны создать особый механизм... Внутри движения.

Шварц. Какой?

Номер Первый. Хотя бы ротация кадров.

Шварц. Поговорим об этом через пять лет.

Номер Первый. Ротация и перманентная переподготовка кадров.

Шварц. Ты в это веришь?

Номер Первый. Я не утверждаю, что нам это удастся... Но мы будем пытаться.

Шварц. То, что ты не уверен, утешительно. Возможно, это свидетельствует о действительном стремлении к самосовершенствованию.

Номер Первый. Или об искусстве давать интервью.

Шварц. Сукин сын... *(После паузы.)* Это я, конечно, вырежу.

Номер Первый. Можешь оставить.

Шварц. Что будет с людьми Роблеса?

Номер Первый. Верхушка, те, что отвечают за все, а также палачи предстанут перед военным судом... Если не успеют сбежать.

Шварц. Нетрудно предугадать, какой будет приговор.

Номер Первый. По заслугам.

Шварц. Не много ли крови?

Номер Первый. Мы не будем увлекаться процессами... Однако они необходимы... Как предостережение о том, что нельзя безнаказанно попирать человеческое достоинство. Мы в долгу и перед погибшими, и перед живыми. Остальные бывшие приспешники режима будут перевоспитаны.

Шварц. В лагерях?

Номер Первый. Только самые отъявленные.

Шварц. Обеспечите себе бесплатную рабочую силу.

Номер Первый. Сроки не будут длительными... Мы опираемся на опыт других стран.

Шварц. Вы настоящие интернационалисты.

Номер Первый. Разумеется...

Шварц. Номер Первый, если ты, вождь герильи, окажешься некомпетентным в мирное время?

Номер Первый. Уступлю или буду смещен и заменен кем-то более подходящим.

Шварц. А дальше что?

Номер Первый. Пойду туда, куда меня направит Движение.

Шварц. А если тебя никуда не направят?

Номер Первый. Тогда буду писать книги для детей. Мне всегда хотелось этим заняться, но, к сожалению, по разным причинам мои замыслы остались неосуществленными.

Шварц. Ты не мог бы рассказать о них?

Номер Первый. Нет.

Шварц. Жаль... А ведь ты мог бы поделиться с нами одним замыслом. Это сказка о гномике, который получает письмо, но гномику везет, и письмо взрывается, когда его распечатывает секретарша.

Номер Первый. Какой ужас.

Шварц. Все кончится хорошо. Гномик останется в живых, а секретарша потеряет только левую руку, правда, она еще и ослепнет.

Номер Первый. Ты осторожна, как ягуар, и тем не менее даешь мне понять, что этим гномиком был Гутьерес?

Шварц. Я видела эту слепую женщину.

Номер Первый. Похоже на работу спецслужбы Роблеса.

Шварц. У них столько дел в стране...

Номер Первый. Они мстительны... Роблес не может забыть, что проблемы у него начались с Гутьереса... Я тебе вот что скажу, и не будем больше возвращаться к этой теме: во-первых, если бы я приказал, господин Г. давно был бы мертв. И во-вторых, мои поступки всегда рациональны, а убийство господина Г. начисто лишено смысла. У Движения Освобождения, а следовательно и у меня, нет никаких причин совершать покушение на этого человека.

Шварц. Звучит логично.

Номер Первый. Я надеюсь.

Шварц. Да, забыла тебе сказать... Эта секретарша — твоя бывшая жена.

Пауза.

Номер Первый. У нее были огромные сияющие глаза.

Шварц. Может, сделаем перерыв?

Номер Первый. Нет, у нас мало времени. Вы должны успеть в гостиницу до комендантского часа, кроме того, у связного, который заберет ваши пленки, уже назначена встреча на вокзале.

Ладури. У вас хорошо налажена связь. Из редакции сегодня звонили — они уже получили фильм, который я снимал в горах.

Номер Первый. Стараемся.

Шварц. Что ты думаешь о словах Бертрана Рассела: «Без общественной нравственности государство гибнет, без личной нравственности каждого оно не достойно выживания»?

Номер Первый. Комментарии излишни.

Шварц. И все?

Номер Первый. Это и есть комментарий.

Шварц. Не понимаю.

Номер Первый. Я встретился с тобой для конкретного разговора, абстрактные рассуждения в данный момент меня не интересуют.

Шварц. Хорошо... В таком случае — где вы достаете оружие?

Номер Первый. В основном добываем у врага.

Шварц. А еще?

Номер Первый. У друзей.

Шварц. Конкретнее, Номер Первый.

Номер Первый. Мы поблагодарим их официально, когда победим. Тогда узнаешь.

Шварц. Какую вы тогда будете проводить внешнюю политику?

Номер Первый. Сугубо нейтральную... У нас и без того хватит забот с восстановлением страны, чтобы еще умножать их, связываясь с каким-нибудь блоком... Так единогласно решило руководство Движения.

Шварц. Многие политические комментаторы сомневаются в этом.

Номер Первый. Не станем их переубеждать.

Шварц. Есть ли у вас связи с террористами в Европе?

Номер Первый. Нет... Однако во избежание недоразумений

я должен заявить, что несколько бывших участников нашего движения по собственной инициативе вошли в контакт с террористическими группировками, действующими в Европе, и не только в Европе... Мы не имеем с ними ничего общего, считаем их дезертирами, которые вредят нашему делу... Хочу особо подчеркнуть, что если они попытаются вернуться на родину после свержения Роблеса, то понесут заслуженное наказание.

Шварц. Ты говоришь это, потому что в Италии и на Ближнем Востоке кое-кого из них схватили?

Номер Первый. Я хочу, чтобы общественное мнение, а также правительства знали, что эти авантюристы представляют только самих себя... Решение о признании их дезертирами было принято на заседании руководства три года назад, мы тут же сообщили о нем зарубежной прессе. Это вполне характеризует наше к ним отношение.

Шварц. Официальное... Потому что некий Альваро, схваченный в Италии, заявил, что был делегирован вашим руководством для установления контактов с местными террористами.

Номер Первый. Я читал об этом... Допускаю два варианта: либо Альваро стал тяготиться одиночеством и потому сослался на наше Движение, либо показания состряпаны полицией.

Шварц. Методами принуждения?

Номер Первый. Не думаю. Могли ему что-нибудь пообещать.

Шварц. Но все же, надеюсь, ты не будешь отрицать, что существует нечто вроде интернационала террористов?

Номер Первый. Мне об этом ничего неизвестно... Я допускаю, что организации оказывают друг другу взаимную помощь, может быть, даже пользуются поддержкой некоторых правительств, но не думаю, чтобы такое сотрудничество вылилось в определенные организационные формы. Скорее всего это просто личные контакты — следствие взаимного притяжения на почве их отторжения обществом. Ну, и, очевидно, большая заслуга в распространении версии о террористическом интернационале принадлежит умникам, рассматривающим историю как ряд заговоров, таких умников везде хватает... Наше движение — это движение освобождения от тирании клики Роблеса, и не больше... Мы не собираемся вмешиваться в дела других государств.

Шварц. Твоими бы устами да мед пить.

Номер Первый смеется, Ладури улыбается, Мария остается невозмутима.

Номер Первый. В правду поверить труднее всего.

Шварц. Французской полицией арестован человек, пытавшийся застрелить Гутьереса.

Номер Первый. И что же из этого следует?

Шварц. Это немец, Карл Бэр, который в прошлом году несколько месяцев жил в твоей стране.

Номер Первый. Видимо, полиция Роблеса установила с ним контакт.

Шварц. Это ветеран терроризма, у него и у полиции Роблеса цели совершенно разные.

Номер Первый. Я ничего о нем не знаю.

Шварц. Зачем ему понадобилось убивать Гутьереса?

Номер Первый. Это выяснит французская полиция.

Шварц. А ты об этом ничего не знаешь?

Номер Первый. На этот раз ты с упорством, достойным быка, утверждаешь, что это я направил убийцу в Париж, чтобы ликвидировать господина Г.? Не стану оправдываться, ведь я уже объяснял тебе, почему для меня никакого резона не было убивать господина Г. Ты относишься ко мне с предубеждением.

Шварц. Я делаю выводы из фактов.

Номер Первый. Следуя дамской логике.

Шварц. То есть?

Номер Первый. Ты руководствуешься эмоциями... Наверно, тебя потряс вид ослепшей молодой женщины и умилило красноречие господина Г. Однако как журналистка, основательно исследующая биографии своих собеседников, ты должна была по крайней мере задуматься, не знал ли этого Бэра господин Г. раньше и не являлся ли случайно Бэр эмиссаром господина Г. в нашей стране... А может быть, господин Г. установил контакты с европейскими террористами и покушение на него — это всего лишь сведение с ним каких-то счетов.

Шварц. Выяснить все это было бы не так просто... Собственно говоря, невозможно.

Номер Первый. Я сказал, что ты могла по крайней мере задуматься. За-ду-мать-ся... Тогда ты не пришла бы брать у меня интервью, имея в голове уже готовую концепцию.

Шварц. У меня не было к тебе предубеждения, клянусь бабьим нутром!

Номер Первый. Ну, если клянешься таким сокровищем, тогда верю тебе... Но впечатление было именно такое.

Ладури. Мария, долго еще? Я тоже хочу поговорить с ним.

Шварц. Две минуты.

Ладури. Потом я прерву тебя.

Шварц. Заткнись...

Ладури. Только не ругайся, ангел мой.

Номер Первый. Вот это уже звучит лучше... Ну так к делу. Что ты еще хочешь знать?

Шварц. В руководстве Движения есть женщины?

Номер Первый. Да, две.

Шварц. Кто они по профессии?

Номер Первый. Одна — врач, другая — рядовой борец... Раньша она была женой столяра.

Шварц. Почему в руководстве такой небольшой процент женщин, ведь в отрядах их много?

Номер Первый. Да, четверть из них женщины.

Шварц. Ты не ответил на вопрос.

Номер Первый. Мне стыдно...

Шварц. Наконец-то.

Номер Первый. Женщина по-прежнему занимает у нас подчиненное положение...

Шварц *(прерывает)*. Но для участия в боевых операциях она так же пригодна, как и мужчина.

Номер Первый. Когда-нибудь все изменится... Чтобы ввести в руководство этих двух, пришлось преодолеть серьезное сопротивление... Ты права, представительство женщин в руководстве непропорционально количеству женщин, принимающих участие в борьбе.

Шварц. Больше у меня вопросов нет... Может, ты хочешь что-нибудь добавить?.. Или у тебя есть какое-нибудь пожелание, чтобы я что-то передала?

Номер Первый. Пожелание? Да... Но не для передачи твоим читателям.

Мария Шварц выключает магнитофон, встает.

Шварц. Говори.

Номер Первый *(тоже встает)*. Я хотел бы поцеловать тебя.

Шварц *(с лучезарной улыбкой)*. Пожалуйста... А я слышала, что ты любишь только мальчиков. *(Подставляет лицо для поцелуя.)*

Номер Первый *(подходит, обнимает Марию)*. Не слишком доверяй сплетням.

Поцелуй Ладури проверяет по экспонометру освещенность.

Номер Первый *(отходит)*. Спасибо.

Шварц *(с улыбкой)*. Тебе тоже.

Ладури. Света достаточно, не нужно включать лампы. Выйдешь оттуда в маске, как условились.

Номер Первый исчезает за стеллажами. Ладури поднимает камеру. Из-за стеллажа выходит Номер Первый в мексиканской карнавальной маске, изображающей череп. Треск камеры.

Действие третье

Та же гостиная, что и в первом действии. Занавешенное окно. Приглушенное освещение. Министр полулежит в кресле с закрытыми глазами. В руке стакан с виски. Министр неподвижен. Двери справа и слева открыты; за ними темнота. Из темноты справа (от зала) выходит Номер Седьмой. Министр открывает глаза.

Министр. А, это вы... Добрый вечер

Номер Седьмой. Где команданте?

Министр. Сейчас придет. Велел мне подождать.

Номер Седьмой подходит к дивану, ложится.

Номер Седьмой. Простите, я не ответил... Добрый вечер.

Министр. Выпьете чего-нибудь?

Номер Седьмой. Нет.

Министр. Алкоголь помогает забыться.

Номер Седьмой. О чем вы?

Министр. Мне вспомнился случай из моей жизни... Проснулся я как-то раз после хорошей попойки, потянулся к газете — буквы прыгали у меня перед глазами, но я все же прочел: «Дон Кихот», это стоило мне страшного напряжения, газета выпала у меня из рук. «Дон Кихот, Дон Кихот»,— стучало в моем мозгу... С полчаса вспоминал, где я встречал этого прохвоста.

Номер Седьмой. Я не хочу ни о чем забывать.

Министр. Смело сказано... О себе я так сказать не могу.

Молчание. Министр отпивает из стакана, закрывает глаза.

Номер Седьмой. Вы постарели со вчерашнего дня.

Министр. Это вам кажется... Все дело в освещении.

Номер Седьмой. Возможно...

Министр. Сегодня во дворце был тяжелый денек. Посольства и правительства требовали объяснений... Так что, может, вы и правы.

Номер Седьмой. Объяснений? По какому поводу?

Министр. По поводу убийства Гвардией в церкви Христа Спасителя двух журналистов... Стреляли в затылок... Поручик Гомес надеялся таким способом добиться повышения... Идиот несчастный.

Номер Седьмой. Мария Шварц и Билл Ладури.

Министр. Да, две знаменитости... Перепуганный президент сначала велел расстрелять Гомеса за самовольные действия, но потом отменил приказ... Он кричал: «Я не позволю запугать себя этим предателям-гринго, я не стану ради них жертвовать своими лучшими людьми!» И Гомеса в самом деле произвели в капитаны... Согласитесь, Старая Гиена не страдает от избытка политического чутья... Пресса бушует... Во всем мире газеты, радио и телевидение только об этом и вопят... Мне кажется, после огласки этого бессмысленного, жестокого убийства зарубежные друзья, которые еще остались у Старой Гиены, отвернутся от него... Он окончательно скомпрометирован...

Номер Седьмой. Почему вы улыбаетесь?

Министр. Свет падает мне на веки... И у меня перед глазами что-то вроде мультфильма... А еще потому, что, когда в нашей стране сотнями исчезали люди, газеты откликались на это туманными фразами вроде: «Факты заставляют предполагать, что политическая борьба обостряется».

Номер Седьмой. Где их тела?

Министр. Над ними трудятся в похоронном бюро... Насколько мне известно, выстрел в затылок уродует лицо... Простите, вы, конечно, сами это знаете... Завтра их останки отправят на самолете... каждого на его родину.

Номер Седьмой Почему вы сидите с закрытыми глазами?

Министр *(не открывая глаз).* Я же говорил вам — я смотрю что-то вроде мультика.

Небольшая пауза.

Номер Седьмой. Я их знал.

Министр. Этих журналистов?

Номер Седьмой. Да.

Министр. Говорят, она была интересной женщиной.

Номер Седьмой. Она обожала жизнь. *(Невесело смеется.)* Он все же дал ей интервью и все ей сказал.

Министр. Кто?

Номер Седьмой. Эта сволочь, ваш президент.

Министр *(открывает глаза).* Не забывайте, я сотрудничаю с вами. *(Пьет из стакана, закрывает глаза.)*

Номер Седьмой. Выстрелом в затылок сказано все.

Министр. Это только так кажется.

Номер Седьмой. Что вы имеете в виду?

Министр. Что даже такая однозначная реплика имеет свой подтекст.

Номер Седьмой. Какой?

Министр. В любом признании есть что-то недосказанное.

Номер Седьмой. Вы что-то усложняете.

Министр. Привилегия старости.

Пауза.

Номер Седьмой. Вы продолжаете смотреть свои мультики?

Министр. Нет, теперь просто розовый туман.

Номер Седьмой. Может, если бы я был с ними в ризнице, я бы спас их.

Министр. Вы бы тоже погибли.

Номер Седьмой. Но в бою.

Министр. Какая разница?

Номер Седьмой. Вам этого не понять.

Министр. И слава богу...

Министр, не открывая глаз, отпивает из стакана.

Номер Седьмой. Вы говорили об этом с командантe?

Министр. О смерти журналистов?

Номер Седьмой. Да.

Министр. Говорил.

Номер Седьмой И что?

Министр. Мы считаем, что это последний гвоздь в гроб режима.

Номер Седьмой Я не об этом... Он... Он жалел их?

Министр. Пожалуй, да...

Номер Седьмой. Он ведь знал Марию... И Билла тоже.

Министр. Но как homo politicus он прежде всего видит, какую можно из этой трагедии извлечь выгоду.

Номер Седьмой. Вчера он сказал, что она очаровательна.

Министр. Мария Шварц?

Номер Седьмой Мы ведь говорим о ней...

Министр. Мне он сказал то же самое.. Конечно, в прошедшем времени... Но добавил что она погибла в очень подходящий момент... Теперь никто не вступится за Старую Гиену, мировое общественное мнение не допустит этого.

Номер Седьмой. Боже, как она умела ругаться... И у нее это не звучало вульгарно.

Министр. Наконец-то.

Номер Седьмой. Что?

Министр. Теперь я знаю, с какой силой надо сжать веки, чтобы снова появился мультик.

Номер Седьмой. К черту ваши мультики.

Министр. Я предпочитаю видеть перед глазами их, а не действительность.

Номер Седьмой. Ваш сын тоже может погибнуть...

Министр. Разумеется... Он служит у вас сержантом.

Номер Седьмой. А может, уже погиб.

Министр *(после паузы)*. Вы, наверно, были влюблены в Марию Шварц?

Номер Седьмой. А если и так?

Министр. Я вам сочувствую.

Номер Седьмой. Что мне от вашего сочувствия?

Министр. Ничего, конечно... Вы должны справиться с этим сами.

Пауза.

Номер Седьмой. Я буду молиться... Хоть я и неверующий, но буду молиться.

Министр. Вы полагаете, ей нужны молитвы?

Номер Седьмой. Я буду молиться, чтобы капитан Гомес не погиб и не успел сбежать за границу.

Министр. Ах вот что.

Номер Седьмой. Чтобы он попал мне в руки.

Министр отпивает глоток из стакана.

Министр. Может, вы все-таки выпьете стаканчик?

Номер Седьмой. Нет.

Министр. Вам станет легче.

Номер Седьмой. Когда я узнал о ее смерти, хотел напиться. Но потом понял, что не имею права... Я должен пережить это с ясной головой... То, что со мной происходит.

Министр. Однако вы не должны забывать, что являетесь важной персоной в Движении Освобождения... Для вас, для Движения, эти две смерти просто бесценны... Скандал на весь мир по поводу преступления, совершенного гвардией Старой Гиены, да еще накануне всеобщего восстания — это же королевский подарок.

Номер Седьмой *(будто себе)*. У Марии были нежные руки. Нежные и сильные.

Министр открывает глаза, допивает виски, ставит стакан. Присматривается к Номеру Седьмому.

Министр. Вы ведь видели много смертей...

Номер Седьмой Ну и что?

Министр. Удивительно, как это вы сохранили впечатлительность. *(Встает, подходит к дивану, на котором лежит Номер Седьмой.)*

Номер Седьмой. Вы подошли ближе, чтобы лучше разглядеть меня?

Министр. Нет, у меня хорошее зрение... *(Возвращается в кресло.)* Я хотел вам кое-что сказать... Вот я и подошел...

Номер Седьмой. Так говорите.

Министр. Не знаю... Я рискую своей безопасностью.

Номер Седьмой. Безопасностью?

Министр. Да.

Номер Седьмой. Ваша безопасность зависит от того, что вы скажете?

Министр. Точнее, от вашего умения держать язык за зубами... Мне кажется, то, что я вам скажу, поможет вам... Вы ведь страдаете, не так ли?

Номер Седьмой. Говорите же.

Министр. Вы должны обещать мне, что будете хранить это в строжайшей тайне.

Номер Седьмой. Говорите же, наконец, или оставьте меня в покое.

Министр. Дайте слово, что не выдадите меня.

Номер Седьмой. Это так важно?

Министр. Для меня — очень, и я хочу жить... А для вас это важно потому, что вы кое-что поймете.

Номер Седьмой. Что?

Министр. То, что вы должны были давно понять.

Номер Седьмой. Вы прямо как сфинкс, говорите загадками.

Министр. Я очень рискую.

Номер Седьмой. А зачем вам рисковать?

Министр. Иногда нужно сделать что-нибудь такое, чтобы потом без стыда смотреть на себя в зеркало.

Номер Седьмой. Хорошо, говорите. Я даю слово...

Министр. Когда вы влюбились в Марию в горах, вы вряд ли...

Номер Седьмой. Это команданте рассказал вам о горах?

Министр. Нет. Кондиционер.

Номер Седьмой. Кондиционер?

Министр. За решеткой кондиционера стоит микрофон, а записывающее устройство в моей спальне... Высокого качества... Обеспечивает тридцать шесть часов записи без смены кассет.

Номер Седьмой. Вы установили его, чтобы шпионить за нами?

Министр. Нет, гораздо раньше... Я не предполагал тогда, что стану чем-то вроде узника в собственном доме.

Номер Седьмой. Сейчас мы тоже записываемся?

Министр. Нет.

Номер Седьмой. Просто у вас такое хобби?

Министр. У меня были причины.

Номер Седьмой. Продолжайте.

Министр. Так вот, когда вы влюбились в Марию, вы вряд ли предполагали, что и ей и Ладури уже был вынесен приговор.

Номер Седьмой. И ты не предупредил нас, шпик!

Министр. Приговор вынес им не Старая Гиена, а Номер Первый вместе с остальными четырьмя из первой пятерки.

Номер Седьмой *(с изумлением)*. Руководящий Центр?

Министр. Да.

Номер Седьмой. Зачем?

Министр. Они решили сделать это руками Гвардии, чтобы окончательно скомпрометировать режим Роблеса.

Номер Седьмой. Вранье!

Министр. Спроси у команданте.

Номер Седьмой. Я спрошу... Но если это ложь...

Министр. Это была идея команданте... После дискуссии она была одобрена остальными... Информацию Гомесу подкинул Молчаливый, телохранитель Номера Первого.

Пауза. Министр встает, берет свой стакан, подходит к столику с напитками, бросает в два стакана лед, наливает, берет стаканы, подходит к Номеру Седьмому, сует стакан ему в руки. Номер Седьмой выпивает сразу половину. Министр возвращается в кресло.

Номер Седьмой. Ты ничего мне не говорил... Можешь быть спокоен.

Министр. Я спокоен.

Номер Седьмой. Ты не должен был говорить мне это сегодня.

Министр. Может быть, но...

Номер Седьмой. Что — но?

Министр. Но я подумал о своем сыне, который воюет где-то вместе с такими же доверчивыми мальчишками, как он и как ты... Вы должны что-то изменить, иначе ваша борьба потеряет всякий смысл... Ты идеалист, у тебя чистая душа... Вы не должны мириться с грязью в политике.

Номер Седьмой. А тебе-то что до всего этого?

Министр. Ничего... Потому и рассказал.

Номер Седьмой *(после паузы)*. И правильно сделали.

Министр отпивает глоток, закрывает глаза.

Министр. Только не натвори каких-нибудь глупостей... Все хорошенько обдумай, тогда и действуй... Не раньше.

Номер Седьмой. Что вы там сейчас видите? Розовый туман или мультик?

Министр. Ни то, ни другое... Черные пятна. Скачущие.

Номер Седьмой. Быстро скачут?

Министр. В зависимости от того, сильно ли я сожму веки.

Номер Седьмой. Я забавлялся этим в детстве.

Министр. Я тоже.

Пауза.

Номер Седьмой. Он сказал, сейчас придет?

Министр. Да.

Номер Седьмой. А куда он пошел?

Министр. Не знаю.

Номер Седьмой. Один?

Министр. Тебя интересует, был ли при нем Молчаливый, телохранитель?

Номер Седьмой. Предположим.

Министр. Он отослал его раньше.

Номер Седьмой встает с дивана, ставит недопитый стакан на поднос. Останавливается возле кресла, на котором полулежит Министр.

Номер Седьмой. Когда вы прослушивали эту пленку, наверно, смеялись, да?

Министр. Ты же знаешь, что нет.

Номер Седьмой *(после паузы)*. Впрочем, какое это имеет значение. *(Идет к дивану, ложится.)*

Министр. Хочешь остаться один?

Номер Седьмой. Сидите.

Министр. Как хочешь, сынок...

Номер Седьмой. Можете меня так называть.

Министр отпивает глоток из стакана.

Министр. Благодарю тебя, мальчик.

Номер Седьмой. Откройте глаза.

Министр *(выполняет приказ)*. Тебя это нервирует?

Номер Седьмой. Я хочу вам что-то сказать... Но — тайна за тайну.

Министр. Я слушаю.

Номер Седьмой. Мария сказала, что у нее будет от меня ребенок... Она не принимала таблетки, а как раз были ее дни...

Министр. Наверно, это неправда.

Номер Седьмой. Я чувствовал, что она не врет.

Министр. Может, это была, скажем так, ее субъективная правда. Она хотела как-то выразить свое восхищение, любовь, уваже-

ние к тебе... Вслух произнесла мечту — но это вовсе не означает, что она забеременела. Или что в самом деле не предохранялась.

Номер Седьмой. Она сказала, что будет воспитывать ребенка сама, у себя на родине.

Министр. Не думай об этом.

Номер Седьмой. Я все время помню об этом... Она сказала, что, если я хочу, она скажет когда-нибудь ребенку, кто его отец, а если не захочу, ребенок никогда обо мне не узнает.

Министр. И ты захотел, чтобы она сказала?..

Номер Седьмой. Да.

Министр. Возможно, это была просто красивая ложь в минуту эйфории.

Номер Седьмой. Может быть...

Министр. Расчувствовалась после ласки.

Номер Седьмой. Она сказала, что хочет, чтобы кто-нибудь такой, как я, был отцом ее ребенка.

Министр. Тут, наверно, она говорила правду.

Номер Седьмой. Сказала, что для нее это — последний шанс иметь ребенка.

Министр. Сколько ей было лет?

Номер Седьмой. Тридцать семь.

Министр. В таком случае и это правда.

Номер Седьмой. Все — правда, подозрительный вы глупец.

Министр. Если тебе от этого станет легче, кричи и обзывай меня.

Номер Седьмой. Я не хотел вас обидеть.

Министр. Ничего, пустяки.

Номер Седьмой. А вы легко прощаете.

Министр. Мне не привыкать... Кроме того, ты сам извинился...

Номер Седьмой. Скажите мне, почему вы все это терпели?..

Министр. Ты имеешь в виду атмосферу во Дворце и...

Номер Седьмой. Да. Зачем вы сделали из себя жополиза?

Министр. Слишком сильно сказано.

Номер Седьмой. Зато соответствует действительности.

Министр. Страх, нежелание выбыть из игры, стремление сохранить и приумножить то, что имеешь... Довольно банальные мотивы.

Номер Седьмой. Но прежде всего страх?

Министр. Пожалуй, нет... В конце концов, я мог уехать... У меня были кое-какие деньги за границей, немного, но достаточно, чтобы прожить более или менее безбедно... Но такая жизнь мне кажется унизительной.

Слышны шаги. Из темноты справа появляется Номер Первый.

Номер Седьмой *(садится на диван)*. Хорошо, что ты пришел. Мне надо с тобой поговорить. Один на один. Без этого... *(Показывает на Министра.)*

Номер Первый *(Министру)*. Зайдите ко мне попозже.

Министр *(встает, допивает виски)*. Слушаюсь, Отец Нации. *(Ставит стакан и выходит.)*

Номер Первый *(садится на резной стул, спиной к залу)*. Завтра мы начинаем.

Номер Седьмой. Мария и Билл убиты.

Номер Первый. Да, печальная история... Журналисты во всем мире просто в бешенстве.

Номер Седьмой. Кто из наших был с ними?

Номер Первый. Никого... Их провели и ушли. Прийти за ними должны были через два часа.

Номер Седьмой. Эта провокация — твоя идея?

Номер Первый. О чем ты?

Номер Седьмой поднимается, подходит к Номеру Первому, становится перед ним на расстоянии двух метров.

Номер Седьмой. Я знаю, что ты приказал навести на их след гвардейцев... Ты приговорил их к смерти.

Номер Первый. Кто тебе это сказал?

Номер Седьмой. Я знаю.

Номер Первый. Значит, у тебя надежный информатор.

Номер Седьмой. Признаешься?!

Номер Первый. Ты неточно выразился... Я подтверждаю информацию.

Номер Седьмой отходит, садится на диван.

Номер Седьмой. Зачем?

Номер Первый. Не строй из себя идиота... Сам понимаешь, насколько нам это выгодно.

Номер Седьмой. Это преступление.

Номер Первый. Забыл, сколько ты приговоров привел в исполнение?

Номер Седьмой. Эти двое были нашими друзьями.

Номер Первый. Ладури, ты сам говорил, бесстрастный профессионал... На наше дело ему было абсолютно наплевать... Приехал, потому что здесь стреляют... Что касается Марии, ты прав. Она сочувствовала нам... Но мертвая она принесет нам, уже принесла, гораздо больше пользы, чем живая. Хотя их последнюю работу мы тоже используем. Фильм Билла и интервью Марии уже за границей... Блестящее интервью в ее обычном агрессивном стиле. Его появление в газетах покажет всему миру, что нам нечего скрывать.

Номер Седьмой. Ты хоть не издевайся.

Номер Первый. Я не издеваюсь. Я объясняю тебе тактику.

Номер Седьмой. Тактика, ради которой обрекаются на смерть невинные люди... Это отвратительно... Ненормально!

Номер Первый. Все, что служит революции, нормально.

Номер Седьмой *(тихо)*. Нет.

Номер Первый. Протестовать слишком поздно.

Номер Седьмой. Ты в этом уверен?

Номер Первый. Ты не хотел бы поспать?

Номер Седьмой. А может, протестовать еще не поздно?

Номер Первый. Перестань кривляться.

Пауза.

Номер Седьмой. Я не согласен...

Номер Первый. С чем?

Номер Седьмой. С твоей логикой...

Номер Первый. Повторяю еще раз: все, что служит революции, справедливо.

Номер Седьмой. Даже преступление?

Номер Первый. Даже преступление.

Номер Седьмой. Я не за это боролся.

Номер Первый. Даже многочисленные преступления.

Номер Седьмой. Ты сошел с ума.

Номер Первый. Понимаю — ты хочешь снять вину с меня и с себя, да?.. Нет, я не сошел с ума. Я мыслю ясно и логично. И я не боюсь делать выводы... А тебе, такому бесстрашному в бою, теперь не хватает мужества... Может, ответишь — почему?

Номер Седьмой. Мне не нужно такое мужество.

Номер Первый. Ну так я отвечу за тебя... Потому что ты втюрился в эту Марию. Ее смерть потрясла тебя... Если б погиб только Ладури, не возникло бы никаких проблем

Номер Седьмой. Может быть... Но ее смерть открыла мне...

Номер Первый. Ничего она тебе не открыла... Ты страда-

ешь... Тебе больно... Ты кипишь... У тебя отобрали игрушку... Хорошо, отобрали предмет любви... Зато я могу тебе кое-что открыть. Знаешь, кого ты любил? Весьма подержанную девку, которая очень любила таких, как ты, и была хороша в постели... Этой буржуазной суке и салонной коммунистке хотелось запаха крови... Она этот запах учуяла в тебе... В разных странах она отыскивала таких, как ты, парней, сладко пахнущих кровью, им импонировала ее слава, обаяние, напористость и аффектация, сладкие беседы и вертлявый зад... Вся она была фальшивая, потому и обожала все настоящее... Вот что тебе следует понять, вместо того чтобы впадать в истерику при первом же столкновении твоего щенячьего представления о революции с революционной действительностью.

Пауза.

Номер Седьмой. Я хочу вернуться в отряд.

Номер Первый. И геройски погибнуть.

Номер Седьмой. Я хочу вернуться в отряд.

Номер Первый. Нет, братец... Ты останешься здесь. Вникнешь в логику революции и будешь ей верно служить. Кто знает — может, еще вернее, чем я.

Минута тишины.

Номер Седьмой. Может быть, ты прав.

Номер Первый. В чем?

Номер Седьмой. В том, что я подчинюсь логике революции. Твоей логике революции.

Номер Седьмой встает, подходит быстрыми шагами к роялю, поднимает крышку. Застывает в неподвижности.

Номер Первый. Там уже нет оружия... Но ты, наверное, хотел мне что-то сыграть.

Номер Седьмой. Да, сыграть.

Номер Седьмой оставляет крышку рояля открытой, садится на табурет и после минутного размышления начинает играть. Это продолжается около трех минут.

Номер Первый. Что это было?

Номер Седьмой. «Павана на смерть инфанты».

Номер Первый. Очень кстати.

Номер Седьмой поворачивается лицом к Номеру Первому.

Номер Седьмой. Чем же мы лучше людей Роблеса, команданте?

Номер Первый. У нас другая цель.

Номер Седьмой. Да... Цель.

Номер Первый *(после паузы)*. Вчера, когда мы сидели с тобой в этой комнате, я подумал: а не рассказать ли тебе?.. И, как видишь, промолчал.

Пауза.

Ты не спрашиваешь — почему?

Номер Седьмой. Почему?

Номер Первый. Я не хотел, чтобы ответственность легла и на тебя... Иногда материал не выдерживает перегрузок... Ты слишком молод.

Номер Седьмой. Материал... О людях ты говоришь как о механизмах. Это не случайно.

Номер Первый. Не усложняй... Я употребил распространенное сравнение, вот и все... Теперь ты уже не обязан брать на себя непосредственную ответственность.

Номер Седьмой. Непосредственную... Ты не бойся... Материал выдержит.

Номер Первый. Это испытание закалит тебя.
Номер Седьмой. Может быть.

Пауза.

Номер Первый. У тебя есть возможность доказать это.
Номер Седьмой. Как?
Номер Первый. Скажи мне, кто тебя проинформировал?
Номер Седьмой. Это что-нибудь изменит?
Номер Первый. Докажешь, что тебе можно доверять.
Номер Седьмой. И таким образом — предам.
Номер Первый. Кого?
Номер Седьмой. Того, кто мне доверял.
Номер Первый. Нет, мой милый... Ты поможешь разоблачить предателя, опасного для нас человека.
Номер Седьмой *(после паузы)*. Не могу, командante.
Номер Первый. Не зарекайся.
Номер Седьмой. Я знаю, что с этим человеком будет.
Номер Первый. А, понимаю — это кто-то из твоих близких.
Номер Седьмой. Он мне доверился.
Номер Первый. Ты знаешь, что означает твой отказ.
Номер Седьмой. Я уже попрощался.

Номер Седьмой встает, идет на авансцену, останавливается за стулом, на котором сидит Номер Первый. Вынимает из кармана струну, раскручивает ее.

Номер Первый. С кем попрощался?
Номер Седьмой. С самим собой... С прежним.

Номер Седьмой забрасывает струну за спинку стула, притягивает к себе обеими руками, душит командante. Номер Первый поднимает руки, пытается оторвать от шеи металлическую петлю. Выстрел. Номер Седьмой падает на пол. В правой руке держит струну. Командante встает со стула, с силой трет шею. Из темноты через левую дверь выходит Молчаливый с пистолетом в руке. Подходит к Номеру Седьмому, ногой переворачивает тело на спину. Прячет пистолет. Номер Первый показывает ему на кресло. Молчаливый садится. Командante берет трубку.

Номер Первый *(по телефону)*. Можете зайти.

Голос у Номера Первого неестественный, хриплый. Так он до конца и хрипит. Ходит по гостиной, массируя шею. Через минуту из темноты через правую дверь входит Министр.

Предпочел убить меня, но не выдавать вас.
Министр *(смотрит на тело)*. Благородный юноша... *(Поднимает глаза на командante.)* Зачем вы приказали мне рассказать ему эту сказочку о микрофоне?
Номер Первый. Хотел кое-что проверить.
Министр. И что? Вышло по-вашему?
Номер Первый. Я вас вызвал не для того, чтобы вы задавали вопросы.
Министр. Мне просто интересно.
Номер Первый. Ваш интерес так же фальшив, как эта мебель, которую вы выдаете за подлинную.
Министр *(с улыбкой)*. Уверяю вас, это не подделка.
Номер Первый. Ладно, не важно... Вы говорили как-то, что у вас в погребе большой морозильник.
Министр. Да, да...
Номер Первый. Работает?
Министр. Да.
Номер Первый *(показывает на труп)*. Поместится?
Министр. Наверняка... Но...
Номер Первый. Что — но?
Министр. Не лучше ли закопать его в саду?
Номер Первый. Нет. Он должен быть свежий.

Министр. Зачем?

Номер Первый. После победы мы устроим ему пышные похороны... Люди будут проходить перед катафалком с открытым гробом... Народу нужны герои... Одну из площадей мы назовем его именем. Он не останется неизвестным народу. Он был настоящим идейным борцом... *(Смотрит задумчиво на Министра.)* Кто знает, может, мы объявим, что он погиб во время штурма вашей резиденции?..

Министр. О, нет! Прошу вас...

Номер Первый миролюбиво кладет руку на плечо Министру.

Номер Первый. Успокойтесь, это просто шутка... Мне захотелось развеять печальное настроение.

Конец.

■

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

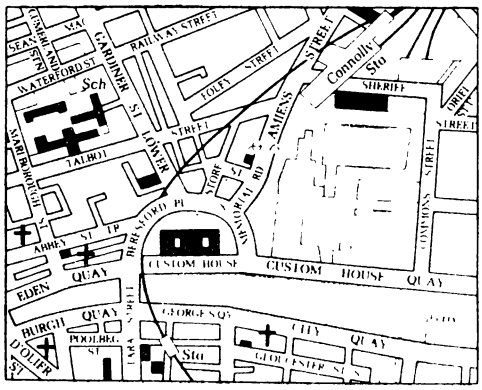
Улисс

РОМАН

Перевод с английского
В. ХИНКИСА и С. ХОРУЖЕГО

III

16



Первейшим порядком мистер Блум смахнул основную массу стружек, вручил Стивену шляпу с тросточкой и вообще, на манер доброго самаритянина, постарался его подбодрить, в чем тот крайне нуждался. Нельзя сказать, чтобы ум его (Стивена) и впрямь, как говорится, зашел за разум, однако он был не совсем устойчив и когда Стивен выразил желание утолить жажду, мистер Блум, невзирая на время суток и на полную недосягаемость колонок с водою Вартри, годною если не для внутреннего, то хотя бы для наружного употребления, сумел-таки изыскать выход, моментально сообразив, что их наверняка выручил бы так называемый «Приют извозчика», буквально рукой подать от Баттского моста, где наверняка нашлось бы что-либо питейное, в духе минеральной воды или молока с содовой. Но как попасть туда, вот в чем была загвоздка. Некое время он находился в замешательстве, однако же долг настойчиво призывал его предпринять действенные шаги, и потому он начал усердно перебирать всевозможные способы и варианты, между тем как Стивен неудержимо зевал. Насколько он мог увидеть, смертельная бледность покрывала его лицо, так что было крайне желательно воспользоваться каким-либо средством транспорта, сообразно их состоянию, оба, не надо забывать, были измотаны до предела, в особенности Стивен, конечно, если бы таковое

Продолжение. Начало см. в № 1 — 9, 1989.

средство удалось отыскать. Соответственно, по совершеньи нехитрых прелиминариев, как, скажем, слегка пообчиститься, хотя он и позабыл забрать свой взмыленный носовой платок, после того как тот верой и правдой послужил брадобрейному делу, они сообща направились по Бивер-стрит, то бишь Бобровой улице, которую верней бы называть переулком, дойдя до ветеринарной лечебницы и до весьма ощутимого зловония от извозчичьих конюшен на углу Монтгомери-стрит, а там повернули налево и влились в Эмьенс-стрит, обогнув лавочку Дэна Бергина. Однако, в чем он заранее был уверен, нигде и в помине не было ни единого Ииуя *, который подрядился бы ехать, только у «Северной Звезды» маячил какой-то шарабан, поджидавший, видимо, засевших в ресторане кутил, ибо никакие симптомы не выдали ни малейшего его шевеления, когда мистер Блум, весьма далекий от совершенства в искусстве свистеть, попытался привлечь к себе внимание, двукратно издав некое подобие свиста и дугообразно воздевая руки над головой.

То была незадача, однако, как подсказывал здравый смысл, теперь уже решительно ничего не оставалось, как, сделав хорошую мину при дурной игре, двинуть одиннадцатым номером, что они и исполнили. Итак, срезав наискосок мимо Маллета и мимо Сигнал-хаус, до коих добрались без труда, они волей-неволей проследовали в направлении вокзала на Эмьенс-стрит, причем мистера Блума чувствительно затрудняло, что одна из пуговиц у него на брюках, если употребить mutatis mutandis, древнее изречение, отправилась путем всех пуговиц, хотя он геройски старался, учитывая положение вещей, не обращать внимания на помеху. Стало быть, уж коль скоро так вышло, что им обоим было некуда торопиться, а воздух был приятен и свеж после недавнего посещения Юпитера Плювия*, они, ничуть не спеша, брели мимо экипажа, стоявшего одиноко без возницы и без седока. Вышло при этом так, что одному из пескоразбрасывателей Дублинской Объединенной Трамвайной Компании как раз вышло возвращаться той улицею в депо, и по этому случаю старший из путников поведал товарищу о своем относительно недавнем и абсолютно чудесном спасении. Они миновали главный вход Большого Северного вокзала, откуда шли поезда на Белфаст и где, разумеется, не было никаких рейсов в сей поздний час, и мимо задних ворот морга (не слишком манящее местечко, чтобы не сказать довольно зловещее, особенно ночью) достигли, в конце концов, Портовой Таверны, а там, как положено, свернули на Стор-стрит, знаменитую полицейскими казармами участка К. Проходя между указанным пунктом и высокими, не освещенными в такой час складами на Бересфорд-плейс, Стивену вздумалось подумать об Ибсене, который связывался с мастерской камнереза Берда в уме у него каким-то образом на Талбот-плейс *, первый угол направо, а между тем его спутник, служивший ему как верный Ахат, не без приятствия вдыхал запахи пекарни Джеймса Рурка, находившейся совсем неподалеку, весьма надо сказать аппетитные запахи нашего хлеба насущного, первого и необходимейшего из всех предметов людского потребления. Основа жизни, хлеб, добывай хлеб свой. Где ж дивный хлеб, не умолчи?* У Рурка-пекаря в печи.

En route [1], обращаясь к своему молчаливому и, не скроем, не вполне еще трезвому попутчику, мистер Блум, как бы там ни было, исправно владевший всеми своими органами и абсолютно трезвый — скажем сильней, до омерзения трезвый — настойчиво внушал ему насчет дурных женщин, лихих ребят и прочих опасностей града ночи, куда допустимо захаживать в крайнем случае спорадически, но уж никак не систематически, это ведь просто гибельная ловушка для юношей его возраста особливо уже возымевших привычку к выпивке под влиянием алкоголя разве что у них всегда наготове приемчик

[1] В пути *(франц.)*.

джиу-джитсу для всяких случайностей, потому как даже и от пьянчужки, который валяется на спине, можно заполучить доброго пинка, если не держать ухо востро. Чистейшим даром небес было появление на сцене Корни Келлехера, когда Стивен в блаженном беспамятстве и ведать не ведал что если бы не сей муж одиннадцатого часа то финал бы мог быть что он бы мог быть кандидатом в клиенты ближайшего врачебного пункта, а не то так даже кутузки с появлением на другой день перед очами мистера Тобиаса, то есть верней он хотел сказать старины Уолла, тот-то ведь стряпчий, или может Мэхони, а потом всюду про это растрезвонят и все, погиб человек. Он почему завел на данную тему, потому что из этих полицейских, а он их на дух не выносил, добрая половина таких что служа Короне охулки на руку не положат и глазом не моргнув присягнут что черное это белое, как выразился мистер Блум, припомнив один-два случая из практики участка А на Клэнбрасл-стрит. Когда надо их никогда нет на месте, зато в тихих районах, скажем, на Пембрук-роуд, этих блюстителей закона хоть отбавляй, потому что ясное дело им платят чтобы они охраняли знать. Другое, о чем он высказался критически, это разрешение солдатам, когда они в увольнении, иметь при себе всякого рода оружие, холодное или огнестрельное, они ведь чуть что так и норовят пустить его в ход так что от этого только разжигается их вражда со штатскими. Вы убиваете и время, и здоровье, и свою репутацию, весьма здраво увещевал он его, и притом это же безумное мотовство, все эти резвые дамы полусвета так и набрасываются на ваши фунты, не говоря о пенсах и шиллингах, а главная опасность это с кем пьешь, хотя уж если касаться острого вопроса о горячительном, то он и сам был вовсе не против в подходящее время выпить стакан доброго старого вина (в особенности хорошей марки бургонского, коего он выступил стойким адептом), находя его и питательным, и кроветворным, а также имеющим и достоинства слабительного, никогда, однако, не переходя некой грани, на которой он неизменно останавливался видя что идти дальше влечет одни неприятности и к тому же отдаешься практически на полную милость окружающих. Но главное его осуждение вызывали собутыльники Стивена, которые все покинули его кроме одного что в свете всех обстоятельств было вопиющим предательством со стороны его собратьев медиков.

— И тот один был Иуда,— промолвил Стивен, который до тех пор ни на какой предмет не проронил ни единого звука.

Рассуждая о сем вопросе и ему родственных, они прошли напрямик задами таможни и двигались под мостом Окружной железной дороги, когда жаровня с горящим углем, стоявшая перед сторожевою будкою или чем-то, подобным ей, уклонила к себе их заплетающиеся шаги. Без особой причины, как равно и без всякого понуждения, Стивен остановился, глядя на груду бесплодных булыжников, и при свете жаровни различил в сумраке будки смутную фигуру муниципального сторожа. Ему стало припоминаться, что будто бы это уже раньше случалось или же кто-то говорил что случалось, и после немалых усилий он наконец вспомнил, что он узнал в стороже былого приятеля своего отца, Гамли. Желая избежать встречи, он отступил к опорам моста.

— С вами кто-то здоровается,— сказал мистер Блум.

Среднего роста личность, явно укрывавшаяся под сводами моста, снова приветствовала его, крикнув: — Мое почтение!

Стивен, вздрогнув и пошатнувшись, что вовсе не странно, остановился для ответного приветствия. Мистер же Блум, ведомый внутренней деликатностью, поскольку он всегда считал, что не следует совать нос в чужие дела, немедленно отошел в сторону, оставаясь, впрочем, qui vive [2], в легкой обеспокоенности, хотя и нимало не стру-

[2] Здесь: настороже *(франц.)*.

сив. Хоть это редко случалось в районе Дублина, однако он знал, что в этом нет ничего неслыханного, если люди отпетые и не имеющие ни гроша за душой пускаются на промысел подстерегают и вообще терроризируют мирных путников приставивши им пистоль ко лбу где-нибудь в глухом месте за городской чертой, такие могут быть и собратьями голодных бродяг с набережных Темзы и просто грабителями готовыми тут же смыться с любой поживой какую повезет захватить нахрапом, уведомив вас кошелек или жизнь и оставив на месте в назидание прочим, придушенного и с кляпом во рту.

Стивен, когда, разумеется, встречный совсем приблизился, хоть не был и сам в особенно трезвом состоянии, опознал дыхание Корли, разившее спиртным перегаром. Лорд Джоч Корли, как некоторые величали его, имел нижеследующее родословие. Он был старшим сыном недавно скончавшегося инспектора Корли из участка Г, который был женат на некой Кэтрин Брофи, дочери лутского фермера. Дед же его, Патрик Майкл Корли из Нью-Росса, женат был на вдове тамошнего трактирщика, которая в девичестве звалась (также) Кэтрин Талбот. Молва утверждала (хотя и без доказательств), что она якобы происходила из рода лордов Талбот де Малахайд, у коих в резиденции — поистине замечательный особняк, советуем посмотреть — ее мать, или тетка, или еще какая-то родственница, по слухам, редкостной красоты, имела честь состоять на службе судомойкою. И, стало быть, именно по этой причине сей относительно еще молодой, хотя и беспутный субъект, только что окликнувший Стивена, иными, кто имел склонность позубоскалить, прозываем был лордом Джоном Корли.

Отведя Стивена в сторонку, он завел общеизвестного рода слезные речи. Нет ни гроша, нечем заплатить за ночлег. Все друзья его бросили. Плюс к тому, он расплевался с Ленеханом и по этому случаю сейчас обозвал его спившимся вонючим подонком, присовокупив и другие нелестные выражения. Работы у него тоже не было, и он умолял Стивена, не укажет ли тот ему хоть где-нибудь хоть какое-нибудь местечко. Нет, это была дочь матери-судомойки, которая была молочной сестрой наследника рода или, в общем, они были как-то связаны через мать, и то, и другое произошло одновременно, если только вся история не была высосана из пальца. Словом, так или иначе, его приперло.

— Я бы не стал у тебя просить,— развивал он тему,— но только страшной клятвой клянусь, и сам Бог свидетель, я совсем на мели.

— Завтра или послезавтра,— предложил Стивен,— будет вакансия в мужской школе в Долки, младшим учителем. Там мистер Гэррет Дизи. Попробуй. Можешь сослаться на меня.

— Да что ты,— возразил Корли,— куда уж мне, брат, в учителя. Разве ж я был когда из вашей компании, из умников,— добавил он со смешком.— Два года проторчал в младшем классе у христианских братьев.

— А ночевать мне и самому негде,— дополнил свое сообщение Стивен.

При первой мысли Корли склонен был заподозрить, что тут приключилось нечто вроде изгнания Стивена из родного гнезда за то, что тот притащил туда какую-нибудь девку с улицы. Была одна ночлежка на Мальборо-стрит, хозяйка миссис Мэлони, но там, это убогое заведение за шесть пенсов, и полно всякого сброда, а вот Макконахи говорил, будто бы за бобик можно сносно устроиться в «Бронзовой Голове» на Вайнтэверн-стрит (что отдаленно напомнило его собеседнику о брате Бэконе) *. Помимо всего, он был зверски голоден, хотя раньше не заикался об этом.

Хотя подобные истории могли случаться едва не каждую ночь, но все же у Стивена зашевелились его добрые чувства, хоть он и отлично знал, что эта новейшая басня Корли заслуживает не больше

доверия, нежели все предыдущие. Однако haud ignarus malorum miseris succurrere disco [3] и так далее, как говорит латинский поэт, тем более, что волей судьбы ему платили жалованье в середине каждого месяца, шестнадцатого числа, каковое неоспоримо было сегодня, хотя изрядная доля сил жизненных средств и оказалась уже утрачена. Но соль-то шутки была в том, что этому Корли втемяшилось, будто бы Стивен живет в полнейшем достатке и ему ничего не стоит полезть в карман и отсыпать звонкой монеты, сколько потребно. Тогда как. Тем не менее он-таки сунул руку в карман, разумеется, не имея в мыслях найти там пищу, но подумав, что он бы мог ссудить ему кое-какую сумму порядка шиллинга, с которою он бы мог по крайности постараться и раздобыть себе пропитания. Итог, однако, был отрицательным, ибо, к огорчению своему, он обнаружил всю наличность исчезнувшей. Единственным итогом обследования явились несколько крошек печенья. Он стал усиленно напрягать память стараясь припомнить не потерял ли он что было вполне возможно, или оставил где-нибудь поскольку при таком обороте виды его были далеко не блестящими, а очень даже наоборот. В общем и целом, он был слишком утомлен для обстоятельных поисков, хотя и постарался припомнить. Насчет печенья что-то ему тут смутно мерещилось. Но вот кто ж это его дал и где такое случилось или он сам купил. Однако в другом кармане он на что-то напал, принятое им в темноте за пенсовые монеты, однако ошибочно, как выяснилось.

— Да это, брат, полукроны,— внес Корли поправку.

И впрямь то были они, самые натуральные. Одну из них Стивен вручил ему.

— Спасибо,— отвечал Корли.— Ты благородная душа. Я постараюсь тебе отдать. А кто это тут с тобой? Я как-то видел его в «Раненой Лошади» на Кэмден-стрит с Бойланом, который антрепренер. Попробовал бы ты, брат, замолвить словечко, чтоб меня туда взяли через него. Я тут хотел наняться человек-сандвичем, таскать рекламы по городу, да секретарша сказала, у них на три недели вперед полно. Мать моя, это на такое дело еще загодя записываться, как на Карла Розу *. Я бы сверху на все плевал, брат, если бы раздобыл работенку, какую угодно, хоть трубы чистить.

Раздобыв два и шесть, он стал куда разговорчивей и принялся рассказывать Стивену про одного малого по имени Бэгс Комиски, которого как он уверял Стивен хорошо должен знать он служит счетоводом у судового поставщика Фуллама и вечно торчит у Нэгла с О'Марой и еще с таким низеньким заикой, Тай по фамилии. Ну так вот, его загребли прошлой ночью и присудили штраф десять бобиков за пьянство, за нарушение порядка и что отказался пройти с констеблем.

Между тем мистер Блум прохаживался невдалеке от булыжников и жаровни перед будкою сторожа, который, как уяснилось ему, будучи образцом трудолюбия, на свой собственный страх и риск преспокойно задавал храповицкого, пока Дублин спал. Одновременно он то и дело поглядывал на собеседника Стивена (отнюдь не блиставшего безупречностью по части костюма) так, как будто он уже прежде видел этого юного аристократа, хотя и не сумел бы точно ответить где и не имел ни малейшего представления когда. Поскольку он был человек с головой и в наблюдательности уступил бы немногим, то от него не укрылись ни затасканная шляпчонка, ни общая ветхость его наряда, выдававшие фатальный дефицит средств. Как видно, он был одним из его прихлебателей, однако, если вдаваться сюда, пожива за счет ближнего своего происходит всюду и постоянно, в любой мере, и, скажем так, с любой неумеренностью, так что, если вдаваться сюда, когда бы уличный деятель, случись ему, ока-

[3] Несчастий сам изведав, тем, кто в нужде, я научился помогать (*лат.*) — парафраз стиха «Энеиды» (I, 630).

зался на скамье подсудимых, каторжные работы, с заменою штрафом или без таковой, были бы весьма rara avis [4]. В любом случае ему необходим был изрядный запас холодной решимости, чтобы вот этак подкарауливать людей в сей ночной или, скорей, уже утренний час. Это было чертовски бесцеремонно.

Двое расстались, и Стивен воротился к мистеру Блуму, опытный глаз которого не преминул заметить, что Стивен поддался на домогательства тунеядца. Намекая на свою встречу, он, то есть Стивен, сказал со смехом:

— У малого полоса неудач. Он меня попросил вас попросить, чтобы вы попросили какого-то там Бойлана, антрепренера, взять его на работу человеком-рекламой.

Известие не вызвало особого интереса. Приблизительно на половину секунды мистер Блум устремил отвлеченный взгляд в направлении землечерпалки, которая, красуясь прославленным именем «Эблана», стояла на приколе у Таможенной набережной и, весьма возможно, требовала ремонта, после чего заметил уклончиво:

— У каждого, говорят, своя удача. Сейчас, когда вы сказали, мне как будто припоминается его лицо. Однако, оставляя пока это в стороне, с какой вы суммой расстались,— осведомился он,— если только я не слишком назойлив?

— Полкроны,— отвечал Стивен.— Я полагаю, это и впрямь для него жизненная потребность, ему даже ночевать негде.

— Потребность! — воскликнул мистер Блум, впрочем, не удивившись известию.— Я не только этому верю, я даже поручусь, что у него она постоянна. Каждому по потребности или каждому по труду. Однако, если обобщить эту тему, то где же,— с улыбкой прибавил он,— вы сами будете ночевать? Тащиться в Сэндикоув и думать нечего. И даже сделай вы это, вам не попасть внутрь после того, что случилось на станции Уэстленд-роу. Намаетесь только зря. Я вовсе не собираюсь брать на себя смелость указывать вам, но все-таки почему вы оставили отчий дом?

— Искать несчастий,— был ответ Стивена.

— По одному случаю я встретил недавно вашего уважаемого отца,— дипломатично продолжал мистер Блум.— Как раз сегодня или, если соблюдать точность, вчера. Где он живет сейчас? Из разговора с ним я уразумел, что он переехал куда-то.

— Полагаю, он где-то в Дублине,— безучастно ответил Стивен.— А что?

— Человек, одаренный во многих областях,— отозвался мистер Блум о Дедале Старшем,— и прирожденный рассказчик, какому равного не найти. Он очень гордится вами, на что есть все основания. Быть может, вы бы все же вернулись,— решился он предложить, припоминая весьма неприятную сцену на станции Уэстленд-роу, когда ясно было как день, что те двое, то есть Маллиган и его приятель, английский турист, которые, в конце концов, обвели-таки вокруг пальца своего третьего сотоварища, без зазрения совести старались, как будто весь этот треклятый вокзал был их собственность, улизнуть в толчее от Стивена, в чем благополучно и преуспели.

Ответа, однако, на предложение не последовало, ибо Стивен был целиком поглощен вставшею перед его внутренним взором картиною домашнего очага, каким он видел его в последний раз, сестренка Дилли сидела с распущенными волосами у плиты, поджидая, пока сварится жиденькое какао в чайнике, покрытом шубой из копоти, и они с нею, забелив его овсяным отваром вместо молока, увенчают им свою трапезу из пятничных селедок на пенни пара, между тем как Мэгги, Буди и Кейти получили в дополнение по яйцу, а кошка подле корзины с бельем пожирала на обрывке бумаги ассорти из рыбьих голов, костей и яичной скорлупы во исполнение третьего

[4] Большая редкость *(лат.)*.

предписания церкви, поститься и воздерживаться в указанные дни, ибо был как раз постный день, а может, день воздержания, словом, что-то такое.

— Нет-нет,— настаивал мистер Блум,— лучше не полагаться на вашего развеселого приятеля и заядлого юмориста, доктора Маллигана, я бы не доверял ему ни как наставнику, ни как философу, ни как другу, будь я на вашем месте. Уж этот мимо рта ложку не пронесет, хоть, верно, и не представлял себе никогда, каково это не иметь надежного пропитания. Вы, разумеется, не заметили всего, что заметил я. Но я нисколько не удивлюсь, если узнаю, что вам в питье подмешали щепотку табаку или какой-нибудь наркотик с некою тайной целью.

Впрочем, все до него дошедшие сведения говорили о том, что доктор Маллиган очень разносторонний человек и кругозор его отнюдь не ограничивается одной медициной, в своем деле он быстро выдвигается в первый ряд и если слухи не лгут, в недалеком будущем рассчитывает иметь богатую практику как модный практикующий врач с солидной ставкою гонорара, а вдобавок к этому профессиональному статусу то что он спас утопающего от верной смерти путем искусственного дыхания и как это называют первой помощи, кажется, где-то в Скерри или в Малахайде? это было, он обязан признать, самым отважным поступком достойным высших похвал, так что признаться честно он совершенно не мог представить какие причины за этим кроются, разве что приписать все какой-то злобе или же просто обыкновенной ревности.

— Разве что все сводится к одному, а именно, что он, как это называют, ворует ваши идеи,— решился он высказать.

Осторожный взгляд где было участие пополам с любопытством и не без оттенка симпатии, который он бросил на мрачноватое в данный момент выражение лица Стивена не пролил ни малейшего света на вопрос о том дал ли он себя попросту околпачить как можно было решить по двум-трем угрюмым репликам сорвавшимся у него или совсем напротив, он все видел насквозь но по каким-то ведомым лишь ему резонам позволил делу без всяких помех. Гнетущая нищета толкала к тому, и он почти определенно дал понять, что невзирая на всю свою образованность ему стоило огромных трудов сводить хоть как-то концы с концами.

По соседству с мужским сортиром они увидели тележку мороженщика, а рядом с нею кучку надо полагать итальянцев, которые в жаркой перебранке необычайно быстро и энергично тараторили на своем звучном наречии, разрешая какие-то небольшие разногласия.

— Puttana madonna, che ci dia i quattrini! Ho ragione? Culo rotto!
— Intendiamoci. Mezzo sovrano più...
— Dice lui, però!
— Mezzo.
— Farabutto! Mortacci sui!
— Ma ascolta! Cinque la testa più...[5]

Мистер Блум и Стивен вошли в «Приют извозчика», непритязательное деревянное строение, где до этого случая ему едва ли доводилось бывать, причем первый из них еще заранее шепнул второму несколько слов касательно хозяина заведения, коим, как уверяли, был знаменитый некогда Козья Шкура, Фицхаррис *, непобедимый,

[5] — Курва-мадонна, это кто ж нам дает полпенсы! Что, верно? Гнилая задница!
— Все ясно. Он уже не в себе...
— Он еще говорит!
— Половина.
— Пóдонок! Изничтожить его!
— Да слушай! По пяти больше на нос... *(итал.)*

хоть он и не поручился бы за истинность этих слухов, в которых, весьма возможно, не было и на грош правды. Еще минута, и двое наших полуночников уже сидели в укромном углу, где их приветствовали лишь взгляды весьма разношерстного собрания бездомных бродяг и прочих не поддающихся классификации особей рода Хомо, перемежающих разговорами еду и питье и, судя по всему, питающих живой интерес к новым лицам.

— Теперь что касается чашки кофе,— отважился мистер Блум попробовать расколоть лед,— на мой взгляд, вам бы следовало подкрепиться и чем-нибудь более существенным, скажем, какой-то булочкой.

Соответственно первым же его действием было заказать эти жизненные блага, что он и проделал вполне спокойно, с присущим ему sangfroid [6]. Простолюдины, грузчики и кучера, или кто уж они там были, после беглого осмотра, явно не испытав удовлетворения, отвернулись от них и только один выпивоха, по всему вероятию, моряк, рыжебородый, уже седеющий, продолжал еще изрядное время глазеть на них, после чего вдохновенно воззрился в пол. Мистер Блум, воспользовавшись правом свободы слова и обладая шапочным знакомством с языком диспута, хотя, по правде сказать, так и оставаясь в сомнениях насчет voglio, отчетливо слышным голосом заметил своему протеже апропо великой баталии на улице, которая бушевала с неослабевающим жаром:

— Прекрасный язык. Для пения, я имею в виду. А почему вы не пишете свои стихи на этом языке? Bella Poetria! Он такой звучный и мелодичный. Belledonna [7]. Voglio.

Стивен, одолеваемый отчаянною зевотой и вообще смертельной усталостью, отозвался на это:

— Для услажденья слуха слоних. Они базарили из-за денег.

— Неужели? — спросил мистер Блум.— Да, конечно,— задумчиво присовокупил он, про себя подумав, что вообще языков существует больше, чем требуется,— может быть, тут просто некое южное обаяние.

Нарушив их тет-а-тет, хозяин заведения водрузил на столик кипучую и пловучую чашку изысканного пойла, носившего титул кофе, а также весьма допотопный образчик булки или чего-то, по виду близкого. Затем он ретировался к себе за стойку, причем мистер Блум положил себе как следует его разглядеть, но только поздней, чтобы это не показалось. По каковой причине он взглядом пригласил Стивена приступать, а сам начал распорядительствовать, постепенно и осторожно пододвигая к нему чашку того, что в данный момент предполагалось называть кофе.

— Звуки обманчивы,— сказал Стивен после некоторого молчания,— точно так же как имена. Цицерон, Подмор. Наполеон, мистер Гудбоди. Иисус, мистер Дойл. Шекспиров было не меньше, чем Мэрфи. Что значит имя?

— Да, конечно,— искренне согласился мистер Блум.— Разумеется, это так. Наше имя тоже менялось,— добавил он, транспортируя к Стивену так называемую булочку.

Тут рыжебородый моряк, который не спускал глаз с вновь вошедших, особое внимание уделяя Стивену, атаковал последнего лобовым вопросом:

— А вот твое имя как?

В тот же миг мистер Блум коснулся ботинка своего спутника, однако Стивен, явно не сделав выводов из этого теплого прикосновения в неожиданной области, отвечал спокойно:

— Дедал.

---

[6] Хладнокровие *(франц.)*.

[7] Прекрасная поэзия!.. Прекрасная женщина *(ломан. итал.)*.

Моряк тяжко уставился на него заплывшими сонными глазами, мешки под которыми выдавали неумеренное потребление алкоголя, с предпочтением доброго голландского джина с водой.

— А Саймона Дедала знаешь? — осведомился он наконец.

— Слыхал про такого,— ответил Стивен.

Какой-то миг мистер Блум находился в полной растерянности, заметив к тому же, что окружающие явно прислушиваются.

— Он ирландец,— объявил бравый моряк, по-прежнему не отводя взгляда и энергично кивая головой.— Настоящий ирландец.

— Даже слишком настоящий,— поддержал Стивен.

Что же до мистера Блума, то он совершенно перестал что-нибудь понимать в этой истории и как раз задавался вопросом какая же возможная связь когда моряк словно по внезапному наитию обернувшись к слушателям сообщил им:

— Я видел, как он с пятидесяти ярдов через плечо расстрелял два яйца на двух бутылках. Садит с левой без промаха.

Одолевая икоту и помогая себе жестами непослушных рук, он постарался как можно лучше им объяснить:

— Гляди, вот, скажем, сюда бутылки. Отмеряем пятьдесят ярдов. На бутылках яйца. Этот наставляет пушку через плечо. Целится.

Он изогнул туловище вполоборота, плотно закрыл правый глаз. Потом перекосил все черты лица как-то вбок и с отменно гадкой гримасою вперил взгляд в ночь.

— Бабах! — гаркнул он один раз.

Слушатели застыли в ожидании следующего бабаха, поскольку оставалось второе яйцо.

— Бабах! — гаркнул он еще раз.

Яйцо номер два было заведомо разнесено в прах. Он подмигнул, кивнул и кровожадно продекламировал:

> Буффало Билл бьет всегда между глаз.
> Промаху он не давал и не даст.

Воцарилось молчание, покуда мистер Блум из чистой вежливости не решился его спросить, происходило ли это на каких-то стрелковых соревнованиях, вроде тех, что в Бизли.

— Звиняюсь,— сказал моряк.

— Как давно? — настаивал мистер Блум, не отступая на дюйм.

— Ну чего,— отвечал моряк, слегка смягчаясь в силу известного эффекта, когда коса находит на камень,— ну что-нибудь там лет с десять. Он ездил по всему свету с Королевским цирком Хенглера. При мне он эту штуку делал в Стокгольме.

— Любопытное совпадение,— заметил вскользь мистер Блум Стивену.

— А звать меня Мэрфи,— продолжал моряк.— Д. Б. Мэрфи из Кэрригейлоу. Знаешь, где это?

— Куинстаун Харбор,— отвечал Стивен.

— Точно,— сказал моряк.— Форт Кэмден и форт Карлайл. Вот мои где места. Все корешки оттуда. Вот где мои места. У меня и женушка там. Ждет меня не дождется, знаю. *За Англию, дом и красу.* Законная верная жена, а я ее уж семь годков не видал, все по морям, по волнам.

Мистер Блум без труда вообразил себе сцену его появления: моряк возвращается в свою придорожную хижину, удачно надув всех морских чертей, темной дождливой ночью. Вокруг света в поисках жены. Масса историй на эту тему Бен Болта с его Алисой *, тут и Энох Арден *, и Рип ван Винкль, а может кто-нибудь еще вспомнил и Кривого О'Лири *, излюбленный, хотя и довольно трудный номер для декламации, сочинил, кстати, бедняга Джон Кейси *, и в своем роде, без претензии, разве не подлинная поэзия? Причем нигде и ни

разу про возвращение жены из скитаний, как бы там она ни была предана тому, с кем в разлуке. Лицо в окне! * Вообразите его изумление, когда он наконец коснулся финишной ленточки, и тут ему открывается горькая истина о его прекрасной половине, крушение его лучших чувств и надежд. Ты уже не ждала меня, но я вернулся, и я хочу начать все сначала. Вот она сидит, соломенная вдова, у нашего прежнего очага. Думает, я умер, качаюсь в бездонной колыбели. Тут же и дядюшка Крепыш или, может, Худыш, уж это как вышло, хозяин «Якоря и Короны», снявши пиджак, поедает ромштекс с луком. Стула для папы нет. У-у-у! Ветер! На коленях у нее последний малыш, посмертное произведение. На дрожках, на дрожках, по кочкам, по кочкам, в яму бух! Склонись перед неизбежным. Усмешка со стиснутыми зубами. С любовью и с разбитым сердцем остаюсь твой супруг Д. Б. Мэрфи.

Моряк, который совсем не походил на жителя Дублина, отнесся к одному извозчику с просьбой:

— Слышь, а у тебя не найдется жвачки угостить, а?

У спрошенного таковой не нашлось, однако хозяин добыл кубик жевательного табаку из своей добротной куртки, висевшей на гвозде, и просимое передали из рук в руки.

— Спасибо,— сказал моряк.

Отправив добычу в пасть и жуя, он продолжал медленнее и с паузами:

— Мы нынче утром пришли, в одиннадцать. Трехмачтовый «Роузвин» с грузом кирпичей из Бриджуотера. Завербовался, чтоб добраться сюда, нынче же и списался. Гляди, вот свидетельство. Д. Б. Мэрфи. Матрос первого класса.

В подтверждение своих слов он вытащил из внутреннего кармана и протянул соседу сложенный документ, не слишком чистый на вид.

— Уж верно, довелось тебе повидать свет,— заметил хозяин, облокотившись о стойку.

— Что говорить,— отвечал моряк после размышления,— как стал плавать, знатно поколесил. На Красном море я был. В Китае я был, в Северной Америке был, в Южной тоже. В одном рейсе пираты гнались за нами. Айсбергов перевидал тьму, ледяных гор этих самых. Ходил и в Стокгольм, и в Черное море через Дарданеллы с капитаном Долтоном, это лучший рассукин сын, какому только приводилось угробить судно. В России был. Гоусподьи поомилью. Это русские так молятся.

— Небось, насмотрелся разных диковин,— вставил извозчик.

— Что говорить,— подтвердил моряк, двигая во рту жвачку,— диковин вдосталь и таких, и сяких. Я видел, как крокодил откусил лапу у якоря, все одно что я эту жвачку.

Он вынул изо рта жеваный комок и, поместив меж челюстей, яростно кусанул.

— Хрряп! Вот так вот! А в Перу видал людоедов, так те жрут трупы и лошадиную печенку. Во, гляди. Вон они самые. Дружок мне прислал.

Порывшись во внутреннем кармане, который, как видно, служил ему кладовой на все случаи, он вытянул оттуда почтовую открытку и кинул на стол. Напечатанный на ней текст гласил: Choza de Indios. Beni, Bolivia [8].

Вниманием всех завладела сцена, являющая группу туземок в полосатых набедренниках, которые, окруженные роем детворы (ее там было изрядное множество), дремали, щурились, кривлялись, кормили грудью, сидя на корточках перед убогими шалашами из прутьев.

— С утра до ночи коку жуют,— пояснял словоохотливый мореход.— Как будто жернова в брюхе. А когда не могут больше рожать,

[8] Хижина индейцев. Бени, Боливия *(исп.)*.

так они себе отрезают сиськи. Вон они тут, как есть голые, жрут сырую печенку от дохлой кобылы.

В течение нескольких минут, если не более того, открытка вызывала живейший интерес господ ротозеев.

— А знаете, отвадить их чем? — вдохновенно вопросил он.

Никто не рискнул высказать догадку, и он, хитро подмигнув, открыл:

— Стеклом. От этого у них душа в пятки. Стекло.

Мистер Блум, не выказав удивления, словно ненароком перевернул открытку, чтобы рассмотреть полустертый адрес и штемпель. Там значилось: Tarjeta Postal, Señor A. Boudin, Galeria Becche, Santiago, Chile[9]. Особое его внимание привлекло то, что никакого сообщения явно не было.

Хотя он не спешил принимать на веру мрачную услышанную историю (как равно и яйцепалительный эпизод несмотря на Вильгельма Телля и на известное по «Маритане» приключение Ласарильо — Дон Сезар де Базан когда пуля первого пробила шляпу второго) обнаружив расхождение между его именем (если и вправду он был тот кем представлялся а не плавал под чужим флагом в строгом секрете сделав где-нибудь полный поворот оверштаг) и мнимым адресатом почтового отправления что породило у него известные сомнения в bona fides[10] нашего друга но тем не менее все это бередило его давно лелеемую мечту которую он хотел бы осуществить в одну прекрасную среду или субботу отправиться в Лондон дальним морским путем нельзя сказать чтобы он когда-нибудь много или далеко странствовал однако в душе его смолоду жила любовь к приключениям пускай ирония судьбы так и оставила его сухопутным моряком разве что мы зачтем вылазку в Холихед дальше которого он уж не забирался. Мартин Каннингем предлагал массу раз устроить ему через Игена бесплатный проезд, но тут вечно является какая-нибудь глупейшая помеха и в результате вся затея коту под хвост. А если даже допустим свои на бочку чтоб Бойда хватил удар так и это не слишком дорого, карман позволяет, тут надо несколько гиней максимум учитывая что дорога до Моллингара, куда он мыслил направить свои стопы, всего пять шиллингов и шесть пенсов в оба конца. Благодаря целительному озону поездка была бы полезна для здоровья и во всех отношениях приятна, особенно тому, у кого с печенью не в порядке, по пути повидать разные места, Плимут, Фалмут, Саутхемптон и так далее, а после, всему венцом, поучительный осмотр великой столицы, зрелище современного Вавилона, где он бы нашел, конечно, огромные достижения и возобновил бы знакомство с элегантной Парк-лейн, с Тауэром, с Аббатством. Тут же явилась у него и еще одна совсем недурная мысль: он мог бы всюду там осмотреться и навести справки насчет возможного устройства концертного турне по самым фешенебельным местам отдыха, Маргейт с его общими пляжами для мужчин и женщин, и лучшие курорты на водах, Истборн, Скарборо, Маргейт и так далее. прекрасный Борнмут, Нормандские острова и тому подобные чудные местечки, которые могли бы оказаться весьма прибыльными. И уж конечно, не с какой-нибудь занюханной компашкой или местными дамочками вроде жены Маккоя одолжите мне, пожалуйста, ваш чемодан, а я вам пришлю билетик. Нет-нет, исключительно высший класс, Твиди и Флауэр, большая оперная труппа ирландских звезд, его собственная законная супруга в качестве примадонны, как бы в пику компаниям Элстер Граймс и Муди-Мэннерс, причем все дело проще простого, успех абсолютно гарантирован, только единственное об этом надо бы раструбить погромче в местных газетах а для такого кто-нибудь ну-

[9] Почтовая карточка, Сеньор А. Буден. Галерея Бекке, Сантьяго, Чили *(исп.)*.
[10] Здесь: правдивость *(лат.)*.

жен тертый, пробойный кто знал бы на какие нажать пружины, соединяя полезное с приятным. Но кто? Вот где была загвоздка.

Кроме того, уже более туманно, ему подумалось, что широкое поле деятельности открывается с открытием новых морских линий, идущих в ногу со временем, это в связи с линией Фишгард — Росслер, которая, судя по разговорам, опять рассматривалась в департаментах проволочек, как водится, с бездной волокиты и бюрократии со стороны одряхлевших тупоголовых служак. Тут явно имелись большие возможности для приложения сметки и энергии в интересах самой широкой путешествующей публики, в интересах среднего человека, так сказать, Брауна, Робинсона и Ко.

Было заведомо абсурдным и весьма огорчительным, и в том большая вина нашего хваленого общества, что рядовой человек, когда организм реально нуждается в укреплении из-за ничтожной пары фунтов лишен возможности шире повидать мир где мы живем вместо того чтобы сидеть сиднем с тех самых пор как моя чурка неотесанная меня взял в жены. В конце концов, каждый из них, наломавшись, черт побери, одиннадцать с лишним месяцев, заслуживал полной смены декораций после городской мясорубки и лучше всего летом когда мать Природа сияет во всей красе тогда это равносильно прямо-таки возрождению к новой жизни. Равным образом, отличные возможности отдохнуть имелись и на родном острове, дивные уголки, покрытые густыми лесами, сулящие возврат молодости, массу развлечений и приток сил в Дублине и его округе и его живописных окрестностях, даже Пулафука куда ходит паровичок, но также и подальше от обезумевшей толпы* в графстве Уиклоу, которое называют по праву садом Ирландии, идеальные места для велосипедных прогулок в пожилом возрасте покуда не размокропогодилось, и в диких урочищах Донегола, где если верно говорят самые грандиозные виды хотя в этот последний район не так-то легко попасть, отчего и приток приезжих там меньше чем он бы мог быть учитывая всю полезность такой поездки тогда как Хоут с его историческими и прочими ассоциациями *, Шелковый Томас, Грэйс О'Молли *, Георг Четвертый *, рододендроны на высоте сотен футов над уровнем моря был неизменным центром притяжения для публики всех калибров в особенности весной когда желанья молодых *, хоть он и пожинает, увы, скорбную жатву смертей за счет случайных или намеренных падений со скал, кстати, обычно сгоряча, потому что добираться туда всего три четверти часа от Колонны *. Все это оттого, конечно, что современный туризм еще пребывал в колыбели, если так выразиться, и обслуживание оставалось очень далеким от совершенства. Ему также представлялось интересным выяснить, просто из чистого любопытства, приводят ли передвижения к открытию линии или наоборот, или же оба фактора действуют совокупно. Перевернув открытку прежнею стороной, картинкой, он передал ее Стивену.

— А то видал одного китайца,— накручивал неукротимый сказитель,— так у него шарики вроде как из замазки, он их кидает в воду, и каждый разворачивается во что-нибудь разное. Один там в домик, другой в кораблик или, может, в цветок. А еще они варят суп из крыс,— заманчиво сообщил он,— эти китаезы-то самые.

Возможно, уловив сомнение на их лицах, морепроходец поделился еще некоторыми приключениями.

— А в Триесте видал, как итальяшка один убил человека. В спину ножом. Вот такой ножик.

С этими словами он вытащил складной нож весьма угрожающего вида, под стать владельцу, и занес его словно для удара.

— Это в бардаке было дело, двое контрабандистов сводили счеты, кто кого подковал. Малый схоронился за дверью, да как выскочит у того за спиной. Такие финики. *Прощайся,* говорит, *с жизнью.* И — ххак! Всадил в спину по самую рукоятку.

Его тяжелый взгляд, блуждая сонно вокруг, словно бросал вызов дальнейшим сомнениям, если бы у кого-нибудь они оставались.

— Добрая игрушка,— повторил он, разглядывая свой грозный стилет.

После какового заключения, способного устрашить бесстрашных, он щелкнул лезвием и вновь спрятал названное оружие в свою камеру ужасов, иначе говоря, в карман.

— Насчет холодного оружия они молодцы,— во всеуслышание заявил некто, безнадежно темный.— Поэтому когда непобедимые совершили эти убийства в Парке, то грешили на иностранцев, потому что как раз ножами *.

При сем замечании, явно выдававшем *неведенья блаженную невинность**, мистер Б. и Стивен, каждый по-своему, но оба невольно бросили многозначительный взгляд, храня, однако, благоговейное молчание того рода, что означает «строго антр ну», туда где Козья Шкура, он же хозяин, не шевельнув бровью, исторгал струйки жидкости из своего кипятильного агрегата. Его непроницаемое лицо, подлинное произведение искусства и совершенная вещь в себе, перед которою описания бессильны, оставляло полное впечатление, будто он не уразумел ни звука из сказанного. Любопытно, весьма!

Последовала довольно долгая пауза. Один из посетителей пытался читать вечернюю газету, покрытую кофейными пятнами, другой разглядывал открытку с туземцами, choza de, третий — свидетельство моряка. Что же касается лично мистера Блума, то он пребывал в задумчивости. Живо, словно вчерашний день, припомнилось ему то время, когда случилось помянутое намеком событие, лет двадцать тому назад, в пору аграрных беспорядков, когда цивилизованный мир был поражен им как громом, образно выражаясь, в начале восьмидесятых, а точней, в восемьдесят первом, когда ему только что стукнуло пятнадцать.

— Слышь, начальник,— прервал затянувшееся молчание моряк.— Давай-ка их мне сюда, бумажки.

Просьба была исполнена, и он загреб их хваткою лапою.

— А вы видели Гибралтарскую скалу? — спросил мистер Блум.

Моряк, жуя жвачку, скроил гримасу, которая могла означать да, а могла и нет.

— Ах, так вы и там побывали,— сказал мистер Блум,— на мысе Европа,— избирая утвердительный вариант и надеясь, что старый пират, возможно, по каким-нибудь воспоминаниям смог бы однако тот нисколько не оправдал надежд, ограничившись тем, что длинно сплюнул в опилки и лениво-презрительно помотал головой.

— А в каком примерно году? — упорствовал мистер Б.— Вы не припоминаете пароходы?

Наш soi-disant [11] моряк усиленно пожевал с голодным видом, прежде чем ответить:

— Эх, я и притомился ото всех этих скал,— изрек он,— от пароходов этих, от всех посудин. Одна солонина без конца.

С глубоко утомленным видом он смолк. Допрашивающий же, сообразив сколь ничтожна вероятность что-либо выудить из столь прожженного хитреца, пустился в праздные домыслы касательно колоссальных площадей воды на нашей планете, достаточно сказать, что вода покрывала, как говорил любой взгляд на карту, добрых ее три четверти и сия истина заставила его глубоко прочувствовать что это означает правь морями. Много раз, никак не менее дюжины, он примечал возле Норс Булл в Доллимаунте дряхлого старика-матроса, совершенно уже ветхое существо, который сиживал обыкновенно на дамбе у самого моря, не весьма благовонного, и в полузабытьи глядел на него, а оно на него, мечтая о тенистых лесах и зе-

[11] Якобы *(франц.)*.

леных лугах, как где-то у кого-то поется. И всегда его занимало в чем тут штука. Быть может, он тщился разгадать какой-то секрет, мыкаясь от антиподов до антиподов и далее в том же духе и над и под хотя не очень-то, положим, под и без конца искушая свою судьбу. А шансы-то были двадцать к нулю, что никакого секрета нет. И все же, если не вдаваться в детали, оставался красноречивый факт существование моря во всем его гордом блеске и стало быть не тем так другим суждено было по нему плавать бросая провидению вызов хотя в конечном итоге это просто показывало как люди устраиваются переложить на плечи ближнего бремена неудобоносимые, совершенно аналогично идее ада, лотерее и страхованию, всюду та же основа так что уже хотя бы поэтому воскресная спасательная служба была самым похвальным начинанием, за которое широкая публика, проживающая на побережье или вдали от моря, как уже у кого получилось, вдумчиво разобравшись должна быть признательна наряду с признательностью портовикам и береговой охране которой приходится по долгу службы, «Ирландия ожидает что каждый итэдэ» быть на борту и предаваться на милость стихии в любую погоду и в зимнюю пору у них очень даже суровая жизнь, а также не надо забывать и про ирландские маяки, Киш и прочие, что каждую минуту рискуют перевернуться, однажды он с дочкой плавал вокруг одного из них и пережил, ну если не шторм то уж как минимум жестокую качку.

— А на «Пирате» ходил с нами один браток,— продолжал старый морской волк, ни дать ни взять сам пират,— так он списался на берег да подыскал себе важную работенку, у одного барина камердинером, в месяц за шесть червонных. Эти вот что на мне, это его штаны, и ножик то же самое от него, и еще зюйдвестку дал. А я бы какую работенку хотел, так это постричь-побрить. Обрыдло таскаться. Сынишка-то мой, Дэнни, нынче тоже удрал в матросы, мамаша его пристроила к суконщику в Корк, так нет чтобы зашибать легкую деньгу.

— А сколько ему лет? — поинтересовался один из слушателей, кстати, имевший в профиль отдаленное сходство с Генри Кемпбеллом, секретарем городской управы, вне его тягостных служебных обязанностей, немытым, разумеется, обряженным в живописные отрепья и наделенным выраженной багровой окрашенностью носового придатка.

— Чего-чего? — медленно переспросил моряк, как бы удивляясь вопросу.— Это моему Дэнни? Да что-нибудь восемнадцать, так мне сдается.

Засим наш папаша из Скибберина * обеими руками распахнул на себе возможно серую но заведомо грязную рубаху и принялся скрести грудь на которой виднелась татуировка синею тушью по замыслу изображавшая якорь.

— Там было вшей полно, в этой халупе в Бриджуотере,— поделился он.— Точно вам говорю. Помыться бы надо завтра а то послезавтра. Насчет этих черненьких, со мной не пройдет. На дух не терплю эту сволоту. Всю кровушку высосут, паскуды.

Видя, что все рассматривают его грудь, он ради их удобства распахнул рубаху еще пошире, так что поверх освященного традицией символа надежд и покоя моряка они ясно разглядели цифру 16 и профиль молодого человека довольно хмурого вида.

— Наколка,— комментировал демонстратор.— Это когда мы стояли в штиль у Одессы на Черном море, с капитаном Долтоном. Один малый мне наколол, Антонио звали. Вот это он самый, грек.

— А здорово больно, когда кололи? — спросил кто-то у моряка.

Но сей достойнейший, однако, в этот момент сосредоточенно где-то там елозил. Где-то там на своей. То ли почесывал, то ли.

— Гляди сюда,— скомандовал он, показывая на Антонио.— Вот

это он злой, боцмана кроет. Ну, а теперь гляди! — продолжал он,— тот самый малый,— растягивая себе кожу пальцами, явно какой-то особый трюк,— хохочет уже над моряцкой байкой.

И в самом деле, злобное лицо молодого Антонино изобразило нечто вроде вымученной улыбки, каковой курьезный эффект вызвал неудержимый восторг всех, не исключая на сей раз и Козьей Шкуры, который перегнулся взглянуть.

— Эхма! — со вздохом молвил моряк, глядя на свою мужественную грудь.— И этот отдал концы. Акулы его потом сожрали. Эхма!

Он отпустил кожу, и профиль обрел свое обычное выражение.

— Классная работа,— высказался первый докер.

— А номер этот зачем? — поинтересовался второй бродяга.

— Живьем сожрали-то? — спросил третий у моряка.

— Эхма! — снова вздохнул последний, но уже не так скорбно, и обратил некую разновидность беглой полуулыбки в направлении спросившего о номере.— Сожрали. Да ведь он грек был.

Засим он добавил, с довольно-таки висельным юмором, если учесть поведанный им конец:

Этот старый негодник Антонио
Меня бросил без всяких резонио.

Лицо уличной шлюхи, безжизненное и размалеванное под черною соломенной шляпкой, появилось в дверях, засматривая внутрь явно с разведывательными целями, не сыщется ли для нее поживы. Мистер Блум, не зная, куда девать глаза, обеспокоенный, но внешне по-прежнему невозмутимый, отвернувшись, подобрал со стола розовую газетку, продукцию Эбби-стрит *, оставленную извозчиком или кто он там был и подобрав глубокомысленно воззрился на ее розовость собственно почему розовая. Причиною подобного поведения было то, что в лице за дверью он тотчас опознал немного придурковатую особу, которую нынче днем он видел мельком на Ормонд-куэй, ту самую, из переулка, она знала, что дама в коричневом костюме это же ваша дама (миссис Б.) и предлагала брать у него белье в стирку. И собственно, почему брать в стирку, это казалось непонятным, не правда ли, белье в стирку. Все же искренность вынуждала его признать что он и сам стирал грязное белье своей жены на Холлс-стрит, и точно так же женщины ничуть не гнушаются и стирают для мужчины всякие подобные вещи с метками которые делаются особыми чернилами фирмы Бьюли и Дрейпер (то есть это ее вещи были с такими метками) когда они по-настоящему его любят, так сказать, любишь меня — люби мою грязную рубашку. Однако в данный момент, сидя как на иголках, он определенно предпочитал ее отсутствие ее обществу, и для него было истинным облегчением, когда хозяин грубым жестом приказал ей проваливать. Из-за листа «Ивнинг телеграф» он мельком увидел ее лицо, которое из-за двери, с неким остекленело-помешанным выражением, явственно говорившим, что у нее не все дома, изумленно разглядывало глазевших на просоленную грудь шкипера Мэрфи, и в следующий миг она испарилась.

— Ишь, бестия,— произнес хозяин.

— С медицинской точки зрения,— доверительно сообщил Стивену мистер Блум,— меня поражает, как этакая личность из венерической клиники, можно сказать, так и смердя болезнью, еще осмеливается приставать или как любой здравомыслящий мужчина, если ему хоть малость небезразлично свое здоровье. Несчастная! Я уверен, что, в конечном итоге, какой-то мужчина виноват в ее теперешнем состоянии. Но все равно, совершенно независимо от причин...

Стивен, который даже не заметил ее, пожал плечами и ограничился лаконичным суждением:

— В этой стране ухитряются сбывать товар похуже, чем у нее, и притом с феерическим успехом. Не бойтесь продающих тело, однако души не властных купить *. Она плохая торговка. Дорого покупает и дешево продает.

Старший, хоть он и не имел ничего общего с ханжами или со старыми девами, заявил, что это скандально и вопиюще, и этому должен быть положен самый решительный конец, разумея то положение вещей, когда подобного сорта женщины, необходимое зло (оставляя в стороне все ахи и охи старых дев по этому поводу), не подвергаются со стороны соответствующих властей медицинскому осмотру и регистрации, каковых мер, можно с полным правом сказать, он, как paterfamilias [12], был самым твердым и постоянным сторонником. И любой кто бы взялся за проведение этих мер, так он заявил, и как следует провентилировал весь вопрос, совершил бы прямо-таки благодеяние для всех, кого только это касается.

— Когда вы говорите о теле и о душе,— заметил он,— то вы, как добрый католик, верите в душу. Или вы, может быть, имеете в виду разум, активность мозга как такового, как чего-то, что отличается от всякого внешнего предмета, скажем, от этого столика или чашки? В это я и сам верю, коль скоро люди сведущие это все объяснили как извилины серого вещества. Иначе у нас никогда бы не было таких изобретений, как, например, икс-лучи. Как вы считаете?

Стивену, прижатому к стенке, пришлось сделать сверхчеловеческое усилие памяти, чтобы сосредоточиться и припомнить, прежде чем он смог ответить.

— Меня уверяли, со ссылкой на лучшие авторитеты, что это есть простая и, следовательно, не подверженная порче субстанция. Насколько я понимаю, она бессмертна, за исключением возможности уничтожения собственною Первопричиной, то есть Тем, Кто, судя по всему, что мне доводилось слышать, вполне способен добавить и этакое к числу Своих веселых проделок, коль скоро corruptio per se и corruptio per accidens [13] запрещены по небесному этикету.

Мистер Блум безоговорочно согласился с общею сутью сказанного хотя мистические тонкости и были несколько за пределами его всецело мирского разумения, однако с другой стороны ему казалось необходимым заявить отвод термину простой и потому он тотчас заметил:

— Простая? Я не сказал бы, что это подходящее слово. Конечно, я готов уступить вам и согласиться, что изредка, если очень повезет, вы можете и впрямь встретить простую душу. Но я-то клоню вот куда, ведь это одно дело, скажем, изобрести эти лучи, которые Рентген, или там телескоп, как Эдисон, хотя, кажется, это еще до него, я имел в виду, Галилей и то же самое законы какого-нибудь фундаментального феномена природы как например электричества но это уже будет совсем другой коленкор если вы скажете я верую в существование сверхъестественного божества.

— Но это бесспорно доказано,— возразил Стивен,— в нескольких широко известных текстах Писания, не говоря уж о побочных свидетельствах.

Однако в этом тонком вопросе воззрения наших собеседников стоявших на разных полюсах по своему образованию да и по всему остальному и обладавших к тому же большой разницей в возрасте, столкнулись между собой.

— Доказано? — недоверчиво улыбнулся старший и более опытный, не сдавая своих позиций.— Я в этом что-то не уверен. В таких вещах у каждого свое мнение и, не становясь на сектантскую точку зрения, я, увы, позволю себе не согласиться с вами in toto [14]. Если

---

[12] Отец семейства *(лат.)*.

[13] Порча изнутри... порча по случайности *(лат.)*.

[14] В целом *(лат.)*.

уж откровенно, то по моему убеждению все эти ваши тексты чистейшая подделка и вставили их туда вернее всего монахи или тут снова та же проблема нашего великого национального поэта, кто именно их написал, как в случае с «Гамлетом» и Бэконом, про что, конечно, не мне вам рассказывать, вы своего Шекспира знаете получше чем я, уж это вне всякого сравнения. Кстати, почему вы не пьете кофе? Позвольте, я его размешаю, и возьмите кусочек булки. Она смахивает на один из кирпичей нашего друга шкипера. Однако уж чем богаты, тем и рады. Съешьте кусочек.

— Я не могу,— выдавил из себя Стивен, умственные органы которого отказывались подсказать ему что-либо сверх этого.

Поскольку препираться, по пословице, было пустым делом то мистер Блум почел за лучшее размешать комковатый сахар на дне или хоть попытаться это сделать одновременно размышляя с чувством недалеким от горечи по поводу Кофейного Дворца и его антиалкогольной (и прибыльной) деятельности. Нет спору, она преследовала законные цели и приносила, нельзя в этом сомневаться, массу добра, устраивались заведения наподобие вот этого, строго безалкогольные, для поздних прохожих и проезжих, концерты, театральные вечера, полезные лекции (вход свободный), читаемые учеными людьми для низких сословий. С другой стороны у него осталось болезненное и острое воспоминание о том как они заплатили его жене, мадам Мэрион Твиди, которая одно время блистала у них, более чем скромное вознаграждение за ее игру на фортепьяно. И он очень был склонен думать, что они там стремились творить добро, не забывая про прибыли, благо никакой конкуренции не имелось. Сульфат меди, яд SO_4 или что-то такое обнаружили в сушеном горохе, он вспомнил как читал где-то в одной дешевой харчевне только уже не помнилось когда и где. Как бы там ни было, но инспекция, медицинская инспекция всех пищевых продуктов, вот что казалось ему необходимым как никогда и, возможно, тем-то и объяснялась популярность Вай-какао доктора Тиббла, что его подвергали медицинскому анализу.

— Вот, попробуйте-ка сейчас,— рискнул он сказать относительно кофе, когда размешал его.

Под этим натиском чувствуя себя обязанным хотя бы попробовать Стивен поднял тяжелую кружку из бурой лужицы она в ней хлюпнула когда взяли за ручку и сделал глоток противного варева.

— Все-таки плотная пища,— ободрял его добрый гений,— я всяческий сторонник плотной пищи,— его главною и единственной целью всегда было не гурманство, нет, никоим образом, но регулярное питание как sine qua non [15] любой основательной работы, физической или умственной.— Вам надо больше есть плотной пищи. Вы сразу станете другим человеком.

— Я бы мог что-нибудь жидкое,— сказал Стивен.— Только сделайте милость, уберите, пожалуйста, этот нож. Не могу смотреть на его острие. Напоминает мне о римской истории.

Мистер Блум, без промедления исполнив просьбу, убрал уличаемый предмет, обыкновенный тупой ножик с роговой ручкой, в котором непосвященный взгляд никогда бы не усмотрел ничего римского или античного, заметив при этом, что острие-то и есть самое тупое в нем.

— У нашего общего друга.— sotto voce [16] высказал мистер Блум своему конфиденту в связи с темой ножей,— все истории совершенно ему под стать. Вы думаете, это все правда? Он может плести такие байки целую ночь, но правду разве невзначай скажет. Вон, поглядите на него.

---

[15] Необходимое условие *(лат.)*.
[16] Вполголоса *(итал.)*.

Однако хотя глаза его были мутны от сна и морского ветра но в жизни ведь на каждом шагу происшествия и совпадения в том числе и весьма ужасные так что вполне возможно тут и не все было сплошной выдумкой хотя на первый взгляд не виделось ни малейшего вероятия в том чтобы эта небыль им добываемая из собственных запазушных недр была бы истиной чистою как евангелие.

Между тем он скрупулезно разглядывал сидевшего напротив субъекта, не прекращая его шерлокхолмствовать с той самой минуты, как тот оказался у него в поле зрения. Этот мужчина с энергичною внешностью, хорошо сохранившийся, несмотря на расположенность к облысению, имел, однако, в своем обличье нечто сомнительное и намекавшее на пребывание за решеткой, так что воображение без всяких усилий связывало сию колоритную фигуру с каторжной братией. Возможно даже, что сам же он и расправился с тем человеком, если допустим он рассказывал о самом себе, как люди нередко делают, то есть что он ухлопал того и потом отбыл четыре или пять веселеньких годиков под стражей, не говоря уж про этого персонажа Антонио (не смешивать с его тезкою, персонажем драмы, родившимся под пером нашего национального поэта) *, который искупал свои прегрешения вышеописанным мелодраматическим образом. С другой стороны, он мог и просто приврать, слабость простительная, поскольку общество дублинских обывателей, непроходимых олухов, как все эти кучера, охочие до заморских вестей, у всякого старого морехода, избороздившего океаны, вызвало бы неодолимый соблазн потравить баланду про шхуну «Геспер» * и прочее в этом роде. И в конце концов, любые небылицы, которые человек присочинит о себе, это невинный лепет рядом с махровым вздором, какого наплетут про него другие.

— Учтите, я вовсе не говорю, что у него сплошь одни басни,— продолжал он.— Такие вещи время от времени встречаются, пускай не часто. Хотя, к примеру, гиганта встретишь в кои-то веки. Марцелла, королева пигмеев. Где восковые фигуры на Генри-стрит, я сам своими глазами видал ацтеков, это их так зовут, которые сидят, поджав ноги, и хоть ты им заплати, они эти ноги не могут выпрямить, потому что мускулы вот тут, видите,— он бегло показал на своем собеседнике сухожилия или как вам угодно их называть, под правым коленом,— у них уже стали абсолютно бессильные оттого что они так сидят, скрючившись, столько времени, а им поклоняются как богам. Вот вам, кстати, еще один пример простых душ.

Однако, возвращаясь к нашему другу Синдбаду и его потрясающим приключениям (он немного напоминал ему Людвига, он же Ледвидж *, когда тот пел в «Гэйети» когда Майкл Ганн там всем заправлял в «Летучем Голландце», невероятный успех, поклонники валом валили, просто-таки давились чтобы его послушать, хотя любые вообще корабли, призрачные или наоборот, на сцене всегда смотрятся нелепо, и то же самое поезда), он был готов допустить, что тут нет ничего заведомо невозможного. Напротив, в спину ножом, это вполне было в духе тех итальянцев, хотя все-таки он больше был склонен думать, что все эти мороженщики, продавцы жареной рыбы или там по части жареного картофеля в своей маленькой Италии возле Кума, в основном люди трезвые бережливые и работящие разве что может уж очень падки охотиться по ночам на безвинную и даже полезную тварь из рода кошачьих к тому же чужую собственность чтобы на другой день состряпать из него или из нее наваристую похлебку с чесноком de rigueur [17], втихомолку и, добавил он также, задешево.

— Или возьмем испанцев,— продолжал он,— они народ пылкий, натуры страстные, вот и норовят своими руками творить и суд и

[17] Непременно *(франц.)*.

расправу, не успеете ахнуть как отошлют к праотцам, кинжалы у них всегда при себе, воткнул в брюхо и кончено. А все это от жары, вообще от климата. Моя жена, можно сказать, испанка, то есть наполовину. Фактически она может потребовать испанского гражданства, если захочет, родилась-то она (формально) в Испании, в Гибралтаре. И тип у нее испанский. Совершенно смуглая, самая настоящая брюнетка, как смоль. Я лично убежден, что климат определяет характер. Я потому и спросил, не пишете ли вы стихи по-итальянски.

— Натуры за этой дверью,— вставил тут Стивен,— пылали страстью из-за десяти шиллингов. Roberto ruba roba sua [18].

— Совершенно верно,— как эхо, подтвердил мистер Блум.

— Затем,— продолжал Стивен, уставившись в пустоту и обращаясь к самому себе или какому-то незримому слушателю,— имеется пылкость Данте и равнобедренный треугольник, мисс Портинари*, в которую он влюбился, и Леонардо, и Сан Томазо Мастино [19] *.

— Это в крови,— согласился немедленно мистер Блум.— Все омыты в крови солнца. По совпадению я как раз был сегодня в музее на Килдер-стрит *, незадолго до нашей встречи, если можно ее так назвать, и осматривал там античные статуи. Дивные пропорции бедер, груди. Подобных женщин вы здесь не встретите. Редко-редко, как исключение. Да, бывают красивые, бывают в своем роде хорошенькие, но то, о чем я говорю, это сама женственность фигуры. И потом у них так мало вкуса в одежде, почти у всех, а он настолько подчеркивает природную красоту, что бы об этом ни говорили. Чулки гармошкой, ну ладно, может быть, тут уж у меня пунктик, но только я просто не могу на это смотреть.

Между тем живость беседы вокруг приметно уже клонилась на убыль, покуда не принялись толковать про разные случаи на море, про то, как суда теряются в тумане, про столкновения с айсбергами и тому подобное. Конечно, у нашего Полундры нашлось тут много порассказать. Он не однажды обогнул мыс Доброй Надежды, отведал муссонов, это такие ветры, в китайских морях, и посреди всех этих морских напастей одна вещь, объявил он, ни разу в жизни не подвела его, как-то он так выразился, в том духе что святой образок его всегда выручал.

Потом они тихим ходом дошли до того крушения у Даунт-рок, которое потерпел злополучный норвежский барк — никто не мог припомнить его названия, пока тот извозчик, право, ужасно похожий на Генри Кемпбелла, не хлопнул себя по лбу, «Пальме»! — напротив Бутерстауна. Тогда в городе об этом только и говорили (Альберт Вильям Квилл сочинил по поводу события прекрасные стихи редчайших достоинств, настоящий шедевр, и поместил их в «Айриш таймс»), волны захлестнули корабль, а на берегу тысячные толпы людей, охваченные сочувствием, окаменели от ужаса. Потом кто-то что-то сказал насчет крушения парохода «Леди Кернз» из Свэнси, в него врезалась «Мона», которая шла встречным курсом, а на море стояла сплошная мгла, и он затонул вместе со всей командой. И никакой помощи. А капитан «Моны» потом сказал он мол боялся его столкновения шпангоуты не выдержат. А у нее, выходит, в трюме и воды не было.

На этой стадии случилось небольшое происшествие. Ощутив, что у него назревает необходимость отдать рифы, моряк покинул свое место.

— Дай-кося пересечь твой траверс, браток,— обратился он к своему соседу, который безмятежно клевал носом.

Прокладывая себе путь грузной, медленной, мешковатой походкой к дверям, он грузно шагнул вниз со ступеньки, единственной при входе, и взял курс налево. Покуда он ориентировался на местности,

[18] Роберто украл свое платье *(итал.)*.
[19] Святой Фома Мастиф *(итал.)*.

мистер Блум, приметивший, еще когда тот встал, что у него из каждого кармана торчит по бутылке видимо матросского рому на предмет охлажденья пылающего нутра, увидел, как он достал бутылку, вытащил либо отвинтил пробку и, приложив горлышко к губам, произвел обстоятельный глоток с отчетливо слышным бульканьем. Неисправимый Блум, питавший сильное подозрение что старый комедиант проделывает обманный маневр на самом деле преследуя нечто антисимпатичное в женском облике, что однако скрылось бесследно и безвозвратно, напрягшись, сумел-таки высмотреть как тот, завидно взбодренный ромовым довольствием, глазеет на быки и балки Окружного моста как бы с некою оторопью поскольку с его последнего визита последний без сомнения разительно изменился подвергшись коренным улучшениям. Невидимое лицо или лица направили его к мужскому сортиру из числа сооруженных окрест с известною целью Комиссией по очистке, но по прошествии недолгого времени, отмеченного полною тишиною, моряк решил не уходить в рейс и облегчился тут же на месте, после чего трюмные его воды известное время еще струились с журчаньем по мостовой и, видимо, побеспокоили лошадь на стоянке. Так или иначе, копыто стукнуло, опускаясь на новое место. Звякнула сбруя. Слегка потревоженный в своей будке возле жаровни с тлеющими углями страж городских булыжников, который, хотя он низко пал и чуть что вскакивал, однако же был в суровой реальности не кто иной как вышеупомянутый Гамли, ныне практически на приходском пособии а временную работу ему дал Пэт Тобин по всей человеческой вероятности из человеческих чувств а также по старому знакомству задвигался и заворочался в своей каморке прежде чем снова покойно расправить члены в объятиях Морфея, поистине ярчайший пример того как тяжелые времена самым суровым образом взяли в переплет парня из самой благопристойной семьи который всю жизнь свою катался словно сыр в масле, однажды ему даже свалились как с неба сто фунтов дохода в год, но только у него у тройного осла все тут же утекло между пальцев. И вот он ныне гол как сокол, это после того как бывало закатывал пир горой на весь город, зубы на полку и за душой ни полушки. Уж нечего говорить, пьет и не просыхает, и это, кстати, лишний раз служило уроком, ведь он бы свободно мог ворочать большими делами, если бы— но тут, конечно, крупное если — сумел как-нибудь одолеть свою несчастную слабость.

Все, между тем, громко оплакивали упадок ирландского судоходства, как дальнего, так и каботажного, тут это ведь две стороны одной медали. В бухте Александры сошел со стапелей корабль для Полгрейва-Мэрфи, единственный спуск на воду в этом году. Оно верно, гавани никуда не делись, только судов-то в них кот наплакал.

Тут и крушения и прегрешения, сказал хозяин, который, видимо, был au fait [20].

Он бы хотел выяснить вот что, почему это тот корабль налетел прямехонько на единственную скалу во всей Голуэйской бухте, когда мистер Уортингтон, или как-то вроде этого, продвигал проект порта Голуэй, а? Спросите-ка у капитана, порекомендовал он им, сколько ему отвалило английское правительство за такую услугу. Капитан Джон Ливер с линии Ливера.

— Верно говорю, кеп? — обратился он к моряку, шедшему обратным курсом после уединенного возлияния и иных операций.

Сей достойнейший, подхватив на лету обрывок песни или фразы, заревел нечто якобы музыкальное но весьма энергично, то ли матросскую припевку то ли иное что, то ли вторя то ли в терцию. Чуткий слух мистера Блума уловил затем как он отхаркивает по всей видимости табачную жвачку (это она и была), так что он надо пола-

[20] В курсе дела *(франц.)*.

гать пристроил ее у себя в кулаке пока заливал и отливал, а потом, после помянутой огненной влаги, она ему показалась чересчур кислой. Словом, после своей успешной заправки-выпивки он ввалился в двери, внося в собрание атмосферу спиртных паров и бесшабашно горланя как отпетый морской бродяга:

Сухари у нас на шхуне тверже шкуры сатаны,
Солонина солонее жопы лотовой жены.
Эх, Джонни, Джонни Ливер,
Эх, Ливер Джонни, эх!

После каковой репризы сей устрашающий экземпляр решительно двинулся на авансцену и, благополучно добравшись до своего места скорее осел чем сел на соответственное седалище. Козья Шкура, если это был он, явно с какою-то задней мыслью изливал свои недовольства в натужно-гневной филиппике касательно щедрот ирландской природы и недр либо чего-то подобного и, разведя целую диссертацию, расписывал ее как богатейшую страну на всем божьем свете, Англии и тягаться нечего, где угля — несметные залежи, свинины каждый год вывозится на шесть миллионов фунтов, яиц и масла на десять миллионов, и все богатство выкачивает Англия, взваливая убийственные налоги на бедняков и загребая все лучшее мясо на рынке, и так в этом духе все поддавал да поддавал пару. Разговор на эту волнующую тему стал общим, и все признали, что так дело и обстоит. Все, что только растет, все может вырасти на ирландской земле, заявил он, вон в Нейвене полковник Эверард преспокойно выращивает табак. А что вы сравните с ирландским беконом? Но день расплаты, возвестил он крещендо и без тени сомнения, прочно завладев разговором, уже поджидает всесильную Англию, невзирая на ее злато, за все ее злодеяния. Назревает крушение, самое грандиозное в истории. И немчура и япошки тут своего не упустят, заверил он. Буры, это было начало конца. Карточная империя уже разваливается, и довершит ее крах Ирландия, ее ахиллесова пята, в каковой связи он им объяснил про уязвимое место Ахилла, греческого героя — и этот момент слушатели уразумели как нельзя лучше, поскольку он целиком захватил их внимание, продемонстрировав надлежащее сухожилие у себя на стопе. Он также дал совет каждому ирландцу: не покидай своего отечества, трудись для Ирландии и живи для Ирландии. Ирландия, как сказал Парнелл, нуждается в каждом из сынов своих.

Почтительным молчанием было встречено оное завершение его финала. Непробиваемый навигатор, однако, выслушал суровый завет, не сморгнув.

— Занялся б ты лучше делом, почтенный,— не без раздраженья парировал сей крепкий орешек в ответ на пустые лапалиссады.

Касательно краха и прочего хозяин готов был принять холодный душ, однако в главном продолжал стоять на своем.

— Кто лучшие войска в армии? — вопросил с гневом седой закаленный ветеран.— Кто лучшие бегуны и прыгуны? И кто у нас лучшие генералы и адмиралы? Вот что вы мне скажите.

— Чаще всего ирландцы,— дал справку извозчик, Кемпбелл за вычетом окраски фасада.

— Что я и говорю,— подхватил бывалый матрос.— Ирландский крестьянин католической веры. Вот кто хребет нашей империи. Знаете Джема Маллинса? *

Оставляя за ним равно как и за всяким право на собственное мнение, хозяин, однако, возразил, что он плевать хотел на любую империю, нашу или его, и кто ей служит, того он никогда не признает достойным называться ирландцем. Последовал обоюдно ряд гневных реплик, спор разгорался, и оба соперника, натурально, начали взывать к слушателям, которые с интересом следили за сим турниром, покуда стороны не переходили к оскорблениям и рукоприкладству.

Располагая конфиденциальной информацией за целый ряд лет, мистер Блум склонен был относить такие пророчества к области чистопробного вздора, поскольку, совершенно независимо от того, желанна ли та цель иль вовсе нет *, он ясно осознавал, что их запроливные соседи, если только они не были гораздо глупей, нежели он думал, уж скорее скрывали свои силы, нежели наоборот. Это вполне стоило тех розовых надежд, лелеемых в известных кругах, что-де когда-нибудь этак миллионов через сто лет угольные жилы на братском острове совсем иссякнут, а на сей счет, если бы даже, положим, по ходу столетий и вышел подобный переплет, он мог бы от себя единственно лишь сказать, что за такое время могло бы с успехом объявиться и множество иных обстоятельств, не менее важных для финальной развязки так что пока суд да дело самое разумное это пользоваться благами обеих стран хоть бы они и были двумя враждебными полюсами. Еще одна примечательная деталь, амуры шлюх с хахалями, если использовать вульгарное просторечие, напомнила ему о том, что ирландские воины сражались за Англию столь же часто, как и против нее, фактически даже чаще. Почему-то же это было. Так что вся сцена между этою парочкой, хозяином заведения, который то ли был то ли слыл то ли нынче то ли прежде Фицхаррисом, из знаменитых непобедимых, и его оппонентом, весьма смахивавшим на самозванца, сильно напоминала жульничество чистейшей воды, то есть как если бы все было нарочно подстроено, хотя это и казалось только ему, наблюдателю и знатоку человеческой души, а прочие ничего подобного не замечали. Что же до арендатора или владельца, который, возможно, вовсе и не был той знаменитостью, то у него (Б.) было твердое ощущение, и абсолютно оправданное, что от таких людей надо бы держаться подальше если только ты не безмозглый осел и никогда не связываться ни с ними взять себе за правило на всю жизнь, ни с их уголовной шатией потому что никогда не может быть гарантии от доносчика и тогда живо тебя к прокурору королевы то бишь сейчас-то короля от какого-нибудь субъекта вроде Дэниса или Питера Кэри, хотя подобные мысли он категорически отбрасывал. К тому же, независимо ни от чего, ему вообще претили любые преступления или злокозненные занятия. И все-таки, хотя преступные наклонности никогда и ни под каким видом не гнездились в душе его, он несомненно чувствовал и не отрицал этого (хотя внутренне и оставаясь самим собой) некое восхищение человеком который взаправду, на самом деле, пустил в ход нож, разящую сталь, черпая отвагу в своих политических убеждениях (при том что сам он никогда бы не согласился участвовать в таких подвигах), из той же оперы, как эти вендетты из-за любви в южных странах, или она моя, или пусть меня вздернут из-за нее. когда сплошь и рядом муж, после небольшого разговора с ней насчет ее отношений со счастливым избранником (а парочку-то он уже выследил), наносит своей дражайшей смертельные ранения на почве внебрачной связи вонзая в нее кинжал, пока он вдруг не сообразил что ведь этот Фиц, по прозвищу Козья этцетера, всего только правил лошадьми, увозя истинных исполнителей, и значит, если ему правильно говорили, вовсе и не участвовал в самой засаде на чем. кстати, какое-то светило адвокатского мира и сумело ему спасти шкуру. В любом случае все это уже давно быльем поросло, и что до нашего друга, мнимого Козьей итэдэ, то он явно пережил свою славу. Ему бы следовало иль взойти на эшафот или уж помереть своей смертью. А то как у актрис ах, прощайте, прощайте. самое последнее представление а после опять появляется с улыбкой. Да, щедра до абсурда, темпераментна. скопить или сэкономить даже и в мыслях нет, и каждую минуту готова погнаться за журавлем в небе. Точно так же он сильно подозревал что мистер Джонни Ливер избавился от некой толики фунтов и шиллингов совершая инспектирование ближней округи доков в заду-

шевной обстановке таверны «Старая Ирландия», вернись в Эрин и тому подобное. А что касается остального, то все эти песни он уже слышал не так давно, о чем и сообщил Стивену, поведав, как он убийственно просто обезоружил своего оскорбителя.

— Он разобиделся из-за какой-то мелочи,— пояснил сей муж, сохранивший, вопреки многим поношениям, мирный нрав,— что у меня нечаянно сорвалась. И обозвал меня евреем, притом очень агрессивно, весь разъярившись. Так я на это, нисколечко не отклоняясь от голых фактов, напоминаю ему, мол, Бог ваш, я имею в виду, Христос, он тоже еврей, и все его семейство так же как я, хоть сам-то я нет, по-настоящему. Ну, этим я его сразил. Кроткое слово гнев побеждает *. Ни звука у него не нашлось сказать, это все видели. Разве же я не прав?

Он устремил на Стивена долгий ведь-ты-не-прав взгляд, полный робкой и затаенной гордости кротким порицанием, но также и отчасти просительный, поскольку от него словно бы неким образом излучалось будто бы что-то тут было не совсем.

— Ex quibus,— не слишком внятно и без особого выражения пробормотал Стивен, меж тем как два или четыре их глаза вели между собою беседу,— Christus или Блум его имя или в конце концов какое угодно, secundum carnem [21].

— Конечно, —счел нужным оговориться мистер Б.,— вопрос всегда надо рассмотреть с обеих сторон. Трудно установить какие-то точные правила, кто прав, а кто нет, но все-таки всегда есть возможности к улучшению, хотя, как говорят, каждая страна, не исключая и нашу многострадальную, имеет такое правительство, какого она заслуживает *. Только вот будь хоть капелька доброй воли у всех. Это так приятно хвалиться взаимным превосходством, но как все же насчет взаимного равенства. Меня отталкивают насилие и нетерпимость в любом их виде. Этим ничего не остановишь и ничего не добьешься. Революция должна совершаться в рассрочку. Это же полная, вопиющая бессмыслица — ненавидеть людей за то, что они живут, так сказать, не на нашей улице и болтают не на нашем наречии.

— Историческое сражение на Кровавом мосту,— согласился Стивен,— и семиминутная война между проулком Кожевников и Ормондским рынком.

Да, мистер Блум был с этим абсолютно согласен, он полностью одобрял это замечание, поразительно верное. Мир был полон таких историй.

— Это так и вертелось у меня самого на языке,— сказал он.— Передергивают все факты, концы с концами не сходятся, так что, по чести, даже и тени истины...

Все эти жалкие свары, по его скромному разумению, болезненно возбуждающие шишку воинственности или какую-то железу и совершенно ошибочно объясняемые мотивами чести и знамени — на деле вопрос-то в них был чаще всего в денежном вопросе, который стоит за всем, в алчности и зависти, ведь люди ни в чем не знают предела.

— Они обвиняют,— произнес он в полный голос.

Он отвернулся от остальных которые вероятно и заговорил тише и ближе, так чтобы остальные если они вдруг.

— Евреев,— негромко отнесся он в сторону, на ухо Стивену,— обвиняют в разрушении. Но в этом нет ни крупицы истины, смею заверить твердо. История — не удивитесь ли вы, когда это узнаете? — неопровержимо доказывает, что Испания пришла в упадок, когда инквизиция изгнала евреев, а в Англии началось процветание, когда Кромвель, этот чрезвычайно небесталанный бандит, на котором в других отношениях масса и масса вин, привез их туда. А почему? Да потому что у них правильный дух, они люди практичные, и они доказали это. Я не хочу позволять себе никаких вам ведь и так из-

[21] От них... Христос... по плоти (*лат.*— Послание к римлянам, 9, 5).

вестны главные взгляды на эту тему и, к тому же, поскольку вы правоверный. Но в области экономики, если оставим в стороне религиозную сторону, сказать священник — то же, что сказать бедность. Возьмем снова Испанию, вы могли в войну убедиться, и сравним с Америкой, вовсю движущейся вперед. Опять же турки. Тут дело в догме. Ведь если б они не верили, что прямиком вознесутся в рай после смерти, они бы постарались устроить себе жизнь получше, во всяком случае, мне так кажется. На эту вот удочку приходские попы всех и ловят. Но я,— заключил он с драматическим подъемом,— не менее ревностный ирландец, чем тот забияка, о котором я говорил, и я бы желал, чтобы все люди, без различия вер и классов — подчеркнул он — имели бы скромный, но приличный доход, не что-нибудь нищенское, а, скажем, около трехсот фунтов в год. Это жизненно важно и вполне достижимо и притом это так бы содействовало большей сердечности между людьми. По крайней мере, такая у меня точка зрения, уж там верная или нет. Вот это я и называю патриотизмом. Ubi patria, как нас слегка подковали в классические дни в нашей альма-матер, vita bene [22]. То есть, по смыслу, где ты можешь хорошо жить, если трудишься.

Сидя над безвкусной пародией на чашку кофе и слушая мудрые речи про пуп и нечто, Стивен, не шевелясь, глядел в пустоту. Разумеется, до него доходили все эти слова, такие разные, меняющие оттенки словно те крабы сегодня утром в Рингсенде когда они торопливо прятались во все цвета и оттенки одного и того же песка в котором они как представлялось гнездились где-то поблизости. Он поднял голову и встретил глаза сказавшие а возможно и нет слова что произнес услышанный им голос, если трудишься.

— Меня прошу вычеркнуть,— с усилием молвил он, подразумевая трудишься.

В глазах выразилось удивление поскольку как он, их врем. обладатель, заметил или, верней его говорящий голос, все должны трудиться, обязаны, сообща.

— Конечно, я имею в виду,— поспешно заверил тот,— труд в самом широком смысле. В том числе и литературный труд, не ради одних лавров. Писать для газет, это в наше время самый прямой канал. Также и это труд. Важный труд. В конце концов, судя по тому малому, что я о вас знаю, когда столько денег ушло на ваше образование, вы совершенно вправе их возместить и назначать свою цену. У вас ровно столько же прав добывать хлеб насущный своим пером, занимаясь философией, как и у любого крестьянина. Правильно? Вы оба принадлежите Ирландии, голова и руки. То и другое одинаково важно.

— Вы подразумеваете,— возразил Стивен с подобием небольшого смешка,— что я приобретаю важность, оттого что принадлежу faubourg Saint Patrice [23], в кратком наименованьи, Ирландии.

— Я бы пошел еще дальше,— начал мистер Блум.

— А я подразумеваю,— продолжал Стивен, перебивая,— что Ирландия приобретает важность, оттого что принадлежит мне.

— Что-что принадлежит,— переспросил мистер Блум, нагибаясь, решив, что он чего-то здесь недопонял.— Извините, пожалуйста, я не расслышал конца фразы. Что именно вы?..

Стивен, явно не в духе, повторил и, отодвинув свою кружку с кофе или бог знает с чем, без особой вежливости добавил:

— Мы не можем сменить родину. Давайте-ка сменим тему.

При этом уместном предложении мистер Блум, чтобы сменить тему опустил взгляд, однако в некоем замешательстве, поскольку не мог сообразить, какому же обороту речи принадлежало принадлежит, звучавшее совершенно чужеродно. Гораздо понятней был не-

---

[22] Где родина . жизнь хорошо *(лат.)*.

[23] Пригород Святого Патрика *(франц.)*.

ожиданный реприманд. Тут, надо думать, проявили себя пары его сегодняшней оргии, любопытным образом вызвавшие у него желчную резкость, не свойственную ему в трезвом виде. Вероятно, домашняя жизнь, которой мистер Б. придавал величайшее значение, как-то не была всем, чем нужно, или же ему не хватало друзей из подходящего круга. Испытывая беспокойство за своего молодого соседа, которого он украдкой и не без робости разглядывал, памятуя, что тот только что из Парижа, в особенности глаза поразительно напоминали его отца и сестру, однако не сумев достичь ясности в сакраментальном вопросе, он начал припоминать разные примеры когда высококультурные юноши подававшие замечательные надежды уже на заре своей поддавались разложению причем винить в этом было некого кроме них же самих. К примеру таков был случай О'Каллагана, фантазера, даже слегка свихнувшегося, из очень приличной хотя и небогатой семьи, с его безумными выходками у которого среди прочих милых проделок в подпитии когда он становился абсолютно невыносим он имел привычку являться в общество гордо вырядившись в костюм из оберточной бумаги (подлинный факт). А когда он в своих забавах уже совсем хватил через край последовал обычный dénouement [24] и жареный петух чуть-чуть не клюнул его куда полагается так что пришлось немногим друзьям живо его спровадить подальше, после того как Джон Мэллон из Центрального полицейского управления очень прозрачно намекнул что как бы ему не загреметь в соответствии со вторым разделом Дополнений к Уголовному Кодексу, имена части лиц, вызывавшихся по делу, не предаются гласности по причинам, ясным для каждого у кого голова на плечах. Короче, подбивая итоги, шесть да шестнадцать, насчет чего он категорически не желал слышать, Антонио и компания, жокеи, и эстеты, и татуировки, бывшие криком моды в семидесятых или около этого даже в палате лордов поскольку в ранние свои годы царствующий монарх, тогда еще престолонаследник, а уж высшая знать и остальная аристократия те просто по стопам главы государства, он размышлял о прегрешениях сильных мира сего и коронованных особ идущих вразрез с моралью как скажем корнуэльское дело несколько лет назад за блеском фасада то что едва ли от природы положено, подобное возбраняет закон и добрые нравы с ужасом осуждают, хотя вероятно и не по тем причинам как полагают какие бы они ни были кроме в основном женщин которые всегда норовят хоть в чем-нибудь провести друг дружку, главным образом по части нарядов и всего что связано с этим. Дамы, у которых есть вкус к чему-то оригинальному в белье, и все мужчины, кто хорошо одевается, должны всяческими способами стараться подчеркивать пропасть между полами вносить еще больше остроты в те неприличности какие проделываются когда вдвоем, она у него расстегивает, а он потом расшнуровывает ее, осторожно, булавка, а всякие там дикари, где-нибудь на каннибаловых островах, где в тени сорок градусов им на такие ухищрения сто раз плевать. Хотя, возвращаясь к исходному, есть и такие деятели, кто с самой низшей ступеньки одними собственными усилиями пробились на самый верх. Ничем, кроме природных способностей. Работаем головой, сэр.

По этой причине, а также и по другим, ему казалось что его интересы и даже отчасти долг советуют ему подождать и воспользоваться непредвиденною случайностью, хоть он не смог бы определенно сказать зачем это когда и так несколько шиллингов вылетели в трубу чему фактически он сам был виною. Но все-таки укрепить знакомство с человеком настолько незаурядного калибра который мог бы доставить обильную пищу для размышлений это заведомо окупило бы небольшие. Такая интеллектуальная стимуляция время от

[24] Развязка *(франц.)*.

времени была для ума, как ему казалось, отличнейшим взбадривающим средством. К тому же тут наложились друг на друга встреча, беседа, танцы, драка, старый матрос, все это в духе мимолетных эпизодов, было и кануло, ночные бродяги, целая галактика событий и лиц, так что все вместе как бы сложилось в миниатюрную камею мира, где мы живем, а надо особенно учесть, что жизнь бедствующих низов, как то водолазов, углекопов, мусорщиков и т. п., в последнее время была усиленно под микроскопом. Чтоб час златой еще стал краше он подумал что и ему как мистеру Филипу Бьюфою вполне могла бы улыбнуться удача если б он взялся за сочинительство допустим описал бы что-нибудь необычное, незатасканное (а именно так он и намеревался действовать) по ставке гинея за столбец. Скажем, «Мои впечатления в „Приюте извозчика"».

По прихоти случая, спортивный экстренный выпуск «Телеграфа», розовый хотя бумага не краснеет сколько ни лжет, лежал у самого его локтя и он опять принялся гадать, нимало не успокоившись, насчет родины принадлежащей ему а также и насчет предыдущего ребуса судно пришло из Бриджуотера открытка адресована А. Будену узнайте когда родился капитан, глаза же его бесцельно скользили по заголовкам относившимся к его сфере деятельности о всемогущий издатель газету нашу насущную даждь нам днесь. Сначала он даже отшатнулся но оказалось это просто что-то о ком-то по имени Х. Бойс, агент по продаже пишущих машинок или чего-то вроде. Большое сражение, Токио. Любовь по-ирландски, ущерб 200 фунтов. Гордон Беннетт. Афера с эмигрантами. Письмо Его Преосвященства архиепископа Вильяма. Скачки в Аскоте, Золотой Кубок. Победа аутсайдера Рекламы — повторение Дерби 1892 года, когда Сэр Хьюго, темная лошадка кап. Маршалла, взял главный приз вопреки всем прогнозам. Катастрофа в Нью-Йорке. Около тысячи погибших. Ящур. Похороны мистера Патрика Дигнама.

Итак, чтобы сменить тему, он начал читать про почившего Дигнама, размышляя, что эти проводы были отнюдь не из числа веселых событий. Что ж, назовем это переменой адреса.

— *Сегодня утром* (это конечно Хайнс тиснул) *состоялся вынос тела покойного мистера Патрика Дигнама из его дома в Сэндимаунте (Ньюбридж авеню, 9) для погребения на Гласневинском кладбище. Покойный, человек редкого обаяния, был заслуженно известен и любим в нашем городе, и его кончина после непродолжительной болезни вызвала глубокую скорбь у граждан самых разных сословий. Устройство похорон* (ага уж это Корни его подмазал), *на которых присутствовали многочисленные друзья покойного, взяла на себя фирма «Х. Дж. О'Нил и Сын», Северная Стрэнд-роуд, 164. В числе провожающих были: Патк. Дигнам (сын), Бернард Корриган (шурин), Джно Генри Ментон, пов., Мартин Каннингем, Джон Пауэр,.) едавч 1/8 адор дорадор дурадора* (это он тут наверно позвал Монкса старосту насчет рекламы для Ключчи) *Томас Кернан, Саймон Дедал, Стивен Дедал, Б. И., Эдв. Дж. Лэмберт, Корнелиус Т. Келлехер, Джозеф Макхайнс, Л. Бум, К. П Маккой, а также Макинтош и другие.*

Рассердясь за Л. Бума (как было ошибочно напечатано) и за погубленную в наборе строку, но вместе с тем от души позабавившись К. П. Маккоем и Стивеном Дедалом, Б. И., которые, разумеется, блистали своим отсутствием (не говоря уж о Макинтоше), Л. Бум указал на это своему сотоварищу Б. И., занятому упорной борьбою с очередным зевком, отчасти нервного свойства, не упустив добавить и про непременную дозу самых дурацких опечаток.

— А Первое послание к евреям,— спросил тот, едва нижняя челюсть позволила ему это сделать,— там напечатано? Текст: если ящур, то кто мой пращур *.

— Да,— отвечал мистер Блум (он было подумал тот намекает на архиепископа но потом услыхав про ящур понял что это исклю-

чалось) обрадованный что может успокоить его и несколько удивленный тем что Майлс Кроуфорд в конце концов пошел на.— Оно здесь.

Покуда Стивен читал последнее на второй странице Бум (воспользуемся временно этим его газетным псевдонимом) скоротал несколько свободных минут пробежав на третьей странице репортаж о третьей же скачке в Аскоте, на своей стороне. Приз 1000 соверенов и дополнительно 3000 соверенов золотом. Для молодых нехолощеных жеребцов и кобыл. Реклама, мистера Ф. Александера, гнед. коб., от Рекрута, пятилетка, вес 130 фунтов, жокей У. Лэйн, I. Мускат, лорда Хауарда де Уолдена, жокей М. Кэннон, II. Корона, мистера У. Басса, III. Ставки: 5 к 4 на Муската, 20 к 1 на Рекламу (аутсайдер). Корона малость потяжелей, 5 к 4 на Муската, 20 к 1 на Рекламу (аутсайдер). Реклама и Мускат шли ноздря в ноздрю. Скачка проходила без лидера, но затем Реклама вышла вперед, оторвалась далеко от основной группы и побила каурого жеребца лорда Хауарда де Уолдена и рыжую кобылу мистера У. Басса на дистанции $2^1/_2$ мили. Выезжал Рекламу Э. Брейм, так что ленеханова версия событий была чистый вздор. Финиш был бесспорный, пришла впереди на корпус. 1000 соверенов и дополнительно 3000 золотом. Также принимали участие: Максим Второй (французская лошадка насчет которой так волновался Бэнтам Лайонс, еще не пришла но вот-вот доскачет) Ж. де Бремона. Советы как добиться успеха. Любовь в ущерб. А с каким пылом этот недоделанный Лайонс рвался в бой, спешил оказаться в дураках. Хотя конечно в игре всегда риск, уж так повернулось что бедному дуралею не с чем было себя поздравить, рухнули его надежды. Вообще это все выродилось в какое-то гадание на кофейной гуще.

— Заранее было ясно, что к этому они и придут,— произнес он, Блум.

— Кто? — осведомился второй, у которого кстати все еще болела рука.

В одно прекрасное утро, заявил извозчик, откроем газеты и прочитаем: «Возвращение Парнелла». Он был готов спорить на что угодно. Вот здесь, в «Приюте», сидел недавно ночью солдатик из Дублинских стрелков и говорил, что видел его в Южной Африке. Гордость, вот что его сгубило. Он бы должен был сам покончить с собой или уж сидеть тихо какое-то время после заседания в пятнадцатой комнате * пока не стал бы опять прежним человеком и никто бы не смел в него тыкать пальцем. И тогда они бы все до единого ползали перед ним на карачках чтоб он вернулся когда он снова пришел бы в разум. А умереть он не умер. Просто скрылся куда-то. Тот гроб, что они привезли, он был набит булыжниками. Он изменил свое имя, теперь он Де Вет, бурский генерал. Только зря он против священников пошел. И так далее и тому подобное.

При всем том Блум (таково его правильное имя) был несколько удивлен их рассказами поскольку в девяти случаях из десяти его готовы были спалить живьем прикатив для этого не одну бочку с дегтем а целые тысячи, а потом полное забвение прошло как-никак больше двадцати лет. Конечно во всех этих россказнях наверняка нет ни тени истины, но, если даже и допустить, то с учетом всех обстоятельств он находил возвращение совершенно нежелательным. Видимо что-то их не устраивало в его смерти. То ли он слишком прозаично скончался от воспаления легких как раз когда всякие-разные политические комбинации у него близились к завершению то ли разнеслось как он умер из-за того что не удосужился сменить платье и обувь когда промок из-за этого простудился но врача не позвал а просто валялся у себя в четырех стенах покуда болезнь не доконала его и он не умер провожаемый всеобщею скорбью быстрей чем за две недели или тоже вполне возможно им жалко было что не вышло

самим приложить к этому руки. Конечно он даже раньше никого не оповещал о своих маршрутах так что никогда не известно было где он находится как в песенке «Алиса, куда ты скрылась?» еще даже до той поры как он стал использовать разные фамилии, Фокс, Стюарт, поэтому в сущности гипотеза друга-кучера не была уж настолько невероятной. И конечно, вся та обстановка травмировала его сознание как прирожденного вождя, каковым он бесспорно был, притом с такой впечатляющей наружностью, шести футов или по крайней мере пять и десять или одиннадцать дюймов, это без обуви, а все эти господа Имяреки, хотя они ему и в подметки не годятся, остались всем заправлять даром что дельных качеств у них раз-два и обчелся, и те если с ним сравнить куцые. Тут явно напрашивалась мораль, насчет колосса на глиняных ногах. И потом семьдесят два его верных соратника ополчились против него, попутно не забывая поливать грязью друг друга. Точно так же с убийцами. Ты должен вернуться на то место. Как будто что-то тебя неудержимо притягивает. Показать дублеру главного героя, как надо. Он видел его однажды по счастливой случайности, когда разбивали набор «Инсаппресибла» или «Юнайтед Айрленд», весьма ценимый им подарок судьбы, и, подлинный факт, он подал ему цилиндр, когда с него сбили, а он сказал «Спасибо», конечно, он был взволнован, но сохранял бесстрастное выражение несмотря на эту мелкую неурядицу из разряда и на старуху бывает проруха: уж это у него было в крови. Но все же насчет возвращения. Вам очень крупно повезет если на вас в первый же момент не спустят свору собак. Всегда начинается волынка, тот за, эти против. Но главное, ты являешься, когда уже кто-то завладел всем и надо снова доказывать свои права, как тому претенденту в деле Тичборна. Роджер Чарльз Тичборн, а корабль сколько помнилось ему назывался «Белла», на котором он, то бишь наследник, погонул как на суде выяснилось и кстати у него тоже была татуировка тушью, лорд Белью, так, кажется, он ведь без труда мог выведать все подробности у какого-нибудь дружка на судне, а после, когда изменил внешность по описанию, небрежно представиться: «Пардон, господа, я мистер Такой-то-и-такой-то» или как-нибудь в этом роде. Куда разумнее было бы, как сказал Блум весьма сдержанному, под стать обсуждаемой знаменитой личности рядом с собой, сначала прощупать почву.

— Это все та шлюха, та сучка английская ему удружила *, — посетовал хозяин притона. — Она его первая толкнула в могилу.

— А все равно, сочная бабенка, — заметил soi-disant секретарь городской управы Генри Кемпбелл, — есть за что подержаться. С кем только она не блудила. Я ее на картинке видел у парикмахера. А муж у ней капитан, не то офицер.

— Ага, — шутливо добавил Козья Шкура. — Из инвалидной команды.

Сия лепта юмора, внесенная от доброхотных щедрот, вызвала изрядный хохот во всем его entourage. Что же до Блума, то он без всякого признака улыбки глядел в направлении дверей, размышляя о той исторической истории, которая вызвала в свое время столь жадный интерес, когда, чтобы подлить масла в огонь, обнародовали все факты а заодно и любовные письма вполне обычного рода со всякими нежными пустяками. Сначала все было чисто платонически пока в дело не вмешалась природа и между ними не вспыхнула привязанность пока мало-помалу страсть не разгорелась до апогея, а про них не стали судачить в городе пока наконец не был нанесен роковой удар, вполне, однако, сладкая весть для целой орды недоброжелателей, стремившихся ускорить его падение хотя вся история давно уже была секретом полишинеля хотя возможно и не в таких сенсационных масштабах до которых ее позднее раздули. Хотя, уж если их имена склонялись вместе, если он был ее признанным фаворитом, за-

чем еще кричать на всех перекрестках именно о том факте, что он разделял с ней ложе а это было сказано под присягой на свидетельском месте и весь переполненный зал до одного человека вздрогнул буквально как от удара током когда свидетели присягнули что видели его такого-то числа как он в ночном одеянии с помощью лестницы вылезал из квартиры наверху, тем же манером туда проникнув, факт, на котором газеты, падкие до клубнички, загребали деньги лопатой. А суть-то дела тут была в простом факте что просто все дело было в муже который не оказался на высоте, так что между ними не было ничего общего кроме фамилии, и тут на сцене появляется настоящий сильный мужчина, у которого даже слабости сильные, падает жертвой ее чар сирены и забывает свои семейные узы, как это водится, упиваясь улыбками возлюбленной. Само собой, здесь снова встает извечный вопрос супружеской жизни. Может ли существовать между супругами настоящая любовь, если замешан третий мужчина? Задачка. Хотя это их абсолютно не касалось, если он ее обожал, захваченный волной страсти. Поистине, был он великолепный образец человека, щедро к тому же одаренный талантами, и какое могло быть сравнение с той серой посредственностью в мундире (стандартный выпуск модели «Прощай, мой храбрый капитан», ради точности, из легких драгун, а еще точней, из 18-го гусарского), конечно, пылкий и своенравный (то есть поверженный вождь, а не тот, другой) и она, женщина, быстро сообразила, что такой человек проложит себе путь к славе, причем все к этому, казалось, и шло, покуда попы и вообще слуги евангелия, сперва его ярые сторонники, вместе с его любимыми согнанными издольщиками, за которых он без устали воевал в сельских районах, стоя за их права так, что они о лучшем не могли и мечтать, не подложили свинью его брачным планам, тем самым собрав ему на голову горящих угольев подобно лягнувшему ослу из известной басни. Если оглянуться назад с неким ретроспективным упорядочением, все это уже кажется каким-то сном. И возвратиться — это самое худшее что ты можешь придумать потому что, без малейших сомнений, ты будешь себя чувствовать как лишняя спица в колеснице раз неизбежно все изменяется со временем. Вот, скажем, почему Айриштаун-стрэнд, район, куда он не забирался уже несколько лет, выглядел как-то по-другому с тех пор как вышло, что он стал жить на северной стороне. Однако юг или север, а тут налицо была бурная страсть в самом чистейшем виде, способная не посчитаться ни с чем и как раз подтверждающая то, что он говорил, она ведь тоже испанка или наполовину, а такие не останавливаются на полпути, эта южная страстная безудержность готова пустить по ветру последние клочки приличий.

— Как раз подтверждает то, что я говорил, — сказал он Стивену с тайным жженьем в груди, — насчет солнца и крови. Она ведь тоже была испанка, или я сильно ошибаюсь.

— Дочь короля испанского, — отвечал Стивен, присовокупив еще что-то малопонятное, кажется, прости-прощай испанский лук и первый берег звался Мертвец, а от Рамхеда до Сцилли столько-то.

— Правда? — вырвалось в изумлении у Блума, впрочем, нисколько не удивленного. — Такие слухи еще до меня не доходили. Но возможно, тем более, если учесть, что она жила там. Да, Испания.

Осторожно, чтобы не выпали «Прелести...», напомнившие ему, кстати, о просроченной книге из библиотеки на Кейпл-стрит, он извлек бумажник и, бегло просмотрев содержавшееся в нем содержимое, наконец.

— Между прочим, как вы считаете, — сказал он, выбрав после колебания одну поблекшую фотографию и положив ее на стол, — вот это испанский тип?

Стивен, поскольку обращались к нему, взглянул на фотографию, где была снята дама солидных размеров, в зрелом расцвете женствен-

ности, довольно открыто демонстрировавшая свои пышные телеса в вечернем платье с вырезом, нарочито низким, дабы щедро и откровенно, а не каким-нибудь туманным намеком, явить на обозрение прелести корсажа, с нарочитой серьезностью, полураскрыв полные губки, так что слегка виднелся жемчуг зубов, она стояла у рояля, на котором лежали ноты «В старом Мадриде», прекрасной по-своему баллады, необычайно модной в те дни. Глаза ее (дамы), темные и большие, смотрели на Стивена, словно готовые улыбнуться чему-то достойному восхищения; создателем же волнующего шедевра был Лафайетт с Уэстморленд-стрит, лучший мастер художественной фотографии в целом Дублине.

— Миссис Блум, моя супруга примадонна мадам Мэрион Твиди,— проинформировал Блум. — Снято несколько лет назад. Примерно в девяносто шестом году. Очень похоже схвачено, какая она была тогда.

Вместе с молодым человеком он тоже смотрел на фотографию дамы, ныне своей законной жены, которая, как он доверительно сообщил, была дочерью майора Брайена Твиди, получила тонкое воспитание и очень рано проявила удивительный талант к пению, впервые раскланявшись со сцены, когда ей едва-едва минуло нежных шестнадцать. Выражение лица вышло с поразительным сходством однако фигуре тут не удалось отдать должного хотя на нее всегда оборачивались но вот почему-то этот наряд обернулся каким-то невыигрышным. Она без труда могла бы, сказал он, позировать для изображения в рост, не говоря уж о гармоничной округлости пышных. Будучи немного художником в свободное время, он поговорил вообще о формах женского тела под углом развития, потому что как раз сегодня, по совпадению, он видел эти античные статуи с их совершенной развитостью, шедевры искусства, в Национальном музее. Конечно, мрамор способен передать оригинал, плечи, спину, симметрию, все прочее. Да, пуританство, действительно хотя владычное воровство Святого Иосифа alors (Bandez!) Figne toi trop[25]. Но ни одна фотография не может потому что коротко говоря это же ведь не искусство.

Движимый духом он очень хотел бы последовать примеру пенителя морей и на несколько минут покинуть изображение чтобы оно само говорило за себя под тем видом что ему так чтобы другой мог беспрепятственно упиваться красотою, ее вид на сцене был, откровенно говоря, таким впечатлением которому фотографический аппарат совершенно не сумел отдать должного. Но это вряд ли отвечало профессиональному этикету. Хотя ночь стояла теплая и приятная и с удивительной в то же время прохладой если учесть время года, как солнце после грозы. И он в самом деле ощущал некую нужду не мешкая пойти по его стопам словно внутренний голос и справить предполагаемую нужду тронувшись с места. Но все-таки он остался сидеть и просто глядел на снимок, залоснившийся и слегка помятый в области пышных ничуть, однако, не ставших хуже от этого а потом отвернулся предусмотрительно чтобы не увеличивать предполагаемого смущения у соседа покуда тот оценивал изысканную симметрию ее вздымающихся округлостей. А фактически, когда слегка залоснилось это только еще придает пикантности как если когда белье не совершенно свежее, оно не хуже, а фактически даже лучше когда крахмал сошел. А вдруг ее дома не будет, когда он? Искал я лампу о которой она сказала мне вчера * мелькнуло у него в голове но только на один миг потому что он тут же вспомнил постель утром где все было разбросано и т. п. и книжку про Руби с метим псу хвост (sic) которую весьма подходящим образом утораздилось упасть как

[25] Тогда (Да разожгись!) Ляжки тебе слишком *(франц.)*.

раз вплотную ночного сосуда приносим наши извинения школьной грамматике.

Соседство этого юноши было, несомненно, ему приятно, такого образованного, distingué [26] и при этом с характером, на голову выше обычной дюжинной публики хотя пожалуй про него не подумаешь что он нет все-таки подумаешь. Потом он ведь сказал что карточка симпатичная и уж это верно, что там ни говори, хотя сейчас она заметно раздалась. А почему бы нет? Вокруг этих вещей всегда масса притворства и лицемерия пятно на всю жизнь бульварные листки из кожи лезут разносят о супружеских драмах извечного рода — клеймят незаконную связь с профессиональным игроком в гольф или там с модным актером любимцем публики вместо того чтобы смотреть прямо и честно на все эти темы. Как судьба их свела и как между ними вспыхнула привязанность и имена их начали склонять вместе про все это говорили на суде с письмами полными обычных нежностей и компрометирующих выражений и не оставляющими никаких сомнений в том что они открыто сожительствовали два или три раза в неделю в каком-то хорошо известном приморском отеле и их отношения, повинуясь обычному порядку вещей, вскорости в порядке событий стали интимными. Потом суд выносит условное постановление, окружной прокурор может требовать нового разбирательства, а раз он не добился отмены, условное становится окончательным. Но двое нарушителей, поглощенные преимущественно своей страстью, вполне могли позволить себе все это игнорировать, как они преимущественно и поступали пока дело не попало к адвокату и тот не запустил его законным порядком, представив исковое заявление от имени пострадавшей стороны. Он, Б., имел честь быть рядом с некоронованным королем Эрина * во плоти когда происходил тот исторический fracas [27], когда поверженного вождя, который отстаивал свои позиции до последнего, даже и когда был уже ошельмован как прелюбодей, (вождя) верные соратники в числе десяти или двенадцати а возможно даже и больше проникли в типографию «Инсаппресибла» или нет «Юнайтед Айрленд» (кстати сказать абсолютно несообразное наименование, «Единая Ирландия») и разбили там наборные кассы молотками или чем-то таким в отместку за гнусные инсинуации щелкоперов О'Брайена * сделавших очернительство своей профессией личной жизни трибуна минувших дней. Хотя уже чувствовалось что он разительно изменился он сохранял еще свою впечатляющую наружность хотя одет был небрежно как всегда с этим своим видом непреклонной решимости который долго вводил в заблуждение господ Имяреков пока они не открыли к своему полному замешательству что их колосс стоял на глиняных ногах после того как сами же его возвели на пьедестал, хотя первой это открыла женщина. Заварушка тогда учинилась знатная и в общей свалке Блум получил небольшое повреждение от злонамеренного тычка локтем явно метившего под ложечку, но, к счастью, не возымевшего последствий. У него (Парнелла) по неосторожности сбили шляпу а именно цилиндр, и это исторический факт что именно Блум подобрал ее в этой давке заметив случившееся и желая вернуть ее ему (и он-таки вернул ее ему без малейшего промедления), который, с непокрытою головой, шумно дыша и меньше всего на свете думая про свою шляпу, в то же время был прирожденный джентльмен, болеющий за судьбы страны пускай он и стал на этот путь в первую очередь ради лавров, но это у него было в крови было впитано им еще во младенчестве вместе с молоком матери, знание приличий и хороших манер, и это немедленно проявилось потому что он сразу же повернулся к подателю и с невозмутимою важностью поблагодарил его, промолвив: «Спасибо, сэр», хотя и совершенно иным тоном нежели то светило юриспруденции

[26] Утонченный *(франц.)*.
[27] Шум, скандал *(франц.)*.

чей головной убор Блум сегодня в более ранний час также помог вернуть в надлежащее положение, история повторялась с некоторым различием, после похорон общего друга когда они оставили его со славою своей наедине, исполнив грустный долг проводить его в последний путь.

С другой стороны, сильней всего его возмущали глумливые шуточки извозчиков и иже с ними, которые все это превратили в балаган, без конца похохатывали и делали вид как будто отлично разбираются во всех отчего и почему, хотя в действительности не разбирались ни в чем даже у себя под носом, а все дело никого не касалось бы, кроме двух заинтересованных сторон, не случись оно так что законный супруг сам тоже сделался такой стороной благодаря анонимному письму, как полагается, от неизвестного доброжелателя, который сделался очевидцем их встречи в самый сакраментальный момент, застав их в объятиях друг друга, и привлек внимание к их противозаконным занятиям, и не последуй за этим семейная сцена когда прекрасная грешница на коленях вымаливала прощение у своего господина и повелителя, клятвенно обещая разорвать эту связь и отказать ему навсегда от дома лишь бы оскорбленный супруг согласился взглянуть сквозь пальцы и предать случившееся забвению, она проливала слезы хотя возможно и крокодиловы, поскольку весьма возможно у нее нашлось бы еще несколько. Он лично, будучи по натуре скептиком, был совершенно уверен и без обиняков заявлял что у всякой женщины всегда припасен мужчина или мужчины в списке кандидатов, даже если она лучшая жена в мире и они отлично ладят между собой, на тот случай когда она, прискучив семейной жизнью, решится пренебречь своим долгом и слегка отведать распутства, тогда она начинает их завлекать с нечистыми видами и переносит свои сердечные чувства на другого, именно так и завязываются очень многие liaisons [28] у интересных замужних дам под сорок с мужчинами помоложе, тут никакого сомнения, и сколько угодно известных случаев когда женщины влюблялись это целиком подтверждает.

Заслуживало горького сожаления, что молодой человек, которому благая судьба так щедро отпустила ума как его соседу должен растрачивать свое дорогое время с падшими женщинами, от которых он мог запросто подхватить подарочек на всю жизнь. По самой природе холостого блаженства в один прекрасный день он женится когда на сцене возникнет мисс Суженая однако до той поры дамское общество, это conditio sine qua non [29], хотя у него и были серьезные сомнения пускай он вовсе не собирался выпытывать у Стивена насчет мисс Фергусон (вполне возможно что эта путеводная звезда и привела его в Айриштаун так рано утром), доставит ли ему удовольствие роль скромного ухажера, два а то и три раза в неделю компания хихикающих девиц без гроша в кармане и все положенные прелюдии в виде комплиментов, нежных прогулочек, цветочков и шоколадок. Представить только, как его, бездомного, бесприютного, обирает какая-нибудь хозяйка, хуже мачехи, нет, в его возрасте это слишком ужасно. Странные речи которые порой неожиданно вырывались у него привлекали того из двух мужчин который был несколькими годами старше или даже годился в отцы другому но все-таки ему обязательно надо подкрепиться чем-то существенным, хотя бы взбитое яйцо на цельном материнском питании или, если это невозможно, простое яичко всмятку, Шалтай-Болтай.

— В котором часу вы обедали? — осведомился он у тощей фигуры и утомленного, хотя и без морщинок, лица.

— Когда-то вчера, — отвечал Стивен.

— Вчера! — воскликнул Блум, но потом припомнил что уже на-

[28] Связи *(франц.)*.

[29] Непременное условие *(лат.)*.

ступило завтра пятница. — Ах да, вы хотите сказать, что уже больше двенадцати.

— Стало быть, позавчера, — уточнил себя Стивен.

Буквально ошеломленный этим известием Блум задумался. Хотя они не во всем сходились во взглядах но все-таки имелось некоторое сходство как если бы мысли их текли, так сказать, в одном направлении. В его возрасте когда он пробовал соваться в политику примерно около двадцати лет назад когда он был квази-претендентом на лавры парламентария во дни Фостера-Картечи он тоже как припоминал теперь задним числом (и это само по себе служило источником высшего удовлетворения) питал необъяснимое почтение к подобным крайним идеям. К примеру, когда вопрос о согнанных издольщиках, тогда только зарождавшийся, начинал волновать умы, он, хотя, конечно, не жертвуя ни пенса и не принимая на веру все его догмы, из которых многие не выдерживали критики, с самого начала по крайней мере в теории всецело поддерживал права крестьян, поддаваясь тогдашним веяниям (слабость, от которой, однако, поняв свою ошибку, он впоследствии почти исцелился) и даже заслужил упрек в том что заходит еще дальше чем Майкл Дэвитт в своих радикальных теориях*, он проповедовал одно время всеобщий возврат к земле, и в частности еще и поэтому ему так неприятны были инсинуации в его адрес, которые столь нагло выдвинул один наш друг на сходке кланов у Барни Кирнана так что он, хотя и будучи сплошь и рядом понимаем превратно, а также будучи, следует это подчеркнуть, самым невоинственным из смертных, отошел от своих привычек и двинул его (метафорически) прямым в челюсть, хотя что касается политики как таковой он прекрасно понимал, к каким жертвам всегда приводят пропаганда и раздувание взаимной вражды, фатально обрекая на нищету и страдания прежде всего самый цвет молодежи и обеспечивая, так сказать, выбивание наиболее приспособленных.

Как бы там ни было, взвесив все про и контра и взяв в расчет, что дело движется к часу, пора уже было отправляться на боковую. Трудность состояла в том что было рискованно вести его к себе домой, тут не исключались случайности (с таким-то норовом как у нее) которые испортили бы всю музыку как в ту ночь когда он, не подумав, привел домой собаку (неизвестной породы) с перебитой лапой (пожалуй оба случая были не совсем одинаковы но и не совсем различны он ведь тоже поранил руку) на Онтарио-террас, о чем он никак не забывал, все это пройдя, так сказать. С другой стороны было уже заведомо слишком поздно чтобы говорить про Сэндимаунт или там Сэндикоув так что он пребывал в замешательстве какую из двух альтернатив. По зрелом размышлении все указывало на то, что ему следует полностью и до конца использовать выпавшую возможность. Вначале у него было впечатление что он отчасти высокомерен и слишком сдержан но это ему даже как-то импонировало. Но, во-первых, он мог, что называется, совсем и не ухватиться за такую идею, если ему сказать, а потом больше всего его беспокоило, что он даже не представлял себе как к этому подойти и в каких словах выразить, если бы он положим принял бы предложение что ему бы доставило просто огромное личное удовольствие, если бы он позволил ему помочь по части финансов или чего-нибудь из одежды, если бы оказалось впору. Во всяком случае, он остановился на следующем решении, временно исключив из внимания приблудный прецедент, чашку какао Эппса и импровизированное ложе с использованием одного или двух ковриков и свернутого пальто в качестве подушки по крайней мере, он будет в надежном месте и в тепле как селедка под шубой в этом варианте ему не предвиделось никаких больших неприятностей при том постоянном условии если не разыграется сцена. Надо было действовать, поскольку тот душа-человек, соломенный вдовец, как будто прилип к своему месту, казалось и

не думая поспешать в любимый Куинстаун и скорей всего в ближайшие дни в каком-нибудь веселом доме поблизости от Нижней Шериф-стрит среди увядших красоток где старость не порок следовало бы искать следы этого подозрительного субъекта который терзал бы там их (русалок) чувства историями про шестизарядные револьверы происходящими у тропиков и леденящими кровь и по ходу дела вольготно лапал бы их обширные прелести присовокупляя к сему щедрые возлияния самогона и, по привычке, хвастливые басни про самого себя потому что кто он такой на самом деле обозначим мой адрес и мое настоящее имя через икс, как выражается мадам Алгебра passim [30]. В то же время он продолжал про себя довольно посмеиваться своей деликатной отповеди рыцарю крови и ран насчет того что его Бог еврей. Человек смирится, если его тяпнул волк, но от овцы ему до смерти обидно. Это же было самым уязвимым местом и у нежного Ахилла. Ваш Бог был еврей. Потому что похоже они все думали он происходит из Каррика-на-Шанноне или еще откуда-то в графстве Слайго.

— Я что предлагаю, — промолвил наконец наш герой, основательно поразмыслив и целомудренно пряча ее снимок, — ведь тут ужасная духота, давайте-ка пойдем ко мне и там обо всем договорим. Моя берлога отсюда совсем поблизости. Это пойло нельзя пить. Вы любите какао? Только погодите, я расплачусь.

Самым наилучшим, без сомнения, было отчаливать, а остальное, это уж просто плыть по ветру, и он, целомудренно спрятав снимок, сделал знак хозяину хибары, который, видимо, не.

— Да, это самое наилучшее, — заверил он Стивена которому по сути дела в «Бронзовую Голову» или к нему или еще куда-нибудь было более или менее.

Мириады утопических планов роились в его (Б.) неутомимом мозгу, образование (подлинно высокого уровня), литература, журналистика, конкурсные рассказы, современная реклама, концертные турне по английским курортам и водам, где множество театров, с полными сборами, дуэты на итальянском языке с безупречным произношением и масса других вариантов, о которых, конечно, незачем трезвонить на весь свет и его окрестности, была бы капелька везения. Надо только удачный старт. Поскольку он был почти уверен что тот унаследовал голос от отца, он возлагал на это свои надежды, на это ведь были просто все шансы так что было бы неплохо и нисколько не повредило бы навести на это разговор чтобы.

Кэбмен прочитал по газете которой он завладел что бывший вице-король, граф Кадоган, председательствовал на официальном обеде Ассоциации кэбменов где-то в Лондоне. Эта волнующая весть была встречена молчанием и парой зевков. Потом древний тип в углу еще сохранивший, видимо, искру живости прочитал что сэр Энтони Макдоннелл отбыл с Юстонского вокзала в резиденцию главы канцелярии или что-то в этом роде. Зачем, откликнулось эхо на столь захватывающее сообщение.

— Дай-кось, дедок, я гляну на эту хрестоматию, — вмешался бывалый мореход, выказывая природное нетерпение.

— Сделай милость, — любезно отвечал старикан.

Моряк извлек из бывшего при нем футляра пару зеленоватых очков и с большою неторопливостью вздел их себе на нос и на оба уха.

— Никак, глаза подгуляли? — поинтересовался сочувственно персонаж, похожий на секретаря городской управы.

— Да вишь ты, — объяснил мореплаватель с бородой шотландских цветов, как видно, не чуждый скромных литературных интересов, глядя через зеленые иллюминаторы, каковыми вполне можно

[30] Тут и там *(лат.)*.

было их назвать, — приходится читать в очках. Все из-за песка в Красном море. Раньше-то я, как говорится, мог хоть впотьмах читать. А что больше всего любил, так это «Тысяча и одна ночь» и еще «Алая как роза»*.

Сделав это признание, он ухватил в лапищи газету и погрузился бог весть во что, найден утопленник или подвиги короля крикета, Гневингдом заработал сто с чем-то очков, вторые воротца, еще в игре, за Ноттингем, меж тем как хозяин (ноль внимания на гнев и на дом) усердно потел и пыхтел над своим левым башмаком новым или только что с рук который по всей видимости невыносимо жал ему, ворча на того кто продает этакое, а все еще не совсем уснувшие, то есть судя по выражениям их лиц, либо хмуро глазели молча, либо бросали пустячные замечания.

Коротко говоря, Блум, полностью оценив обстановку, первый поднялся с места, опасаясь злоупотребить их гостеприимством и первым делом мудро и ненавязчиво предварив обращение к нашему хозяину (во исполнение обещания расплатиться), в качестве намека на расставание легким кивком незаметным для остальных и говорящим что должная сумма готова к выдаче, в итоговом размере четырех пенсов (каковые он ненавязчиво и выложил четырьмя медяками, буквально последними из могикан) поскольку он заранее собрал недвусмысленные данные по печатному прейскуранту для всех устремляющихся прочесть напротив него кофе 2 п, кондит. изделия —»—, ей-ей, любитель дал бы и вдвое, как говаривал Везерап.

— Пойдемте, — посоветовал он, дабы закрыть заседание.

Увидев что уловка удалась и брег чист, оба покинули приют или если угодно хибару вместе с избранным ее обществом в лице бушлата и Ко, которых ничто кроме землетрясения не могло бы вывести из dolce far niente. Стивен, признавшись, что он все еще очень утомлен и слаб, замешкался у, на минуту, дверей.

— Я никогда не мог понять одного, — сказал он, решившись на сей экспромт из жажды оригинальности. — Зачем они переворачивают столы на ночь, то есть хочу сказать стулья переворачивают на столы в кафе.

Блум, не лезущий за словом в карман, парировал импровизацию, не задумываясь:

— Чтобы наутро подмести пол.

С этими словами он сделал ловкий маневр, извинившись, но в то же время не скрывая намерения очутиться справа от своего спутника, по свойственной ему привычке, поскольку правая сторона была его, заметим мы в скобках, используя классическую идиому, его ахиллесовой пятой. Дышать ночным воздухом сейчас было истинным наслаждением, хотя Стивен еще не совсем твердо держался на ногах.

— Он (воздух) вас мигом приведет в форму, — посулил Блум, разумея тут и прогулку. — Главное, это пройтись, и вы почувствуете себя другим человеком. Пойдемте. Тут недалеко. Вы обопритесь на меня.

Соответственно он взял Стивена под правую руку своею левой и повлек его соответственно по дороге.

— Да-да, — отвечал тот не вполне уверенно поскольку ему подумалось он чувствует как его касается нечто странное плоть другого человека какая-то мягкая, дряблая и т. п.

Так или иначе, они прошли будку сторожа с булыжниками, жаровнею и всем прочим, где временный работник городских служб, экс-Гамли, по-прежнему на свой страх и риск пребывал в объятиях Мэрфи, по известному выражению, во сне мечтая о тенистых лесах и зеленых лугах. А насчет гроба, набитого булыжниками, между прочим, совсем неплохая аналогия, ведь, по сути дела, его именно и забили камнями эти семьдесят два из восьмидесяти с чем-то там вы-

борщиков, которые переметнулись в момент раскола, и, главным-то образом, хваленое крестьянское сословие, небось, те самые согнанные издольщики, которым он вернул их наделы.

Прокладывая рука об руку путь через Бересфорд-плейс, они перевели разговор на музыку, ту форму искусства, к которой Блум, чисто любительски, питал настоящее обожание. Музыка Вагнера, хотя, конечно, по-своему великая музыка, для Блума была тяжеловата и трудно следить когда в первый раз но вот «Гугеноты» Меркаданте или «Семь последних слов на кресте» Мейербера, а также Двенадцатая месса Моцарта, этим он просто упивался, а «Глория» из названной мессы была для него венцом первоклассной музыки как таковой, рядом с которой все остальное это буквально жалкий писк. Он бесконечно предпочитал священную музыку католической церкви всему что могла в этой области предложить конкурирующая фирма как, скажем, гимны Муди и Сэнки* или же «Призови меня к жизни, и я буду жить верным твоим протестантом»*. Он также не уступил бы никому в своем восхищении «Stabat mater» Россини, вещью, где просто россыпи бессмертных шедевров, его жена, мадам Мэрион Твиди, имела в ней потрясающий успех, это была настоящая сенсация, он мог с уверенностью сказать, которая прибавила ей немало лавров, а все другие оказались совершенно в тени в церкви отцов-иезуитов на Верхней Гардинер-стрит, святое место было до самых дверей заполнено виртуозами или верней virtuosi, что собрались ее послушать. Все в один голос говорили, что с ней никто не сравнится, достаточно сказать, что в подобном месте, где исключительно богослужения и духовная музыка, ее с восторгом вызывали на бис. В целом, хотя и отдавая предпочтение легким операм такого рода как «Дон Жуан» или «Марта», этот своего рода перл, он питал склонность, хотя и при поверхностном знании, к строгой классической школе, каков, скажем, Мендельсон*. Говоря об этом и полагая несомненным, что он хорошо знаком с излюбленными ариями прошлого, он упомянул par excellence [31] арию Лионеля из «Марты», «Когда явился...», которую, по любопытному совпадению, ему удалось послушать или, точней говоря, подслушать, вчера, и это весьма ценимый им подарок судьбы, в исполнении почтенного отца Стивена, совершенно образцовом и оставляющем все другие далеко позади. На весьма обходительно заданный вопрос Стивен ответил, что не исполняет ее, однако начал превозносить песни Шекспира, или, по крайней мере, того или приблизительно того периода, а также лютниста Дауленда*, жившего на Феттер-лейн рядом с ботаником Джерардом, того, который annos ludendo hausi, Doulandus[32], инструмент, что он собирался приобрести за шестьдесят пять гиней у мистера Арнольда Долмеча *, коего Б. не мог припомнить, хотя фамилия звучала явно знакомо, Фарнаби и сына с их изощренным голосоведением и Бёрда (Вильяма)*, который играл на верджинале, как он сказал, в капелле королевы и всюду, где представлялся случай, и некоего Томкинса*, сочинявшего песни и арии, и Джона Буля*.

По дороге, к которой они приближались, продолжая беседу, за висячею цепью громыхала по булыжникам лошадь, волоча уличную подметалку и оставляя за нею длинную полосу сора, и Блум усомнился, не помешал ли ему грохот правильно расслышать про шестьдесят пять гиней и Джона Буля. Он поинтересовался, тот ли это Джон Буль, который та самая политическая знаменитость, поскольку его поразило, два совершенно одинаковых имени, поразительное совпадение.

За цепями коняга стал медленно поворачивать, и Блум, бывший,

---

[31] Здесь: в первую очередь *(франц.)*.

[32] Играя, расточил годы Дауленд *(лат.)*.

как всегда, начеку, слегка тронув спутника за рукав, шутейно предостерег:

— Этой ночью наши жизни в опасности. Поберегитесь-ка этого парового катка.

Засим они остановились. Блум посмотрел на конскую голову, которая даже отдаленно не выглядела на шестьдесят пять гиней, неожиданно вынырнув из темноты совсем рядом, так что показалась какой-то новой, совсем иным собраньем костей, а равно и мяса, ибо это явно был тихоход, хромоног, вислогуз, тощебрюх, полусдох, вставший с задней ноги, а владыка его творения восседал на своем насесте в глубокой задумчивости. Такая право славная жалкая скотинка, он тут же пожалел, что у него нет с собой куска сахару, однако мудро помыслил, что едва ли возможно заранее предусмотреть все случайности, какие могут возникнуть. То был самый простой коняга, здоровенный, пугливый, дурковатый, без всяких признаков задних или передних мыслей. Но даже ведь и собака, размышлял он, хоть, скажем, эта дворняга у Барни Кирнана, если таких размеров, то встретишь — и душа в пятки. Только животное-то не виновато, если оно таким уродилось, наподобие верблюда, корабля пустыни, который в своем горбу перегоняет виноградную лозу в самогон. Девять десятых из них можно держать в клетках или дрессировать, человеку все подвластны, кроме одних пчел. Кита гарпуном огарпошить, крокодилу пощекотать шейку и тут же он поймет твою шутку, петуха в меловой круг, для тигра мой орлиный взгляд. Эти актуальные раздумья касательно зверей полевых занимая его ум несколько отвлекли его от слов Стивена меж тем как корабль улицы продолжал маневрировать, а Стивен рассуждать о крайне интересном старинном.

— О чем бишь я говорил? Ах, да! Жена моя, — поведал он, переходя сразу in medias res [33], — будет ужасно рада познакомиться с вами, она просто обожает всякую музыку.

Будучи в профиль к Стивену, он искоса глянул дружелюбно на его профиль, вылитый его матери и вовсе не так уж напоминающий тот обычный тип пригожего негодяя, которому они неоспоримо так все и вешаются неуемно на шею нет видимо таким он не уродился.

Все-таки, если допустить что отцовский дар перешел к нему, в чем он почти что был убежден, то это открывало в его сознании новые горизонты как то Ирландские ремесла под эгидой леди Фингалл, концерт в прошлый понедельник, и вообще аристократия.

Теперь он описывал изящные вариации на тему «Проходит молодость» Яна Питера Свелинка*, голландца из Амстердама, где фривольные дамы. Но еще больше нравилась ему старинная немецкая песня Иоханнеса Иеепа * про спокойное море и голоса сирен, нежных человекоубийц, что несколько напугало Блума:

Von der Sirenen Listigkeit
Tun die Poeten dichten[34].

Эти начальные такты он пропел и перевел extempore [35]. Блум кивнул головой и сказал, что он отлично все понял и просит его продолжать, что тот и сделал.

Голос (тенор) такой изумительной красоты, редчайший дар, который Блум оценил с первой же услышанной ноты, без труда мог бы, если бы только его поставил как следует какой-нибудь признанный специалист по вокалу, например, Барраклоу, и если бы еще он умел читать ноты, диктовать свои цены, тогда как баритоны шли пятачок пучок, и в недалеком будущем обеспечить своему счастливому обладателю entrée [36] во все светские салоны самых фешенебельных квар-

[33] К сути дела *(лат.)*.
[34] Сирен коварство и красу
Поэты воспевают *(нем.)*.
[35] Экспромтом *(лат.)*.
[36] Вход *(франц.)*.

талов, к магнатам большого бизнеса и титулованным особам а там с его университетским дипломом бакалавра искусств (тоже недурная реклама своего рода) и манерами истинного джентльмена (что очень усиливает благоприятное впечатление) он непременно завоюет успех, имея умную голову которая тут тоже не лишнее и все остальное что требуется, вот только надо бы его как следует приодеть, так чтобы наилучшим образом войти к ним в расположение, потому что он сам, будучи юным новичком в светских изысках по части наряда, верно, не понимает еще, до чего подобные мелочи способны вам повредить. Фактически это все было делом нескольких месяцев и ему явственно уже виделось как он участвует в их музыкальных вечерах и приемах, особенно в пору рождественских праздников, вызывая легкий переполох в дамском курятнике и пользуясь повышенным вниманием искательниц новых ощущений, такие случаи, он хорошо знал, были вовсе не редкость — да он и сам, фактически, в свое время, только не будем трубить об этом, если бы захотел, имел полную возможность. Притом конечно надо еще учесть финансовые поступления что тоже отнюдь не плевое дело, а весомое прибавление к его преподавательскому бюджету. Это не значит, в скобках заметил он, что ради презренной выгоды он непременно должен обручиться с подмостками всерьез и надолго, в качестве жизненной карьеры. Но это был бы шаг в верном направлении, тут ничего не возразишь, и как с денежной, так и с духовной точки зрения это никак не могло принизить его достоинство, а ведь часто бывает просто донельзя кстати, если тебе вдруг вручают чек в самый критический момент, когда и любая безделица тоже помощь. Кроме того, хотя в последнее время вкусы сильно испортились, но вот такая оригинальная музыка, далекая от привычной рутины, должна очень быстро войти в моду, поскольку это будет большой новинкой для дублинского музыкального мира после всего надоевшего потока слащавых соло для тенора который изливают на бедную публику Айвен Сент-Остелл и Хилтон Сент-Джаст* и genus omne [37]. Да, без тени сомнения, он мог бы, все козыри у него в руках, и есть самая благоприятная возможность к тому, чтобы сделать себе имя и достичь во мнении сограждан таких высот, с которых он сможет диктовать твердую цену и, наперед договорившись, устроить парадный концерт в заведении на Кинг-стрит, будь только у него некоторая поддержка, если бы — но тут, однако, большое если — кто-то проталкивал его наверх, так сказать, и помогал обойти всякие неизбежные препоны на которых так часто спотыкаются молодые да ранние слишком избалованные успехом. Причем это даже на йоту не будет его отвлекать от остального, раз он сам себе хозяин, у него масса времени для занятий литературой в свободные минуты когда душа пожелает это не противоречит его певческой карьере и не вредит ей нисколько потому что его забота и никого не касается. Фактически ему все просто само шло в руки, и по этой-то именно причине тот, другой, имея на редкость острый нюх на любую поживу, так к нему привязался.

Как раз в этот момент лошадь. И погодя при подходящей возможности он (Блум) вознамерился, нисколько не вмешиваясь в его личные дела по принципу *дуракам закон,* посоветовать ему порвать отношения с неким многообещающим лекарем который, как он заметил, весьма пренебрежительно обращался с ним и даже отчасти под видом шутки в его отсутствие не прочь был и очернить его, или как уж вы назовете это, каковой образ действий по скромному мнению Блума выдавал весьма некрасивый характер его характера, простите за нечаянный каламбур.

Лошадь, дойдя, так сказать, до предела, остановилась и, гордою дугою высоко взметнув хвост, внесла свою лепту, уронив на дорогу,

---

[37] Вся братия *(лат.).*

которую щеткам предстояло вскоре мести и скрести, три дымящихся кома навоза. Неторопливо и троекратно, раз за разом, опорожнилась она из вислого своего гузна. И, чистым гуманизмом движимый, ждал кучер, покуда она (или он) закончит, недвижим и терпелив, на своей снабженной косами колеснице.

Воспользовавшись неожиданной задержкой, Блум и Стивен прошли бок о бок через свободный прогал в цепях, справа и слева от столбика и, преодолев навозную зону, направились по Нижней Гардинер-стрит, меж тем как Стивен уже уверенней, но по-прежнему негромко, пел заключительные слова баллады:

Und alle Schiffe brücken[38]

Кучер не произнес ни слова, дурного, доброго или безразличного, но попросту смотрел, как две их фигуры, *в шарабанчике сидя своем,* обе в черном, одна полная, другая худая, направляются к железнодорожному мосту, *чтоб отец Махер их обвенчал.* По пути они порой останавливались, потом снова шли, продолжая свой тет-а-тет (в котором он, разумеется, не участвовал) о коварных сиренах, лишающих мужчин разума, примешивая к этому и ряд других тем аналогичного рода, о захватчиках, вместе с историческими примерами таковых между тем как человек на подметальной повозке или если угодно назовите ее подгребальной повозкой который в любом случае не мог ничего услышать потому что они уже были слишком далеко сидел просто на своем сиденье в конце Нижней Гардинер-стрит, *глядя их шарабанчику вслед.*

[38] И все корабли мостить *(нем.).*

(Продолжение следует)

Сильвия Бич и Дж. Джойс после выхода «Улисса». 1922.

Комментарии

XVI. Эвмей

Шестнадцатый эпизод открывает третью, последнюю часть романа — «Возвращение домой». После шума, суеты, бесконечных перевоплощений «Цирцеи» читатель попадает совсем в иную атмосферу. Блум, спасший пьяного Стивена от неприятностей с полицией, ведет его к себе домой по ночным дублинским улицам. Время позднее — за полночь. Стивен еще не успел протрезветь, Блум чувствует себя очень утомленным и после всех событий дня, и после скандала в публичном доме.

Вот эту усталость, сбивчивость мыслей, путанность ассоциаций и должна передать проза. Поэтому здесь то и дело возникает внутренний монолог, в котором, предвосхищая последний эпизод романа, нередко отсутствуют знаки препинания. Поэтому часто такими монотонными, нудными, растянутыми бывают периоды и целые абзацы. Во всем чувствуется усталость. Проза, как однажды заметил Джойс, «буксует от утомления».

В философско-этическом отношении этот эпизод очень важен. В дешевенькой забегаловке, где собираются дублинские возчики, происходит наконец окончательная встреча Стивена и Блума, сына и отца, молодости и зрелости. Известный критик Сирил Коннолли писал по поводу «Эвмея»: «Весь смысл „Улисса" — в едином мгновении близости Блума, смешного, комического персонажа, к Стивену, которого он вытащил из пьяной драки. У Блума умер сын. У Стивена, впрочем, отец жив. Но дело, конечно, не в этом: важно духовное отцовство».

Ведущая, постоянно варьирующаяся тема эпизода — возвращение, возвращение в отчий дом. Впрочем, как всегда, Джойс трактует тему расширительно; поэтому здесь поминаются и Синдбад, и Летучий Голландец, и Парнелл, который, как птица феникс, должен возродиться и вернуться в Ирландию. Поэтому Блум соотносится не только с Одиссеем, но и с Агасфером, и вообще с любым странником и изгнанником.

Надо заметить, что и сам Джойс возвращается в этом эпизоде ко многим ранним темам, скажем, к тем, что он затрагивал в «Портрете художника в юности» или же в лирическом эссе «Джакомо Джойс». «Эвмей» — эпизод при всей сдержанности письма Джойса очень личный. В значительной степени отношения героев, прежде всего Стивена и Блума, отражают отношения, которые были у самого Джойса с отцом и братом Станиславом. В детстве Джойс восхищался отцом, которого знал буквально весь Дублин. Повзрослев, он стал тяготиться им, а позже и стесняться. Однако его смерть пережил мучительно. Не меньшей сложностью отличались его отношения со старшим братом, который был отчасти его литературным секретарем. У Станислава было литературное дарование, конечно, не сопоставимое с талантом брата. Естественно, что он всегда находился в тени Джеймса, или, как он называл брата, Джима. Переносить это Станиславу было не очень легко. Если он и не завидовал славе брата, то все же ревновал его к успеху, к друзьям. Вопреки воле Джойса Станислав не раз выступал его критиком, причем отнюдь не всегда лицеприятным. Так, он не

Сильвия Бич на пороге своего книжного магазина. 1920.

принял некоторые эпизоды «Улисса», а «Поминки по Финнегану» считал книгой не просто неудачной, но свидетельствующей о «размягчении мозгов брата». Станислав оставил бесценные дневники, в которых запечатлел образ Джеймса Джойса. Вот одно из его наблюдений: «Думаю, что со временем Джим станет для Ирландии тем же, чем Руссо для Франции... Джим умел располагать к себе людей, но по сути своей не был милым и приятным человеком... Вот он сидит на коврике у камина, обхватив руками колени, чуть закинув голову назад, на его вытянутом лице пляшут отблески пламени, а потому оно кажется лицом индейца — жестоким, непреклонным. Если вы сделаете Джиму любезность, не ждите любезности в ответ...»

Действие происходит в «хижине Эвмея» — «Приюте извозчика», куда Блум приводит Стивена. Орган, который символически представляет эпизод, — нервная система. Искусство — мореплавание, а потому и главный символ-лейтмотив — моряк, мореплаватель. Но, конечно, Джойсу в первую очередь важен пловец в море житейском.

Стоит обратить внимание читателей, что техника эпизода напоминает ту, которая использована Джойсом в эпизоде «Телемак». Разница в «зрелости прозы»: там была проза юная, молодая, дерзкая, спешащая; теперь она зрелая, умудренная опытом, а потому несколько утомленная. В «Телемаке» фигурировали персонажи молодые. В «Эвмее» все, кроме самого Стивена,—люди в летах.

Гомеровские параллели, видимо, следует искать на прямых соответствиях: скажем, хозяин «Приюта извозчика» — Эвмей. Особенно важна сама идея поисков себя, своей сути. Одиссей по совету Афины появляется в хижине Эвмея, изменив свое обличье. Телемаку еще предстоит узнать отца. Так и Стивену еще предстоит узнать Блума, понять, что несет в своем сердце этот нелепый, путающий литературные цитаты и композиторов человек.

...ни единого Иуя... — на сленге «иуями» назывались лихие возчики. Слово восходит к Библии (ср. Вторая книга Паралипоменон, 19,2, Третья книга Царств, 16,1).

Юпитер Плювий — т. е. Юпитер, посылающий дождь.

...Стивену вздумалось подумать об Ибсене, который связывался с мастерской камнереза Берда в уме у него каким-то образом на Талбот-плейс... — на Талбот-плейс располагались конторы инженеров, строителей. Стивен, как это ясно из романа «Портрет художника в юности», подобно самому Джойсу, горячо восхищался Ибсеном. Известно, что молодой Джойс послал Ибсену восторженное письмо; чтобы читать произведения драматурга в подлиннике, он выучил норвежский язык и вообще всячески отстаивал авторитет Ибсена в Ирландии, где к нему в начале века относились сдержанно-скептически. Довольно странно, что в «Улиссе» Ибсен упоминается только однажды.

Где ж дивный хлеб, не умолчи? — ср. Шекспир, «Венецианский купец», акт III, сц. 2.

...устроиться в «Бронзовой Голове»... что отдаленно напомнило его собеседнику о брате Бэконе — «Бронзовая Голова» — старинная гостиница в Дублине. Стивен вспоминает пьесу Роберта Грина (1558—1592) «Брат Бэкон и брат Бонгей» (1589), в которой описывается достаточно стандартный любовный треугольник. Брат Бэкон после долгих и мучительных трудов создает «бронзовую голову», которая, по его замыслу, должна предсказать будущее Англии. Однако ничего умного, кроме слов: «Время

Т. С. Элиот. 1928.

Э. Хемингуэй. 1928.

есть... Время было... Время прошло», голова не изрекает, и Бэкон в ярости уничтожает ее.

Карл Роза — оперная труппа, основанная в 1873 г. немецким скрипачом и дирижером Карлом Розой (1842—1889). Труппа Карла Розы в основном гастролировала в Англии, в 1873 г. впервые появилась в Дублине, где выступала с большим успехом.

Джеймс Фицхаррис — соучастник террористического акта ирландских националистов в Феникс-парке. Был приговорен к пожизненному заключению, но освобожден в 1902 г. Свидетельств, что Фицхаррис когда-либо держал «Приют извозчика», не сохранилось. Однако возможно, что после своего освобождения он служил там ночным сторожем.

Бен Болт и Алиса — персонажи популярной английской песни на слова Томаса Дана Инглиша и Нельсона Нисса. Бен Болт, моряк, после двадцатилетнего отсутствия возвращается и узнает, что его жена Алиса умерла.

«Энох Арден» (1864) — стихотворение Теннисона. Энох тоже моряк, как и Бен Болт. Судно, на котором отплыл Энох, терпит крушение, когда же Энох возвращается, то узнает, что его жена Анни Ли, считая его погибшим, вышла замуж за другого. Но чтобы не разрушить счастье любимой женщины, он до конца своих дней скрывает от всех близких, кто же он на самом деле.

Кривой О'Лири — герой одноименной баллады Джона Кигана (1809—1849).

Джон Кейси — Блум путает Джона Кигана с другим ирландским поэтом-патриотом Джоном Киганом Кейси (1846—1870), которого соотечественники называли «бедным» из-за того, что он, как член фенианского общества, долго был в заключении. После тюрьмы Кейси много болел и рано умер.

«Лицо в окне» — популярный роман из дешевой серии «Романы Ее Величества». В романе лицо в окне становится зловещим символом грядущего убийства.

...подальше от обезумевшей толпы... — ср. с заглавием романа Томаса Гарди «Вдали от обезумевшей толпы» (1874), взятым из элегии Томаса Грея «Сельское кладбище».

...Хоут с его историческими и прочими ассоциациями — во время восстания Шелковому Томасу удалось ненадолго захватить Хоут, важный стратегический порт.

Грэйс О'Молли — по легенде лорд Хоут отказал Грэйс О'Молли в приюте, когда она шла через Хоут после посещения королевы Елизаветы. За это Грэйс выкрала сына лорда Хоута и в качестве выкупа потребовала, чтобы лорд распахнул перед ней двери во время обеда.

Георг Четвертый высадился в Хоуте во время своего приезда в Ирландию в августе 1821 г. Это было важное политическое событие, поскольку он был первым английским королем, который после Кромвеля побывал в Ирландии.

...весной когда желанья молодых... — строчка из стихотворения Теннисона «Локсли Холл» (1842).

...от Колонны — имеется в виду колонна Нельсона в центре Дублина.

Поэтому когда непобедимые совершили эти убийства в Парке, то грешили на иностранцев, потому что как раз ножами — при разбирательстве убийства в Феникс-парке некоторые были склонны считать, что повинны в нем иностранцы. Доводом в пользу такого мнения было то, что ирландские националисты в качестве «орудия мщения» чаще всего использовали бомбу.

...неведенья блаженную невинность... — ср. Томас Грей, «Ода Итонскому колледжу» (1742).

...наш папаша из Скибберина... — в анонимной ирландской балладе «Старый Скибберин», относящейся к периоду Великого голода, отец рассказывает сыну, почему они решили покинуть страну.

...розовую газетку, продукцию Эббистрит... — имеется в виду цвет бумаги, на которой печаталась «Ивнинг телеграф»; редакция этой газеты находилась на Эббистрит.

Не бойтесь продающих тело, однако души не властных купить — ср. Евангелие от Матфея, 10,28: «И не бойтесь убивающих тело, душй же не могущих убить...»

...этого персонажа Антонио (не смешивать с его тезкою, персонажем драмы, родившимся под пером нашего национального

Книжный знак магазина «Шекспир и компания» Сильвии Бич.

поэта)... — имеется в виду купец, персонаж драмы Шекспира «Венецианский купец».

...у всякого старого морехода... про шхуну «Геспер»... — см. известную поэму Колриджа «Сказание о Старом Мореходе» (1798) и балладу Лонгфелло «Крушение шхуны „Геспер"». (1840).

Уильям Ледвидж (1847—1923) — дублинский певец (сценическое имя — Людвиг). Выступал в группе Карла Розы и с успехом пел в «Летучем Голландце» в театре «Гэйети» в 1877 г.

Беатриче Портинари (1266 — 1290) — флорентийка, «муза» Данте. Однако Боккаччо предполагал, что она была его возлюбленной; на это и намекает Джойс.

Сан Томазо Мастино — речь идет о Фоме Аквинате («бульдоге Аквинате»).

Музей на Килдер-стрит — т. е. Национальный музей Ирландии.

Джем (Джеймс) Маллинс (1846—1920) — крестьянин по происхождению, ирландский патриот, врач; личность, весьма почитаемая в Ирландии из-за своей близости к Парнеллу и Дэвитту.

Располагая конфиденциальной информацией... независимо от того, желанна ли та цель... — здесь пародируется знаменитый монолог Гамлета — ср. акт III, сц. 1.

Кроткое слово гнев побеждает—ср. Книга Притчей Соломоновых, 15, 1: «Кроткий ответ отвращает гнев...»

...каждая страна... имеет такое правительство, какого она заслуживает — эти слова принадлежат французскому философу, писателю Жозефу де Местру (1753—1821).

А Первое послание к евреям... то кто мой пращур — Апостол Павел написал лишь одно послание к евреям. Ирония Стивена в том, что статья мистера Дизи обращена к «избранным».

...в пятнадцатой комнате...— именно здесь, в пятнадцатой комнате ирландского парламента, Тимоти Хили 6 декабря 1890 г. добился отстранения Парнелла от руководства.

Это все та шлюха, та сучка английская ему удружила — Кэтрин О'Ши (1845—1921), возлюбленная Парнелла, была по происхождению англичанкой.

Искал я лампу о которой она сказала мне вчера... — ср. «Песнь О'Рурка, графа Бреффни» Томаса Мура.

Некоронованный король Эрина — т. е. Парнелл.

Уильям О'Брайен (1852 — 1928) — главный редактор газеты «Юнайтед Айрленд», занимавшей антипарнелловскую позицию.

...Майкл Дэвитт в своих радикальных теориях... — имеется в виду земельная реформа, которую предлагал Дэвитт и по которой владеть землей в Ирландии должны были крестьяне.

«Алая как роза» — сентиментальный роман английской писательницы Роды Броутон (1840—1920).

...гимны Муди и Сэнки...— речь идет об американских евангелистах Дуайте Муди (1837—1899) и Айре Сэнки (1840—1908), проповедниках, авторах ряда популярных гимнов.

«Призови меня к жизни, и я буду жить верным твоим протестантом» — начальные строки стихотворения Роберта Херрика (1591—1674) «К Антии, которая может просить у него всего» (1648). Это стихотворение — классический образец эротической «поэзии кавалеров», а отнюдь не строгого протестантского гимна.

...к строгой классической школе, каков, скажем, Мендельсон — творчество Феликса Мендельсона (1809—1847), автора легких, романтических произведений, никак нельзя считать примером «строгой классической школы» в музыке.

Джон Дауленд (1563—1626) — английский лютнист, композитор.

Арнольд Долмеч (1858 — 1940) — английский клавесинист, скрипач, мастер клавишных и струнных инструментов, популяризатор старинной камерной музыки. К нему в 1904 г. Джойс обратился с просьбой помочь ему приобрести лютню.

Уильям Бёрд (1543—1623) — «атлант английской музыки», композитор, автор многих церковных песнопений, органист королевы Елизаветы.

Томкинс — вероятнее всего, речь идет об ученике Бёрда Томасе Томкинсе (1572—1656), органисте и композиторе.

Джон Буль (ок. 1562—1628) — английский органист, композитор, профессор музыки в Оксфорде. Разумеется, Джойс имеет в виду здесь не только музыканта, но и того Джона Буля, который стал олицетворением английской нации. Такое соединение человека и понятия становится особым источником иронии.

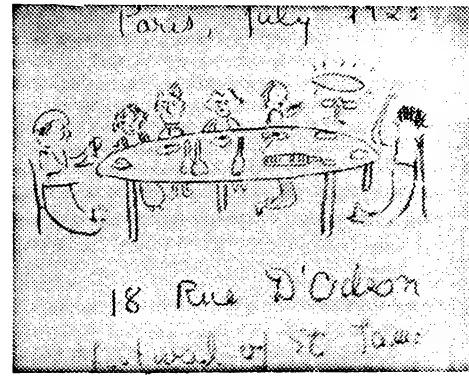
Ян Питерсон Свелинк (1562—1621) — голландский органист, композитор. Музыка Свелинка была очень популярна в елизаветинской Англии.

Ян Иоханнес Иеепп (1582? — 1650) — немецкий композитор и капельмейстер, автор музыки к псалмам, а также светских песен, очень популярных в XVII в.

Айвен Сент-Остелл, Хилтон Сент-Джаст— видимо, псевдонимы оперных певцов, выступавших в Дублине начала XX в.

Е. ГЕНИЕВА

Преклонение перед Святым Джеймсом. Рисунок Ф. С. Фицджеральда. 1928.



◆

Литературное наследие

СЮЭ ТАО

Перевод с китайского и вступление
МИХАИЛА БАСМАНОВА

Последняя четверть восьмого — первая четверть девятого века. Правление династии Тан (618—907 гг.), объединившей под своей эгидой многочисленные царства и княжества в единое централизованное государство. Эпоха наивысшего могущества феодального Китая со столицей Чанъань, двухмиллионное население которой, ее роскошные дворцы и парки так поражали воображение иноземных послов и торговых гостей. Вместе с ростом городов, подъемом экономики, расширением связей с заморскими странами процветают наука и культура. Именно эта эпоха вошла в историю Китая как золотой век поэзии, когда творили равновеликие Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюйи. Их творчество — лишь вершина необозримого айсберга поэзии, в основании которого умещались десятки тысяч произведений, созданных тысячами авторов.

В общественно-политической и культурной жизни Танского Китая со все возрастающей силой пробуждался интерес к древности, к возрождению лучших традиций литературы предшествующих эпох с ее проповедью гуманизма, требованиями правды жизни и прославлением, в противовес религиозному аскетизму, человека и радостей земного бытия.

Шла непрестанная борьба между различными философскими школами, каждая из которых в ходе полемики стремилась подкрепить свою аргументацию ссылками на постулаты мудрецов древности, основоположников даосизма, буддизма, конфуцианства. Все это находило отражение в поэзии, в том числе и в творчестве поэтесс, появление которых стало закономерным итогом определенной демократизации общества и ослабления засилия конфуцианцев, видевших единственное назначение женщины в преданном служении мужу и семье и считавших, что «невежество и есть ее достоинство».

С ростом городского населения и развитием городской культуры, в обстановке массового увлечения литературой и сценическим искусством возник своеобразный институт певиц и танцовщиц, так называемых цзинюй, не обремененных семейными узами, близких по своему образу жизни древнегреческим гетерам. Ни одно официальное торжество или дружеская пирушка не обходились теперь без цзинюй, призванных ублажать гостей и как бы отвечавших за «художественную часть» увеселительной программы. К числу цзинюй относилась в известной мере и Сюэ Тао.

Родилась Сюэ Тао в 768 (?) г. в Чанъани в сравнительно обеспеченной семье. В раннем детстве обозначились ее разносторонние дарования. Она хорошо рисовала, музицировала, сочиняла стихи. Однажды, а ей было в ту пору восемь лет, отец, указав на растущий над колодцем утун, сымпровизировал: «Старый утун на ветру во дворе Вознесся стволом к облакам...» — и предложил дочери завершить четверостишие. Та без промедления выполнила задание: «На север и юг свои ветви простер. Вороны на них здесь и там».

После назначения главы семьи на новую чиновную должность Сюэ Тао оказалась в провинции Сычуань. Вскоре она лишилась отца, а затем и матери. Предоставленная себе самой, она продолжает писать стихи, твердо решив посвятить свою жизнь служению музам. В семнадцать лет ее поэтическая слава вышла далеко за пределы Сычуани. Имя Сюэ Тао было внесено в список придворных певиц и танцовщиц, она была

приближена наместником провинции, который попытался даже выхлопотать для своей избранницы должность секретаря канцелярии.

У Сюэ Тао был гордый и независимый нрав, и она согласилась на роль цзинюй вовсе не потому, что это могло обеспечить более или менее безбедное существование. Нет, ее привлекала возможность целиком отдаться поэтическому творчеству. Вместе с тем поэтесса тяжело переживала положение цзинюй, которых принимали за женщин легкого поведения, недостойных уважения в обществе, не защищенных законом. Порою чувство одиночества и тоски по родному краю захлестывает ее, особенно в дни скитаний по незнакомым местам вслед за своим покровителем или в часы томительных ожиданий его возвращения («Тоскую по родине», «На реке», «Водяной орех на пруду»). Она не может мириться и с тем, что иные смотрят на нее как на вещь, посягают на ее женское достоинство. Прибегая к традиционным приемам намеков и символики, Сюэ Тао выражает свой протест в стихотворении «Пух ивы». В нем за образом ивы легко угадывается она сама, цзинюй, страдающая от бесцеремонных приставаний поклонников.

Сюэ Тао привлекала к себе всеобщее внимание не только красивой внешностью, но и своей эрудицией, проницательным умом, умением поддерживать светскую беседу и состязаться в поэтических экспромтах. Ее дружбы и расположения искали и сановные любители развлечений, и многие известные литераторы. Они участвовали в литературных диспутах в доме Сюэ Тао, переписывались с ней, посвящали ей стихотворения. Далеко не полный перечень включает имена известных поэтов Бо Цзюйи, Ду Му, Лю Юйси, Чжан Цзи и других. Особенно близкие отношения у Сюэ Тао сложились с прославленным поэтом Юань Чжэнем, что подтверждается рядом стихотворений, в том числе в стихотворном цикле «Десять расставаний». В нем в аллегорической форме, через образы птиц, животных, предметов домашнего обихода выражены чувства беспредельной преданности любимому, боль и упрек покинутой «без всяких на то причин» подруги. Как повествуют источники, прочитав стихи, Юань Чжэнь сильно растрогался и вновь вернул Сюэ Тао свое расположение.

Несмотря на обычные для женской поэзии Китая мотивы неразделенной любви, тоски в разлуке и тягостных ожиданий встречи с любимым, творчество Сюэ Тао жизнеутверждающе. Ей даже не чуждо эпикурейство, противостоящее ханжескому аскетизму блюстителей конфуцианской морали. Всем своим существом поэтесса отстаивает право человека на радости жизни в общении с природой, в дружбе и любви. Мир прекрасен. Она не согласна, например, с художником Ваном, которому «все в черном свете видится» (стихотворение «Пишу об увиденном в горах Хушишань»).

Может быть, поэтому в своих произведениях Сюэ Тао предпочитает живописать природу в пору весеннего цветения. Впрочем, она умеет разглядеть ее красоту во множестве проявлений в разные времена года, в разные часы суток, услышать щебетание птиц, веселые голоса собирающих лотос девушек или звуки флейты, прославляющей доблести героя древности. В ее представлении ничто человеческое не чуждо даже буддийскому монаху, уставшему твердить сутры и сменившему четки на свирель («Слушаю игру монаха на камышовой свирели»). Пусть народившийся месяц еще едва заметен, «но скоро станет он яркой луною...». Вот только в человеческой жизни всегда ли так? — размышляет поэтесса.

Стихотворные миниатюры Сюэ Тао отличаются высоким профессиональным мастерством. В них и глубина мысли, и настроение, и владение техникой стиха. Обилие символики, аллегоричности, реминисценций, возможно, несколько затрудняют глубинное прочтение для тех, кто недостаточно знаком с историей, культурой, мифологией Китая, наконец, миропониманием китайцев столь далекой от нас эпохи. И все-таки можно надеяться, что преисполненные искреннего чувства стихи Сюэ Тао вызовут сопереживание у любого читателя.

Весною смотрю вдаль

1

В свой час цветы расцветают —
От нас не зависит это.
В свой час цветы отцветают,
Сколько б ни сетовал ты...
Где он, о ком я тоскую
С рассвета и до рассвета,
Когда цветы расцветают
И отцветают цветы?

2

В знак тесных уз навеки
Венок из цветов сплетаю,
Близкому другу хочу я

В дар отослать венок.
Вешняя грусть без меры
Душу мою терзает...
Тут еще вешней птички
Жалостный голосок!

3

Гнутся цветы под ветром.
Солнце клонится к закату.
Час долгожданной встречи
Все еще так далек!..
Милый, как ни ждала я,
В срок не вернулся обратно.
Я понапрасну сплетала
Уз нерушимых венок!

4

Вынести разве можно
Пышное это цветенье
Тем, кто изведал разлуку,
В мыслях один о другом!
Встала и, в зеркало глядя,
Плачу я в эти мгновенья...
Знает ли только ветер,
Вешний ветер [1] о том?

Тоскую по родине

Извивается быстрый поток,
Что течет у подножья Эмэй[2].
Жаль себя: так не хочется мне
Здесь причаливать лодку свою!
В день какой, покидая Цзиньпу,
Я рассталась с отчизной моей?..
Молча слушаю всплески весла
И звенящую мерно струю.

На реке

Так внезапно обратно погнал
Ветер западный пару гусей[3].
В этом мире и душу и плоть
В равной мере невзгоды гнетут...
Если бы не надежда узнать
Из посланья подробности все,
То зачем бы спешить мне к Цинцзян[4],
Каждый вечер ждать весточки тут!

---

[1] Подразумевается возлюбленный. *(Здесь и далее прим. перев.)*
[2] Гора в провинции Сычуань.
[3] Дикие гуси символизируют вестника.
[4] Название реки в Сычуани.

Водяной орех на пруду

Сплелся с водорослями на пруду,
С ними плавает вместе орех.
Ива тонкая ветви свои
Уронила в прозрачный поток...
И когда я в истоке ручья
Удостоюсь желанных утех?
Собираю ореха цветы,
Направляя по кругу челнок.

Башня над рекой залита светом луны

Осенний ветер над рекой Уцзян
Затих, похоже. Стало холодней.
И чайки с цаплями без устали снуют,
В лучах заката блики на воде.
Сторожевая башня замерла,
Взметнулась в небо радуга над ней.
От зорких взглядов башенных бойниц
Рыбачьей лодке разве скрыться где!..
Янъаньскому мальчонке все равно —
Смеется озорно, в ладоши бьет...
А господин в своих мечтах давно
Уже на живописный юг плывет.

Пух ивы

Во второй месяц пух облетел.
Ива вновь приуныла чуть-чуть[1].
Вешний ветер к земле ее гнет
И срывает одежды с нее.
Нет ни капельки жалости к ней —
Такова ветра вешнего суть.
Он то с севера налетит,
А то с юга вдруг пристает.

Западный утес

Опершись на перила, стою.
Богоравный все видится мне[2]:
На ветру с полной чашей вина
В знак прощанья воздета рука.
Шум дождя понемногу затих,
И мой гость ускакал на коне...
Солнце скрылось. В сгустившейся тьме
Только треск неумолчный цикад.

---

[1] Ива с ее нежными ветвями олицетворяет в древней китайской поэзии женщину.

[2] «Богоравный все видится мне...» — за этим традиционным образом виделся странствующий, ушедший от мира незаурядный ученый (философ, поэт). Здесь, возможно, намек на знаменитого поэта Ли Бо.

Пишу об увиденном в горах Хушишань

Пейзажи Вана[1], думается мне,
В себе одну и ту же мысль таят:
Все в черном свете видится ему,
Все сущее — и прах и суета...
Сегодня оказалась я в горах,
На их вершины устремляю взгляд.
Как на венце лазурном жемчуга,
Они сверкают ярко здесь и там.

На лодке собираю лотос

Ветер лотосы долу гнет.
Всюду лотосы без числа.
Это — осени близкой знак.
Вновь пора улова пришла.
Как стремительно время летит!..
Затихают вдали голоса.
Но вот девушки на реке
Песнь заводят под всплески весла.

Кумирня Чжуланмяо [2]

Чжуланмяо кумирня видна.
Много старых деревьев вокруг.
Скрылось солнце. В закатных лучах
Горы стали еще зеленей.
Из деревни, что над рекой,
Звуки флейты послышались вдруг.
И замолкли. То песня была.
Лана доблести славились в ней.

Слушаю игру монаха на камышовой свирели

На рассвете цикада кричит,
На закате иволги стон.
И весь день — бормотанье молитв,
Бусы четок мелькают в руках.
Но закончено чтение сутр —
И забыт за свирелью канон...
Звуки гонга в осенней тиши
Наплывают издалека.

[1] Имеется в виду Ван Цзай, художник Танской эпохи.

[2] Кумирня (храм) Чжуланмяо находится в Сычуани. Была построена в память о князе Чжу-лане, оказавшем героическое сопротивление войскам императора У-ди (140 — 87 гг. до н. э.).

Ручей Хайтанов

Дивным видом вечерней зари
Насладиться весна зовет.
Стаи рыбок сверкают в ручье,
И цветы повсюду пестрят...
Только в мире людей никто
И не помнит природы красот.
Все друг друга спешат превзойти,
Состязаясь, чей ярче наряд.

Месяц

Месяц, на серп похожий,
В небе повис надо мною.
Словно на веере старом
Ханьского мастера знак[1].
Виден едва. Но скоро
Станет он яркой луною...
А в человеческой жизни
Разве случается так?

Цветы мандаринки [2]

Запах цветов душистых,
Вьющихся по ступеням.
То расцвели мандаринки —
По два на стебле цветка.
Им бы все красоваться
Этой порой весенней,
Осень грядущая с ветром
Их не волнует пока!

Цикады

Травы омылись росою.
Где-то цикады все спорят.
Ветер повеял. И шорох
Листьев засохших слышней.
Разные звуки смешались
В стройном едином хоре,
Пусть и рождаются розно,
Каждый на ветке своей.

---

[1] Имеется в виду рисунок, возможно иероглиф, художника **Ханьской эпохи** (206 г. до н. э.— 220 г. н. э.).

[2] Цветы мандаринки растут попарно, напоминают крылья **уток-мандаринок** в полете; пара этих уток символизирует супружескую чету.

Собака расстается с хозяином

В знатном доме почти пять лет
Свою службу исправно несла.
Хорошо знала дело свое,
И хозяин собаку жалел.
Вдруг, без всяких на то причин,
Расползлась о ней злая молва...
Нити красной не обрела[1],
Быть одной — ее горький удел!

Кисть для письма расстается с рукой

Эту кисть из Юэ и Сюань[2]
Оценить не находится слов.
На отменной бумаге рука
Только ею творила цветы.
Но всему в мире жребий один —
Износиться от долгих трудов...
Жаль, в своем мастерстве не смогла
Вознестись до Сичжи высоты![3]

Лошадь расстается с конюшней

Уши белые. Рыжая масть.
А копыта блестят, как опал.
Мчалась ветра быстрее с утра
То на запад, то на восток.
Но однажды в испуге она
Вбок метнулась — и всадник упал...
Не дождаться теперь седока!
В ее ржанье и боль и упрек.

Ласточка расстается с гнездом

Улетала, чтоб вновь прилететь —
Знатный дом забыть нелегко.
Слова нежности и любви
Говорил ей хозяин тогда.
Под стреху она в клюве несла
И кораллы, и глину с песком...
Только так и не довелось
Под стрехою слепить гнезда!

---

[1] Красная нить — символ брачных уз.

[2] «Кисть из Юэ и Сюань» — букв.: ручка из Юэ, волос из Сюань, то есть из разных местностей.

[3] Ван Сичжи — знаменитый каллиграф в годы правления династии Восточная Цзинь (317 — 420 гг.).

Рыбка расстается с прудом

Не одну она осень жила
В царстве лотоса на пруду.
И, резвясь, красным хвостиком там
Все крючок норовила задеть.
Не ждала, что без всяких причин
Ей средь лотоса жить не дадут...
Не придется ей плавать теперь
Беззаботно в прозрачной воде!

Зеркало расстается с туалетным столиком

Словно зеркало, ярко блестит,
Золотого оно литья[1] —
Народилась недавно луна,
Проплывает в небе ночном.
А насквозь пропыленному здесь,
В суете сует бытия,
Столик яшмовый не занять,
Не вернуться в блистательный дом!

[1] В древнем Китае зеркала изготовлялись, в частности, из металла.

■

ИНГМАР БЕРГМАН

LATERNA MAGICA

Перевод со шведского А. А. АФИНОГЕНОВОЙ

В пятницу 30 января 1976 года возобновились репетиции «Пляски смерти» Стриндберга. Долго болевший Андерс Эк, по его собственным словам, совершенно поправился.

В те неожиданно выдавшиеся свободные дни писательница Улла Исаксон, режиссер Гуннель Линдблум и я работали над сценарием фильма «Райская площадь» по роману Уллы. Производство картины планировалось поручить моей кинокомпании «Синематограф», съемки должны были начаться в мае. Мы были по уши заняты подготовкой — подписывали контракты, выбирали натуру. Только что завершилась работа над моим телесериалом «Лицом к лицу». На конец недели был назначен просмотр киноварианта этого фильма для приезжих американских финансистов. Несколькими месяцами раньше я закончил сценарий «Змеиного яйца», продюсером которого изъявил желание стать Дино Де Лаурентис.

Постепенно, испытывая определенные сомнения, я начал ориентироваться на США. Причина заключалась, естественно, в получении более широких экономических ресурсов — как для меня лично, так и для «Синематографа». Возможность на американские деньги делать качественные фильмы, привлекая других режиссеров, резко возросла. Меня весьма тешила роль продюсера, роль, которую, как мне кажется теперь, я исполнял не слишком удачно. «Синематограф» покоился, однако, на двух стальных опорах — моих близких друзьях и давних соратниках: Ларс-Уве Карлберг (наше сотрудничество началось в 1953 году на съемках фильма «Вечер шутов») держал в руках наш немаленький административный аппарат, а Катинка Фараго («Женские грезы», 1954) занималась нашим все более оживленным кинематографическим производством. Мы арендовали верхний этаж красивого особняка XVIII века у фирмы «Сандревс» и оборудовали там уютные кабинеты, просмотровый зал, несколько монтажных и кухню.

Через месяц-другой нам нанесли визит два вежливых, молчаливых господина из Налогового управления. Разместившись в одном из временно пустующих кабинетов, они занялись проверкой наших счетов, а также выразили желание ознакомиться с документами моей швейцарской фирмы «Персонафильм». Мы немедленно затребовали все бухгалтерские книги и предоставили их в распоряжение этих господ.

Ни у кого из нас не было времени заниматься молчаливыми господами, сидевшими в пустом кабинете. По своим дневниковым записям я вижу, что в четверг 22 января на нас внезапно свалился объемистый меморандум из Налогового управления. Я, не читая, препроводил его моему адвокату.

Несколькими годами раньше — думаю, это было в 1967 году, когда мои доходы начали расти с приятной, но лавинообразной скоростью, — я попросил моего друга Харри Шайна [1] подыскать мне кристально честного адвоката, который взялся бы быть моим экономическим «опекуном». Выбор пал на сравнительно молодого, имевшего хорошую репутацию Свена Харальда Бауэра, который ко всем прочим заслугам был высокопоставленной фигурой в Международной организации скаутов. Он обязался вести мои финансовые дела.

Мы прекрасно ладили друг с другом, и сотрудничество наше было безупречным. Контакт со швейцарским адвокатом, ведшим дела «Персонафильм», тоже был налажен. Деятельность становилась все оживленнее: «Шепоты и крик», «Сцены из супружеской жизни», «Слово безумца в свою защиту» Челя Греде, «Волшебная флейта».

По дневниковой записи от 22 января меня не так беспокоит меморандум Налогового управления, как болезненная экзема, поразившая безымянный палец левой руки.

Мы с Ингрид были женаты уже пять лет. Жили в новом доме на Карлаплан, 10 (там, где стоял когда-то дом, в котором жил Стриндберг) тихой буржуазной жизнью, общались с друзьями, ходили на концерты и в театр, смотрели фильмы, с удовольствием работали.

Все описанное мною выше составляет предысторию событий 30 января и всего, что случилось дальше.

Следующие месяцы никак не отражены в моем дневнике. Я возобновил свои записи —

Продолжение. Начало см. в № 9

[1] Харри Шайн (род. в 1914 г) — один из инициаторов создания Шведского киноинститута, в 1963—1970 гг. его исполнительный директор, до 1978 г.— председатель правления. *(Здесь и далее прим. перев.)*

спорадические, неполные — лишь год спустя. Поэтому мои воспоминания того времени будут как бы моментальными снимками, резкими в середине и нечеткими по краям.

Итак, мы приступили к репетиции «Пляски смерти», как обычно, в половине одиннадцатого. Мы — это Андерс Эк, Маргарета Круук, Ян-Улоф Страндберг, ассистент режиссера, суфлер, ведущий спектакля и я сам. Мы находимся в светлом и уютном зале на самой верхотуре, под крышей Драматена.

Работа идет раскованно и легко, как почти всегда бывает в начале репетиционного периода. Открывается дверь, входит секретарша директора театра Маргот Вирстрём и просит меня немедленно спуститься в ее кабинет, где ждут два полицейских, которые хотели бы со мной побеседовать. Я отвечаю, что, может, они пока выпьют по чашке кофе, а я подойду в час, в обеденный перерыв. Они желают видеть меня немедленно, говорит Маргот Вирстрём. Я спрашиваю, что случилось, но Маргот не знает. Мы ошарашенно смеемся, я прошу артистов продолжать репетицию и говорю, что встретимся после обеда в половине второго.

Мы с Маргот спускаемся в ее комнату, рядом с кабинетом директора. Там сидит господин в темном пальто. Он поднимается, пожимает мне руку, произнося мою фамилию. Я интересуюсь, в чем дело, почему такая спешка. Он, глядя в сторону, бормочет, что это, мол, налоговые дела и мне надо немедленно поехать с ними на допрос. Я глазею на него как ненормальный и отвечаю, что, по правде говоря, ничего не понимаю. И тут вдруг вспоминаю, что в моем положении (в американских фильмах) обычно зовут адвоката. На допросе обязательно должен присутствовать мой адвокат, говорю я, я желаю позвонить ему. Полицейский, попрежнему глядя в сторону, отвечает, что это невозможно, поскольку адвокат сам замешан и уже вызван на допрос. Я беспомощно спрашиваю, можно ли мне сходить в кабинет и взять пальто. «Идемте вместе», — говорит полицейский. И мы идем. По дороге нам попадаются несколько человек, они с удивлением провожают взглядом следующего за мной по пятам незнакомца. В коридоре, по обеим сторонам которого расположены комнаты режиссеров, я наталкиваюсь на собрата по профессии. «Ты разве не на репетиции?» — изумленно вопрошает он. «Меня загребли в полицию», — отвечаю я. Собрат смеется.

Уже надев пальто, я чувствую сильнейшие спазмы в желудке и говорю, что мне надо в уборную. Полицейский, предварительно осмотрев туалет, запрещает мне запирать дверь. Спазмы накатывают один за другим, я издаю протяжные и громкие звуки. Полицейский уселся прямо перед приоткрытой дверью.

Наконец мы готовы к выходу из театра Мне совсем нехорошо, и я мысленно сожалею, что не обладаю талантом падать в обморок. Мы встречаем актеров, других сотрудников, направляющихся в кафе обедать Я здороваюсь едва слышно. За стеклом кабинки коммутатора мелькает любопытное лицо девушки-телефонистки.

Выходим из Нюбругатан. Подходит еще один полицейский, здоровается. Его поставили дежурить на перекрестке Нюбругатан и Альмлёфсгатан, чтобы, согласно приказу, не дать мне сбежать.

Перед зданием театра стоит машина налогового сыщика Кента Карлссона (а может, его коллеги, я никогда не мог различить этих двух господ: оба — с брюшком, оба — в цветастых рубашках, у обоих — нечистая кожа и грязь под ногтями). Мы садимся в машину и трогаемся в путь. Я сижу на заднем сиденье между двумя полицейскими. Налоговый сыщик Кент Карлссон (или его коллега) — за рулем. Один из полицейских — добрая душа — болтает, смеется, рассказывает анекдоты. Я прошу его, если можно, замолчать. Он отвечает чуть оскорбленно, что хотел, дескать, немного разрядить обстановку.

Комиссар полиции протирает штаны в конторе на Кунгсхольмсторг, правда за точность не ручаюсь — с этого времени картина расплывается, реплики становятся все более неразборчивыми.

Ко мне подходит вполне приличного вида немолодой мужчина, представляется. На столе у него выложены бумаги, он хотел бы, чтобы я их просмотрел. Я прошу дать мне стакан воды — во рту пересохло, язык прилип к гортани. Я пью, рука дрожит, трудно дышать. В другом конце комнаты (которая вдруг кажется бесконечной) сидят какие-то неопределенные личности, человек пять-шесть, может, больше. Комиссар говорит, что я указал неверные сведения в налоговой декларации и что «Персонафильм»— фикция. Я отвечаю — как и есть на самом деле, — что никогда не читаю своих деклараций, что у меня никогда и в мыслях не было скрывать от государства свои доходы. Комиссар задает разные вопросы. Я поручил заниматься моими финансами другим людям, повторяю я, поскольку сам совершенно некомпетентен в этих вопросах, но я никогда не позволил бы себе ввязаться в какие бы то ни было авантюры, это чуждо моей природе. И охотно признаюсь, что подписывал бумаги, не читая их, а если и прочел когда-нибудь, то не понял.

В этой невыносимой истории, тянувшейся несколько лет, истории, которая причинила сильную боль мне и моим близким, стоила целого состояния на оплату адвокатов, вынудила меня уехать за границу на целых девять лет и которая в конце концов завершилась выплатой 180 тысяч крон в счет погашения налоговой задолженности (без штрафа или каких-либо других оговорок),— так вот, во всей этой истории я признаю себя виновным лишь в одной — но важной — вещи: я подписывал бумаги, которые я не читал, а еще меньше понимал. Тем самым одобрял финансовые операции, в которых не только не разбирался, но о которых даже не мог составить себе представления. Меня заверили в законности этих операций, в том, что все делалось по правилам. Чем я и позволил себе удовлетвориться. Мне и в голову не приходило, что мой милый адвокат, руководитель Международной организации

скаутов, тоже не сознавал, во что он ввязался. Поэтому кое-какие сделки были оформлены неправильно или же не оформлены вовсе. Это в свою очередь вызвало — вполне справедливо — подозрения со стороны налоговых властей. Налоговый сыщик Карлссон и его коллега, почуяв громкое дело, получили полную свободу действий с помощью нерешительного и несведущего прокурора, напуганного тем, что я могу покинуть страну и оставить власти с носом.

Проходят часы. Господа в другом конце этой странной вытянутой комнаты исчезают один за другим. Я в основном молчу и только иногда каким-то далеким голосом твержу, что это — жизненная катастрофа. И еще объясняю комиссару, какая это будет находка для средств массовой информации. Он успокаивает меня — беседа, мол, сугубо конфиденциальная. Его отдел потому и посадили на Кунгсхольмсторг, подальше от Управления полиции, чтобы не привлекать ненужного внимания. Спрашиваю, можно ли позвонить домой жене. Оказывается, нельзя — в нашей квартире как раз сейчас идет обыск. В ту же секунду раздается звонок. Звонят из «Свенска дагбладет», к ним просочилась кое-какая информация. Добросердечный полицейский, растерявшись, заклинает журналиста ничего не писать. После чего заявляет мне, что я не имею права покидать город. К тому же у меня заберут паспорт. Составляется протокол допроса. Я подписываю, не зная, о чем идет речь, ибо уже не понимаю обращенных ко мне слов.

Мы встаем. Полицейский дружески похлопывает меня по спине и убеждает продолжать жить и работать как прежде. Я снова повторяю, что это — жизненная катастрофа, неужели он не может понять, что это жизненная катастрофа.

И вот я стою на улице. Смеркается, идет небольшой снежок. Все вокруг как на кинокопии — грубо четко черно-белые тона, полное отсутствие красок. У меня стучат зубы, мысли и чувства атрофированы. Я беру такси и еду к театру, где у заднего входа оставил машину. По дороге домой проезжаю мимо казарм лейб-гвардии. Крыша в огне — высокие языки пламени на фоне темнеющего неба. Сейчас я спрашиваю себя, не пригрезилось ли это мне — я не видел ни пожарных машин, ни толпы. Стояла полная тишина, падал снег и горели казармы лейб-гвардии.

Наконец добираюсь до квартиры. Ингрид дома. Обыск застал ее врасплох: она ведь ничего не знала. Полицейские вели себя вежливо, не слишком усердствовали. Забрали несколько папок больше для вида. Потом она села ждать меня. Время тянулось так медленно, что она решила испечь печенье.

Я звоню Харри Шайну и Свену Харальду Бауэру. Оба растеряны и потрясены. Что еще происходит в этот вечер, не знаю. Обедаем? Чаверное. Смотрим телевизор? Возможно.

Поздно вечером, когда мы уже легли спать, меня внезапно озаряет — завтра утром журналисты устроят здесь, на Карлаплан, 10, осаду. Я упаковываю самые необходимые вещи и отправляюсь в крохотную квартирку на Гревтурегатан, куда мы с Гун переехали, сбежав из Парижа осенью 1949 года. С тех пор каждый раз, когда меня настигает катастрофа, терпит крах очередной брак или возникают другие осложнения, я переселяюсь на Гревтурегатан.

На этот раз я появляюсь там ночью. Безликость комнаты создает чувство безопасности. Приняв снотворное, я засыпаю.

Что было в субботу и воскресенье, забыл. Я сижу, запершись, на Гревтурегатан, появляясь дома на два-три часа вечером. Выхожу через гараж, не встречая ни души.

Газеты, телевидение, радио стараются вовсю — кричащие заголовки на первых страницах, комментарии в программах новостей. Мой двенадцатилетний сын Даниэль отказывается ходить в школу. Он до того перепуган, что отсиживается в будке кинотеатра «Рёда кварн» у своего друга киномеханика по прозвищу Щепоть, который очень ему помог в это трудное время. Какова была реакция остальных моих детей, не имею понятия, я с ними тогда почти не общался. Большинство из них к тому же придерживалось левых взглядов и, как я выяснил потом, считало, что так, мол, папаше и надо. Кое-кто сразу же зачислил меня в преступники.

В понедельник утром наступил кризис. Я сижу в гостиной на верхнем этаже, читаю книгу, слушаю музыку. Ингрид ушла на встречу с адвокатами. Я ничего не чувствую, внутренне собран, но несколько оглушен снотворными, — обычно я ими никогда не пользуюсь.

Музыка замолкает, раздается легкий щелчок, пленка останавливается. Воцаряется тишина. Неспешно падает снег, крыши на другой стороне улицы совсем белые. Закрываю книгу — все равно я с трудом понимаю, о чем читаю. Комната освещена резким дневным светом, без теней. Бьют часы. Может, я сплю, может, просто перешагнул из подвластной органам чувств реальности в другую реальность. Не знаю, только я погрузился в глубину неподвижной пустоты—безболезненной, бесчувственной. Закрываю глаза—мне кажется, что я закрываю глаза,—ощущаю присутствие в комнате постороннего и вновь открываю глаза: в двух-трех метрах в резком свете дня стою я сам и рассматриваю фигуру в кресле. Переживание конкретно, неопровержимо. Я стою на желтом ковре и рассматриваю себя, сидящего в кресле. Я сижу в кресле и рассматриваю себя, стоящего на желтом ковре. Я, сидящий в кресле, пока еще управляю своими реакциями. Это конец, возврата нет. Я слышу свой громкий жалобный крик.

В своей жизни я несколько раз тешился мыслью о самоубийстве, как-то раз в юности даже инсценировал неуклюжую попытку. Но никогда не помышлял о том, чтобы превратить игру в реальность. Чересчур велико было мое любопытство, желание жить слишком сильно, а страх смерти по-детски слишком стоек.

Подобная жизненная позиция предполагает тем не менее четкий, надежный контроль своего отношения к действительности, фантазиям, снам. Если контроль не срабатывает, чего со мной никогда, даже в раннем детстве, не случалось, механизм взрывается, грозя уничтожить личность. Я слышу

свой жалобный, как у побитой собаки, голос и встаю, намереваясь выйти через окно.

Я не знал, что Ингрид уже вернулась домой. И вдруг появляется мой лучший друг и врач Стюре Хеландер. Через час я — в психиатрическом отделении Каролинской больницы. Меня помещают одного в большую палату, где стоят еще четыре кровати. Во время обхода ко мне приветливо обращается профессор, я говорю что-то про стыд, привожу свою любимую цитату насчет того, что страх облекает в плоть и кровь причину страха, каменею от горя. Мне делают укол — и я засыпаю.

Три недели в больнице проходят весьма приятно. Мы — непритязательное сборище бедняг, оглушенных наркотическими лекарствами, — без возражений следуем неутомительному распорядку дня. Я принимаю пять голубых таблеток валиума в день и две таблетки могадона на ночь. Если я чувствую хоть малейшие признаки дурного настроения, иду к медсестре и получаю дополнительную порцию. Ночами я сплю глубоким сном без сновидений и по нескольку часов дремлю днем.

В промежутках с жалким остатком профессионального любопытства изучаю окружающую меня обстановку. Я обитаю за ширмой в большой пустой палате, время провожу в основном за чтением, не запоминая прочитанного. Едим мы в маленькой столовой, разговоры вежливые, ни к чему не обязывающие. Взрывов чувств не наблюдается. Единственное исключение — знаменитый скульптор, который однажды вечером, придя в дурное расположение духа, раскрошил себе почти все зубы. В остальном же вспоминаю одну грустную девушку, которой все время надо было мыть руки, и приветливого молодого человека двухметрового роста, страдавшего желтухой, — его пытались отучить от наркотиков с помощью метадона и с этой целью раз в неделю возили в психиатрическую клинику Уллерокер, где проводят этот, вызвавший оживленные дискуссии, эксперимент. Есть в отделении один пожилой молчаливый господин, пытавшийся покончить с собой—перерезал себе запястья ножовкой. Средних лет женщина с красивым строгим лицом страдает возбуждением двигательных нервов и преодолевает километр за километром по коридору.

По вечерам мы собираемся перед телевизором и смотрим передачи с чемпионата мира по фигурному катанию. Телевизор черно-белый, дышит на ладан, изображение двоится, звук плохой, но это не имеет значения и не вызывает протестов.

Ингрид навещает меня два-три раза в день, мы мирно и дружески беседуем. Иногда после обеда ходим в кино, как-то раз «Сандревс» устроил показ фильма у себя в просмотровом зале, и тогда «метадонщику» тоже разрешили пойти с нами.

Газет я не читаю, не слушаю и не смотрю программы новостей. Постепенно, незаметно улетучивается самый верный спутник моей жизни — унаследованное от родителей беспокойство, составлявшее ядро моей личности, мой демон и в то же время друг и подгоняла. Не только боль, страх и чувство неотмщенного унижения бледнеют, уходят — тает, выветривается и движущая сила моего творчества.

Наверное, я мог бы остаться пациентом на всю жизнь — настолько грустно-приятно мое существование, ничего от меня не требующее, заботливо защищенное. Реальности больше нет, желаний никаких, ничего уже не волнует, не причиняет боль. Движения осторожны, реакции замедленны или вовсе отсутствуют, чувственность умерла; жизнь— элегия, звучащая где-нибудь под гулкими сводами в исполнении многоголосого средневекового хора, горят окна-розетки, рассказывая старинные сказки, которые ко мне больше не имеют никакого отношения.

Однажды я спрашиваю любезного профессора, вылечил ли он когда-нибудь в жизни хоть одного человека. Он серьезно задумывается и говорит: «Вылечить — великое слово»,— потом качает головой и ободряюще улыбается. Идут минуты, дни, недели.

Не знаю, что заставляет меня нарушить это герметически надежное существование. Я прошу профессора разрешить мне перебраться в Софияхеммет, на пробу. Он соглашается, но предупреждает, что нельзя сразу прерывать курс валиума. Я благодарю его за участие и заботу, прощаюсь с пациентами и дарю отделению цветной телевизор.

И вот в конце февраля я — в удобной и тихой комнате в больнице Софияхеммет. Окно выходит в сад. На холме я вижу желтый пасторский особняк, дом моего детства. Каждое утро я целый час гуляю по парку. Рядом со мной идет тень восьмилетнего мальчика — это поднимает дух и в то же время немного жутковато.

В остальном же — это время тяжких страданий. Не послушавшись наставлений профессора, я сразу же прекращаю принимать и валиум и могадон. Результат дает себя знать немедленно. Подавленное чувство страха разгорается ярким пламенем, бессонница не знает жалости, демоны бушуют, кажется, я вот-вот разлечусь на куски от сотрясающих меня внутри взрывов. Читаю газеты, знакомлюсь со всем, что было написано в мое отсутствие, читаю скопившиеся письма— милые и не очень, говорю с адвокатами, общаюсь с друзьями.

Это — не мужество и не отчаяние, это — инстинкт самосохранения, который — несмотря на или, скорее, благодаря полному отключению сознания в психиатрической клинике — накопил силы для сопротивления.

Я иду в атаку на демонов, используя метод, оправдавший себя в прежних кризисных ситуациях: поделив день и ночь на определенные отрезки времени, заполняю их заранее намеченными делами или отдыхом. Лишь неукоснительно следуя составленной мною дневной и ночной программе, я могу спасти рассудок от страданий — настолько мучительных, что они даже вызывают интерес. Короче говоря, я возвращаюсь к старой привычке тщательно планировать и инсценировать жизнь.

Благодаря выработанной мною схеме я довольно быстро привожу в порядок мое профессиональное «я» и могу с любопытством изучать грозящие разорвать меня на куски собственные терзания. Начинаю вести записи и вскоре обретаю силы приблизиться к пасторскому дому на холме. Какой-то спокойный голос утверждает, будто

моя реакция на происшедшее гипертрофирована и носит явно невротический характер, я, мол, вел себя на удивление смиренно вместо того, чтобы дать волю гневу. Признал все же свою вину, не будучи виновным, жажду наказания, чтобы как можно быстрее получить прощение и свободу. Голос дружески издевается. Кто должен тебя простить: Налоговое управление? Налоговый сыщик Карлссон в своей цветастой рубахе и с грязными ногтями? Кто? Твои недруги? Твои критики? Господь Бог простит тебя и даст отпущение грехов? Как ты себе это представляешь? Может быть, Улоф Пальме или король выпустят коммюнике — ты, мол, понес наказание, попросил прощения и теперь прощен? (Позже, в Париже, я как-то включил телевизор. Показывали Улофа Пальме, который на блестящем французском языке заверял, что история с налогами была раздута, что это не было следствием налоговой политики социал-демократов и что он является моим другом. В тот момент я испытал к нему чувство презрения.)

Глухой гнев, задавленный, лишенный долгое время права голоса, вновь начинает шевелиться в глубине, во мраке коридоров. Что же, давайте без гипертрофии! С виду я жалок, вечно недоволен и раздражителен, принимаю ласку и заботу как нечто само собой разумеющееся, но хнычу точно избалованный ребенок. За пределами привычного распорядка и самодисциплины беспомощен и нерешителен, сегодня не знаю, что принесет день завтрашний, не умею планировать на неделю вперед. Как сложится моя жизнь, работа в театре и в кино? Что ждет «Синематограф», мое любимое детище? Что будет с моими сотрудниками? Ночами, когда у меня нет сил читать, передо мной выстраивается готовый к атаке взвод демонов. Днем, за стеной видимого порядка, царит хаос — словно в разбомбленном городе.

В середине марта мы переезжаем на Форё. Весна только-только вступила в длительную борьбу с зимой: один день — яркое солнце и теплый ветерок, блистающие зеркальца воды и новорожденные ягнята, резвящиеся на проталинах, на другой — штормовой ветер из тундры, стеной падает снег, море бушует, вновь утепляются двери и окна, гаснет электричество. Камины, керосинки, транзисторы.

Все это действует успокаивающе. Я усердно тружусь над своим исследованием под рабочим названием «Замкнутое пространство». Ощупью бреду незнакомыми тропами, почти всегда ведущими в неизвестность и молчание. Пока еще терпение мое не иссякло, к тому же эта работа — часть каждодневной дисциплины.

На ночь, если я чувствую, что угроза уничтожения слишком сильна, принимаю могадон и валиум. Теперь я могу уже регулировать прием лекарств. Но завоеванное равновесие весьма зыбко.

Ингрид нужно по делам в Стокгольм. Она предлагает мне поехать вместе, я не хочу. Она предлагает пригласить кого-нибудь на те дни, пока ее не будет, — этого мне хочется еще меньше.

Я отвожу ее на аэродром. По дороге между Форёсундом и Бунге нам попадается навстречу полицейская машина — необычное явление в северной части Готланда. Меня охватывает паника: я уверен, они приехали за мной. Ингрид уверяет, что я ошибаюсь, я успокаиваюсь и высаживаю ее на аэродроме в Висбю. Возвратившись домой в Хаммарс, замечаю, что недавно прошел снег. Около дома видны свежие отпечатки шин и ног. Теперь я твердо убежден, что полиция искала меня. Запираю все двери, заряжаю ружье и усаживаюсь в кухне, откуда просматривается подъездная дорога к дому и стоянка. Жду много часов, во рту пересохло. Выпиваю стакан минеральной воды и спокойно, но обреченно говорю себе: это конец. Бесшумно и внезапно спускаются мартовские сумерки. Полицейских не видно. Постепенно я осознаю, что веду себя как смертельно опасный сумасшедший, разряжаю ружье, запираю его и начинаю готовить обед.

Писать становится все тяжелее. Тревога не покидает ни на минуту. Кстати, ходят слухи, будто обвинение в налоговом мошенничестве с меня снимают. Таким образом, вся история превращается в банальный налоговый вопрос. Мы ждем, ничего не происходит. Читаю «Иерусалим» Сельмы Лагерлёф и с трудом восстанавливаю ежедневный распорядок жизни. Среда 24 марта — тихий, серый день, оттепель, капель с крыш. Из своей комнаты я слышу телефонный звонок, Ингрид отвечает. Бросает трубку и вбегает в комнату, на ней будничное платье в голубую клетку, в котором она обычно ходит на Форё. Она хлопает себя по бедру правой рукой и восклицает: «Дело закрыто!»

Сперва я ничего не ощущаю, потом наваливается усталость, и я, наплевав на распорядок, ложусь спать. Сплю несколько часов. Таким изнеможенным я чувствовал себя последний раз, выйдя из самолета, у которого в воздухе загорелся один двигатель и он был вынужден много часов кружить над Эресундом, чтобы сжечь топливо.

Вечером раздается стук в дверь. Это наша соседка и добрый друг. Она поспешно протягивает мне цветок и говорит, что хотела только поздравить и сказать, как она рада.

Ночь проходит без сна. Множество всяческих проектов и планов не дает мне заснуть. Испробовав все, что можно — снотворное, музыку, Сельму, шоколад, печенье,— я встаю и сажусь за письменный стол. Быстро записываю сюжет фильма, который я называю «Мать и дочь и мать». На главные роли намечаю Ингрид Бергман и Лив Ульман.

30 марта мы возвращаемся в Стокгольм, где меня ждет куча дел. Начинаю — осторожно, преодолевая невыносимую усталость, — с самых важных: прежде всего запуск в производство «Райской площади» Уллы Исакссон и Гуннель Линдблум.

Второго апреля Налоговое управление, перезарядив орудия, открывает огонь по борту. В час дня мы встречаемся с адвокатом Рольфом Магреллем. Не сразу, с большим трудом я постигаю смысл переданного им сообщения Налогового управления. Спустя какое-то время я написал статью об этом деле и его последствиях. Статья была следующего содержания:

«В пятницу 2 апреля мой юридический поверенный Рольф Магрелль «был пригла-

шен» в Государственное налоговое управление для беседы с налоговым инспектором Бенгтом Челленом и начальником отдела Хансом Свенссоном. Информация, сообщенная этими господами, оказалась головоломной. Несмотря на неоднократные терпеливые попытки, Магреллю не удалось объяснить мне всех деталей. Но смысл я все-таки понял.

Чтобы опередить весьма проворный отдел печати Налогового управления, работающий, судя по всему, в тесном контакте со средствами массовой информации, я собираюсь сейчас сам рассказать, чем были озабочены налоговый инспектор и начальник отдела.

Пусть тот, кого я лишаю возможности передать эту информацию прессе и получить гонорар, воспримет это с должным спокойствием. На так называемом «деле Бергмана», как я понимаю, уже заработано немало денег. Кстати, один вопрос: в какую статью расхода записывают газеты подобные выплаты и как указывает получатель свой доход в налоговой декларации?

А теперь я постараюсь вкратце изложить содержание сообщения, сделанного господами Свенссоном и Челленом. Прошу читателя немного запастись терпением, поскольку суть исключительно интересна.

Итак, Налоговое управление, как было заявлено, не может согласиться с тем, что, в соответствии с новым требованием, выдвинутым налоговым инспектором Дальстрандом, прежние притязания Налогового управления утрачивают силу. Дальстранд требует, чтобы я заплатил налог с суммы 2,5 миллиона крон по налогообложению 1975 г. (дивиденды моей бывшей швейцарской фирмы «Персона»). Господа же из Налогового управления желают обложить налогом и мою шведскую фирму «Синематограф» на ту же сумму дохода, ибо они считают швейцарскую фирму «фикцией». Тот факт, что один и тот же доход будет обложен налогом дважды (в размере 85+24% или 109%), их мало волнует, поскольку это ошибка Дальстранда. (Пока понятно?)

Если же мы с налоговым инспектором Дальстрандом согласимся, чтобы с меня взяли тот налог, который изначально требовало Налоговое управление, то в таком случае можно избежать налогообложения моей шведской фирмы.

Выражаясь проще: угрозами и шантажом меня и Дальстранда хотят заставить признать, что Налоговое управление было право с самого начала.

Мне доставляет огромное удовольствие сообщить через эту газету налоговому инспектору Бенгту Челлену и начальнику отдела Хансу Свенссону, что я не принимаю их методов и отказываюсь вступать в какие-либо сделки.

Естественно, теперь я вынужден немного поразмышлять над теми причинами, которые, как можно предположить, заставили Налоговое управление пойти на подобный поразительный шаг.

Вот несколько объяснений: решение прокурора Нурденадлера о снятии обвинения кое-кого в Налоговом управлении больно ударило по престижу. Налоговый сыщик Кент Карлссон со своим помощником потратили на это дело, завершившееся пресловутым задержанием в Драматене, много месяцев. Когда же выясняется, что все затраченные усилия были напрасны, возникает настоятельная необходимость найти еще какую-нибудь зацепку, дабы хоть ненадолго сгладить то отрицательное впечатление, которое сложилось о Налоговом управлении как внутри страны, так и за ее пределами. Расчет был при этом, вероятно, на то, что я, испугавшись еще одного скандала, поддамся на шантаж, в результате чего Налоговое управление в любом случае выйдет победителем из игры!

Я не участвую в подобной игре.

Хочу тут же добавить, что желал бы крепко прижать к груди как налогового инспектора, так и начальника отдела.

Этим господам удалось то, чего ни психиатрическая наука, ни я сам не могли добиться за два месяца моей болезни.

Попросту говоря — я так рассвирепел, что немедленно выздоровел. Ощущение ужаса и неизгладимого унижения, мучившее меня днем и ночью, улетучилось за несколько часов и больше не давало о себе знать, ибо я понял, что мой противник — не справедливый, объективный, рассудительный орган власти, а группа помешанных на престиже игроков в покер.

Разумеется, я и раньше подозревал что-то в этом роде, особенно разглядев вблизи налогового сыщика Кента Карлссона, который присутствовал на допросе в полиции и буквально дрожал от возбуждения, предвидя приближающийся триумф.

Должен признаться, что потом, когда губернский прокурор Нурденадлер, проявив нравственное мужество, скрестил копья с могучими силами, уже вынесшими мне приговор, я начал сомневаться в обоснованности своих подозрений. (Я решил все забыть и вернуться к работе, полностью доверив вести процесс о налогах специалистам. Я равнодушен к деньгам и вещам, всегда был и буду равнодушен. И нисколько не боюсь потерять то, чем владею, при возможном неблагоприятном исходе процесса. Я не считаю свои доходы в денежном выражении. Безусловно, я полагал, что со мной обошлись по-свински, но чувствовал, что для того, чтобы вновь обрести почву под ногами, я должен все это забыть, я полагал также, что конец этой удручающей истории может быть достойным и справедливым.)

Однако налоговый инспектор Челлен и начальник отдела Свенссон восстановили — угрозой шантажа — порядок, подтвердив тем самым мои самые что ни на есть параноидные мысли. В то же время я избавился от состояния творческого кризиса и полной инертности, поразившего меня впервые в жизни.

Итак, посоветовавшись с самим собой и с близкими мне людьми, я принял несколько решений, которые сейчас и изложу, ибо в противном случае немедленно поползут всяческого рода идеи, слухи, инсинуации, и опровергнуть их задним числом будет нелегко.

Первое. Поскольку для того, чтобы исполнять свои профессиональные задачи, мне необходима определенная гарантия спокойного существования и поскольку, по всей ви-

димости, в обозримом будущем такой гарантии мне предоставлено не будет, я вынужден ее искать в какой-нибудь другой стране. Хорошо сознаю, на какой риск иду. Вполне возможно, моя профессия настолько прочно связана со средой и языком, что я, на пятьдесят восьмом году жизни, не сумею приспособиться к новой обстановке. Тем не менее я обязан попытаться. Необходимо покончить с тем парализующим чувством зыбкости существования, с которым я жил все последние месяцы. Без работы моя жизнь бессмысленна.

Второе. Чтобы «честный шведский налогоплательщик» не подумал, будто я сбегаю от суда, я помещаю все свое состояние на закрытый счет и предоставляю его в распоряжение Налогового управления в случае, если я проиграю процесс. Оставлена также соответствующая сумма в случае проигрыша процесса «Синематографом». Если я останусь должным еще какие-то деньги, то выплачу все до последнего эре. У меня уже есть немало предложений, и я не собираюсь утаивать от родной страны ни единого эре.

Третье. За последние годы я выплатил 2 миллиона крон налогов, предоставил работу многим людям, с болезненной щепетильностью старался, чтобы все сделки были честными. Так как я не разбираюсь в цифрах и боюсь денег, я попросил знающих и честных людей взять на себя решение всех этих вопросов. Форё было для меня надежным прибежищем, я чувствовал себя там спокойно, словно во чреве матери, даже не помышляя, что когда-нибудь буду вынужден уехать. Я был убежденным социал-демократом. С искренней страстностью придерживался этой идеологии серых компромиссов. Я считал свою страну лучшей в мире и считаю так до сих пор, может быть, потому, что видел слишком мало других стран.

Прозрев, я испытал тяжелое потрясение, отчасти из-за невыносимого унижения, отчасти из-за того, что понял — в этой стране ни один человек не защищен от нападок и унижений со стороны особого рода бюрократии, расползающейся подобно раковой опухоли, бюрократии, которая ни в малейшей степени не подготовлена к выполнению своих трудных и щепетильных задач и которую общество снабдило такими полномочиями власти, до коих отдельные исполнители этой власти абсолютно не доросли.

Когда представители Налогового управления во главе с налоговым сыщиком Кентом Карлссоном вдруг появились в конторе «Синематографа» и потребовали предъявить им наши счета, меня немного покоробило их поведение, но потом мне разъяснили, что это нормально и в порядке вещей. Их в особенности интересовали сделки «Персонафильм». Мы подчинились требованию и предоставили в их распоряжение бухгалтерские книги фирмы.

И я и мой адвокат спокойно ждали, когда господа ревизоры пригласят нас на беседу.

Не тут-то было.

У сыщика Кента Карлссона и его ребят были другие планы. Они решили устроить демонстрацию силы, которая бы прогремела на весь мир, а им самим позволила бы набрать некоторое количество очков в таблице, существующей у этой особой бюрократии.

(Кстати, довольно-таки плохо продуманная операция: с начала ревизии до задержания меня и моего адвоката, имевшего целью «не дать нам уничтожить доказательства», прошло несколько месяцев. Если бы нам было что скрывать, мы бы за эти месяцы замели все следы. Это даже полицейскому Паулюсу Бергстрёму было бы под силу вычислить. Если бы меня грызла совесть, я успел бы за это время эмигрировать. И наконец, если бы я не был так отчаянно привязан к этой стране и к тому же до отвращения честен, я сегодня обладал бы огромным состоянием — за границей.)

Но ни налоговому сыщику Карлссону, ни прокурору Дрейфальдту ни один из этих доводов не пришел в голову. Карлссоновский заговор был совершившимся фактом, и через 14 минут после того, как меня вывели из Драматена, следователю позвонила первая газета, желая узнать подробности о сенсационном задержании.

Теперь, когда эта грандиозно задуманная демонстрация силы провалилась, решили применить странную окопную тактику с примесью угроз и шантажа. Боюсь, подобная стратегия рассчитана на необозримо долгое время.

У меня не хватит ни рассудка, ни нервов, чтобы выдержать такого рода войну. Ни времени.

Поэтому я уезжаю. Уезжаю, чтобы сделать свой первый фильм за границей, на чужом языке. У меня нет причин жаловаться. Для всех, кроме меня самого и моих близких, это пустяк или, как бы выразились в Налоговом управлении, «фикция».

Мне посоветовали обжаловать действия «Афтонбладет» за то, что она писала обо мне и моем деле. Это бессмысленно, ответил я. Газета, кичащаяся своими инсинуациями, неприкрытыми оскорблениями, полуправдой и низкопробным преследованием личности, собирает критические замечания прессомбудсмана [2] с такой же страстью, как индеец — скальпы. В любом обществе, вероятно, есть потребность в клоачном стоке, подобном «Афтонбладет». Но меня не перестает удивлять, что этот клоачный сток является флагманом социал-демократической прессы и что в этом разлагающемся клеточном скоплении работает много приличных, достойных уважения профессионалов.

Мне посоветовали также подать в суд на прокурора Дрейфальдта и потребовать возмещения убытков (две загубленные постановки по 45 тысяч крон каждая, остановка производства фильма — приблизительно 3 миллиона, психические страдания — одна крона и поруганная честь — еще одна крона, итого три миллиона девяносто тысяч две кроны).

Но и это я считаю бессмысленным. Дилетантство, чувство долга и топорность в данном случае шли рука об руку. Это надо понять. Это по-шведски. Возможно, я когда-нибудь напишу на эту тему фарс. Я гово-

[2] Прессомбудсман — уполномоченный по прессе, осуществляющий надзор за соблюдением прессой законов и постановлений; назначается правительством.

рю, как говорил Стриндберг, рассердившись на что-нибудь: «Берегись, сволочь, мы встретимся в моей следующей пьесе».

О статье позаботится Бьёрн Нильссон из «Экспрессена». Мы с Ингрид навещаем ее сестру и свояка в Лешёфорсе. На обратном пути в Стокгольм делаем крюк и проезжаем Воромс — усадьба тиха и молчалива в сером свете дня на исходе зимы, чернеет река, над холмами туман. Проезжаем Стура Тюна, где похоронена мать Ингрид. Останавливаемся ненадолго в Упсале, я показываю бабушкин дом на Трэдгордсгатан, слушаем мощный шум порогов Фюрисон. Сантименты... и прощание.

Потом мы на несколько дней едем на Форё. Больно, но необходимо. Я информирую Ларса-Уве Карлберга и Катинку Фараго. Они обещают по мере сил поддерживать жизнь «Синематографа». В Страстную пятницу я пишу статью, переписываю, пишу заново, удивляюсь про себя, за каким дьяволом я трачу столько усилий, но бешенство, державшее меня на плаву последние недели, заставляет действовать, вырабатывая необходимый адреналин.

20 апреля Ингрид с сестрой уезжают в Париж. Я провожу вечер с моим другом Стюре Хеландером. Мы познакомились в 1955 году, когда я с непрекращающимся поносом и рвотой попал к нему в отделение в Каролинскую больницу. Несмотря на то, что мы с ним очень разные люди, мы стали друзьями и дружбой этой дорожим до сих пор.

В среду 21 апреля в 16.50 я отбываю в Париж. Когда самолет поднимается в воздух, меня охватывает безудержное веселье, и я читаю сказки сидящей рядом в кресле девчушке.

То, что произошло потом, не представляет особого интереса. Моя статья была напечатана в «Экспрессен» на следующий день после отъезда и вызвала немалый переполох. Журналисты взяли в осаду нашу гостиницу в Париже, а один фотограф, преследуя нас на мотоцикле по пути в шведское посольство, чуть не попал в аварию. Я обещал Дино Де Лаурентису держать язык за зубами, так как мы планировали через несколько дней провести пресс-конференцию в Голливуде.

Мероприятие было бурным. Я понял, что мы выиграли второй раунд, но задавался вопросом, не слишком ли дорогой ценой.

Мы с Ингрид намеревались поселиться в Париже, куда вернулись через неделю. Лето думали провести в Лос-Анджелесе — подготовка к съемкам «Змеиного яйца» затягивалась. В Париже было жарко. В нашей шикарной гостинице имелся кондиционер — колоссальных размеров агрегат, который, гремя и стеная, давал лишь тонкую струйку холодного воздуха где-то на уровне пола. Мы сидели голые под этой струйкой и пили шампанское, не в силах пошевелиться. В переулке неподалеку взорвались две бомбы, полностью разрушив помещения, принадлежавшие западногерманским учреждениям.

Жара усиливалась, и мы сбежали в Копенгаген, где, взяв напрокат машину, отправились осматривать сельские пейзажи Дании. Однажды вечером, зафрахтовав частный самолет, полетели в Висбю. На Форё приехали поздно, хотя на улице все еще было светло. Возле старого дома в Дэмбе вовсю цвела сирень. Мы до рассвета просидели на крыльце, одурманенные тяжелым запахом, а рано утром улетели обратно в Копенгаген.

Мы договорились с Дино Де Лаурентисом, что фильм будет сниматься в Мюнхене — вполне логично, хотя действие происходит в 20-х годах в Берлине. Я ездил в Берлин выбирать место съемок, но ничего подходящего не нашел, кроме района под названием Крёйцберг, вплотную прилегающего к Стене. Это — город-призрак, в котором с конца войны ничего не восстанавливалось. На фасадах по-прежнему следы пуль и взрывов гранат. Руины разрушенных при бомбардировке зданий, правда, снесены, но оставшиеся на их месте пустыри зияют точно гнойные раны между серыми блоками домов. В этом районе горделивой когда-то столицы нет ни одного немца. Кто-то сказал, что жилище может стать смертельным оружием, и здесь я вдруг понял смысл этой революционной риторики. Дома переполнены иностранцами, во дворах играют дети, воняют на жаре помойки, улицы не убирают, там и тут видны асфальтовые заплаты.

Убежден, что какой-нибудь орган власти тщательно следит за этой раковой опухолью на спине богатого Западного Берлина. Там наверняка существуют необходимые социальные учреждения и разработаны меры безопасности для того, чтобы никто не пострадал и тем самым не привел в смущение немецкую совесть и с грехом пополам усмиренную расовую ненависть. Говорят в открытую: этим сволочам в любом случае здесь живется лучше, чем у себя дома. У Банхоф Цоо собираются молодые наркоманы — время от времени на них устраивают запланированную облаву и разгоняют. Никогда прежде не приходилось мне наблюдать подобной неприкрытой телесной и духовной нищеты. Немцы этого не видят либо же приходят в бешенство — следовало бы создать лагеря. Расчет, оправдывающий существование Крёйцберга, столь же прост, сколь и циничен: если враг по ту сторону Стены захочет напасть на Запад, ему придется пробиваться через заслон из ненемецких тел.

Киностудия «Бавария» оказалась внушительным сооружением с двенадцатью павильонами и 4 тысячами служащих. В Мюнхене есть два оперных здания, тридцать два театра, три симфонических оркестра, несчетное число музеев, огромные парки и чистенькие улицы, вдоль которых теснятся универмаги — их витрины кричат об изысканной роскоши, подобной которой вряд ли можно сыскать в каком-нибудь другом крупном европейском городе. Люди были приветливы и гостеприимны, и мы решили обосноваться в Мюнхене, тем более что мне предложили поставить «Игру снов» в Резиденцтеатер, баварском варианте Драматена.

Кроме того, я получил престижную награду — так называемую премию Гёте, церемония награждения должна была состояться осенью во Франкфурте. После непродолжительных поисков мы нашли светлую,

просторную квартиру в безобразной на вид многоэтажке рядом с Энглишер-гартен. С террасы открывался вид на Альпы и шпили старого Мюнхена.

Квартира освобождалась только в сентябре, поэтому мы на лето уехали в Лос-Анджелес. В Калифорнии стояла небывалая за последние десять лет жара. Приехав за двое суток до Иванова дня, мы сидели в могильном холоде гостиничного номера с кондиционером и смотрели по телевизору соревнования по боксу. Вечером сделали попытку прогуляться в расположенный поблизости кинотеатр. Жара придавила нас точно бетонной стеной.

На следующее утро позвонила Барбра Стрейзанд и предложила, захватив купальные костюмы, приехать на вечеринку «у бассейна». Я поблагодарил за гостеприимство, положил трубку и, повернувшись к Ингрид, сказал: «Сейчас же едем на Форё, там и проведем лето. Насмешки вытерпим». Через несколько часов мы уже были в пути.

В Стокгольм мы прибыли вечером в канун Иванова дня. Ингрид позвонила отцу, у которого, как выяснилось, собрались родственники и друзья,— он жил неподалеку от Норртелье. Он велел нам приёзжать немедленно. Время приближалось к двенадцати. Вечер был теплый и мягкий. Вокруг все цвело и пахло в полную силу. И было светло.

Ближе к утру я лежал на белой кровати в комнате, пахнувшей дачей и свежевымытым полом. Высокая береза за окном отбрасывала колеблющуюся узорчатую тень за светлую штору, шумела и что-то шептала, шептала.

Длительное путешествие было забыто, жизненная катастрофа превратилась в сон, приснившийся кому-то другому. Мы с Ингрид тихо беседовали о трудностях нашей новой жизни. Я сказал: «Либо я умру, либо получу чертовски сильный заряд энергии».

* * *

Воскресный день в пасторском доме. Я один дома, с глазу на глаз с неразрешимой задачей по математике. Колокола церкви Энгельбректа возвестили об отпевании, брат — в кино, сестра — в больнице с аппендицитом, родители и горничные отправились в часовню отметить память королевы Софии, основательницы больницы. Весеннее солнце горит на письменном столе, престарелые сестры милосердия из Сульхеммета в черных одеждах гуськом, держась в тени деревьев, пересекают дорогу. Мне — тринадцать лет, в кино идти запрещено из-за невыполненного урока по математике, поскольку накануне вечером я, вместо того чтобы сделать задание, предпочел отправиться на «Гибель богов». Одолеваемый тоской, в растерянных чувствах, я рисую в тетради голую женщину. Рисовальщик из меня никакой, поэтому и женщина получается соответственной. С огромными грудями и широко раздвинутыми ногами.

О женщинах я знал очень мало, о сексе — ничего. Брат иногда отпускал кое-какие насмешливые намеки, родители и учителя молчали. Обнаженных женщин можно было увидеть в Национальном музее или в «Истории искусств» Лаурина. Летом изредка удавалось углядеть чьи-либо обнаженные ягодицы или грудь. Подобное отсутствие информации не создавало особой проблемы, я был избавлен от искушений и не мучился чрезмерным любопытством.

Один незначительный эпизод произвел, однако, определенное впечатление. Наша семья общалась с Аллой Петре́ус, вдовой средних лет, родом из финских шведов: она принимала активное участие в церковных делах. Из-за какой-то эпидемии, затронувшей пасторскую усадьбу, мне пришлось две-три недели прожить у тети Аллы. Она обитала в необъятной квартире на Странд-веген с видом на Шеппсхольмен и бесчисленные дровяные баржи. Уличный шум не проникал в солнечные комнаты, утопавшие в захватывающей дух и возбуждавшей фантазию роскоши в стиле модерн.

Алла Петреус не отличалась красотой. На носу очки с толстенными стеклами, походка мужеподобная. Когда она смеялась, а смеялась она часто, в уголках рта выступала слюна. Одевалась элегантно и обожала шляпы с широченными полями, которые в кинотеатре приходилось снимать. Гладкая кожа, добрые карие глаза, мягкие руки, на шее — родимые пятна разной формы. От нее хорошо пахло какими-то экзотическими духами. Голос у нее был низкий, почти мужской. Мне нравилось жить у нее, да и дорога в школу сокращалась наполовину. Горничная Аллы и ее кухарка говорили только по-фински, но зато всячески баловали меня и то и дело щипали то за щеки, то за зад.

Как-то вечером меня должны были купать. Горничная наполнила ванну, добавив в воду что-то для аромата. Я погрузился в горячую воду и с наслаждением закрыл глаза. Алла Петреус постучала в дверь и поинтересовалась, не заснул ли я. Поскольку я не ответил, она вошла в ванную. На ней был зеленый халат, который она тут же и сбросила.

Алла объяснила, что хочет потереть мне спину, я перевернулся на живот, она залезла в ванну, намылила меня, потерла жесткой щеткой и мягкими руками стала смывать мыло. Потом взяла мою ладошку и сунула ее себе между ног. Сердце мое готово было выпрыгнуть из груди. Она раздвинула мои пальцы и прижала их к своему лону, захватив другой рукой мои стручок, отреагировавший незамедлительно. Осторожно оттянув кожицу, она сняла с него белую массу. Было приятно и совсем не больно. Алла сжимала меня своими крепкими ногами, и я, не сопротивляясь, без малейшего страха, испытал тяжелое, почти болезненное наслаждение.

Было мне в ту пору восемь или девять лет. Позднее я часто встречал тетю Аллу в пасторском доме, но мы никогда не заговаривали о случившемся. Иногда она взглядывала на меня через толстые стекла своих очков и издавала смешок. У нас с ней была общая тайна.

Теперь, пять лет спустя, воспоминание это почти стерлось, но впоследствии превратилось в мучительную, исполненную стыда и наслаждения, регулярно возникавшую картину, что-то вроде бесконечной ленты в кинопроекторе, прокручиваемой каким-то демоном, который, движимый ненавистью, старался причинить мне как можно больше мучений и неприятностей.

И вот я сидел и рисовал женщину в голубой тетрадке, грело солнце, шли гуськом сестры милосердия из Сульхеммет. Рука моя скользнула вниз и выпустила на свободу посиневшего, подрагивающего пленника. Я ласкал его время от времени, получая необычное, пугающее наслаждение. И продолжал рисовать — на бумаге появилась еще одна голая женская фигура, на этот раз в чуть более бесстыдном виде, чем первая. Дополнив рисунок изображением мужских атрибутов, я вырезал их, проделал дырку между нарисованными женскими ногами и сунул туда этот кусочек бумаги.

Внезапно я почувствовал, что сейчас взорвусь, что из меня вот-вот извергнется нечто, над чем я потерял всякую власть. Я кинулся со всех ног в уборную в другом конце холла и заперся там. Наслаждение переросло в физическую боль, непритязательный отросток, вызывавший раньше рассеянный, но вполне дружелюбный интерес, неожиданно превратился в пульсирующего беса, болезненно бившегося и толкавшегося внизу живота и в бедрах. Совершенно не соображая, как мне совладать с этим грозным врагом, я крепко сжал его, и в ту же секунду произошел взрыв. К моему ужасу, какая-то невесть откуда взявшаяся жидкость залила руки, штанину, унитаз, сетку на окне, стены и махровый коврик на полу. В том состоянии замешательства, в каком я находился, мне показалось, что эта извергшаяся из меня гадость запачкала меня с ног до головы, покрыла все вокруг. Я ничего не знал, ничего не соображал, у меня никогда не было ночных поллюций, эрекция возникала неожиданно и практически моментально проходила.

Чувственность, непонятная, враждебная, мучительная, поразила меня словно удар молнии. И по сей день я не в состоянии уразуметь, каким образом могло так случиться, почему подобная глубинная физическая перемена наступила без всякого предупреждения, почему она оказалась настолько болезненной и с самого начала сопровождалась чувством вины? Быть может, страх перед чувственностью проник в нас, детей, через кожу? Или воздух нашей детской был пропитан этим ядовитым невидимым газом? Нам никто ничего не рассказывал, никто ни о чем не предупреждал и уж тем более не пугал.

Болезнь — или одержимость? — не знала жалости. Приступы ее повторялись с почти навязчивым постоянством.

Не видя иного выхода, я обратился за помощью к брату, стараясь вызнать у него, испытывал ли и он нечто подобное. Брат, которому уже исполнилось семнадцать, дружески ухмыльнулся и сказал, что живет здоровой половой жизнью, удовлетворяющей его эротические потребности, с учительницей немецкого языка — он брал у нее дополнительные уроки — и не желает ничего слышать о моих болезненных непристойностях, а ежели мне необходима более подробная информация, то я могу ее почерпнуть, прочитав статью «Мастурбация» в медицинском справочнике. Что я и сделал.

Там четко и ясно было написано, что мастурбация иначе называется рукоблудие, что это юношеский грех, с которым надо всячески бороться, что он вызывает бледность, потливость, дрожь, черные круги под глазами, рассеянность и нарушения вестибулярного аппарата. В более тяжелых случаях болезнь приводит к размягчению мозга, поражению спинного мозга, приступам эпилепсии, потере сознания и ранней смерти. Имея перед собой такие перспективы, я продолжал с ужасом и наслаждением свои занятия. Мне не с кем было поговорить, некого спросить, я был вынужден постоянно быть начеку, скрывая свою ужасную тайну.

В отчаянии я воззвал к Иисусу и попросил отца разрешить мне принять участие в предконфирмационной подготовке на год раньше положенного. Просьба была удовлетворена, и теперь я пытался с помощью духовных упражнений и молитв освободиться от своего проклятия. В ночь перед первым причастием я приложил все силы, чтобы одолеть демона. Я боролся с ним чуть ли не до утра, но проиграл битву. Иисус наказал меня огромным воспаленным прыщом на бледном лбу. Во время причащения милостей Господних у меня начались желудочные спазмы и едва не стошнило.

Все это сегодня кажется смешным, тогда же было горькой реальностью. И последствия не заставили себя ждать! Стена, разделявшая мою реальную жизнь от тайной, росла, став вскоре непреодолимой. Отчуждение от истины делалось все необходимее. В моем придуманном мире произошло короткое замыкание, и потребовалось немало лет и множество тактичных друзей-помощников, чтобы исправить повреждение. Я жил в полной изоляции, подозревая, что схожу с ума. Некоторое утешение я обрел в анархически насмешливом тоне стриндберговских новелл «Браки». Его рассуждения о причастии подарили благодать, а рассказ о жизнерадостном кутиле, пережившем своего благопристойного брата, оказал благотворное действие. Но как, черт побери, найти женщину — какую угодно? Это удавалось всем, кроме меня. Я же со своим рукоблудием был бледен, потел, ходил с черными кругами под глазами и никак не мог сконцентрировать внимание.

Помимо всего прочего я был худ, печален, легко раздражался, то и дело, снедаемый бешенством, затевал скандалы, ругался и орал, получал плохие отметки и многочисленные пощечины. Единственным прибежищем были кинотеатры и боковые места на третьем ярусе Драматена.

В то лето мы жили не в Воромсе, как обычно, а в желтом доме на живописном заливе острова Смодаларё. Таков был результат длительного отчаянного поединка, происходившего за все больше трескавшимся фасадом пасторского жилища. Отец ненавидел Воромс, бабушку и удушливую жару средней полосы. Мать питала отвращение к морю, шхерам и ветрам, вызывавшим у нее ревматические боли в плечевых суставах. По какой-то неизвестной причине она наконец сдалась: Экебу на Смодаларё на многие годы стало нашим идиллическим прибежищем.

Меня шхеры сбили с толку совершенно Множество дачников с детьми, среди которых было немало моих ровесников — отважных, красивых и жестоких. Я был пры-

щав, не так одет, заикался, громко и беспричинно хохотал, не приучен к спорту, не решался нырять вниз головой и любил заводить беседы о Ницше — талант общения, вряд ли пригодный на прибрежных скалах.

У девочек были груди, бедра, ягодицы и веселый презрительный смех. Я мысленно переспал с ними со всеми в своей жаркой тесной мансарде, пытая и презирая их.

В субботу вечером на гумне главной усадьбы устраивались танцы. Там было все точь-в-точь как в стриндберговской «Фрёкен Жюли»: ночное освещение, возбуждение, дурманящие запахи черемухи и сирени, пиликание скрипки, отталкивание и притяжение игры и жестокость. Поскольку кавалеров не хватало, меня милостиво приняли в круг, но я не осмеливался коснуться своих партнерш по причине немедленного возбуждения, да и танцевал хуже некуда и посему вскоре вышел из игры. Ожесточенный и исступленный. Оскорбленный и смешной. Объятый страхом и замкнувшийся. Отталкивающий и прыщавый. Буржуазный вариант полового созревания образца лета 1932 года.

Читал я без передышки, чаще всего не понимая прочитанного, но хорошо воспринимая интонацию: Достоевский, Толстой, Бальзак, Дефо, Свифт, Флобер, Ницше и, конечно, Стриндберг.

Я растерял все слова, начал заикаться, грыз ногти. Задыхался от ненависти к самому себе и к жизни вообще. Ходил на полусогнутых, выставив вперед голову, навлекая на себя тем самым постоянные выговоры. Самое удивительное, что я ни разу не усомнился в этом своем жалком существовании. Был уверен, что так и должно быть.

* * *

С Анной Линдберг мы были одногодки. Учились в так называемом девятом классе, являвшемся последней ступенью перед гимназией. Школа называлась Пальмгренской совместной школой и располагалась на углу Шеппаргатан и Коммендёрсгатан. Триста пятьдесят учащихся помещались в уютных, хотя и тесных комнатах частного дома. Учителя, как считалось, представляли более современную и передовую педагогическую науку, чем та, которой пользовались в обычных учебных заведениях. Вряд ли это соответствовало истине, так как большинство из них работало по совместительству и в средней школе Эстермальма, в пяти минутах ходьбы от Пальмгренской.

И тут и там преподавали одни и те же дерьмовые учителя, и тут и там властвовала та же дерьмовая зубрежка. Единственным отличием была, пожалуй, значительно более высокая плата за обучение в Пальмгренской школе. И еще — это была школа с совместным обучением. В нашем классе учились двадцать один мальчик и восемь девочек. Одной из них была Анна.

Ученики сидели по двое за старомодными партами. Учитель занимал кафедру, стоявшую на возвышении в углу класса. Перед нами простиралась черная доска. Снаружи, за тремя окнами, всегда шел дождь. В классе царил полумрак. Шесть электрических шаров вяло боролись с колеблющимся дневным светом. В стены и мебель навечно въелся запах мокрой обуви, грязного белья, пота и мочи. Это был склад, учреждение, основанное на осквернённом союзе властей и семьи. Хорошо различимая вонь омерзения порой становилась всепроникающей, иногда удушающей. Класс был как бы миниатюрным отражением предвоенного общества: тупость, равнодушие, оппортунизм, подхалимаж, чванство с робкими всплесками бунта, идеализм и любопытство. Анархистов быстренько ставили на место — и общество, и школа, и семья наказывали образцово, нередко тем самым определяя всю дальнейшую судьбу правонарушителя. Методы обучения заключались главным образом в наказании, вознаграждении и насаждении чувства вины. Многие из учителей были национал-социалистами, одни — по глупости или ожесточенные неудавшейся академической карьерой, другие — из-за идеализма и восхищения перед старой Германией, «народом поэтов и мыслителей».

На этом фоне серой покорности за партами и кафедрой встречались, разумеется, и исключения — одаренные, несгибаемые люди, распахивавшие двери и впускавшие воздух и свет. Но таких было немного. Наш директор — льстивый деспот, махинатор из махинаторов Миссионерского союза — обожал читать утренние молитвы, липкие проповеди, состоявшие из сентиментальных ламентаций на тему о том, как бы сокрушался Иисус, если бы именно сегодня он посетил Пальмгренскую школу, или же из адских проклятий в адрес политики, дорожного движения и эпидемического распространения джазовой культуры.

Невыученные уроки, обман, жульничество, лесть, подавляемое бешенство и зловонный треск нарочно выпускаемых газов составляли непременную программу безнадежно тянувшегося дня. Девчонки собирались кучками, заговорщицки перешептываясь и хихикая. Мальчишки орали ломающимися голосами, дрались, гоняли мяч, планировали жульнические проделки или договаривались о невыученных уроках.

Я сидел приблизительно в середине класса. Анна — наискосок впереди меня, у окна. Я считал ее уродиной. Так считали все. Высокая толстуха с округлыми плечами, плохой осанкой, большой грудью, мощными бедрами и колышущимся задом. Коротко остриженные рыжие волосы зачесаны на косой пробор, глаза — один голубой, другой карий — косят, высокие скулы, полные вывернутые губы, по-детски округлые щеки, на благородном подбородке — ямочка. Из-под волос сбегал к правой брови шрам, наливавшийся кровью, когда она плакала или злилась. Ладони широкие, с короткими толстыми пальцами, красивые длинные ноги, маленькие стопы с высоким подъемом — на одной ноге не хватало мизинца. От нее шел типичный девчачий запах и еще аромат детского мыла. Носила Анна обычно коричневые, плохо сидевшие юбки и розовые или голубые блузки из шелка-сырца. Девочка она была умная, находчивая и добрая. Злые языки утверждали, будто ее отец сбежал с дамой легкого поведения. Добавлю также, что у ее матери был сожитель, рыжеволосый коммивояжер, который частенько бивал и мать и дочь, и что плата за обучение для Анны была снижена.

И Анна и я были в классе изгоями, я — по причине странностей моего характера,

Анна — из-за своей непривлекательности. Но к нам не приставали и над нами не издевались.

Как-то в воскресенье мы столкнулись с ней на утреннем сеансе в кинотеатре «Карла». Выяснилось, что мы оба обожаем кино. В отличие от меня Анна располагала довольно значительными карманными деньгами, и я не мог устоять от соблазна ходить в кино за ее счет. Вскоре она пригласила меня к себе домой. Просторная, но запущенная квартира находилась на втором этаже дома, выходившего фасадом на Нюбругатан, на углу Валхаллавеген.

В темной, похожей на пенал комнате Анны, обогреваемой кафельной печью, стояла разномастная мебель, на полу лежал вытертый ковер. У окна — белый письменный стол, доставшийся ей по наследству от бабушки. На выдвижной кровати покрывало и подушки с турецким орнаментом. Мать встретила меня приветливо, но без всякой сердечности. Внешне она была похожа на свою дочь, только вот губы сурово сжаты, кожа отливает желтизной, а седые жидкие волосы взбиты и зачесаны назад. Рыжий коммивояжер не появился.

Мы с Анной начали вместе учить уроки, я представил ее в пасторском доме, и, как ни странно, протестов не последовало. Скорее всего, ее посчитали слишком уродливой, чтобы угрожать моей добродетели. Анну доброжелательно приняли в семью, по воскресеньям она обедала с нами — на обед подавалось жаркое из телятины и огурцы, брат бросал на нее презрительно-иронические взгляды, она быстро и раскованно отвечала на вопросы и принимала участие в представлениях кукольного театра.

Добродушие Анны способствовало уменьшению напряженности в моих отношениях с остальным семейством.

Но одного обстоятельства члены моей семьи не знали, а именно того, что мать Анны редко бывала дома по вечерам, и наши занятия плавно перешли в беспорядочные, но упорные упражнения на испускавшей громкие жалобные стоны кровати.

Мы были одни, изголодавшиеся, полные любопытства и абсолютно неопытные. Девственность Анны сопротивлялась изо всех сил, а провисшая сетка кровати еще больше затрудняла всю операцию. Раздеваться мы не решались и практиковались в полном облачении, если не считать ее шерстяных панталон. Мы были беспечны, но осторожны. Однако как-то раз храбрая и хитрая Анна предложила устроиться на полу перед печью (она видела такую сцену в каком-то фильме). Мы разожгли печь, напихав в нее полешек и газет, сорвали с себя мешавшую одежду, Анна кричала и смеялась, а я погружался в таинственную глубину. Анна вскрикнула, ей было больно, но меня не отпустила. Я добросовестно пытался высвободиться, она плакала, лицо ее было мокро от слез и соплей, мы целовались сжатыми губами. «Я забеременела,— шептала Анна,— я знаю, что забеременела». Она смеялась и плакала, а меня охватил леденящий ужас, я пытался привести ее в себя: «Тебе надо пойти и помыться, вымыть ковер». Мы оба были в крови, ковер тоже.

В этот момент в прихожей открылась дверь, и на пороге комнаты появилась мать Анны. Пока Анна, сидя на полу, натягивала панталоны и старалась запихать в рубашку свою огромную грудь, я всячески тянул вниз свитер, дабы закрыть пятно на брюках.

Фру Линдберг, закатив мне оплеуху, схватила за ухо и протащила два раза по комнате, потом остановилась, дала еще одну оплеуху и, грозно улыбаясь, сказала, чтобы я, дьявол меня задери, поостерегся наградить ее дочь ребенком. «В остальном же занимайтесь чем хотите, только меня не впутывайте». Проговорив это, она повернулась ко мне спиной и с грохотом захлопнула за собой дверь.

Я не любил Анну, ибо там, где я жил и дышал, не было любви. Наверняка в детстве я купался в любви, но теперь забыл ее вкус. Я не любил никого и ничего, меньше всего самого себя. Чувства Анны, возможно, были в меньшей степени разъедены ржавчиной. У нее был кто-то, кого она могла обнимать, целовать, с кем могла играть — беспокойная, капризная, злая кукла, которая беспрерывно говорила и говорила, иногда забавно, иногда глупо или настолько наивно, что возникало сомнение — а правда ли ему четырнадцать лет. Иногда он отказывался идти рядом с ней по улице под тем предлогом, что она чересчур толстая, а он чересчур худой, и они смешно выглядят вместе.

Порой, когда гнет пасторского дома становился совсем невыносимым, я прибегал к кулакам, Анна давала сдачи, и хотя силы наши были равны, я был злее, поэтому драки зачастую кончались ее слезами и моим уходом. Потом мы всегда мирились. Один раз я поставил ей синяк под глазом, другой — разбил губу. Анне доставляло удовольствие щеголять своими синяками в школе. На вопрос, кто ее избил, она отвечала — любовник, чем вызывала всеобщий смех, ибо никто не верил, что пасторский сынок, этот тощий заика, способен на подобные взрывы мужественности и темперамента.

Однажды в воскресенье перед мессой Анна позвонила и заорала, что Палле убивает ее мать. Я ринулся на выручку. Анна открыла дверь, и в ту же минуту, оглушенный сильнейшим ударом в лицо, я рухнул на галошную полку. Рыжий коммивояжер, в ночной рубахе и носках, расправлялся с матерью и дочерью, вопя, что укокошит всех нас, с него хватит вранья, ему надоело содержать шлюху и шлюхину дочь. Руки его сомкнулись на горле старшей из женщин. Лицо ее побагровело, рот широко раскрылся. Мы с Анной пытались оторвать его от матери. В конце концов Анна кинулась в кухню, схватила нож и пригрозила зарезать его. Он тут же отпустил мать и еще раз ударил меня в лицо. Я ответил, но промахнулся. После чего он молча оделся, нахлобучил набекрень котелок, сунул руки в рукава черного пальто, бросил на пол ключ от подъезда и исчез.

Мама Анны угостила нас кофе с бутербродами, в дверь позвонил сосед, поинтере-

совался, что случилось. Анна, затащив меня к себе в комнату, осмотрела мои раны — от переднего зуба откололся маленький кусочек (я пишу это и трогаю языком щербинку).

Все, что произошло, было интересно, но нереально. Вообще, происходившее вокруг напоминало бессвязные обрывки фильма, отчасти непонятные или же скучные. Я с удивлением обнаружил, что хотя мои органы чувств регистрировали внешнюю действительность, посылаемые ими импульсы не затрагивали сами чувства, жившие в замкнутом пространстве и использовавшиеся по приказу, но никогда спонтанно. Действительность моя раздвоилась настолько, что потеряла сознание.

Я присутствовал при драке в запущенной квартире на Нюбругатан, ибо помню каждое мгновение, каждое движение, крики и реплики, блики света с другой стороны улицы на окне, запах чада, грязи, помаду на лишких рыжих волосах мужчины. Я помню все вместе и каждую деталь по отдельности. Но чувства не подключены к внешним впечатлениям. Был ли я испуган, зол, смущен, преисполнен любопытства или же просто бился в истерике? Не знаю.

Сегодня, подводя итоги, я знаю, что потребовалось более сорока лет, прежде чем мои чувства, запертые в непроницаемом пространстве, смогли выйти на свободу. Я существовал воспоминаниями о чувствах, неплохо умел их воспроизводить, но спонтанное их выражение никогда не бывало спонтанным, между интуитивным переживанием и его чувственным выражением всегда существовал зазор в тысячную долю секунды.

Сегодня, когда мне представляется, будто я более или менее выздоровел, очень хотелось бы знать, изобретен ли уже или будет когда-нибудь изобретен прибор, способный измерить и выявить невроз, который так эффективно-издевательски упредил иллюзорную нормальность.

Анна была приглашена на мое пятнадцатилетие, отмечавшееся в желтом доме на Смодаларё. Ее поместили в одну из мансард вместе с моей сестрой. На восходе солнца я разбудил ее, мы потихоньку спустились к бухте, сели в лодку и поплыли к Юнгфруфьерден, мимо Рэдудд и Стендёррен. Лодка вышла в открытое море, и мы попали в замерший, блистающий на солнце мир, в ленивую зыбь Балтийского моря, беззвучно катящего свои утренние воды от Утэ к Даларё.

Домой мы поспели вовремя — к завтраку и вручению подарков. У нас сгорели плечи и спины, губы стянуло от соли, глаза почти ослепли от света.

Прожив вместе более полугода, мы впервые увидели друг друга обнаженными.

* * *

В то лето, когда мне исполнилось шестнадцать, меня отправили в Германию в качестве Austauschkind[3]. Это означало, что шесть недель я буду жить в немецкой семье, где был мальчик моего возраста, который потом в свою очередь поедет на летние каникулы со мной в Швецию и проживет у нас такое же время.

Я попал в пасторскую семью, обитавшую в маленьком местечке Хайна между Веймаром и Айзенахом в Тюрингии. Деревушка, окруженная зажиточными поселениями, располагалась в ложбине. Между домами извивалась ленивая мутная речушка. В деревне имелись также внушительных размеров церковь, площадь с памятником жертвам войны и автобусная станция.

Семья была большая: шестеро сыновей, три дочери, пастор, его жена и престарелая родственница — дьяконисса, или dienende Schwester[4]. Усатая, обильно потевшая старуха железной рукой правила семейством. Глава семьи — хрупкий мужчина с козлиной бородкой, добрыми голубыми глазами, ватными затычками в ушах — ходил в надвинутом на лоб черном берете. Он был начитан и музыкален, играл на нескольких инструментах и обладал мягким тенором. Жена, помятая жизнью, покорная толстуха, пребывала чаще всего на кухне. Иногда она застенчиво похлопывала меня по щеке, может быть, как бы прося прощение за их бедность.

Мой товарищ Ханнес точно сошел со страниц национал-социалистского пропагандистского журнала: рослый блондин с голубыми глазами, бодрой улыбкой, крошечными ушами и первыми признаками растительности на лице. Мы оба прилагали всяческие усилия, чтобы понять друг друга, но это оказалось не так-то просто — мой немецкий был результатом тогдашней грамматической методы обучения: учебные планы не предусматривали возможность разговора на данном языке.

Дни тянулись тягостно. В семь часов дети отправлялись в школу, и я оставался один на один со старшими. Читал, бродил ю окрестностям, тосковал по дому, но предпочитал сидеть в кабинете пастора или сопровождать его, когда он навещал паству. Пастор ездил на допотопной развалюхе с откидным верхом, в перегретом неподвижном воздухе висела дорожная пыль, кругом расхаживали жирные, злобные гуси.

Я спросил пастора, надо ли мне тоже вытягивать руку и говорить «хайль Гитлер», на что он ответил: «Lieber Ingmar, das wird als mehr als eine Höflichkeit betrachtet»[5]. Я вытянул руку и произнес: «Хайль Гитлер!» — показалось смешно.

Вскоре Ханнес предложил мне пойти с ним в школу, посидеть на уроках. Хрен редьки не слаще, но я все-таки выбрал школу, находившуюся в местечке покрупнее в нескольких километрах от Хайны, преодолевавшихся на велосипеде.

Меня приняли с преувеличенной сердечностью и разрешили сидеть рядом с Ханнесом. В просторном, запущенном классе царил влажный холод, несмотря на летнюю жару за высокими окнами. Был урок Religionskunde[6], однако на партах лежала

[3] Здесь — школьник, выезжающий по обмену в другую страну *(нем.)*.

[4] Здесь — сестра-прислужница. Женщина, занимающаяся церковной благотворительной деятельностью *(нем.)*.

[5] Дорогой Ингмар, это следует рассматривать просто как вежливость *(нем.)*.

[6] История религии *(нем.)*.

гитлеровская «Майн Кампф». Учитель читал что-то из газеты, называвшейся «Der Stürmer»[7]. Помню лишь одну фразу, которая показалась мне странной,— учитель то и дело повторял: «Von den Juden vergiftet»[8]. Позднее я попросил объяснить, о чем шла речь. Ханнес засмеялся: «Ach, Ingmar, das alles ist nicht für Ausländer!»[9].

В воскресенье семейство отправлялось на мессу. Проповеди пастора удивляли меня — он ссылался не на Евангелие, а на «Майн Кампф». После богослужения пили кофе в приходском доме. На многих была форма, и я получил возможность неоднократно вытягивать руку и говорить «хайль Гитлер».

Пасторские дети все состояли в какой-нибудь организации: мальчики — в гитлерюгенд, девочки — в «Bund Deutscher Mädel»[10]. После обеда проводилась военная подготовка — с лопатами вместо ружей — или спортивные занятия на стадионе, вечерами мы слушали лекции, сопровождавшиеся показом фильмов, или пели и танцевали. Умудрялись купаться в речушке — дно было илистое, а вода воняла. В примитивной умывальне, где не было ни горячей воды, ни других удобств, сушились на веревке девчоночьи гигиенические прокладки, связанные крючком из толстых хлопчатобумажных ниток.

В Веймаре проводился День партии — грандиозное мероприятие во главе с Гитлером. В пасторском доме царила суматоха, стирали и гладили рубашки, чистили сапоги и ремни. Молодежь отправилась в путь на рассвете. Я со взрослыми должен был приехать позже, на машине. Семейство не скрывало гордости, получив билеты поблизости от почетной трибуны. Кто-то пошутил, что причиной столь выгодного размещения было мое присутствие.

В это беспокойное утро раздался телефонный звонок. Звонили из дома. В трубке я услышал далекий звучный голос тети Анны: со своим беспредельным богатством она могла позволить себе такой дорогостоящий разговор. Она и не думала торопиться и лишь спустя долгое время подошла к цели своего звонка. Тетя Анна сказала, что в Веймаре живет ее подруга, она замужем за директором банка, и когда она, тетя Анна, узнала от матери, что я живу поблизости, то она, тетя Анна, немедленно позвонила этой своей подруге и предложила, чтобы я нанес им визит. Затем тетя Анна, поговорив с пастором на хорошем немецком языке, снова попросила меня к телефону и сообщила, как ей приятно, что я смогу повидать ее подругу и подругиных прелестных детей.

Мы прибыли в Веймар около двенадцати. Парад и речь Гитлера были намечены на три часа. Город уже бурлил от праздничного возбуждения, на улицах полно народу — кто в выходных нарядах, кто в форме. Повсюду играли оркестры, дома были украшены цветочными гирляндами и транспарантами. Звонили церковные колокола: протестантские — мрачно, католические — весело. На одной из старинных площадей построили «тиволи» — аттракционы и увеселительные павильоны. Опера отмечала торжественное событие вечерним спектаклем «Риенци» Вагнера и последующим ночным фейерверком.

Пасторское семейство — и я тоже — сидело рядом с почетной трибуной в ожидании начала праздника, в предгрозовой духоте, пило пиво и поглощало бутерброды из промасленного пакета, который пасторша во время всей поездки крепко прижимала к своей пышной груди.

Пробило три часа, и тут послышалось что-то, напоминавшее приближающуюся бурю. Глухой, наводящий ужас гул разлился по улицам, ударяясь о стены домов: вдалеке на площадь вползал кортеж черных открытых автомобилей. Гул усилился, перекрывая шум разразившейся грозы, в воздухе повисла прозрачная пелена дождя, громовые раскаты сотрясали место празднества.

Никто не обращал внимания на непогоду, все благоговение, восторг, все блаженство толпы было сосредоточено на одной-единственной личности. Он стоял неподвижно в громадной черной машине, медленно въезжавшей на площадь. Вот он повернулся, окидывая взглядом вопящих, плачущих, одержимых людей. Дождь заливал его лицо, форма потемнела от влаги. Неторопливо сошел он на красную ковровую дорожку и не спеша двинулся к трибуне. Его спутники держались на расстоянии.

Внезапно наступила полная тишина, только дождь стегал мостовые и балюстрады. Фюрер заговорил. Речь была короткой, я мало что понял, но голос звучал то торжественно, то шутливо и подкреплялся точно выверенной жестикуляцией. По окончании речи толпа проорала «Хайль!», дождь перестал, в разрывах между черными тучами засияло жаркое солнце. Заиграл исполинский оркестр, и на площадь с боковых улиц, огибая почетную трибуну и дальше мимо театра и Домского собора, хлынул парад.

Ни разу в жизни я не видел ничего похожего на эту демонстрацию беспредельной силы. Как все я орал, как все вытягивал руку, как все выл, как все был преисполнен обожания.

Ханнес в наших ночных беседах объяснял мне суть войны в Абиссинии, важность того, что Муссолини наконец-то проявил заботу о туземцах, которые до той поры пребывали во мраке, и щедрой рукой одарил их благами древней итальянской культуры. Он утверждал, будто мы там, в далекой Скандинавии, даже не представляем себе, как после краха Германии евреи эксплуатировали немецкий народ, рассказывал, как немцы создают оплот против коммунизма, а евреи всячески подрывают этот оплот, говорил, как все мы должны любить человека, определившего нашу общую судьбу и решительно сплотившего нас в единую волю, единую силу, единый народ.

На день рождения мне преподнесли подарок — фотографию Гитлера. Ханнес повесил ее над моей кроватью, чтобы «он все время был у тебя перед глазами», чтобы я научился любить его столь же сильно, как любили его Ханнес и вся семья Хайдов. И я любил его. Немало лет я был сторон-

---

[7] «Буря» *(нем.)*.
[8] Отравлено евреями *(нем.)*.
[9] Ах, Ингмар, это не для иностранцев! *(нем.)*.
[10] «Союз немецких девушек» *(нем.)*.

ником Гитлера, радовался его успехам и переживал его поражения.

Мой брат был одним из учредителей и организаторов Шведской национал-социалистической партии, мой отец несколько лет подряд голосовал на выборах за национал-социалистов. Наш учитель истории преклонялся перед «старой Германией», преподаватель физкультуры каждое лето ездил на офицерские собрания в Баварии, некоторые из приходских священников были тайными нацистами, ближайшие друзья нашей семьи открыто симпатизировали «новой Германии».

Когда до меня дошли свидетельства из концентрационных лагерей, мой разум вначале отказывался принимать то, что видели глаза. Как и многие другие, я считал эти фотографии сфабрикованной пропагандистской ложью. Когда же истина в конце концов одолела внутреннее сопротивление, меня охватило отчаяние, а презрение к самому себе, мучившее меня и без того, стало и вовсе невыносимым. Лишь много позднее я понял, что моя вина, несмотря ни на что, была не столь уж велика.

Austauschkind, неподготовленный, не получивший должной прививки, я попал в блистающий мир идеалов и преклонения перед героями, оказался беззащитным перед агрессивностью, настроенной в высшей степени на ту же волну, что и моя собственная. Внешний блеск ослепил меня. Я не замечал мрака.

Через артистическое фойе Городского театра Гётеборга, куда я приехал через год после окончания войны, шла глубокая кровавая трещина. По одну сторону сидели диктор «Киножурнала УФА», организаторы шведского варианта Имперской кинопалаты и обычные попутчики. По другую — евреи, приверженцы Сегерстедта[11], актеры, имевшие норвежских и датских друзей. Все жевали принесенные с собой бутерброды, запивая их отвратительным напитком из буфета. Ненависть, наполнявшую помещение, можно было резать ножом.

Звенел звонок, актеры выходили на сцену и превращались в лучший театральный ансамбль страны.

Я скрывал свои заблуждения и свое отчаяние. Постепенно созревало поразительное решение — больше никакой политики! Разумеется, мне следовало принять совсем другое решение.

Празднества в Веймаре продолжались весь вечер и всю ночь. Пастор отвез меня в особняк директора банка — внушительное здание в стиле модерн, облицованное мрамором, окруженное ароматной парковой зеленью. Тихая, благопристойная улица была вся застроена такими домами. Поднявшись по широкой лестнице, я позвонил в дверь. Открыла мне горничная в черном платье с кружевной наколкой на искусно уложенных волосах. Я, заикаясь, сказал свое имя и по какому я делу, и она, смеясь, ввела меня в холл.

Подруга тети Анны, высокая блондинка, выказала безыскусную сердечность. Звали ее Анни, мать ее была шведкой, отец — американцем, по-шведски она говорила с акцентом. Анни была в исключительно элегантном туалете — они с мужем собирались вечером на торжественный спектакль в Оперу. Меня проводили в столовую, где семейство собралось за вечерним чаем с kalter Aufschnitt[12]. Вокруг нарядного стола сидели люди, красивее которых мне видеть не доводилось. Директор банка — высокий, темноволосый господин с ухоженной бородкой и приветливо-ироничным взглядом скрытых очками глаз. Рядом с ним — младшая дочь, Клара, которую все называли Клэрхен. Она была похожа на отца, высокая, темноволосая, с белой кожей, карими, почти черными глазами и бледными полными губами. Она чуточку косила, что необъяснимым образом только усиливало ее привлекательность.

Братья были постарше, тоже темноволосые, но голубоглазые в отличие от Клэрхен, длинноногие, стройные, элегантные, в английских клубных пиджаках с эмблемой какого-то университета на кармашке.

Я опустился на стул рядом с тетей Анни, которая налила мне чай и подала бисквиты. Вокруг — картины, серебро, мягкие ковры на необозримом паркете, резные мраморные колонны, тяжелые занавеси, медальоны над дверями. В парадной столовой горели в лучах заходящего солнца окна-розетки.

После трапезы меня отвели в мою комнату на втором этаже, расположенную анфиладой вместе с покоями мальчиков, состоявшими из двух комнат каждый. В нашем распоряжении была ванная комната с несколькими умывальниками и утопленной в пол ванной. Показав мне всю эту роскошь, Анни распрощалась. В холле стоял навытяжку шофер, директор банка ждал на лестнице.

Появилась Клэрхен — в туфлях на высоких каблуках (поэтому она казалась выше меня) и домашнем платье приглушенного красного цвета, волосы распущены по плечам. Шутливым таинственным жестом она прижала палец к губам и, взяв меня за руку, повела по длинному коридору в помещение, находившееся в башенке дома. Комната, очевидно, была нежилая — мебель в чехлах, хрустальная люстра укутана тюлем. В больших зеркалах отражались зажженные свечи. Там уже сидели братья Клэрхен, они курили плоские турецкие сигареты, то и дело пригубливая коньяк. На позолоченном столике стоял заведенный, в полной готовности патефон. Младший из братьев, Давид, сунул в трубу патефона пару носков.

На пластинку с голубой этикеткой «Телефункен» поставили адаптер, и из черного ящика полились суровые приглушенные звуки увертюры к «Трехгрошовой опере». За саркастическим объяснением диктора, почему эта опера носит такое название, последовали: песня о Мэкки («А у Мэкки — нож и только, // Да и тот укрыт от глаз»), солдатская песня (Kannonsong), Баллада о приятной жизни (Ballade vom angenhem

[11] Торгни Сегерстедт (1876—1945) — журналист и историк. С 1917 г. был главным редактором «Гётеборгс хандельс — ок шёфартиднинг», где беспощадно бичевал нацизм.

[12] Холодные закуски *(нем.)*.

Leben) и «Пиратка Дженни» в исполнении Лотты Лениа. Голос ее сперва звучит оскорбленно, потом презрительно-высокомерно и наконец мягко и шутливо: «И под возгласы «гопля» и прибаутки // Будут головы катиться с плеч».

Незнакомый мне мир, о существовании которого я и не подозревал: отчаяние без слез, смеющаяся безысходность — «Увы, своею головою // прокормишь только вошь».

Я прихлебывал коньяк, курил турецкие сигареты и чувствовал легкую дурноту. Почему такая таинственность — концерты по ночам, запертая дверь, специальная иголка в адаптере, носки в рупоре? «Эта музыка запрещена,— говорит Хорст.— Брехт и Вайль запрещены, пластинки мы достали в Лондоне и тайком привезли сюда, чтобы Клэрхен могла слушать».

Она ставит следующую пластинку. Грохочет оркестр Льюиса Рута. Первый трехгрошовый финал:

Что мне нужно? Лишь одно:
Замуж выйти, стать женою.
Неужели и такое
Человеку не дано?

Вступает звучный загробный бас:

Стать добрым! Кто не хочет добрым стать?

Мы плаваем в клубах пряного, пахнущего парфюмерией табачного дыма. Луна высвечивает деревья в парке. Чуть повернув голову, Клэрхен пристально глядит в зеркало, висящее в простенке между окнами. Закрывает ладонью один глаз. Давид наполняет мою рюмку. Мгновение рвется, как тонкая пленка, и я, не сопротивляясь, переношусь в следующее, которое в свою очередь тоже рвется, и так все дальше и дальше.

Трехгрошовый финал:

Ведь одни во мраке скрыты,
На других направлен свет,
И вторых обычно видят,
Но не видят первых, нет[13].

Я не понимал слов, а если и понимал, то очень немного, но, точно умное животное, я обычно улавливаю интонацию. И сейчас тоже уловил ее, проникшую в самую глубь моего сознания, чтобы остаться там навсегда, превратившись в часть моего «я».

Через двадцать лет мне удалось — наконец-то — поставить «Трехгрошовую оперу» на шведской сцене. И какой же получился ужасающий компромисс, какая пародия на великий замысел, какое малодушие, какая измена обретенному осмыслению! В мое распоряжение были предоставлены все ресурсы — и художественные и материальные, а я потерпел поражение, ибо был глуп и высокомерен — непробиваемое сочетание в режиссуре. Мне и в голову не пришло вспомнить тускло освещенное лицо Клэрхен, резкий лунный свет, турецкие сигареты и склонившегося над черным патефоном Давида.

У нас была возможность прослушать поцарапанные пластинки «Телефункен», но слушали мы рассеянно и пришли к заключению, что необходимо сделать новую инструментовку. Провинциальные идиоты, гении от сохи. Так было тогда, а как сейчас?

Концерт продолжался — звучали Луи Армстронг, Фэтс Уоллер и Дюк Эллингтон. От возбуждения и коньяка я задремал, но через минуту очнулся, уже лежа в своей огромной кровати. За окном занимался рассвет, в ногах сидела Клэрхен, закутанная в широкий халат, волосы в папильотках, и пристально, с любопытством смотрела на меня. Увидев, что я проснулся, она с улыбкой кивнула и бесшумно исчезла.

Спустя полгода я получил письмо, на конверте, надписанном прямым размашистым почерком Клэрхен, стоял швейцарский штемпель. В шутливых выражениях она напоминала мне об обещании писать друг другу, которое я, вероятно, забыл. Она писала, что опять вернулась в пансион, родители уехали к друзьям в Канаду, она, окончив школу, собирается поступать в Школу искусств в Париже. Братьям, благодаря содействию английского посла, удалось вернуться в свои университеты. По ее мнению, никто из семьи не собирался возвращаться в Веймар. Все это излагалось на первой странице письма, вторую я привожу целиком:

«На самом деле меня зовут не Клара, а Теа, но это имя в паспорте не записано. Как я тебе уже рассказывала, воспитывали меня в строгом религиозном духе, и я полностью соответствую представлению моих родителей о том, какой должна быть хорошая дочь.

Мне пришлось испытать немало физических страданий. Самым тяжелым недугом была чесотка, преследовавшая меня два года как кошмарный сон. Другая мучительная хворь — повышенная чувствительность. Я болезненно реагирую на неожиданные звуки, яркий свет (я слепа на один глаз) и неприятные запахи. Прикосновение ткани платья к телу, к примеру, заставляет меня порой сходить с ума от боли. В пятнадцать лет я вышла замуж за актера-авантюриста, сама собиралась стать актрисой, но брак оказался неудачным, я родила, но ребенок умер, и я вернулась в пансион в Швейцарии. Сухие сумерки, потрескивая, опускаются над детской головкой, не могу продолжать. Я плачу, и из эмалевого глаза тоже текут слезы.

Я воображаю себя святой или мученицей. Часами могу сидеть за большим столом, запершись в комнате (там, где мы слушали запрещенные пластинки), часами сидеть и рассматривать тыльную сторону ладоней. Однажды левая ладонь сильно покраснела, но кровь не выступила. Я представляю себе, как приношу себя в жертву, чтобы спасти братьев от смертельной опасности. Играю в экстаз и мысленно беседую со святой девой Марией. Играю в веру и неверие, бунт и сомнения. Представляю себя отверженной грешницей, страдающей от чувства неизбывной вины. И вдруг отбрасываю грех и прощаю саму себя. Все — игра. Я играю.

Но за пределами игры, внутри, я все время одна и та же, иногда — до ужаса трагична, иногда — безгранично весела. И то и другое достигается одинаковым незна-

[13] Перевод С. Апта.

чительным усилием. Я пожаловалась врачу (у скольких же врачей я перебывала!). Он объяснил, что на мою психику вредно влияет мечтательность и лень, и прописал режим, который вынудит меня выйти из тюрьмы моего эгоцентризма. Порядок. Самодисциплина. Задания. Корсет. Отец — такой мягкий, умный и такой холодно-расчетливый человек — говорит, что не стоит волноваться, во всем есть всё, жизнь — это мучение, которое следует преодолевать со смирением и лучше без цинизма. Подобные усилия мне не по вкусу, поэтому я собираюсь еще глубже уйти в свои игры, относиться к ним более серьезно, если ты понимаешь, что я имею в виду.

Напиши мне незамедлительно обо всем, на любом языке, кроме шведского, который мне, может быть, когда-нибудь придется выучить. Напиши о себе, мой младший братишка, я так по тебе скучаю!»

Затем следуют указания относительно ее будущих адресов и милая, но формальная концовка с подписью: «Mein lieber Ingmar, ich umarme Dich fest, bist Du noch so schreklich dünn? Clara»[14].

Я так и не ответил на ее письмо. Языковые трудности оказались непреодолимыми, а мне очень не хотелось выглядеть в ее глазах смешным. Зато письмо ее я сохранил, использовав его почти дословно в фильме «Ритуал» 1969 года.

Проведя еще несколько дней в Веймаре и ужасную неделю в Хайне, я ввязался в религиозный спор с «сестрой-прислужницей». Дело в том, что она обнаружила, что я читаю Стриндберга, этого, как она выяснила, подстрекателя, женоненавистника и осквернителя Бога. Указав на предосудительность подобного чтения, она поставила под сомнение целесообразность пребывания их Ханнеса в семье, допускавшей подобное чтение. Я на плохом немецком объяснил, что на моей родине пока еще существует свобода вероисповедания и мнений (в этот момент демократия вдруг стала хороша). Буря улеглась, и мы с Ханнесом отправились домой.

Все собрались в Берлине, откуда дополнительный поезд должен был доставить нас в Стокгольм. Мы разместились в громадном Доме путешественников на окраине города. Снабженный украдкой переданным мне тетей Анни пополнением к моей дорожной кассе, я улизнул с запланированной экскурсии к памятникам и другим достопримечательностям.

Я сел на автобус возле Дома путешественника и доехал до конечной остановки. Было шесть часов жаркого июльского полудня. Беспомощный и растерянный стоял я посреди грохота и движения, парализовавших все мои чувства. Наудачу свернул на поперечную улицу с еще более интенсивным движением и, следуя за людским потоком, вышел к величественному мосту Курфюрстенбрюкке. На другом берегу красовался замок. Не один час простоял я у перил, глядя, как опускаются сумерки, как чернеют тени над бегущей вонючей рекой. Шум усилился.

Я миновал еще один мост, перекинутый через речку поуже, с полузатопленным деревянным причалом. С адским грохотом забивала сваи машина. На стоявшей неподалеку на якоре барже расположились в плетеных креслах двое мужчин, они пили пиво и удили рыбу. Все глубже втягивало меня в перегруженное городское движение. Ничего не происходило, даже проститутки, уже занимавшие свои ночные посты, не приставали ко мне. Я сильно проголодался, хотелось пить, но зайти в какое-нибудь заведение не осмелился.

Наступила ночь. По-прежнему ничего не происходило. Разочарованный, измученный, я вернулся в Дом путешественника на такси, что полностью опустошило мою кассу. Прибыл как раз в тот момент, когда пасторское семейство собиралось звонить в полицию.

На следующее утро на длиннющем дополнительном поезде, составленном из допотопных вагонов с деревянными скамьями и открытыми площадками, мы двинулись в Швецию. Лило как из ведра. Я, стоя под дождем, оглушенный грохотом, орал и бесновался, стараясь обратить на себя хоть чье-нибудь внимание, предпочтительно какой-нибудь девицы. Бесновался я несколько часов. На пароме мне вздумалось прыгнуть в море, но я испугался, что меня затянет в винты. Ближе к ночи, притворившись пьяным, упал и начал изображать рвотные движения. В конце концов вмешалась круглолицая веснушчатая девушка, которая, схватив меня за волосы, сильно встряхнула и суровым голосом велела прекратить фиглярничать. Я незамедлительно послушался, уселся в углу и, съев апельсин, заснул. Когда я проснулся, мы были уже в Сёдертелье.

По ночам мне часто снится Берлин. Но это не настоящий Берлин, а инсценировка: бесконечный гнетущий город с покрытыми сажей монументальными зданиями, церковными шпилями и памятниками. Я бреду среди нескончаемого транспортного потока, кругом неизвестный и все-таки хорошо знакомый мир. Испытывая одновременно ужас и наслаждение, я прекрасно сознаю, куда направляюсь: ищу кварталы по ту сторону мостов, ту часть города, где что-то должно случиться. Взбираюсь на крутой пригорок, между домами угрожающе пролетает самолет, я наконец выхожу к реке. Из воды, заливающей тротуар, лебедкой вытягивают труп огромной, размером с кита, лошади.

Любопытство и страх гонят меня дальше, необходимо поспеть к началу публичных казней. Тут я встречаю свою умершую жену, мы нежно обнимаемся и направляемся в гостиницу утолять любовный голод. Она танцующим шагом идет рядом, моя рука покоится на ее бедре. Улица ярко освещена, хотя солнце в дымке. По черному небу быстро бегут облака. Теперь я понимаю, что наконец-то попал в запретные кварталы, где находится Театр со своим непостижимым спектаклем.

Три раза я пытался воссоздать город моего сна. Сперва написал радиопьесу под названием «Город». В ней рассказывалось

[14] Мой любимый Ингмар, крепко обнимаю тебя, ты по-прежнему такой же худой? Клара *(нем.)*.

о большом, пришедшем в упадок городе, с разрушающимися домами и помытыми улицами. Несколько лет спустя поставил «Молчание», фильм, в котором две сестры и маленький мальчик попадают в огромный воинственный город, где говорят на непонятном языке. Последняя попытка — «Змеиное яйцо». Художественная неудача его связана главным образом с тем, что я назвал город Берлином и отнес действие к 1920 году. Это было неразумно и глупо. Если бы я воссоздал Город моего сна, Город, которого нет и который тем не менее пронзительно реален со своим запахом и своим гулом, если бы я воссоздал *такой* Город, то, с одной стороны, обрел бы абсолютную свободу и чувствовал себя как дома, а с другой — и это важнее всего — сумел бы ввести зрителя в чужой, но тем не менее таинственно-знакомый мир. К несчастью, я соблазнился впечатлениями того летнего вечера в Берлине в середине 30-х годов, вечера, когда ничего не произошло. Показал в «Змеином яйце» Берлин, который никто не узнал, даже я сам.

● * *

После изнурительной борьбы отца назначили настоятелем прихода Хедвиг Элеоноры в Стокгольме, где он служил викарием с 1918 года. Семья переехала в служебную квартиру на четвертом этаже дома на Стургатан, 7, напротив церкви. Мне выделили большую комнату, выходившую на Юнгфругатан, с видом на Эстермальмские подвалы XVIII века, старинные дымоходы и площадь Эстермальм. Дорога в школу стала намного короче, у меня появился собственный вход и бóльшая свобода.

Проповеди отца пользовались популярностью, во время его богослужений церковь бывала набита битком. Заботливый духовный наставник, он обладал бесценным даром — невероятной памятью. За многие годы он крестил, конфирмовал и отпел немало прихожан из своей сорокатысячной паствы и всех помнил в лицо, помнил их имена, обстоятельства их жизни. Каждый из них, окруженный заинтересованным, внимательным участием отца, чувствовал себя избранным, ибо знал, что о нем помнят. Прогулки с отцом представляли из себя весьма сложную процедуру. Он то и дело останавливался, здоровался, заводил разговоры, называл человека по имени, выслушивал рассказы про детей, внуков и родственников. Этот дар он не утерял и в глубокой старости.

Совершенно очевидно, что прихожане любили своего пастыря. Как администратор и начальник он был решителен, но гибок и дипломатичен. Возможности самому выбирать себе помощников он не имел — кое-кто из них тоже претендовал на место настоятеля, а некоторые отличались ленью, ханжеством и покорностью, — тем не менее отцу удавалось почти полностью избегать открытых конфликтов и клерикальных интриг.

Дом настоятеля по традиции был открыт для всех. Мать, проделывая недюжинную организаторскую работу, держала ситуацию под контролем. Кроме того, она принимала участие в приходской жизни и была движущей силой различных обществ и благотворительных собраний. Верно исполняла представительские функции, в церкви всегда сидела на первой скамье, независимо от того, кто читал проповедь, участвовала в конференциях, устраивала обеды. Брат, которому было двадцать лет, учился в университете в Упсале, сестре было двенадцать, мне — шестнадцать. Свобода наша целиком обусловливалась чрезмерной перегруженностью родителей, но это была отравленная свобода, отношения напряжены до предела, узлы не развязывались. Под внешней оболочкой безупречной семейной спаянности скрывались горе и душераздирающие конфликты. Отец, безусловно талантливый актер, вне «сцены» нервничал, раздражался, впадал в депрессию. Он боялся не справиться, страшился своих выступлений, вновь и вновь переписывал проповеди, плохо переносил возложенные на него многочисленные административные обязанности. Терзаемый постоянным страхом, он взрывался по малейшему поводу: не свистите, выньте руки из карманов. Вдруг решал проверить, как мы выучили уроки,— того, кто отвечал с запинками, ждало наказание. И ко всему прочему страдал повышенной слуховой чувствительностью: громкие звуки приводили его в ярость. Несмотря на то, что в его спальне и кабинете сделали дополнительную изоляцию, он безудержно жаловался на уличное движение, в то время весьма незначительное на Стургатан.

Мать с ее двойной нагрузкой находилась в диком напряжении, мучилась бессонницей и принимала какие-то сильнодействующие препараты, вызывавшие у нее состояние беспокойства и страха. Как и отца, ее преследовало ощущение скудости собственных возможностей по сравнению с непомерными честолюбивыми замыслами. Но сильнее всего ее мучило, вероятно, сознание того, что она теряет контакт с нами, с детьми. В отчаянии она искала утешения у дочери, отвечавшей ей мягкостью и покорностью. Брат, после попытки самоубийства, переехал в Упсалу, а я все глубже погружался в свое отчуждение.

Вполне может статься, что я чересчур сгущаю краски. Ведь никто из нас не ставил под сомнение распределение ролей или абсурдность интриги: такова была доставшаяся нам в удел действительность, жизнь. И другой альтернативы не существовало или о ней просто не задумывались. Отец изредка говорил, что предпочел бы быть сельским священником, и, наверное, подобная стезя на самом деле подошла бы ему больше, принесла бы больше удовлетворения. Мать же записала в своем секретном дневнике, что хочет развестись и поселиться в Италии.

Как-то раз мать взяла меня с собой в гости к давнему другу дяде Перу, директору издательства Правления диаконис. Дядя Пер был в разводе и жил в просторной темноватой квартире в Васастан. К моему удивлению, там же я встретил дядю Торстена. Дядя Торстен — друг детства родителей, епископ, у него жена и много детей.

Мне поручили заняться громадным граммофоном в столовой, из которого льются мощные, гулкие звуки, в основном оперная музыка — Моцарт и Верди. Дядя Пер уда-

ляется в кабинет. Мать и дядя Торстен остаются одни в гостиной перед камином. Я вижу их через наполовину раздвинутые двери, они сидят в креслах, освещенные отблесками пламени. Дядя Торстен берет материну руку. Они о чем-то тихо говорят, слов я не разбираю, в ушах грохочет музыка. Я вижу, как мать начинает плакать, дядя Торстен наклоняется к ней, по-прежнему держа ее руку в своей.

Через какое-то время дядя Пер отвез нас домой в большом черном лимузине с кожаными сиденьями и деревянными панелями внутри.

И зимой и летом мы обедаем в пять часов. При последнем ударе часов умытые и причесанные, стоя рядом со стульями, читаем молитву, после чего рассаживаемся: отец и мать за противоположными концами стола, я и сестра — по одну сторону, брат и фрёкен Агда — по другую. Фрёкен Агда, добрая, длинная и потому несколько раскачивающаяся из стороны в сторону женщина, на самом деле учительница младших классов. Уже много летних месяцев подряд она терпеливо исполняет роль нашего репетитора, став маминой близкой подругой.

Электрические лампочки латунной люстры заливают стол грязно-желтым светом. У двери, ведущей в сервировочную, стоит массивный буфет, забитый серебром, напротив — фортепьяно с нотами, раскрытыми на ненавистном задании. Паркетный пол покрыт восточным ковром. На окнах — тяжелые гардины, на стенах — потемневшие картины Арборелиуса.

Трапеза начинается с закуски — маринованная селедка с картофелем, или маринованная салака с картофелем, или запеченная ветчина с картофелем. К этому блюду отец выпивает рюмку водки или стакан пива. Мать нажимает кнопку электрического звонка, укрепленного под столешницей, и появляется одетая в черное горничная. Она собирает тарелки и приборы, после чего подается горячее, в лучшем случае — мясные фрикадельки, в худшем — макаронная запеканка. Голубцы или свиные сардельки вполне приемлемы, рыба ненавистна, но выказывать неудовольствия нельзя. Есть надо все, все должно быть съедено.

Под горячее отец допивает остатки водки, лоб у него слегка краснеет. Обед проходит в полном молчании. Дети за столом не разговаривают и отвечают лишь в том случае, если к ним обращаются. Следует обязательный вопрос, как прошел сегодня день в школе, на что следует столь же обязательный ответ — хорошо. Письменные уроки задали? Нет. Что тебя спрашивали? Ты ответил? Конечно, ответил. Я звонил твоему классному руководителю. По математике у тебя будет положительная оценка. Кто бы мог подумать.

Отец саркастически улыбается. Мать пьет лекарство. Ей сделали тяжелую операцию, и теперь ей все время надо принимать лекарство. Отец поворачивается к брату: изобрази-ка дурачка Нильссона. У брата, имеющего дар имитации, тут же отвисает челюсть, он дико вращает глазами, расплющивает нос и начинает что-то несвязно и шепеляво бормотать. Отец хохочет, мать неохотно улыбается. «Пера Альбина Ханссона[15] следовало бы расстрелять, — внезапно говорит отец, — всю эту социалистическую сволочь надо бы перестрелять». «Ты не имеешь права так говорить», — сдержанно произносит мать. «Что именно я не имею права говорить? Не имею права говорить, что нами правят сволочи и бандиты?» У отца чуть трясется голова. «Нам надо составить повестку дня заседания правления», — уходит в сторону мать. «Ты это повторяешь уже не в первый раз», — отвечает отец, лоб его багровеет. Мать, опустив глаза, ковыряет вилкой в тарелке. «Лилиан все еще болеет?» — спрашивает она ласково, обращаясь к сестре. «Завтра она придет в школу,— писклявo отвечает Маргарета. — Можно пригласить ее к нам на обед в воскресенье?»

За столом вновь воцаряется тишина, мы жуем, стучат о тарелки ножи и вилки, струится желтый свет, сверкает серебро на буфете, тикают часы. «Бероniуса все-таки назначили в Альгорд, несмотря на рекомендацию соборного капитула, — нарушает молчание отец. — Так было и так будет: некомпетентность, идиотизм». Мать качает головой, на лице у нее легкое презрение: «А это правда, что в Страстную пятницу проповедь будет читать Арбелиус? Он говорит так, что ничего не слышно». «Может, это и к лучшему», — смеется отец.

Сразу же после выпускного экзамена Анна Линдберг уехала во Францию совершенствовать язык. Несколько лет спустя она вышла там замуж, родила двоих детей и заболела полиомиелитом. Муж погиб на второй день после начала войны. Наша связь оборвалась насовсем. Взамен я стал ухаживать за другой девушкой из моего класса, Сесилией фон Готтард. Рыжеволосая, умная, она не лезла в карман за словом и была намного взрослее своего поклонника. Почему из всех кавалеров она выбрала меня, остается загадкой. Любовником я был никудышным, танцором — и того хуже, только беспрерывно болтал, и все о собственной персоне. Позже мы даже обручились, сразу же обоюдно изменив друг другу. Сесилия разорвала наши отношения под тем предлогом, что из меня, мол, ничего путного не получится — убеждение, вместе с ней разделявшееся моими родителями, мною самим и всем остальным моим окружением.

Сесилия жила с матерью в пустынных апартаментах на Эстермальме. Ее отец занимал какой-то важный административный пост. Однажды он пришел домой раньше обычного, лег в постель и отказался вставать. Проведя какое-то время в больнице для умалишенных, он заимел ребенка от молоденькой медсестры и переехал жить в небольшую крестьянскую усадьбу в Емтланде.

Мать Сесилии, сгорая от стыда из-за постигшей ее социальной катастрофы, укрылась в темной комнате для прислуги рядом с кухней и показывалась очень редко, по большей части после наступления темноты. Ярко накрашенное лицо под париком было

[15] Пер Альбин Ханссон (1885—1948) — известный политический деятель, с 1925 г. председатель социал-демократической партии Швеции, с 1932 г. по 1945 г. премьер-министр Швеции.

обезображено страданием и страстями. Ее тихая речь, настолько тихая, что трудно было разобрать слова, напоминала кудахтанье, при этом у нее непроизвольно дергались голова и плечи. Под юной красотой Сесилии можно было разглядеть тень материнских черт. Позднее это навело меня на мысль о том, что роли Мумии и Фрёкен в стриндберговской «Сонате призраков» должна исполнять одна и та же актриса.

Освободившись от железного корсета школы, я, закусив удила понесся как взбесившийся конь и остановился лишь шесть лет спустя, став директором Городского театра Хельсингборга. Историей литературы занимался у Мартина Ламма. Лекции о Стриндберге он читал в насмешливой манере, вызывавшей живой отклик у аудитории, но ранившей мое слепое обожание. Только через много лет я понял, насколько гениален был его анализ творчества писателя. Я активно участвовал в работе молодежного клуба под названием «Местер Улоф-горден» в Старом городе, где мне дали почетное поручение возглавить их быстро расширявшуюся театральную деятельность. К этому присоединился студенческий театр. Вскоре занятия в университете приобрели чисто формальный характер, ибо все свое время я посвящал театру, за исключением тех часов, которые проводил в любовных утехах с Марией. Она играла Мать в «Пеликане» и была известной личностью в студенческой среде. Коренастая, с покатыми плечами, высокой грудью, мощными бедрами. Плоское лицо с длинным, красивой формы носом, широким лбом и выразительными синими глазами. Тонкие губы с утонченно опущенными уголками. Жидкие волосы, выкрашенные в пронзительно-рыжий цвет. Мария обладала незаурядным поэтическим даром и выпустила сборник стихов, получивший высокую оценку Артура Лундквиста. Вечера она проводила за угловым столиком в Студенческом кафе, пила коньяк и беспрерывно курила вирджинские сигареты «Голдфлейк» в темно-желтой жестяной коробочке с кроваво-красной сургучной печатью.

Мария многому меня научила, словно горелкой выжгла мою интеллектуальную лень, духовную неряшливость, конфузливую сентиментальность. И к тому же утоляла мой сексуальный голод — открыв решетку тюрьмы, выпустила на волю маньяка.

Мы обитали в тесной однокомнатной квартирке на Сёдере. Обстановка состояла из книжной полки, двух стульев, письменного стола с настольной лампой и двух застеленных матрацев. Еда готовилась в шкафу, умывальник использовался и для мытья посуды и для стирки. Мы работали, сидя каждый на своем матраце. Мария курила не переставая. Дабы не погибнуть, я открыл встречный огонь и очень скоро стал заядлым курильщиком.

Родители немедленно обнаружили, что я ночую не дома. Было проведено следствие. Правда выплыла наружу, меня призвали к ответу. Между мной и отцом началась бурная словесная перепалка. Я предупредил его, чтобы он не вздумал меня ударить. Он ударил, я ответил, он пошатнулся и, не удержавшись на ногах, сел на пол. Мать попеременно то плакала, то взывала к остаткам нашего разума. Я оттолкнул ее, она громко вскрикнула. В тот же вечер я написал родителям письмо, в котором распрощался с ними навсегда. Пасторский дом я покинул с чувством облегчения и много лет там не появлялся.

Брат пытался покончить с собой, сестра, по семейным соображениям, была вынуждена сделать аборт, я сбежал из дома. Родители жили в постоянном — без начала и конца — изматывающем состоянии кризиса. Они исполняли свой долг, напрягали все силы, молили Бога о милосердии. Их нормы, оценки, традиции не помогали, ничто не помогало. Наша драма разыгрывалась на глазах у всех, на ярко освещенной сцене пасторского дома. Страх облек в плоть и кровь причину страха.

У меня появились кое-какие профессиональные задания: Брита фон Хурн и ее Драматическая студия пригласили работать с профессиональными актерами, Организация народных парков поручила ставить детские спектакли, сам я открыл маленький театрик в Гражданском доме. Играли мы в основном для детей, но сделали попытку поставить и «Сонату призраков» Стриндберга. Артисты были профессионалами, им полагалось платить по 10 крон за вечер. После семи спектаклей предприятие лопнуло.

Как-то меня разыскал один бродячий актер и предложил поставить «Отца» Стриндберга с ним в главной роли. Я должен был отправиться с труппой в турне в качестве реквизитора и осветителя. Вообще-то я намеревался сдавать просроченный экзамен по истории литературы, но искушение было слишком велико: поставив крест на учебе, порвав с Марией, я отправился в путь с труппой Юнатана Эсбьёрнссона. Премьера состоялась в маленьком южношведском городке. На наш призыв откликнулось 17 человек, заплативших деньги за билеты. Рецензия в местной газете была уничтожающей. На следующее утро труппа распалась. Домой каждый должен был добираться как сможет. У меня было в наличии одно сваренное вкрутую яйцо, полбатона и 6 крон.

Более жалкое возвращение трудно было себе представить. Мария не скрывала торжества: она не советовала мне ехать. Не скрывала она и своего нового любовника. Несколько ночей мы провели все втроем в ее тесной квартирке. После чего меня выставили вон с синяком под глазом и поврежденным большим пальцем. Марии надоел наш импровизированный «брак втроем», а соперник мой был сильнее.

В то время я работал в Оперном театре ассистентом режиссера — практически бесплатно. Одна милая девушка из кордебалета приютила меня у себя и кормила несколько недель. Ее мать готовила еду и стирала мое белье. Язва желудка зарубцевалась, меня взяли суфлером на спектакль «Орфей в аду», платили 13 крон за вечер, и я мог снять комнату на Лилль-Янсплан и раз в день досыта есть.

Совершенно неожиданно я сочинил двенадцать пьес и одну оперу. Клас Хуугланд, руководитель Студенческого театра, прочитал все и решил поставить «Смерть Кас-

пера» (бесстыдный плагиат стриндберговской пьесы «Каспер и последний день масленицы» и старинной драмы «Энвар» — обстоятельство, меня ничуть не смущавшее).

Премьера прошла удачно, появилась даже рецензия в «Свенска дагбладет». На последнем спектакле в партере сидели Карл Андерс Дюмлинг, новый шеф «Свенск Фильминдустри», и Стина Бергман, вдова Яльмара Бергмана [16] и заведующая сценарным отделом. На следующий день Стина пригласила меня к себе, и я получил контракт на год, собственный кабинет, письменный стол, стул, телефон и вид на городские крыши в районе Кунгсгатан, 30. Жалованье — 500 крон в месяц.

Я стал уважаемым человеком, имевшим постоянное место работы, который каждый день пунктуально садился за стол, правил сценарии, писал диалоги и сочинял заявки на будущие фильмы. Под компетентным материнским руководством Стины работало пять сценаристов-«негров». Иногда к нам заглядывал какой-нибудь режиссер, чаще всего Густав Муландер, всегда приветливый на расстоянии. Я сдал сценарий о своих школьных годах. Муландер прочитал и рекомендовал к производству. «Свенск Фильминдустри» купила сценарий, заплатив 5 тысяч крон — огромную сумму! Режиссером был назначен Альф Шёберг, которым я восхищался. Мне удалось получить разрешение участвовать в съемках — я предложил взять меня в качестве помрежа. Со стороны Альфа Шёберга было очень благородно согласиться на мое предложение, поскольку я никогда прежде не принимал участия в съемках и не имел понятия, в чем заключаются функции помрежа. Естественно, я только путался под ногами. Частенько, забыв о своих обязанностях, вмешивался в работу режиссера. На меня шикали, я запирался в чулан и рыдал от бешенства, но не сдавался: возможность учиться у мастера была неограниченной.

Я женился на Эльсе Фишер, приятельнице из группы бродячих актеров. Она считалась весьма талантливой танцовщицей и хореографом — милая, умная женщина с чувством юмора. Мы жили в двухкомнатной квартире в Абрахамсберге. За неделю до свадьбы я сбежал, но вернулся. За день до Сочельника 1943 года у нас родилась дочь.

Во время съемок «Травли» я получил предложение возглавить Городской театр Хельсингборга. История была такова. В Хельсингборге имелся самый старый в стране Городской театр. Теперь его предполагалось закрыть, а ассигнования передать только что открытому театру в Мальмё. Это возмутило местных патриотов, которые решили по возможности продолжать работать. Разослали приглашения некоторым деятелям театра, но те, узнав об условиях, в том числе финансовых, ответили отказом. Будучи в безвыходном положении, правление театра обратилось к почтенному театральному критику «Стокхольмс тиднинген» Херберту Гревениусу, который ответил, что если им нужен театральный маньяк, способный и обладающий определенным административным талантом (я один год возглавлял детский театр в Гражданском доме), то пусть спросят Бергмана. После некоторых колебаний они последовали этому совету.

Я купил первую в своей жизни шляпу, дабы произвести впечатление человека, уверенного в себе — качество, коим я не обладал, и поехал в Хельсингборг знакомиться с театром. Он был в ужасном состоянии. Помещения обшарпанные и грязные, спектакли игрались в среднем два раза в неделю, а количество проданных билетов на каждое представление не превышало двадцати восьми.

Несмотря на все это, я полюбил театр с первого взгляда, но выдвинул множество требований: труппу необходимо сменить, здание отремонтировать, количество спектаклей увеличить, ввести систему абонементов. К моему удивлению, правление не возражало. Я стал самым молодым в истории страны руководителем театра и получил возможность выбирать актеров и других сотрудников. Наши контракты были действительны на восемь месяцев, дальше предстояло выворачиваться самим.

В театре водились коричневые собачьи блохи. У прежних актеров, очевидно, выработался к ним иммунитет, вновь пришедших же — с молодой свежей кровью — они кусали немилосердно. Канализационная труба из театрального ресторана проходила через мужскую гримерную, и на батареи отопления непрерывно капала моча. По старому зданию гуляли сквозняки. С темных высоких колосников доносились слабые стоны, словно там поселились неприкаянные демоны. Отопление работало отвратительно. Когда вскрыли пол в зрительном зале, обнаружили сотни угоревших крыс. Выжившие же особи отличались солидностью и бесстрашием, охотно выходили из укрытий. Жирный кот нашего машиниста, подвергшись нападению, предпочитал прятаться.

Не хотел бы опускаться до ностальгии, но для меня это был материализовавшийся рай. Просторная сцена — правда, грязная и продуваемая насквозь, зато с легким уклоном к рампе, занавес — залатанный и обветшавший, но в красно-бело-золотых тонах. Примитивные, тесные артистические уборные с четырьмя умывальниками. На восемнадцать человек — два туалета.

И тем не менее возможность каждый вечер приходить в свой собственный театр, садиться на свое место в гримерной и вместе с товарищами готовиться к спектаклю перевешивала все неудобства.

Мы играли и репетировали без устали. В первый год за восемь месяцев сделали девять программ. На второй год — десять. Три недели репетиций, на четвертую — премьера. Ни один спектакль не шел больше двадцати раз, кроме нашего второго новогоднего ревю, имевшего огромный успех и игравшегося тридцать пять раз. Наша жизнь с 9 утра до 11 вечера принадлежала театру. Кутили мы тоже немало, но пиршества жестко ограничивались скудными финансами. Доступ в элегантный зал «Гранда» был для нас закрыт, зато мы были желанными гостями в закутке возле черного входа, где нам подавали особо приготовленную

[16] Яльмар Бергман (1883—1931) — шведский писатель, автор романов «Маркурелиус из Вадчёпинга», «Завещание Его Превосходительства», «Клоун Як» и др.

«пюттипанну», пиво и шнапс. Щедро отпускали в долг, снисходительно относясь к должникам. По субботам после репетиции угощали шоколадом с настоящими (время было тяжелое) взбитыми сливками и тортом в кондитерской Фальмана на Стуртторгет.

Хельсингборжцы выказывали бьющее через край дружелюбие и гостеприимство. Нередко нас приглашали на ужин к какому-нибудь богачу. Актеры приходили после спектакля, и остальные гости, уже к тому времени завершившие трапезу, веселились, наблюдая, как оголодавшая актерская братия насыщается за накрытыми по новой, ломящимися от еды и напитков столами.

Напротив театра наискосок был расположен магазин, принадлежавший одному богатому бакалейщику. Там готовили дежурное блюдо ценой в одну крону и сдавали комнаты и квартиры в стоявшем во дворе ветхом доме XVIII века. Через оконные рамы и щели в стенах пробивался дикий виноград, уборная находилась на лестничной площадке, а вода — в колонке на вымощенном булыжником дворе.

Самое высокое жалованье составляло 800 крон, самое низкое — 300. Мы перебивались как умели, занимали, брали авансы. Никому не приходило в голову протестовать против таких жалких условий, мы были преисполнены благодарности за счастье каждый вечер играть, каждый день репетировать. Наше усердие было вознаграждено. В первый год на наших спектаклях побывало 60 тысяч зрителей, от городских властей вновь стали поступать ассигнования — это была несомненная победа. Столичные газеты начали уделять внимание нашей работе, у нас росла уверенность в собственных силах.

Весна в том году была ранняя, и мы решили съездить на природу, в Арильд. Расположившись на опушке букового леса с видом на море, по-весеннему спокойное, мы опустошали съестные запасы, запивая их дешевым красным вином. Я опьянел и произнес путаную речь, в которой в туманных выражениях утверждал, что, дескать, именно мы, люди театра, живем на раскрытой ладони Бога и избраны нести боль и радость. Кто-то наигрывал песенку Марлен Дитрих «Wenn Du Geburtstag hast, bin ich bie Dir zu Gast die ganze Nacht» [17]. Меня никто не слушал, постепенно завязался общий разговор, кто-то танцевал. Посчитав себя непонятым, я отошел в сторонку, и меня стошнило.

В Хельсингборг я приехал без семьи. Весной у Эльсы и у нашей новорожденной дочки обнаружили туберкулез. Эльсу отправили в частный санаторий неподалеку от Альвесты. Плата за пребывание в этом санатории равнялась моему месячному заработку. Лена попала в Сахскую детскую больницу. Я продолжал «чистить» сценарии для «Свенск Фильминдустри» и таким образом мог с грехом пополам обеспечивать семью.

Мое одиночество усугублялось еще и тем, что я был начальником, руководителем. Правда, у меня был помощник, экономический директор — примечательный человек, владелец нескольких магазинов швейных принадлежностей в Стокгольме. Много лет он возглавлял Булевардтеатерн на Рингвеген, где я поставил несколько пьес, и немедленно откликнулся на мое предложение приехать в Хельсингборг. Способный актер-любитель, он охотно играл небольшие роли, был холостяк, любил молоденьких девушек и обладал отталкивающей внешностью, отчасти скрывавшей его добрую душу. Он следил за тем, чтобы театр имел деньги. Если касса пустела, он взимал дань со своих магазинов. Меня он считал ненормальным, но только улыбался и говорил: «Последнее слово за тобой». Чем я и пользовался, зачастую беззастенчиво и жестоко. И оставался в одиночестве.

Эльса Фишер, которая должна была стать в театре хореографом и танцовщицей, порекомендовала взять на это место свою приятельницу, тоже учившуюся у Мари Вигман [18] Ее звали Эллен Лундстрём, она только что вышла замуж за фотографа, в то время почти неизвестного, Кристера Стрёмхольма. Эллен поехала в Хельсингборг, а Кристер — в Африку. Это была красивая девушка, чувственная, талантливая, оригинальная и эмоциональная.

Нашу группу поразила эпидемия промискуитета. Вскоре у всех завелась лобковая вошь, и время от времени разыгрывались сцены ревности. Безусловно, нашим домом был театр, в остальном же мы были сбиты с толку и жаждали общения.

Без долгих размышлений мы с Эллен бросились в объятия друг другу. Последствия не заставили себя ждать — она забеременела. На Рождество Эльсе разрешили ненадолго приехать домой. Мы встретились в Стокгольме у ее матери. Я рассказал о случившемся и объявил, что хочу развестись и жить с Эллен. Я увидел, как лицо Эльсы окаменело от боли. Она сидела за обеденным столом в кухне — на щеках болезненный румянец, детские губы плотно сжаты. Наконец она спокойно проговорила: «Тебе ведь придется платить алименты, бедняга, выдержишь?» Я зло ответил: «Если я мог платить по 800 крон в месяц за твой чертов санаторий, смогу наскрести и на алименты, не беспокойся».

Я не узнаю того человека, каким был сорок лет назад. Отвращение мое так глубоко, а механизм подавления работал настолько эффективно, что мне с огромным трудом удается вызвать в памяти этот образ. Фотографии здесь помогают мало. На них изображен лишь маскарад — пустивший корни маскарад. Если мне казалось, что на меня нападают, я огрызался как испуганный пес. Никому не доверял, никого не любил, мне никто не был нужен. Был одержим сексом, заставлявшим меня нарушать верность и совершать вынужденные поступки, постоянно мучился вожделением, боязнью, страхом и совестью.

Итак, я был одинок и разъярен. Работа в театре давала определенный отдых напряжению, отпускавшему лишь в краткие мгновения алкогольного опьянения или

[17] «В твой день рождения я приду к тебе в гости на целую ночь» *(нем.)*.

[18] Мари Вигман (1886—1973) — немецкая танцовщица, хореограф. Одна из зачинателей искусства современного экспрессионистского танца.

оргазма. Я знал, что обладаю способностью уговаривать, заставлять людей делать то, чего хочу я, что у меня есть какое-то внешнее обаяние, которое я мог включать и выключать по собственному желанию. Мне было известно, что у меня есть талант нагонять страх и вызывать душевные муки, ибо я с детских лет был хорошо знаком с механизмом страха и совести. Короче говоря, я обладал властью, не умея ею наслаждаться.

Мы весьма смутно осознавали, что где-то совсем рядом бушует мировая война. Когда американские армады летели над Проливом, шум моторов перекрывал голоса актеров. Бегло проглядев жирные заголовки газет, мы углублялись в театральную хронику. Поток беженцев, переправлявшихся через Пролив, вызывал лишь рассеянный интерес.

Иногда я задаюсь вопросом — а что, собственно, представляли собой наши спектакли? В моем распоряжении — лишь тоненькая пачка фотографий да пожелтевшие газетные вырезки. Репетиционный период был краток, подготовка — незначительна. В итоге из наших рук выходила наспех изготовленная массовая продукция. Но мне думается, это неплохо, даже полезно. Молодежь должна постоянно сталкиваться с новыми задачами. Инструмент необходимо все время испытывать и закаливать. Техника оттачивается благодаря тесному и прочному контакту со зрителями. За первый год я поставил пять пьес. И хотя результат, возможно, был сомнительный, зато не без пользы. Ни у меня, ни у моих товарищей не было, по вполне понятным причинам, достаточно человеческого опыта, чтобы до конца разобраться в проблематике драмы Макбета.

Как-то поздно ночью я возвращался из театра. И вдруг сообразил, как нужно сделать сцену с ведьмами в конце трагедии. Макбет и леди Макбет лежат в постели, она погружена в глубокий сон, он — в полудреме. По стене лихорадочно пляшут тени. Из-под пола в изножье кровати появляются ведьмы, сплетясь в клубок, они перешептываются и хихикают. Тела их извиваются, как водоросли в реке. За сценой кто-то ударяет по струнам расстроенного пианино. Макбет, отвернувшись, стоит на коленях в кровати, он не видит ведьм.

Остановившись посередине тихой улицы, я застыл в неподвижности, повторяя про себя: я талантлив, черт побери, может, даже гениален. От переполнявших меня чувств закружилась голова, сделалось жарко. Среди всех моих злосчастий жила уверенность в себе — стальная опора, удерживавшая руины моей души.

По большей части я пытался подражать своим учителям — Альфу Шёбергу и Улофу Муландеру, крал все, что можно было украсть, латая собственные творения. О теории театра не имел никакого или почти никакого понятия. Читал, естественно, кое-что из Станиславского, в то время модного в актерской среде, но мало что понял, а может, не хотел понимать. У меня не было возможности познакомиться с зарубежным театральным искусством, я был самоучкой в самом прямом смысле этого слова, этаким гением от сохи.

Если бы кому-нибудь пришло в голову спросить меня и моих товарищей, чем объяснить наше рвение, мы бы ответить не смогли. Мы играли просто потому, что играли. Кто-то должен был стоять на сцене, лицом к людям, сидящим в темном зале. И что этими «кем-то» оказались мы — чистое везение. То, чем мы занимались, было великолепной школой. Результаты же — наверняка в высшей степени спорны. Горячо желая быть Просперо, я чаще всего рычал, как Калибан.

Через два года неистовой борьбы меня пригласили в Гётеборг, и я отбыл, преисполненный энтузиазма и непоколебимой уверенности в себе.

* * *

Торстен Хаммарén, которому было шестьдесят два года, возглавлял театр Гётеборга со дня его основания, с 1934 года. До этого он руководил театром Лоренсберга и был признанным исполнителем характерных ролей.

Торстен пользовался большим авторитетом, а актерский ансамбль считался лучшим в стране. Первый режиссер театра Кнут Стрём, старый революционер, был учеником Райнхардта. Хельге Вальгрен, немногословный, резкий, точный, предпочитал ставить спектакли на студийной сцене. Актеры за десять лет сумели образовать хорошо сыгранную труппу, но это отнюдь не означало, что они все обожали друг друга.

Ранней осенью 1946 года мы с Эллен и двумя детьми перебрались в Гётеборг. В театре шла генеральная репетиция «Сонаты призраков» Стриндберга в постановке приглашенного для этой цели Улофа Муландера. Я проскользнул на огромную, утопавшую во мраке сцену. Издалека — спереди и сзади — доносились голоса актеров, время от времени мелькавших в лучах прожекторов. Замерев, я внимательно слушал: большой театр со всеми мыслимыми ресурсами, великие актеры, высокие требования. Не буду утверждать, будто я уж очень сильно боялся, но трепет ощущал.

Внезапно мое одиночество было нарушено — возле меня возникло крошечное существо, а может, привидение: grand old lady[19] театра, Мария Шильдкнехт, в химерическом наряде Мумии — попугайном платье и страшной белой маске. «Как я понимаю, вы — господин Бергман»,— прошептала она с приветливой и жутковатой улыбкой. Подтвердив правильность ее предположения, я неловко поклонился. Мы ненадолго замолчали. «Ну, и как вам это нравится?» — спросила крошка-призрак строго и требовательно. «Я считаю это величайшим произведением мировой драматургии»,— ответил я совершенно искренне. Мумия взглянула на меня с холодным презрением: «Э, это дерьмо Стриндберг сварганил только для того,

[19] Великая старуха *(англ.)*.

чтобы нам было что играть в его «Интимном театре»,— сказала она и удалилась, милостиво кивнув. Через минуту она уже выходила на сцену: появлялась из гардероба, заслоняясь от солнца и тряся своим длинным платьем, как попугай, расправляющий перья,— неувядаемая в роли, которая была ей ненавистна, осуществляя замысел режиссера, которого она ненавидела.

Мне, расщедрившись, дали для дебюта «Калигулу» Камю. Заглавную роль исполнял мой ровесник и друг с трудных стокгольмских лет Андерс Эк, тоже дебютант.

Его окружала целая гвардия выдающихся актеров, смотревших на нас, новичков, подозрительно и без всякой благожелательности. В мое распоряжение были предоставлены все технические и материальные ресурсы театра.

В один прекрасный день в середине репетиционного периода в зал без предупреждения вошел Торстен Хаммарен. Усевшись, он приготовился лицезреть наши усилия. Момент был неудачный: Андерс Эк делал какие-то пометки, другие актеры читали вслух по тетрадке. Я по неопытности утратил контроль за ходом работы и слышал, как сопит Хаммарен, как ерзает ногами. В конце концов он не выдержал и взревел: «Что это у вас тут, черт подери, происходит? Вы что, молитесь, занимаетесь духовным онанизмом или в бирюльки играете? Что вы, черт возьми, делаете?»

Ругаясь и чертыхаясь, он ринулся на сцену и принялся честить первого попавшегося под руку актера за то, что тот не выпускает из рук тетрадки. Обвиняемый, косясь в мою сторону, заикаясь, бормотал что-то насчет новых методов и импровизации. Хаммарён, грубо оборвав его, начал перестраивать мизансцену. Я пришел в бешенство и закричал из зала, что я этого так не оставлю, это посягательство и деспотизм. Хаммарён, стоя ко мне спиной, рявкнул: «Сядь и заткнись, может, чему-нибудь научишься». Кровь бросилась мне в голову, и я завопил, что не собираюсь с этим мириться. Хаммарён, благодушно рассмеявшись, крикнул: «Тогда можешь убираться к черту, провинциальный гений». Я бросился к двери и, распахнув ее после нескольких неудачных попыток, покинул театр. Рано утром на следующий день позвонила секретарша Хаммарёна и сообщила, что, если я не явлюсь на сегодняшнюю репетицию, мой контракт будет расторгнут.

Заглохшая было во мне злоба взыграла с новой силой, и я понесся в театр с намерением прикончить Хаммарёна. Мы столкнулись с ним совершенно неожиданно в коридоре, буквально налетели друг на друга. И обоим показалось это настолько смешным, что мы расхохотались. Торстен обнял меня, а я тут же принял его в свое сердце как отца, которого мне так не хватало с тех пор, когда от меня отвернулся Господь. И он добросовестно исполнял эту роль все годы моего пребывания в его театре.

«Любовь» Кая Мунка начинается с того, что местный пастор приглашает к себе домой на чашечку шоколада прихожан, чтобы обсудить строительство дамбы. На сцене двадцать три актера пьют шоколад, перебрасываются репликами, некоторые вообще сидят без дела... Хаммарён тщательно распределил все роли, даже немые. Указания его были убийственно детальными и требовали громадного терпения. Произнеся свою реплику о зимней погоде, Кольбьёрн берет печенье, потом помешивает шоколад, пожалуйста, поупражняйся. Кольбьёрн упражняется. Режиссер вносит изменения. Ванда наливает шоколад из левого кофейника и, мило улыбаясь, говорит Бенкту-Оке: «Тебе поистине надо подкрепиться». Пожалуйста! Артисты репетируют. Режиссер поправляет.

Меня гложет нетерпение: он — могильщик театра, это распад театрального искусства. Хаммарён же стоически продолжает: «Туре тянется за булочкой, качает головой, обернувшись к Эббе, они перебросились какими-то словами, которых мы не слышим, пожалуйста, и придумайте какую-нибудь подходящую тему для разговора». Эбба и Туре предлагают тему. Хаммарён одобряет. Они репетируют. Ну, теперь этот замшелый престарелый диктатор окончательно выдавил из этой сцены все оживление и спонтанность, она мертва, мертвее не бывает. Пожалуй, пора уходить с кладбища. Но почему-то я остаюсь, возможно, из злорадного любопытства. Отмечают или убирают паузы, движения приводятся в соответствие с интонацией, а интонация — с движениями, фиксируются передышки. Я зеваю, как злющий кот. После бесконечных повторов, перерывов, исправлений, пинков и толчков Хаммарён решает, что настало время сыграть всю сцену с начала до конца.

И тут происходит чудо.

Начинается свободный, непринужденный, занимательный разговор со всеми полагающимися в обществе по такому случаю жестами, взглядами, подтекстом и сознательно-бессознательным поведением. Артисты, уверенно чувствующие себя в своих тщательно обозначенных владениях, получили свободу создавать образы. Они фантазируют неожиданно и с юмором, никак не мешают друг другу, уважительно соблюдая целостность и ритм.

Моим первым уроком было вмешательство Хаммарёна в постановку «Калигулы». Мизансцена должна строиться четко и целенаправленно. Расплывчатость чувств и намерений недопустима. Сигналы, посылаемые актером зрителю, должны быть простыми и понятными, идти по одному, желательно с кратчайшим, секундным интервалом; пожалуйста, импульсы могут противоречить друг другу, но обязательно намеренно, тогда возникает иллюзия одновременности и глубины, стереоэффект. Каждое мгновение происходящего на сцене должно дойти до зрителя, потом уже можно думать о правдивости изображения; хороший артист, кстати, всегда имеет возможность донести отображаемую правду.

Вторым уроком была сцена питья шоколада в «Любви» Кая Мунка. Истинная свобода складывается из сотканного сообща узора, из филигранного взаимопроникновения ритмов. Актерское искусство к тому же еще и искусство повторения. Поэтому в ос-

нове любого действия должны лежать добровольные совместные усилия партнеров. Режиссер может навязать свою волю актеру во время репетиций. Но вот он уходит, и артист — вольно или невольно — начинает корректировать игру по своему вкусу. Его партнер тоже незамедлительно меняет рисунок роли — по тем же причинам. И так далее. Через пять вечеров вымуштрованный спектакль разваливается — если, конечно, режиссер все время не присматривает за своими тиграми. Внешне сцена питья шоколада выглядела дрессурой. Но это было не так. Актеры осознавали свои возможности в четко очерченных пределах, радостно ожидая момента, когда смогут проявить собственное творчество. Эта сцена ни разу не распалась.

Как-то я застал Торстена Хаммарéна за проглядыванием моего режиссерского дневника, где не было ни одной пометки, ни единой мизансцены. «Вот как,— с сарказмом сказал он,— ты, значит, не вычерчиваешь мизансцены». «Нет,— ответил я,— предпочитаю создавать их прямо на сцене вместе с артистами». «Интересно, на сколько тебя хватит»,— проговорил Хаммарéн и захлопнул тетрадь.

Его пророчество сбылось очень скоро. Теперь я продумываю мельчайшие детали, вычерчиваю все мизансцены. Придя на репетицию, я обязан иметь четкое представление о каждом моменте будущего спектакля. Мои указания должны быть ясными, выполнимыми и предпочтительно стимулирующими. Только тот, кто тщательно подготовился, имеет возможность импровизировать.

Наша семья росла. Весной 1948 года родились близнецы. Мы перебрались в пятикомнатную квартиру в новостройке недалеко от города. Помимо этого у меня еще был небольшой спартанский кабинет в театре под самой крышей, где я просиживал вечера, правя рукописи, сочиняя пьесы и сценарии.

Отчим Эллен покончил с собой, оставив крупные долги. Теща с малолетним сыном переехала к нам. Они обосновались в моем кабинете по соседству с нашей спальней. По ночам новоиспеченная вдова частенько плакала. К тому же с нами жила Лева, моя старшая дочь, так как Эльса все еще болела. Всего нас было десять человек, включая милую, но мрачноватую домработницу. Эллен разрывалась на части, лишь от случая к случаю находя время для профессиональной работы. Семейные отношения все больше пропитывались ядом. Супружеская близость, бывшая нашим спасением, прекратилась из-за тесного соседства с тещей и ее сыном.

Мне было тридцать лет, из «Свенск фильминдустри» меня выгнали после провала «Кризиса». Семейство едва сводило концы с концами. Ко всем прочим проблемам прибавились ожесточенные скандалы по поводу денег. Ни Эллен, ни я не отличались бережливостью, швыряя деньги направо и налево.

Мой четвертый фильм благодаря заботам, уму и терпению Лоренса Мармстедта принес скромный успех. Лоренс был настоящим продюсером, жившим и боровшимся за свои фильмы от сценария до выхода на экран.

Он и научил меня делать фильмы.

Я стал все чаще ездить в Стокгольм и потому снял комнату в пансионе фрёкен Нюландер на углу Брахегатан и Хумлегордсгатан. Фрёкен Нюландер была благородной пожилой дамой или, скорее, крохотным существом с бледным, умело накрашенным лицом, искрящимися белыми волосами и черными глазами. В ее пансионе жило множество актеров, и заботилась она о нас по-матерински. Я обитал в солнечной комнате окном во двор, ставшей моим надежным прибежищем. Фрёкен Нюландер благожелательно закрывала глаза на беспорядочность жизни и финансов своих беспокойных жильцов.

В Гётеборге я чувствовал себя неуютно: застегнутый на все пуговицы город, ограниченный мир театра, сотрудники которого общались друг с другом лишь по работе, сотрясавшийся от детского крика дом, пеленки, рыдающие женщины, бешеные сцены ревности, нередко вполне оправданные. Выхода не было, измены стали навязчивым правилом.

Эллен знала о моей склонности ко лжи. Ее снедало отчаяние, она умоляла меня хоть один раз сказать ей правду, но я был не способен говорить правду, уже не представлял себе, где она, эта правда. Во время кратких передышек между боями мы оба ощущали глубокую взаимную привязанность, тела наши понимали и прощали друг друга.

Эллен в принципе была хорошим, надежным товарищем. При других, более благоприятных обстоятельствах наша совместная жизнь сложилась бы наверняка вполне нормально, но мы мало что знали про самих себя и полагали, что жизнь и должна быть такой, какой она была. Не жаловались на обстоятельства, не роптали на обстановку. Мы боролись, скованные одной цепью, и шли ко дну.

Торстен Хаммарéн предоставил мне возможность поставить две мои собственные пьесы в Студии — поступок мужественный и не безболезненный. Некоторые из сочиненных мною вещей игрались и раньше. Критики были довольно единодушны: Бергман — хороший, даже способный режиссер, но плохой писатель. Под словом «плохой» подразумевалось: наивный, по-школьному незрелый, прыщавый, потливый, сентиментальный, смехотворный, потешный, никуда не годный, без чувства юмора, противный и так далее.

Меня начал преследовать уважаемый мною в высшей степени Улоф Лагеркранц. Когда он позднее стал этаким «гуру» по вопросам культуры в «Дагенс нюхетер», нападки его приобрели просто гротескный характер. Об «Улыбках летней ночи» он, например, писал следующее: «Скверная фантазия прыщавого юнца, бесстыдные мечтания незрелой души, безграничное презрение к художественной и человеческой правде — вот силы, создавшие эту «комедию». Мне стыдно, что я ее посмотрел».

Сегодня это представляется забавным курьезом. В то время это была отравленная стрела, причинившая горе и страдания.

Торстен Хаммарéн, мужественный, весе-

лый человек, много лет подвергался преследованиям одного гётеборгского критика. И вот во время представления «Бишон», смешного, пользовавшегося большой популярностью спектакля, у Торстена появился шанс отомстить. В антракте, когда публика, изнемогшая от смеха, уже собиралась выходить из зала, он вышел на сцену и попросил минуту внимания. После чего не спеша, делая неожиданные паузы и принимая нужное выражение лица, зачитал убийственную рецензию. Зрители наградили его бурными выражениями симпатии. Открытое преследование прекратилось, но взамен началось более утонченное: оскорбленный критик принялся поносить жену Хаммарéна, актрису, и его ближайших друзей в театре.

Ныне я занимаю вежливую, разве что не подхалимскую позицию по отношению к моим судьям. Однажды я чуть не избил одного из самых вредных из них. Только я размахнулся, намереваясь нанести удар, как он сел на пол среди нотных пюпитров. Пришлось заплатить штраф в 5 тысяч крон, но я считал, что деньги пропали не зря, ибо газета, конечно, больше не позволит ему рецензировать мои спектакли. И разумеется, ошибся. Он исчез всего на несколько лет, а теперь опять вернулся и продолжает изливать свою иссякающую желчь на плоды моих преклонных лет.

Этот критик даже в Мюнхен приехал, дабы, оставаясь верным долгу, исполнить там свои палаческие обязанности. Весенним вечером я увидел его на Максимилианштрассе, пьяного в стельку, в легкой майке и чересчур тесных бархатных брюках. Его бритая голова безутешно моталась из стороны в сторону, он приставал к прохожим, желая завязать разговор, но те с отвращением отвергали его попытки. Ему, наверное, было очень холодно и хотелось блевать.

Меня пронзило какое-то секундное побуждение подойти к бедняге и протянуть ему руку — может, помиримся наконец, мы ведь квиты, к чему такая взаимная ненависть спустя столько лет после того происшествия? Но я тут же раскаялся в этом сентиментальном намерении. Вот идет Смертельный враг. Его следует уничтожить. Правда, сейчас он сам себя уничтожает своими отвратительными писаниями, но я еще станцую на его могиле, пожелав вечного пребывания в аду, где он сможет проводить время за чтением собственных рецензий.

Поскольку жизнь состоит из сплошных противоречий, хочу сразу же сказать, что театральный критик Херберт Гревениус — один из моих самых любимых друзей. Почти каждый день встречаемся мы с ним в Драматическом театре: сейчас, когда пишутся эти строки, ему 86 лет, он по-прежнему любезно-насмешлив и по-прежнему выкуривает свои непременные 50 сигарет в день.

У истоков моего творческого пути стоят два неподкупно-строгих ангела — Торстен Хаммарéн и Херберт Гревениус. У Хаммарéна я научился ремеслу, у Гревениуса — известной ясности мышления. Они меня щипали, высмеивали, наставляли.

Я безмерно страдал из-за уничижительной критики и прочих публичных унижений. Гревениус указал: «Представь себе меловую черту. По одну сторону стоишь ты, по другую — критик. И оба вы развлекаете публику». Помогло. В одной постановке у меня был занят спившийся, но гениальный актер. Хаммарéн, высморкавшись, изрек: «Подумай, как часто у падали из задницы растут лилии». Гревениус, посмотрев один из моих ранних фильмов, сердито пожаловался на провал в середине. Я объяснил, защищаясь, что актер должен был изобразить посредственность. На это Гревениус ответствовал: «Нельзя давать посредственности играть посредственность, вульгарной жещине — вульгарную женщину, надутой примадонне — надутую примадонну». Хаммарéн говорил: «Чертовщина какая-то с этими артистами. Приобретя за годы пьянства собственное лицо, они теряют память».

* *

Кроме тех шести недель в Германии, я за границей не бывал. Как и мой друг и соратник по кино Биргер Мальмстен. И мы решили восполнить этот пробел. Остановились на Кань-сюр-Мер, крохотном городишке, запрятанном высоко в горах между Канном и Ниццей. В те времена туристам он был неизвестен, зато сюда охотно наведывались художники и прочие люди искусства. Эллен удалось получить ангажемент на работу в качестве хореографа в Лисеберге, дети остались под присмотром бабушки, все было относительно спокойно. Финансовые дела временно поправились благодаря тому, что я только что закончил один фильм и подписал контракт на другой — на конец лета. В Кань я прибыл в конце апреля и поселился в солнечной комнате с красным кирпичным полом, видом на гвоздичные плантации в долине и на море, изредка окрашиваемое в цвет вина, как говорит Гомер.

Биргера Мальмстена сразу же прибрала к рукам красивая чахоточная англичанка, которая сочиняла стихи и вела бурную жизнь. Я же, предоставленный самому себе, расположился на террасе писать сценарий фильма, съемки которого должны были начаться в августе. В то время решения принимались быстро, подготовка была короткой — не успевал испугаться, что было большим преимуществом. Фильм повествовал о молодой паре — музыкантах симфонического оркестра Хельсингборга. Маскировка практически формальная, речь шла там обо мне и Эллен, об условиях творчества, о вероломстве и верности. И все это — на фоне музыки [20].

Я остался в полнейшем одиночестве, ни с кем не разговаривал, ни с кем не встречался. Каждый вечер я напивался и до постели добирался с помощью la patronne[21], женщины, по-матерински озабоченной моим пристрастием к алкоголю. Каждое утро в девять часов я тем не менее уже сидел за письменным столом, а изрядное похмелье пришпоривало мою творческую активность.

Мы с Эллен начали потихоньку обмениваться нежными любовными посланиями. Под влиянием робкой надежды на возможное светлое будущее нашего ис-

[20] Речь идет о фильме Бергмана «К радости».

[21] Хозяйка *(франц.)*.

терзанного брака образ героини превращался в чудо красоты, верности, ума и человеческого достоинства. Герой же, наоборот, выходил надутой бездарью — вероломным, лживым, напыщенным.

Ко мне проявляла застенчивый, но упорный интерес одна художница, наполовину американка, наполовину русская, атлетического сложения, но с хорошей фигурой, черными как ночь волосами, сверкающим взглядом и щедрым ртом. Классическая амазонка, излучавшая неудержимую чувственность. Выдерживаемая мною верность жене придавала особую остроту нашим отношениям. Она рисовала, я писал — две одинокие души в неожиданном творческом союзе.

Конец фильма получился ужасно трагическим: героиня погибала при взрыве примуса (возможно, потаенное желание), нещадно эксплуатировался финал Девятой симфонии Бетховена, и герой осознавал, что существует «радость, которая превыше радости». Эту истину сам я осознал лишь спустя тридцать лет.

Забрав Биргера Мальмстена с «венериной горы», я со слезами на глазах распрощался с la patronne и моей русской amitié passionnée [22] и уехал домой. Сценарий с определенными колебаниями был одобрен.

Свидание с Эллен было недолгим и малоудачным: я обнаружил, что моя жена общается с художницей-лесбиянкой, и это вызвало у меня дикий приступ ревности. Все-таки мы кое-как помирились, я отправился в Стокгольм и приступил к съемкам. Мои приятели Биргер Мальмстен и Стиг Улин играли двух бедолаг, а Майбритт Нильссон в роли жены удалось придать этому чудовищно идеализированному образу некоторое подобие достоверности, что только подтверждало ее гениальность.

Натурные съемки проходили в Хельсингборге. Как-то в начале августа мы снимали сцену бракосочетания главных героев в ратуше, там же, где несколько лет назад совершали эту процедуру мы с Эллен. Еженедельник «Фильмжурнален» решил сделать репортаж, посвященный фильму и его создателям. Эту честь нам оказала очаровательный главный редактор Гунилла Хольгер, приехавшая в сопровождении другой журналистки, Гун Хагберг. Руководство съемочной группы, чувствуя себя обязанным и донельзя очарованное главным редактором, наскребло последние представительские деньги и устроило обед в «Гранде».

После обеда я и Гун пошли прогуляться вдоль Пролива. Стояла теплая безветренная ночь. Мы с удовольствием целовались, договорившись — в состоянии некоторой прострации — увидеться по возвращении группы в Стокгольм. Корреспонденты «Фильмжурналена» отбыли, и я все это выкинул из головы.

Вернулись мы в середине августа. Вдруг позвонила Гун и предложила пообедать в ресторане «Каттелен», а потом сходить в кино. Преодолев минутное замешательство, я с радостью согласился.

Далее события разворачивались с необыкновенной быстротой. В конце следующей недели мы поехали в Трусу, сняли номер в гостинице, легли в постель и встали только утром в понедельник, успев принять решение сбежать в Париж — каждый как бы сам по себе, а на самом деле тайно вместе. В Париже находился тогда в качестве стипендиата Вильгот Шёман. По его первому роману собирался снимать фильм Густав Муландер, уже отвергший несколько вариантов сценариев. В поисках последней возможности спасти ситуацию мне было велено, бросив оставшиеся дела по моему только что законченному фильму, отправляться в Париж к закусившему удила Вильготу. Гун же, по заданию какого-то еженедельника, должна была написать о показах мод. Двух своих малолетних сынишек она оставила на компетентное попечение няни-финки. Ее законный супруг уже полгода как пребывал на семейной каучуковой плантации в Юго-Восточной Азии.

Я съездил в Гётеборг, чтобы поговорить с женой. Дело близилось к ночи, она уже легла, но обрадовалась неожиданному визиту. Не снимая плаща, я присел на край кровати и рассказал все, что можно было рассказать.

Тот, кому интересны дальнейшие события, может их узнать из третьей части «Сцен из супружеской жизни». Единственное отличие — образ любовницы Паулы. Гун была, скорее, ее противоположностью, что называется Девушкой с большой буквы: красивая, высокая, спортивная, с яркими синими глазами, сочными, красиво изогнутыми губами, искренним смехом, открытая, гордая, цельная, исполненная женской силы натура, но — лунатик.

Гун ничего про себя не знала, ее это не интересовало, в жизнь она вступила с открытым забралом, без защиты, без задних мыслей, правдивая и бесстрашная. Не обращала внимания на регулярно обостряющуюся язву желудка, только пару дней не пила кофе и принимала лекарства, и все опять было в порядке. Не заботили ее и плохие отношения с супругом: рано или поздно любой брак надоедает, а супружескую близость можно спасти с помощью мази. Она не задумывалась над периодически мучившими ее кошмарами — наверное, просто что-то не то съела или выпила лишнего. Жизнь — конкретна и великолепна, Гун — неотразима.

Наша влюбленность была душераздирающей и с самого начала несла в себе всевозможные несчастья.

Мы выехали рано утром 1 сентября 1949 года и к вечеру были в Париже. Поселились в респектабельной семейной гостинице на рю Сент-Анн, узенькой улочке, пересекавшей авеню де ла Опера. В узкой точно гроб комнате кровати стояли не рядом, а друг за дружкой, окно выходило в тесный дворик. Высунувшись из окна, можно было шестью этажами выше различить лоскут раскаленного добела летнего неба. В помещении же было холодно, сыро и затхло. В асфальте были проделаны окна, пропускавшие дневной свет в кухню гостиницы. Там в глубине шевелились похожие на трупных червей люди в белом. Из этой преисподни поднимался отвратительный запах отбросов и

[22] Подруга сердца *(франц.)*.

чада. Желающих получить более подробную информацию отсылаю к кадрам, показывающим комнату любовников в «Молчании».

Измученные, перепуганные, мы сидели каждый на своей кровати. Я сразу же понял, что это Бог меня наказал за последнее предательство: радость Эллен по поводу моего неожиданного появления, ее улыбка — вся картина всплыла перед глазами с безжалостной четкостью. И будет всплывать снова и снова, как ни сопротивляйся.

На следующее утро Гун, переговорив по-французски с могучим портье гостиницы, протянула ему купюру в 10 тысяч франков (тысяча франков тогда равнялась 15 кронам), и мы перебрались в удобную, окнами на улицу комнату, к которой примыкала огромная, размером с церковь, ванная с цветными стеклами, обогревательным змеевиком в полу и внушительными умывальниками. Одновременно на самой верхотуре я снял чуланчик, где стояли шаткий письменный стол, скрипучая кровать, биде и откуда открывалась величественная панорама парижских крыш на фоне Эйфелевой башни.

В Париже мы провели три месяца, время, во всех смыслах определившее нашу дальнейшую жизнь — и ее и мою.

Летом 1949 года мне исполнился тридцать один год. До сих пор я трудился, в общем-то, тяжко, без перерывов. Поэтому встреча с по-осеннему теплым Парижем произвела на меня ошеломляющее впечатление. Влюбленность, расцветавшая на благоприятной почве, не подгоняемая временем, пробила брешь в запертых комнатах, стены рухнули, я свободно дышал. Предательство по отношению к Эллен и детям затянулось дымкой, и хотя я чувствовал его постоянное присутствие, оно оказывало, как ни странно, какое-то стимулирующее действие. Эти месяцы я жил и дышал в центре дерзкого спектакля, неподкупно правдивого и потому столь необходимого. Расплачиваться за это, как оказалось, пришлось дорогой ценой.

Письма из дома не радовали. Эллен писала, что дети болеют, а у нее экзема на руках и ногах, выпадают волосы. Уезжая, я оставил ей значительную по тому времени сумму денег. Теперь она жаловалась, что деньги кончаются. Муж Гун спешно возвратился в Швецию. Его семья направила к ней адвоката, угрожавшего судебным процессом: часть фамильного состояния была записана на Гун.

Но мы старались не давать этим заботам одолевать нас. Как из рога изобилия сыпались на наши головы впечатления и переживания.

Самым важным из них было знакомство с Мольером. На семинарах по истории литературы я с трудом одолел кое-какие его пьесы, но ни черта не понял и отнесся к ним с полным равнодушием как к чему-то безнадежно устаревшему.

И вот провинциальный самородок из Скандинавии попадает в «Комеди Франсез» на «Мизантропа» в исполнении красивой, молодой, эмоциональной труппы. Впечатление не поддается описанию. Сухой александрийский стих расцвел и заиграл. Люди на сцене проникли — через мои чувства — в самую душу. Так все и было, знаю, что это звучит смешно, но так это и было: вместе со своими толкователями Мольер проник в мое сердце, чтобы остаться там навсегда. В моем духовном кровообращении, подключенном ранее к Стриндбергу, открылась артерия для Мольера.

В одно из воскресений мы побывали в «Одеоне», филиале Национальной сцены, где давали «Арлезианку» на музыку Бизе. Пьеса — французский вариант «Вермландцев» [23], только хуже.

Театр был набит битком — родители с детьми, бабушки, тетки и дядья. Публика бурлила в предвкушении: умытые круглые лица, опрятные люди, в желудках переваривается воскресный «coq au vin» [24]. Мелкая буржуазия Франции на экскурсии в мир театра.

Поднялся занавес, открыв жуткие декорации времен Грабова [25]. Роль юной героини исполняла знаменитая сосьетерка, перевалившая пенсионный возраст. Играла она с какой-то хрупкой силой, кричаще-желтый парик подчеркивал острый носик на размалеванном старушечьем лице. Декламация то шла шагом, то пускалась галопом, героиня бросалась на половицы возле освещенной на полную мощь рампы. Оркестр из 35 человек играл, не особенно напрягаясь, чувствительную музыку, пропуская повторы, оркестранты входили и выходили, непринужденно переговаривались, гобоист пил вино. Героиня, издав душераздирающий крик, еще раз грохнулась на пол.

И тут в темном зале послышался странный звук. Я оглянулся и, к своему изумлению, обнаружил, что все плачут — некоторые потихоньку, закрываясь носовыми платками, другие открыто, с наслаждением. Мсье Лебрен, сидевший рядом со мной господин с гладко зачесанными на пробор волосами и ухоженными усами, трясся точно в лихорадке, из черных круглых глаз катились на розовые выбритые щеки прозрачные слезы, пухлые ручонки беспомощно елозили по безукоризненно отглаженным брюкам.

Упал занавес, и разразилась буря аплодисментов. На авансцену вышла пожилая девушка в съехавшем набок парике и, приложив узкую руку к костистой груди, замерла, рассматривая публику темными, бездонными глазами — она все еще пребывала в трансе. Но вот она наконец очнулась, выведенная из транса восторженными криками верных поклонников — тех, кто прожил целую жизнь вместе с Арлезианкой, тех, кто каждое божье воскресенье совершал паломничество в театр, сперва держась за бабушкину руку, а теперь с собственными внуками. То, что мадам Герлэн год за годом, на той же са-

[23] «Вермландцы» — музыкально-драматическое произведение шведского писателя Ф. А. Дальгрена (1816—1895), история «деревенских Ромео и Джульетты».

[24] «Петух в вине» — национальное французское блюдо.

[25] Карл Людвиг Грабов (1847—1922) — шведский театральный художник. Его декорации отмечены псевдореалистическим стилем в духе немецкой театральной живописи конца XIX века.

мой сцене, в определенное время бросалась на пол рядом с рампой, горько жалуясь на жестокость жизни, давало им ощущение устойчивости бытия.

Зрители орали, старушка, стоявшая на безжалостно освещенной площадке, еще раз тронула сердца своих верных обожателей: театр как чудо. Я глазел с молодым беспощадным любопытством на этот спектакль в спектакле. «Холодным людям присуща сентиментальность», — сказал я Гун, после чего мы поднялись на Эйфелеву башню, чтобы уж заодно побывать и там.

Перед театром мы поели в изысканном ресторанчике напротив «Одеона». В последующие часы подогретые в вине почки успели миновать несколько промежуточных станций, и вот, когда мы находились на самой вершине Башни, любуясь знаменитой панорамой, бесчисленная армада кишечных бактерий, обитающих в почках, пошла в атаку. И у меня и у Гун начались ужасающие спазмы, и мы ринулись к лифтам. Большие щиты оповещали, что лифты в течение двух часов работать не будут в связи с забастовкой в поддержку длительной борьбы мусорщиков. Пришлось спускаться по спиральной лестнице — предотвратить катастрофу не было никакой возможности. Немыслимо услужливый таксист постелил на заднее сиденье газеты и отвез воняющую, находившуюся в полубессознательном состоянии пару в гостиницу, где мы провели последующие сутки в обнимку — по очереди и вместе — со стульчаком, добираясь до него ползком. До этого стыдливость нашей любви не позволяла нам пользоваться этим удобством ванной комнаты. При надобности мы на цыпочках пробирались в гораздо менее роскошное заведение в коридоре. Теперь скромность одним ударом была отброшена в сторону. Эти физические мучения определенно сблизили нас еще больше.

Сценарий Вильгота Шёмана был закончен, он уехал домой. Нам, предоставленным теперь самим себе, его сильно не хватало. Фактического повода нашего пребывания в Париже больше не существовало. Похолодало. По равнине стлался туман, лишая меня возможности видеть с моего наблюдательного пункта под крышей гостиницы Эйфелеву башню. Я написал пьесу под названием «Юаким Обнаженный». Главный герой — режиссер немого кино, последователь Мельеса. Под окнами его скверной студии течет бездонный канал. Герой ловит говорящую рыбку, порывает с семьей и рассказывает сказку о том, как однажды Эйфелевой башне надоело быть Эйфелевой башней, и она, покинув свое прежнее место, переместилась в Ла-Манш. Потом башню начинает мучить совесть, и она возвращается. А Юаким становится членом святого братства, превратившего самоубийство в осмысленный ритуал.

Единственный имевшийся экземпляр пьесы я отдал — в какой-то безумной надежде — в Драматен, где он бесследно исчез, может и к лучшему.

Мы бесцельно бродили по городу, плутали, отыскивали знакомые места и вновь забредали неизвестно куда. Забирались к шлюзам в Марне, Порт-Оретей и Ла Пи. Отыскали Отель дю Норд и небольшой увеселительный парк в Венсенском лесу.

Выставка импрессионистов. «Кармен» Ролана Пети. Барро в роли господина К. в «Процессе»: антипсихологический стиль игры, чуждый, но привлекательный. Серж Лифарь, престарелое чудище в «Послеполуденном отдыхе фавна» — жирный распутник с полуоткрытым мокрым ртом, бесстыдно изрыгающий все грехи 20-х годов. Концерт Равеля для левой руки субботним вечером в Театре на Елисейских полях. Могу продолжить: «Федра» Расина — тихая, но все же фурия; «Осуждение Фауста»; Берлиоз в «Гранд-опера» с использованием всех средств; балеты Баланчина; Синематека — удивительный мсье Ланглуа с полоской грязи на белоснежном воротничке. Показывали «Травлю» и «Тюрьму», приняли дружелюбно; я посмотрел фильмы Мельеса и французские немые фарсы, «Жюдекса» Фёйада и «Страницы из книги Сатаны» Дрейера. Впечатления накладывались на впечатления. Неутолимый голод.

Как-то вечером мы отправились в «Атеней» посмотреть Луи Жуве в пьесе Жироду. В ряду перед нами, чуть наискосок, сидела Эллен. Она обернулась с улыбкой на губах. Мы сбежали. Прибыл адвокат— в голубом костюме и красном галстуке, посланный родственниками наставить Гун на путь истинный. Они договорились вместе пообедать. Стоя у окна нашего номера, я смотрел, как они удаляются по рю Сент-Анн. Гун была в туфлях на высоченных каблуках, рядом с ней оживленно жестикулировавший адвокат казался коротышкой. Черное легкое платье плотно обтягивало ее бедра, рука коснулась стриженых пепельных волос. Я не надеялся на ее возвращение. И когда она появилась к вечеру, расстроенная, напряженная, я задал ей лишь один вопрос, повторяя его с бешенством маньяка: «Ты спала с адвокатом? Ты спала с ним? Признайся, ведь ты спала с ним! Я знаю, ты с ним спала».

Вскоре страх облечет в плоть и кровь причину страха.

Студено-хмурым декабрьским днем мы поселились в пансионе на Страндвеген, причем, в соответствии со шведским гостиничным уставом, занять один номер нам не разрешили.

Гун под угрозой лишиться детей очень скоро пала духом и вернулась в свою виллу на Лидингё, к мужу, у которого было достаточно времени, чтобы придумать действенный способ мщения. Мне же предстояла поездка в Гётеборг — завершить последнюю по контракту постановку.

Нам запретили встречаться, говорить по телефону, писать письма. Любая попытка контакта увеличивала для Гун риск потерять детей. В те времена закон был строг по отношению к матери, «сбежавшей из дома». Мне удалось снять крохотную квартирку (я до сих пор ее снимаю), куда я и перебрался — с четырьмя пластинками, грязным нижним бельем и треснутой чашкой. С горя написал сценарий фильма под названием «Летняя игра», либретто еще одного сценария и пьесу, впоследствии

утерянную. Ходили слухи, что производство фильмов вскоре будет прекращено в знак протеста продюсеров против государственного налога на увеселения. Для меня подобная акция означала бы финансовую катастрофу, поскольку я содержал две семьи.

Вскоре после Рождества Гун вырвалась из цепей унижения, отказавшись дальше играть по мужниным правилам. Мы сняли — за бешеные деньги — четырехкомнатную меблированную квартиру на последнем этаже красивого старинного особняка на Эстермальме и переехали туда всей компанией — я, Гун, ее два сынишки и нянька-финка. Гун сидела без работы, и теперь я должен был содержать три семьи.

Последующие события можно изложить в нескольких словах. Гун забеременела, в конце лета было остановлено производство фильмов, меня уволили из «Свенск фильминдустри», а после двух неудачных постановок подряд во вновь созданном театре Лоренса Мармстедта, куда меня прочили на место художественного руководителя, выгнали и оттуда.

Осенним вечером позвонил муж Гун и предложил, вместо того чтобы затевать процесс, примириться и решить дело мирным путем. Он попросил разрешения поговорить с ней с глазу на глаз — в случае, если соглашение будет достигнуто, они вместе посетят адвоката для составления контракта. Я запретил Гун встречаться с мужем наедине. Но она была неумолима: он так ласково и униженно говорил по телефону, чуть не плакал. Вечером он заехал за Гун на своей машине. Она пришла домой в четыре утра — лицо каменное, ответы уклончивые. Смертельно хочется спать, поговорим завтра утром и во все другие дни. Я отказался оставить ее в покое и потребовал, чтобы она объяснила, что случилось. Гун рассказала, что муж отвез ее в лес Лилль-Янс и там изнасиловал. Бросив ее одну, я выбежал из дому и помчался куда глаза глядят.

Я так никогда и не узнал, что же произошло в действительности. Никакого изнасилования в физическом смысле наверняка не было. Возможно, он использовал метод психологического насилия: переспишь со мной, получишь детей.

Не знаю, как было на самом деле. Гун была на четвертом месяце. Я вел себя как ревнивый ребенок, оставив ее в одиночестве, без помощи. Есть живые картины, обладающие цветом и звуком, навечно вставленные в проектор души, извивающейся лентой тянутся они через всю жизнь, сохраняя неизменную резкость, неизменную объективную четкость. И лишь собственное восприятие неумолимо и безжалостно движется навстречу истине.

Возможность совместными усилиями преодолеть кризис испарилась меньше чем за час. Было ясно, что это начало конца, хотя мы и цеплялись друг за друга в отчаянной попытке примирения.

В то утро, когда должно было начаться судебное разбирательство, процесс отменили, так как адвокат Гун грозился обнародовать финансовые махинации супруга. Не знаю подробностей, но процесс дематериализовался. Развод прошел вполне безболезненно, и Комиссия по охране детства, проведя унизительное расследование, вынесла решение, согласно которому Гун получала право на воспитание детей.

Таким образом, драма благополучно завершена, любви нанесена кровоточащая рана, а на первый план выдвинулась экономическая проблема, затмившая все остальное. Деньги подошли к концу, запрет на производство фильмов по-прежнему оставался в силе, с меня ежемесячно требовали значительные суммы для выплаты алиментов двум женам и пятерым детям. Стоило задержать деньги хоть на два дня, тут же как из-под земли вырастала на пороге разгневанная дама из Комиссии по охране детства и читала мне мораль по поводу моей распутной жизни. Каждое посещение семьи в Гётеборге, начинавшееся вежливо-формально, заканчивалось дикими сценами, рукоприкладством и детскими воплями ужаса.

В конце концов я пошел на унижение и обратился в «Свенск фильминдустри» с просьбой о займе. Заем мне предоставили, вынудив одновременно подписать контракт на пять фильмов, по которому я получал и за сценарий и за режиссуру всего две трети обычного гонорара. Кроме того, долг должен был погашаться частями, в течение трех лет, включая проценты. Сумма автоматически вычиталась из моих доходов в фирме. Я был временно спасен от экономического краха, но связан по рукам и ногам на необозримое время.

Наш сын родился в канун Вальпургиевой ночи[26] 1951 года. Перед этим, чтобы активизировать схватки, мы пили шампанское и катались в моем стареньком «Форде» по пересеченной местности Ладугордсейрдет. Оставив Гун на попечении акушерки, выдворенный из отделения, я поехал домой, добавил к выпитому еще порядочно, распаковал старую детскую железную дорогу и тихо и упорно играл с ней, пока сон не сморил меня прямо на ковре.

Запрет на производство фильмов был снят, Гун получила временную работу в вечерней газете и еще делала переводы. Мне предстояло немедленно приступить к съемке двух фильмов подряд: «Женщины ждут» по собственному сценарию и «Лето с Моникой» — по роману Пера Андерса Фогельстрёма. На роль Моники взяли молодую актрису кабаре, игравшую в театре «Скала» в сетчатых чулках и выразительных декольте. Она имела кое-какой опыт работы в кино и была помолвлена с молодым актером. В конце июля мы выехали на натурные съемки в шхеры.

Предполагалось, что «Лето с Моникой» будет низкозатратным фильмом, с ограниченными ресурсами и сведенным к минимуму персоналом. Жили мы в Клоккаргорден на острове Урнё, каждое утро отправляясь в рыбацких лодках на экзотическую группу островов во внешних шхерах. Дорога занимала несколько часов.

---

[26] Вальпургиева ночь — праздник весны, отмечаемый 30 апреля. Восходит к древнегерманским языческим традициям; сейчас в основном праздник студентов.

Я тут же впал в беззаботную эйфорию. Профессиональные, экономические и супружеские проблемы скрылись за горизонтом. Жизнь проходила в относительно сносных условиях на открытом воздухе, мы работали днем, вечером, на рассвете, в любую погоду. Ночи были короткие, сон — без сновидений. Через три недели плоды нашего упорного труда были отосланы на проявку. Лаборатория из-за неисправности аппарата умудрилась поцарапать тысячи метров пленки, почти все надо было снимать заново. Мы для виду поплакали крокодиловыми слезами, в душе радуясь продлению свободы.

Работе в кино сопутствуют сильные эротические переживания. Ничем не сдерживаемая близость к актерам, полнейшее взаимное обнажение. Интимность, преданность, зависимость, нежность, доверие и доверчивость перед магическим глазом камеры создают теплое, возможно иллюзорное, чувство надежности. Напряжение, расслабление, совместное дыхание, моменты триумфа, моменты спада. Атмосфера заряжена эротизмом, сопротивление бесполезно. Прошли годы, прежде чем я уяснил себе, что в один прекрасный день камера остановится, софиты погаснут.

С Харриет Андерссон мы проработали бок о бок много лет. Она — на редкость сильный, но легкоранимый человек, а талант ее отмечен признаками гениальности. Отношения с камерой искренние и чувственные. Харриет обладает поразительной техникой, переходы от глубочайших переживаний к трезвой наблюдательности происходят мгновенно. Юмор резковатый, но без малейшего цинизма. Одним словом, женщина, всячески достойная любви, один из самых моих близких друзей.

Вернувшись домой после приключений в шхерах, я рассказал Гун о том, что произошло, и попросил несколько месяцев отсрочки, ибо и я и Харриет понимали недолговечность нашей связи. Гун пришла в ярость и послала меня куда подальше. Удивившись невиданному ранее величественному гневу, я почувствовал большое облегчение, упаковал кое-какое имущество и опять перебрался в свою однокомнатную квартирку.

Мы встретились через несколько лет — без горечи без взаимных обвинений. После развода Гун начала изучать славянские языки, поставив себе цель получить докторскую степень и цели этой достигла. Да и переводческая деятельность развивалась успешно — ей поручали все более престижные переводы.

Мало-помалу она стала жить совершенно самостоятельной, независимой жизнью со своим кругом друзей, любовников, заграничными поездками.

Радуясь вновь обретенной близости, мы показали себя настоящими эгоистами, ибо не замечали, как болезненно и ревниво реагирует на это наш сын.

Когда Гун погибла в автомобильной катастрофе, мы с Ингмаром-младшим встретились у меня в квартире на Гревтургатан, откуда нам предстояло вместе пойти на похороны. Красивый девятнадцатилетний юноша, с которым я не виделся много лет. Он выше меня ростом. На нем тесноватый, одолженный у брата, черный костюм. Мы молчали, оба желая ускорить бег времени, но тщетно. Он спросил, не найдутся ли у меня иголки и нитки — пришить пуговицу. Я принес то, что он просил, и мы устроились друг против друга у окна. Ингмар-младший склонился над шитьем, смущенно шмыгая носом. Светлые густые волосы падали на лоб, сильные красные руки ловко управлялись с иголкой и ниткой. Он был поразительно похож на студенческую фотографию своего деда. Такие же синие глаза, тот же цвет волос, лоб, чувственный рот. Та же бергмановская манера соблюдать дистанцию: не трогай меня, не приближайся, не прикасайся ко мне, я — Бергман, черт подери.

Моя неловкая попытка заговорить о матери встретила резкий отпор. Я настаивал, но он взглянул на меня с таким холодным презрением, что мне пришлось заткнуться.

Гун была прообразом многих героинь моих фильмов: Карин Лобелиус в «Женщины ждут», Агда в «Вечере шутов», Марианн Эгерман в «Уроке любви», Сюзанн в «Женских грезах» и Дезире Армфельт в «Улыбках летней ночи».

Несравненная Эва Дальбек оказалась великолепной истолковательницей ее образа. Этим двум женщинам удалось совместными усилиями облечь в плоть и кровь мои зачастую расплывчатые тексты и тем самым воплотить непобедимую женственность так, как я и представить себе не мог.

* * *

У меня есть повторяющиеся раз за разом сны. Один из самых частых — сон профессиональный: я — в студии, предстоит снять какую-то сцену. Там же и все остальные: актеры, операторы, техники, электрики, статисты. Почему-то я напрочь забыл текст и вынужден беспрерывно заглядывать в свою режиссерскую тетрадь, но записи совершенно непонятны. Тогда, возвратившись к актерам, я решаюсь на блеф, говорю что-то насчет пауз. Сделай здесь паузу и повернись лицом к камере, потом произнеси реплику, подожди-ка, говори тихо.

Артист смотрит на меня недоверчиво, но послушно выполняет указание. Я гляжу на него через объектив камеры, вижу половину лица и уставившийся на меня глаз. Этого не может быть — я поворачиваюсь к Свену Нюквисту, который склоняется над видоискателем, устанавливает резкость и пускает камеру. За это время актер исчез, кто-то говорит, что у него перекур.

Нужно решить, как сыграть сцену. Из-за моей неумелости масса артистов и статистов толпятся в углу, прижимаясь к светлым стенам с бьющим в глаза узором. Понимаю, что будет чрезвычайно трудно сделать освещение, вижу вежливо-недовольное лицо Свена — он ненавидит прямой верхний свет и двойные тени.

Приказываю убрать стену. Это даст нам свободу действия и возможность подступиться к мизансцене с другой стороны. Один из рабочих, глядя в сторону, заме-

чает, что перенести стену, конечно, можно, но на это потребуется два часа, так как именно эта стена — двойная, пристроенная к прочной внешней кирпичной стене, начнешь ее переносить, может обвалиться штукатурка. Я изрыгаю приглушенные проклятия, испытывая тягостное чувство, что соединить внутреннюю и наружную стены было моей идеей.

Приказываю передвинуть камеру к двери и смотрю в видоискатель. Статисты загораживают актера. Чтобы попасть в кадр, ему надо повернуться направо. Помощник режиссера деликатно замечает, что в предыдущем дубле он двигался налево.

В студии стоит полная тишина. Все ждут — терпеливо и покорно. Я в отчаянии гляжу в видоискатель. Видны половина лица и уставившийся на меня глаз. Мелькает мысль, что получится необыкновенный кадр, о котором будут с восхищением писать критики всех стран, но тут же отбрасываю ее как нечестную.

Внезапно нахожу *решение:* съемка с движения. Вокруг актеров, мимо статистов, проезд. Тарковский непрерывно движется, в каждой сцене — камера парит и летает. Вообще-то, с моей точки зрения, никуда не годная техника, но она решает мою проблему. Время идет.

Сердце колотится, я задыхаюсь. Съемка с движения невозможна, произносит Свен Нюквист. Чего это Свен раскапризничался? Ну, естественно, боится сложных движений камеры, постарел, стал трусоват. Смотрю на него с безысходной тоской, он печально указывает рукой на что-то за моей спиной. Оборачиваюсь — там ни одной декорации, лишь стена студии. Он прав, съемка с движения невозможна.

От отчаяния решаюсь обратиться ко всем присутствующим с речью. Сказать им, что работаю в кино уже сорок лет, сделал сорок пять фильмов, что ищу новые пути, стремлюсь обновить свой образный язык, ведь необходимо постоянно сомневаться в достигнутом. Подчеркнуть, что я человек с большим опытом, знаю свое дело и возникшая проблема — пустяк. Если бы я захотел, то мог бы, отъехав, снять общий план сверху, по диагонали, это было бы превосходным решением. Я, конечно, в Бога не верю, но дело обстоит не так просто, каждый из нас носит в себе Бога, во всем есть своя закономерность, которую мы иногда прозреваем, особенно в смертный час. Вот что мне хочется сказать им, но это ни к чему. Они уже отошли в глубь сумрачной студии, сбились в тесный кружок, стоят и спорят. Я не слышу слов, вижу только их спины.

Лечу в огромном самолете, я — единственный пассажир. Самолет отрывается от взлетной полосы, но не может набрать высоту и с грохотом несется над городскими проспектами, на уровне верхних этажей. Я заглядываю в окна, там движутся, жестикулируют люди: свинцовое, предгрозовое небо. Я полагаюсь на искусство пилота и тем не менее сознаю, что конец близок.

И вот уже я парю сам, без самолета, машу особым образом руками и легко взлетаю. Удивляюсь, почему никогда раньше не пробовал летать, ведь это так просто. В то же время понимаю, что это — редкий дар, не все умеют летать. А некоторым из тех, кто умеет, приходится до изнеможения напрягать скрюченные руки и шею, я же парю свободно, как птица.

Лечу над равнинной местностью, очевидно степью, это, наверное, Россия. Парю над величественной рекой, через которую перекинут высоченный мост. Под мостом в реку выдается кирпичное здание, из труб клубится дым, слышится скрежет машин. Это — фабрика.

Река изгибается гигантской лукой. Берега поросли лесом, панорама безгранична. Солнце скрылось в облаках, но все пронизано резким, не отбрасывающим тени светом. По широкому руслу стремительно несется зеленоватая, прозрачная вода, по камням в глубине то и дело мелькают тени—огромные сверкающие рыбины. Я спокоен и преисполнен доверия.

В молодости, когда сон был крепок, меня мучили отвратительные кошмары: убийства, пытки, удушье, инцест, разрушение, сумасшедший гнев. В старости сны стали далекими от действительности, но зато добрыми, зачастую утешительными.

Иногда мне снится блестящий спектакль с огромным количеством участников, музыкой, красочными декорациями. И я шепчу про себя с глубочайшим удовлетворением: это — моя постановка, это создал я.

* * *

Меня обещали взять в Драматен, я не скрывал своей радости, но тут произошла смена руководства. Новый директор, не считавший себя связанным какими-либо обещаниями, сообщил мне в уничижительных выражениях, что моя квалификация вряд ли соответствует требованиям национальной сцены. Чтобы хоть как-то утешиться, я написал несколько пьес, из которых ни одна не была принята к постановке. Харриет продолжала выступать в сетчатых чулках и декольте в театре «Скала», где ее заставляли петь куплеты с таким припевом: «Я разденусь, никуда не денусь, если Бергман позовет».

Между тем над нашими отношениями нависли тучи: демоны ревности к ее прошлому делали свое ядовитое дело. Я переехал в маленькую гостиницу, расположенную на верхних этажах «Сёдра театерн», с видом на просторы Ладугорд и лес Лилль-Янс, и там в приступе необычно глубокой мизантропии сочинил сценарий фильма, получившего название «Вечер шутов».

Поскольку ни один из столичных директоров театра не пожелал воспользоваться моими услугами, я принял предложение Городского театра Мальмё, куда пригласили и Харриет. Без малейших сожалений мы въехали в трехкомнатную квартиру в недавно застроенном районе по дороге в Лимхамн и, свалив в кучу купленную мебель, появились в театре.

Городской театр Мальмё внешне производил импозантное впечатление: опера, балет, оперетта и драма мирно уживались на двух сценах; одна — чересчур большая

(с залом на 1700 мест)—называлась «Дурищей», вторая — чересчур маленькая (на 200 мест) — «Дурашкой». Это театральное здание явилось результатом так и не разрешенной коллизии между идеей Пера Линдберга о монументальном народном театре со сценой-ареной и демократически расположенными местами для зрителей и мечтой Кнута Стрёма об изобразительном театре для сценографических видений в духе Мейерхольда и Райнхардта. Акустические проблемы были также неразрешимы. Оркестровые концерты страдали от полного отсутствия резонанса, драматические постановки — от широченной (22 метра) арки просцениума, опера и оперетта—из-за удаленности от зрителей, балет— от утопленных в пол сцены железных рельс. Это чудовище располагало сравнительно многочисленной, но плохо оплачиваемой труппой, которая осуществляла по двадцать постановок в год. Директор — самодержец Ларс-Леви Лаэстадиус — по прямой нисходящей линии происходил от великого сектантского проповедника. Он был начитан, опытен, отважен и маниакально высокомерен — нешуточное сочетание для директора театра.

Восемь лет, проведенных в Городском театре Мальмё, были лучшими годами прожитой мною до того времени жизни. Зимой я ставил три спектакля, летом делал один или два фильма. У меня были развязаны руки, личной жизни практически никакой, я жил целиком коллективными усилиями, направленными на то, чтобы обеспечить наше чудовище приличными театральными постановками. Не обремененный административными обязанностями, я имел возможность полностью посвятить себя изучению тайн своей профессии.

Театр начал привлекать все больший интерес, крупные актеры осознали преимущество играть зимой хорошие спектакли, а летом сниматься в бергмановских фильмах. Ансамбль наливался силой, и мы осмеливались все глубже забираться в мировую драматургию.

Если бы кому-нибудь пришло в голову спросить нас, почему мы занимаемся этим или какие преследуем цели, ответить мы, наверное бы, не сумели.

Что-то не могу припомнить ни единой политической, религиозной и интеллектуальной задачи, которую я бы ставил себе в тринадцати спектаклях, сделанных мною в Мальмё. Я знал, что театру требуется репертуар и что на большой сцене бесполезно угощать зрителя «икрой для бедных». Репертуар должен был состоять из ударных, убедительных вещей.

Необходимо было также сделать помещение пригодным для игры. Экспериментируя, мы обнаружили в сценическом пространстве акустически и оптически выгодную точку — приблизительно в метре от суфлерской будки. От этой точки можно было продвинуться на несколько метров в сторону и на два-три метра вглубь: получился прямоугольник шириной около 6 метров и глубиной около 4 метров. За пределами этой игровой площадки возможность актера воздействовать на зрителя уменьшалась с катастрофической быстротой. Таким образом, на сцене, ширина которой составляла 22 метра, а глубина — 36 («поворотный круг доходит наполовину до Устада»), имелось игровое пространство размером в 24 квадратных метра.

Передвижными ширмами нам пришлось отгородить и боковые места партера. Теперь зал во время драматических спектаклей вмещал чуть меньше тысячи человек. Изношенное машинное оборудование никуда не годилось, современная осветительная аппаратура, покоившаяся на дне Балтийского моря в трюме торпедированного немецкого грузового корабля, временно была заменена пультом 1914 года. Технический персонал был немногочислен, перегружен работой и страдал запоями, хотя и здесь, разумеется, имелись исключения — люди, буквально жертвовавшие жизнью и здоровьем ради того, чтобы наш Голем работал нормально.

Каждое утро ровно в половине девятого я приходил в театр, съедал в буфете завтрак, состоявший из шести печеньиц и чашки чая, с половины одиннадцатого до часа дня репетировал, перекусывал ветчиной и яйцами, выпивал чашку крепкого кофе, продолжал репетицию до четырех, заседал, преподавал в театральной школе, писал сценарии, вкушал кратковременный сон в своем анатомическом кресле, обедал в буфете — непременно кусок мяса с кровью и картошка, готовился к завтрашнему дню, зубрил урок либо проходил заново спектакль.

После того как Харриет смывала грим и переодевалась, мы уезжали домой и ложились спать. Довольно часто я ездил в Стокгольм — работать над уже готовыми или только намеченными фильмами, жил в своей однокомнатной квартире на Гревтурегатан, обедал в Киногородке, ужинал в одном и том же ресторанчике. Мое имущество состояло из двух пар брюк, нескольких фланелевых рубашек, постепенно приходившего в негодность нижнего белья, трех свитеров и двух пар туфель. Это была практичная, нетребовательная жизнь. Про себя я решил, что муки совести — кокетство, ибо мои мучения не в силах искупить нанесенное мною зло. Внутри же, очевидно, шел какой-то непостижимый процесс. Я страдал хроническим катаром желудка, гастритом, язвой желудка, язвой кишки, рвотой и желудочными спазмами, сопровождавшимися поносом. Осенью 1955 года, после завершения съемок «Улыбки летней ночи», я весил 56 килограммов. Меня положили в Каролинскую больницу, подозревая рак. Доцент Стюре Хеландер провел тщательное обследование. Как-то в конце дня он пришел в палату, держа в руках рентгеновские снимки, сел и начал подробно и терпеливо объяснять. Мои недуги он называл «психосоматическими», сказав, что ученые лишь недавно всерьез приступили к исследованиям этой плохо изученной области медицины, пограничной полосы между телом и душой. Он посоветовал мне есть простоквашу, совет, который я с тех пор свято выполняю. По его мнению, я страдал определенными аллергическими реак-

циями, и потому мне следовало проверить, что я переношу, а что — нет. Он излучал компетентность, дружелюбие и ум. Мы подружились на всю жизнь.

Я уговорил Виктора Шёстрёма сыграть главную роль в «Земляничной поляне». Мы с ним сотрудничали и раньше, в картине «К радости», не ощутив тогда особо настоятельной потребности в продолжении. Виктору, больному, измученному, требовались определенные условия для работы, приходилось принимать во внимание то одно, то другое. Например, я должен был ему обещать, что ровно в половине пятого он уже будет дома, чтобы выпить привычную порцию грога с виски.

Совместная работа началась нелегко. Виктор нервничал, я находился в напряжении. Он переигрывал, и я обратил на это его внимание, сказав, что он играет для галерки. Он же, заявив, что наверняка можно найти кого-нибудь другого, кто сможет сыграть роль так, как этого хочу я, и что врач в любой день освободит его от работы, замкнулся в кислой отрешенности.

Атмосфера несколько разрядилась, когда на съемочной площадке появились девушки. Старый ловелас наслаждался любезно-шутливым ухаживанием со стороны дам, напропалую флиртовал, покупал им цветы и подарки. Я незаметно, для себя, заснял момент, когда Биби Андерссон в слегка декольтированном платье начала века сидит на пригорке и кормит Виктора земляникой. Он облизывает ее пальцы, оба хохочут, молодая женщина явно польщена, старый лев совершенно очарован.

В перерывах между съемками мы окружали Виктора кольцом и, точно любопытные дети, просили рассказать о давних временах, о своей работе, о других режиссерах, о Стиллере, Магнуссоне, об актерах, о прежнем Киногородке. Он рассказывал охотно и забавно. Признался, что нередко на него накатывало отчаяние, и тогда он замыкался в себе, куда-нибудь уходил и колотился головой об стену. Когда напряжение спадало, он возвращался на съемочную площадку — зачастую с шишкой на затылке или на лбу. Фильмы «Ингеборг Хольм», «Возница» или «Тот, кто получает пощечины» он считал ничем не примечательными, видел в основном просчеты и сердился на собственную беспомощность и небрежность; постоянно восхищался дерзкой гениальностью Стиллера и даже не мечтал тягаться с ним. Виктор говорил, как настойчиво он добивался, чтобы актеры произносили слова, появлявшиеся затем в субтитрах. Глухонемых, умевших читать по губам, очень раздражало несовпадение субтитров и того, что говорили актеры.

Шёстрём, не скрывая своей любви к жене, поведал о драме, разыгравшейся в связи с фильмом «Горный Эйвинд и его жена». Внезапно он замолк, замкнулся, ушел в себя, лицо исказилось от боли.

Съемки продолжались, наступил день, когда должна была сниматься заключительная сцена: возлюбленная Исака Борга, его юношеская любовь, ведет его на освещенный солнцем холм. Вдалеке он видит призывно машущих ему родителей. Место мы выбирали на территории Киногородка. В пять часов вечера солнечные лучи заскользили по траве, лес потемнел. Виктор начал злиться. Напомнил мне про обещание: ровно половина пятого, дом, грог. Я умоляю. Никакого эффекта. Виктор отбывает. Через четверть часа возвращается: «Ну, будем снимать эти чертовы сцены?»

Настроение его не улучшилось ни на йоту, но он выполнял долг. Общий план — Виктор идет вместе с Биби по освещенной солнцем траве, недовольно бурча и отвергая любые попытки подольститься к нему. Перед съемкой крупного плана Виктор сидит в сторонке, втянув голову в плечи, предложение приготовить ему грог здесь, прямо на месте, с негодованием отвергается. Наконец, можно снимать. Он подходит, с трудом волоча ноги, опираясь на руку ассистента режиссера, дурное настроение лишило его последних сил. Заработала камера, раздался звук хлопушки. И вдруг лицо Виктора раскрылось, черты смягчились, он преисполнился покоем и кротостью, мгновение благодати. И камера на месте. Работает. И лаборатория не подкачала.

Много времени спустя меня озарило, что весь этот театр Виктора с обещанием, грогом, половиной пятого, его старческая злоба объяснялись лишь диким страхом обнаружить свою несостоятельность, усталость, нежелание или просто бесталанность: не хочу, не могу, не имеешь права требовать, не желаю играть эту роль, меня обманули, уговорили, больше ни единого раза, нет, не страх, не несостоятельность, никогда больше, я сказал «нет» раз и навсегда, больше не хочу, ничего я не должен, меня никто не может заставить, я стар и измучен, все это бесполезно, зачем вы меня мучаете? Черт возьми вас всех, оставьте меня в покое, я уже сделал свой кусок, бессовестно мучить больного человека, я не справлюсь, нет, больше ни разу, мне плевать на ваши чертовы съемки. Впрочем... Пойду попробую. Пусть пеняют на себя. Получится ужасно, хорошо просто не может получиться. Пойду сыграю и докажу, что я больше не могу, у меня нет сил. Докажу этому проклятому щенку, что нельзя обходиться со старыми, больными людьми как взбредет в голову. Он получит железное подтверждение моей неспособности, которую я, по его мнению, продемонстрировал уже в первый день.

Возможно, именно так он и рассуждал, старый лицедей. Настолько типично, что я не понимал причину его раздражения вплоть до сегодняшнего дня, когда оказался почти в такой же ситуации. Время беззаботных забав миновало навсегда, скука и омерзение ухмыляются в лицо. Страх оказаться неспособным подтачивает и разъедает способность. В прошлом я летал без помех и отрывал от земли других. Теперь же мне самому необходимы доверие и желание других, теперь другие должны оторвать меня от земли, чтобы у меня возникло желание летать.

Когда мы начали во второй раз работать над «Пляской смерти», у Андерса Эка была

твердо установлена лейкемия. Невыносимые боли облегчались с помощью сильнодействующих препаратов. Каждое движение причиняло ему страдания, кульминацию драмы — танец с саблей — он сыграть не мог, и мы отодвинули работу над этим эпизодом на будущее, поскольку врач дал неопределенное обещание, что боли постепенно, по мере лечения, отступят. Репетиции проходили необычно, время тянулось медленно. Все мы сознавали безнадежность этой затеи, но мне, по вполне понятным причинам, хотелось, чтобы Андерс Эк сам отказался от роли. Он этого не делал.

Мы работали с ним бок о бок с начала 40-х годов, ругались и оскорбляли друг друга, мирились, опять ссорились, в гневе расходились, раскаивались и вновь начинали сначала. «Пляска смерти» должна была стать венцом нашей совместной работы, в которой принимали участие актеры высшей пробы: Маргарета Круук и Ян-Улоф Стрендберг.

Со смешанным чувством неприязни и грусти наблюдал я, как Андерс Эк вкладывал свой собственный страх смерти в уста Капитана, полностью отождествляя себя с этим персонажем. Слова Стриндберга, рисующие образ жалкого, немного смешного ипохондрика, превращались в толковании Андерса Эка в стоически сдерживаемый и все-таки прорывающийся ужас самурая. Это было кошмарно, непристойно, безнадежно, театр оборачивался клоунадой.

Как-то утром мне передали просьбу Андерса Эка зайти к нему в уборную. Он сидел, положив руки на гримерный столик. На лицо, серое от бессонницы и боли, падал резкий свет осеннего дня. Андерс заявил, что складывает оружие, что постоянное потребление болеутоляющих таблеток отрицательно сказалось на его способности здраво мыслить, но теперь он понял, что использовал собственный страх смерти для воплощения сходных ощущений Капитана. И печально упрекнул меня за мое молчание.

Мы с актерами собрались в помещении «Синематографа» на последнем этаже старинного особняка в глубине двора. Предстояло вместе пройти сценарий «Осенней сонаты». Ингрид Бергман читала свою роль громовым голосом, подкрепляя его мимикой и жестами — все определено и отработано перед зеркалом. Все были в шоке, у меня разболелась голова, а помощник режиссера выбежала на лестницу и зарыдала от ужаса: с 30-х годов никто из нас не слышал таких фальшивых интонаций. «Кинозвезда» самостоятельно сделала кое-какие купюры и отказывалась произносить неприличные слова.

Она заявила, что сюжет довольно скучный, поэтому его надо бы оживить какими-нибудь шутками: «Почему это ты становишься таким занудой, Ингмар, когда пишешь? В жизни ты бываешь по-настоящему забавным». Прослушала прелюдию Шопена — кульминацию первой части фильма, сначала ее играет дочь, а потом мать: «Господи помилуй, неужто этакую скучищу будут играть *два раза*? Ингмар, ты *ненормальный*, публика *уснет*, нашел бы что-нибудь *красивое* и покороче, это будет так *тоскливо*, *я* вся извеваюсь».

Ингрид Бергман исполняет роль известной пианистки. Все пианисты мучаются от болей в спине, может быть, за исключением Рубинштейна. Пианист, у которого болит спина, любит лечь на пол и вытянуться во всю длину. Мне хотелось, чтобы в одном из важных для нее эпизодов Ингрид лежала на полу. Она засмеялась: «Ингмар, дорогой, ты совсем *сошел с ума*. Ведь это *серьезная* сцена. Не могу же я играть серьезную сцену, *лежа на полу*. Это будет *нелепо*. Зрители будут *смеяться*. Разумеется, в этой жуткой истории мало что может вызвать смех, но почему тебе *непременно* надо заставить публику смеяться в самом неподходящем месте, можешь ты мне это объяснить?»

Наши чрезвычайно сложные съемки начались с дурных предзнаменований. Страховая компания отказалась выдать страховку на Ингрид Бергман, так как она перенесла операцию по поводу рака. Через неделю после начала съемок из Лондона, куда Ингрид ездила на очередное обследование, сообщили, что обнаружены новые метастазы и ей немедленно следует лечь на операцию и облучение. Ингрид ответила, что сперва закончит фильм, и деловито поинтересовалась, не сможем ли мы ужать на несколько дней съемки с ее участием. Если это окажется невозможным, она останется на все запланированное время.

Она продолжала работать, как будто ничего не произошло. Неразбериха первых дней сменилась мужественным профессиональным штурмом. Обвинив меня в недостатке искренности, она вынудила выложить все мои претензии. Я сказал то, что думаю, мы поругались, а потом просматривали заснятые куски столько, сколько ей этого хотелось.

Одновременно Ингрид обнаружила феномен, с которым ей никогда не приходилось сталкиваться в ее профессии. Среди многочисленных женщин съемочной группы, сильных, самостоятельных, умудренных опытом и в профессиональном и в личном плане,— среди этих женщин существовала сплоченность, некое братство: Катинка Фараго, руководитель съемочной группы, Ингер Перссон, ответственная за костюмы, Силла Дротт, гример, Сильвия Ингмарссон, монтажер, Анна Асп, художник-декоратор, Черстин Эрикстдоттер, помощник режиссера, Ингрид, моя жена и администратор, и Лив Ульман, актриса. Ингрид Бергман с благодарностью влилась в это крепкое содружество, обретая краткие мгновения покоя в лишенной всякой сентиментальности сестринской преданности.

Ингрид таскала с собой по всему миру ржавую коробку, где хранились обрывки пленки с кадрами, запечатлевшими ее детские и юношеские годы. Ее отец был фотографом, изредка он брал напрокат кинокамеру. На протяжении четырнадцати минут кинолента показывала нам крохотную девчушку на коленях красавицы матери, одетую в траур девочку у могилы матери, худющего подростка, хохочущего и поющего за роялем, мило улыбающуюся юную девушку, поливающую розы в оранжерее. Ингрид берегла фильм как зеницу ока.

С немалым трудом мне удалось заполучить у нее ленту, чтобы сделать новый негатив и новую копию с изношенной и опасной нитратной пленки.

Свою хворь Ингрид восприняла с гневом и нетерпением, но болезнь разрушала ее сильный организм, разъедала мозг. В студии Ингрид вела себя исключительно дисциплинированно. Выразив свое несогласие, она потом обычно подчинялась, а то обстоятельство, что решение принимал кто-то другой, оказывало на нее стимулирующее действие. Однажды утром она стремительно обернулась и залепила мне пощечину (в шутку?), пригрозив отколошматить меня, если я тут же, немедленно не объясню ей, как нужно сделать сцену. Дрожа от бешенства из-за неожиданного нападения, я ответил, что, мол, тысячу раз просил ее вообще ничего не делать, только одни дерьмовые любители воображают, будто они каждую минуту должны что-то делать. Она шутливо, но достаточно резко высмеяла мою репутацию режиссера, умеющего работать с актером. Я в том же тоне выразил сожаление в адрес тех режиссеров, которым приходилось иметь с ней дело в дни ее славы. Обменявшись еще парой реплик в том же духе, мы рассмеялись и пошли в студию, где нас уже ждали с известной долей любопытства. Ингрид умолкла, веки набухли словно от сдерживаемых слез, черты смягчились — кинокамера зафиксировала страдающее человеческое лицо.

Мы сделали документальный фильм — почти на пять часов в готовом виде,— запечатлевший работу над картиной. Полгода спустя Ингрид, приехав погостить к нам на Форё, настояла на том, чтобы посмотреть этот фильм, хотя местами он был для нее не совсем лестным. По окончании просмотра она несколько минут посидела молча, что было весьма на нее непохоже, а потом сказала с неподражаемой интонацией: «Этот фильм мне следовало бы посмотреть до начала съемок».

Как-то раз мы с Ингрид, расположившись на потертом кожаном диване — каждый в своем углу — за декорацией, дожидались, пока установят свет. В помещении царил полумрак. Ингрид несколько раз провела рукой по лицу — жест, необычный для актрисы,— глубоко вздохнула и посмотрела на меня без улыбки, не ища сочувствия: «Ты ведь знаешь, что я живу взаймы» — и неожиданно улыбнулась.

У одного из самых наших великих актеров прошлого и настоящего, гениального создателя нескончаемого числа образов королей, героев, мошенников, лжецов, уморительных дурачков, персонажей Стриндберга и вновь королей — за ним тянулась целая вереница величественных теней — на семьдесят седьмом году жизни нарушилось кровообращение левой ноги. Необходима была операция. Он отказался, но в душе у него поселился страх смерти.

Для него театр был жизнью, а Драматен — надежной Опорой существования. Теперь между ним и Смертью возникла Пустота. Преодолевая мучительные боли, он продолжал играть. После премьеры я поблагодарил его за великолепное исполнение. Он сидел в своей уборной, неразгримированный, в грязном халате, положив больную ногу на стул. Взглянув на меня с холодным презрением в зеркало, он произнес: «Убирайся к черту со своей проклятой лестью. Я знаю, что у тебя на уме».

Короли, мошенники, стриндберговские персонажи, лжецы и уморительные дурачки, знакомые с детских лет, молча толпились вокруг. Ненависть артиста была кристально прозрачной. Я был для него не руководителем театра, выражавшим свой восторг, а лицемерной свиньей, которая превратила его артистическое фойе в кафе, которая сослала его с Большой сцены на Малую, которая отказалась дать ему роль короля Лира. Я нес вину за боли в его почерневшей ноге, я выпустил Смерть со склада реквизита.

Мало-помалу лишившись всех ролей и спектаклей, он по-прежнему волочился в театр и занимал пост у доски объявлений, так, чтобы быть на виду у всех проходящих мимо. Небритый, немытый, под хмельком, он бушевал, точно Филоктет. В гипнотическом взгляде синих глаз светился ужас, актер хватал проходящих и, держа их за воротник, извергал ненависть к «Гитлеру-Бергману». Тишина уплотнялась, тени остались без глаз, зеркало разбито, осколки отражали пустоту. Эхо знакомого бархатного голоса разносилось по лестнице, все терзались, немели, ему никто не отвечал. День за днем он играл свой последний чудовищный спектакль в том самом театре, где был королем из королей, в кольце молчаливых, но узнаваемых теней. Неизвестный. Гамлет. Ричард III. Эландер. Хиккори. Отец. Брендель. Капитан Эдгар. Орин. Джеймс Тайрон. Эдип. Пий VII. Офицер. Густав Васа. Ёран Перссон. Старик Хуммель. Густав III. Карл XII[27].

[27] Имеется в виду Ларс Хансон.

(Окончание следует)

А. ЗВЕРЕВ

КЁСТЛЕР И ТЬМА — ПРИКОСНОВЕНЬЕ К ИСТОКАМ

Вероятно, разговор о романе Кестлера должен был состояться на этих страницах примерно годом раньше, когда в «Неве» (1988, №7—8) закончилось печатание «Слепящей тьмы». По каким причинам этот разговор так задержался, впрочем, не главное. Существеннее, что в подобном опоздании есть свой выигрыш.

Дело в том, что «Слепящая тьма» — из тех книг, которые провоцируют ассоциации очевидные, а оттого предугадуемые: уйти от них нельзя, потому что этого не позволяет сам материал, выбранный автором, но едва ли можно и довольствоваться ими одними. Как заметил В. Кантор, оказавшийся среди первых рецензентов романа («Литературное обозрение», 1989, № 2), перед нами «многозначный текст», который «требует и политических, и исторических, и культурологических комментариев». Пока что комментарии были преимущественно политическими.

Другого не следовало ожидать. Кёстлер никогда не принадлежал к писателям, которых волнуют скорее отвлеченно философские проблемы, чем живая хроника современности. «Слепящая тьма» мыслилась как произведение в высшей степени злободневное. Она содержит в себе совершенно очевидные отголоски истории русской революции, прежде всего на ее трагическом этапе, каким явились 30-е годы. В главном герое этой книги без особого труда распознаются черты реальных людей, составлявших ленинскую гвардию и постепенно оттесненных Сталиным от власти, оклеветанных, превращенных во «врагов народа», жертв на печально знаменитых процессах, которые потрясли и изумили мир.

Как же было не прочитать роман Кёстлера в контексте, максимально приближенном к нашим реальностям той поры? Но сейчас, когда острота первого впечатления несколько притупилась и уже не кажется поразительным сам факт публикации «Слепящей тьмы», немыслимый всего года полтора-два назад, быть может, настала пора перечитать Кёстлера, памятуя, что это действительно многозначный текст.

А если так, то первый вопрос, который перед нами возникнет, нужно сформулировать примерно следующим образом: сказано ли о книге все (или даже главное), когда утверждают, что это роман о трагедии 1937 года и о ее протагонистах, более того — роман о сталинизме?[1] Или исторический комментарий к «Слепящей тьме» должен быть шире, касаясь самой природы революции, совершенной насилием, потому что без такого комментария невозможно понять свойственный герою строй понятий и чувств, как и пережитую им драму?

Мне кажется, роман Кёстлера дает достаточные основания, чтобы читать его как книгу определенных итогов. Репортажи писали и до Кёстлера — прямо из Октябрьского зала, где захлебывался лживый патетикой Вышинский, а обвиняемые словно старались друг друга перещеголять в изобличении самих себя. В гостевых ложах находилось немало западных журналистов, и каждый, составляя отчет, пытался найти какую-то логику, которая объяснила бы до крайности странное поведение людей с героическим прошлым, сидевших теперь на позорной скамье и даже не думавших хоть отчасти оправдаться. Догадки были не так примитивны. Фраза о пытошном дознании попадается в этих отчетах много раз.

И все же это были не более чем догад-

[1] М. Золотоносов. Красная магия. «Литературное обозрение», 1989, № 2; М. Злобина. Версия Кёстлера: книга и жизнь. «Новый мир», 1989, № 2.

ки. Кёстлер, осведомленный о процессах только по сообщениям европейской прессы, воспринимал происходившее чрезвычайно болезненно. Однако искус немедленного реагирования с его неизбежно поверхностными выводами он преодолел, понимая, что в такой ситуации нельзя обобщать по верхам. Что тут необходимо прикосновенье к истокам, а не только разбор следствий.

От читателей «Слепящей тьмы», опубликованной в 1940 году в Лондоне, он ожидал той же аналитической работы мысли, которая была так трудна и даже мучительна для него самого.

Иначе он написал бы совсем другую книгу. Совсем другую прозу, подразумевая ее тон и лад.

Странное чувство преследует русского читателя его книги — чувство полуузнавания: вроде бы все знакомо до мелочей, но как-то сдвинулось, сместилось, и привычная картина вдруг сделалась пугающе-таинственной. Подобное случается во сне, особенно в тяжелом сне, когда человека томят смутные страхи скверные предощущения.

Пробудившись, он сначала не может понять, отчего испытал гнетущий ужас, хотя ничего экстраординарного во сне не происходило. Он, скажем, шел по улице и встретил у табачного киоска приятеля, давно уже не звонившего. Поговорили о работе, о футболе, условились, как водится, через недельку повидаться и посидеть.

Потом шоковой вспышкой проносится мысль, что ведь этот приятель умер несколько лет назад. И тут же вспоминается, что киоск отчего-то стоял не на углу сквера, где стоит испокон веку, а рядом с трамвайной остановкой. И по рельсам катил вагон с легкой продуваемой решеткой вместо борта — когда-то такие были в южных городах. И водителю все время кричали, что надо остановиться, но он гнал себе и гнал, позабыв о светофорах.

Искусство давно научилось извлекать метафоры из этого взаимопроникновения яви и грезы, посредством снов остраняя действительность, чтобы в гротескных образах выступили ее неочевидные, но властные законы. Вспомним хотя бы «Земляничную поляну» Ингмара Бергмана. Там много снов, начиная с намеренно затянутой вступительной части: старинный городок, улочки, шпили, только совершенно пусто, словно здесь никто больше не живет.

Однако в картине Бергмана сны нескрываемо символичны — фильм о смерти, и по обезлюдевшему городу грохочет погребальная карета, а у часов на ратуше отвалились стрелки. Действие романа Кёстлера тоже начинается со сна. Рубашов, бывший Народный Комиссар, спит у себя в квартире под цветной литографией Первого, и ему снится, что его арестовывают; досмотрит этот сон он уже в тюрьме, укрывшись застиранным одеялом. При желании машину, доставившую Рубашова в тюрьму, можно было уподобить катафалку, а пустынные в предрассветный час мостовые, которыми она проезжает, без труда поддавались сравнению с дорогой в ад, — достаточно было ввести всего несколько образов-предзнаменований. Кёстлер отказался от этой стилистики. Не потому, что не владел ею. Просто она была бы неуместной — не тот сюжет.

«Слепящая тьма» посвящена памяти жертв «так называемых Московских процессов». 13 марта 1938 года закончился последний трагический спектакль из тех, которые подразумевает Кёстлер, — процесс «правотроцкистского блока»: Бухарин, Рыков, Крестинский и другие. Но с ним отнюдь не закончился сталинский террор.

Он даже не пошел на спад, всего лишь изменились внешние проявления. Теперь казнили без ритуальных действ в поучение и устрашение соотечественникам. Заседание ОСО, не нуждавшегося ни в уликах, ни в доказательствах, хотя бы миражных, за час решало участь сотен людей. Расправы стали обыденностью.

Кёстлер поэтому и показывает их как обыденность, отвергнув метафорические ходы.

А все-таки не случайно его роман открылся сценой сна, сбывшегося так скоро. Описываемое ведь и правда в каком-то смысле мучительный сон, злая фантазия садиста, наделенного особенной изощренностью, абсурд, убийственный в самом буквальном смысле.

Но все это лишь при условии, если смотреть с дистанции, со стороны. А для вовлеченных в этот абсурд он оборачивался по-своему очень логичной системой, которая обладает поистине смертельной последовательностью.

У этой системы — разветвленные, прочные корни, которые глубоко вросли в почву, за двадцать лет до того, как начнется действие романа Кёстлера, взрыхленную революцией и гражданской войной.

О системе, приносящей результаты, для него самого иной раз оказывающиеся непредсказуемыми и страшными, постоянно размышляет кёстлеровский герой, доверяя сокровенные свои мысли тюремному дневнику.

Какая-то истина вынашивается сознанием Рубашова в предсмертные его недели, и сам он противится этой истине, потому что она фактически зачеркивает его жизнь, подчиненную совсем другим постулатам. Незримо в его камере присутствует некто, названный у Кёстлера Немым Собеседником,— оппонент системы, каким Рубашов, понимая ее изъяны, категорически запретил себе стать. Записи в дневнике — рубашовский монолог, попытка самооправдания. Но по существу роман диалогичен, хотя оппонент молчит до самых последних страниц.

Опять как во сне: яростный, до истеричности накаляющийся спор с кем-то невидимым, не снисходящим до ответа и все же одерживающим победу. Ведь под самый конец Рубашов заговорит как раз теми словами, которые изначально наготове у его Собеседника, хранящего молчание. Вот эти слова, адресуемые Рубашовым «старой гвардии», к которой принадлежит и он тоже: «Они погрязли в собственном прошлом, запутались в сетях, сплетенных ими же по законам партийной морали и логики... Они сами вырастили Главного режиссера и на пороге смерти, по его указке, скрежетали зубами и плевались серой...»

Но дорога к этим признаниям Рубашову предстоит долгая, потому что он сам — актер в поставленной Главным режиссером пьесе. Иначе говоря, эта «режиссура» сковала его по рукам и ногам. И он послушно подает реплики в разыгрываемой пьесе, как ни тяжко ему сознание, что вместо героической драмы получилось представление в духе театра жестокости.

Тут и впрямь совершенно особенное душевное устройство, позволяющее, вопреки всем очевидностям, веровать в Идею, какие бы чудовищные последствия она за собою ни влекла на практике, и даже растаптывать себя во имя этой Идеи, ни на секунду не подвергая ее сомнению.

Идею достаточно выразительно охарактеризует сам Рубашов записями в дневнике, посвященными «законам политической морали». Поскольку суть Идеи заключается в «спасении человечества» на путях «всеобщей справедливости», ее приверженцам всегда гарантировано этическое оправдание, к каким бы методам они ни прибегали. Нравственные абсолюты и границы с такой точки зрения есть пустая фразеология; решает только «последовательная логичность». Действия свершаются без оглядки на абстракции вроде добродетели, потому что существенна только историческая необходимость, определенная раз и навсегда. Нравственно то, что помогает движению к цели, и поэтому справедливо уничтожать субъективно честных, если они объективно неправы, вознося на пьедестал низких, когда они поступают в согласии с логикой Идеи. Сама высота этой Идеи как бы ручается за безошибочность подобных разграничений: кто прав, а кто нет.

Помнящим сталинское время тут ничего пояснять не надо: книжка в светло-зеленом переплете, озаглавленная «Краткий курс» и в обязательном порядке ставшая настольной для всех, излагала точно ту же самую философию и примерно такой же стилистикой. Те, кто десятилетиями по необходимости принимал эту философию безропотно, а чаще энтузиастически ее усваивал, обнаружат в романе Кёстлера слишком ясные отзвуки тогдашней идеологической ситуации. Поэтому трудно оказывается увидеть за историей Рубашова и нечто большее: питательную среду, помогавшую идеям такого рода крепнуть и закрепляться в массовом сознании, их историческую родословную.

Кёстлера, однако, интересовали именно генеалогия и факторы, обеспечившие этим идеям режим благоприятствования.

Вряд ли по случайности в той же записи Рубашова «я» все время переходит в «мы», а о праве личности на собственное мнение сказано, что его «для нас не существовало». Это почти дословная выписка из знаменитой антиутопии Е. Замятина, в которой категория «мы» растворяет в себе «я» бесследно, а вся гротескная и пугающая постройка Единого Государства возводится на фундаменте полной подчиненности индивида массе. Не суть важно, читал ли Кёстлер роман Замятина, завершенный зимой 1921 года. Важна дата, стоящая под этим романом. И еще то несомненное обстоятельство, что «Мы» — антиутопия только по жанру, по сути же — книга, навеянная российской современностью и к ней обращенная.

Стало быть, уже тогда, всего через три года после Октября, действительность создавала причины для преследовавших Замятина опасений, поскольку рубашовские тезисы вроде того, что личность эфемерна, субъективные побуждения безразличны, а зло необходимо искоренить в самих помыслах, шли в рост полным ходом.

Что так и было, можно убедиться, обратившись к столь красноречивому — и даже еще более раннему, чем Замятин, — свидетельству, как «Несвоевременные мысли» Горького.

Здесь не место говорить о сложной истории этой книги, о вызванной ею полемике, о крайностях, присущих суждениям Горького, и о последующих его покаяниях, не снявших, однако, запрета со сборника статей, публиковавшихся с апреля 1917 по июль 1918 года. «Несвоевременные мысли» в данном случае важны только как документ эпохи, принадлежащий писателю, которого никто не мог бы заподозрить в неприятии революции как таковой. Тем с большим вниманием следует отнестись к его тревогам, порожденным развитием событий, к его опасениям за судьбы народа, которому новая общественная ситуация угрожает «озерами крови» и «всеобщим одичанием».

Отчего Горький настроен так мрачно в те предоктябрьские и первые послеоктябрьские месяцы? Разумеется, здесь очень многое определялось его пониманием сути и путей русского революционного движения, недоверием к крестьянству, страхом за судьбы культуры. Но были и причины объективные. Горький слишком часто убеждался, что революция, «действуя насилием и террором», оказалась отнюдь не в гармоничных отношениях с нравственностью. Что для стоявших у руля новой власти «догма выше человека». Что «поголовное истребление несогласномыслящих» не только не встречает противодействия тех, кто клянется именем революции, но находит у них теоретическое оправдание, а тем самым социализм и гуманная этика, потребности класса и моральные нормы, обязательные для всего человечества, разводятся по разным полюсам. Что вместо торжества справедливости торжествует «зоологическая анархия», за которую приходится платить: уже сейчас дорого, а впоследствии совершенно непомерной ценой.

Вот что стояло за горьковскими разногласиями с революцией, которую он винил в «отсутствии морали».

Известно, что позднее Горький отрекся от этих взглядов, утверждая, что просто не понял революцию, когда она переживала свои звездные часы. Трудно сказать, до какой степени это отречение было искренним. Во всяком случае, то, что Горький подметил в водовороте событий, предшествовавших Октябрю и им вызванных, с годами, по мере того, как укреплялся сталинизм, обозначалось только еще отчетливее. И ведь не кто иной, как Горький, еще тогда, в 1918 году, яснее очень многих сознавал, отчего все это должно было происходить, независимо от личных побуждений того или иного руководителя, от программ той или иной партийной фракции. «Нельзя полагать, — пишет он в «Новой жизни» от

21 марта 1918 года, — что народ свят и праведен только потому, что он — мученик... И не надо закрывать глаза на то, что теперь, когда «народ» завоевал право физического насилия над человеком, — он стал мучителем не менее зверским, чем его бывшие мучители».

Все остальное было, как показало время, только логичным следствием этого отторжения политики от этики, предоставившего легкое оправдание насилиям, расправам, грабежам. Жестокому ограничению государственной и партийной демократии. А в дальнейшем — запрету любых мнений, кроме одного, всегда правильного мнения, тирании Вождя и той войне, которую сталинизм развязал против собственной страны.

Но само это отторжение могло произойти лишь оттого, что для него были готовые предпосылки в сознании массы, не только его принявшей, а даже в охотку заменившей незыблемые этические критерии вполне от них свободным «революционным правосознанием», руководствуясь, по слову Горького, нехитрой максимой: «Что сделано — то сделано, а суда над нами не может быть».

Как это могло случиться? Над главным этим вопросом бьется мысль Горького и не находит четкого ответа. Ему кажется, что в «зоологической анархии» более всего повинны исторические условия развития русского народа, «воспитанного в рабстве, пьянстве, мрачных суевериях», и установки комиссаров, которые относятся к России всего лишь как к материалу для социальных опытов. Над природой революции он мало задумывался, оттого и позволял себе обобщения, достаточно сомнительные по своей основательности.

Однако над сущностью самого феномена революции задумывались другие мыслители. И высказывали суждения, сейчас, когда они проверены свершившейся историей, поражающие своей прозорливостью. Напомню лишь одно из них; оно принадлежит Герцену и датировано 1851 годом. Время очень существенно и здесь, потому что мысли Герцена навеяны горечью разочарования в итогах только еще отходящей эпохи, когда революционные грозы бушевали над Европой. Но еще существеннее подтверждения этих мыслей, представленные уже другим временем, XX веком.

«Французский народ, — делает свой очень глубокий вывод Герцен, — вовсе не готов ни к социализму, ни к свободе, — но он готов к революции; сознание общественной неправды, злоба и удивительное единство — вот его сила. Французский народ — армия, армия не демократии, как воображают монтаньяры, а армия коммунизма...» [1]

Слово «коммунизм» в этом контексте подразумевает: казарменный. Основанный на «казенной организации работ». Тот, который «разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей», исторгнув «из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания».

Не здесь ли исходный узел трагедий, переживаемых революциями, которые резко ограничивают или прямо отвергают демократию? Готовность к перевороту без готовности к свободе. И поэтому неизбежность развития общества, рожденного такой революцией, «до нелепостей», до «криков отрицания». Наш опыт требовал бы добавить — единичных и беспомощных криков.

Они прозвучат на страницах романа Кёстлера, эти крики, они заполнят одну из центральных сцен: полемику Рубашова с бывшим его приятелем, а теперь следователем, ведущим его дело, — Ивановым. Это не допрос, это почти дружеская беседа, когда люди откровенны, вопреки условиям, в которых они находятся. И, дорожа, быть может, последней возможностью высказаться начистоту, Рубашов поведет речь как раз о «нелепостях». О том, как «во имя справедливого раздела земли сознательно обрекли на голодную смерть около пяти миллионов крестьян». О казнях, которыми кончаются дискуссии по сугубо профессиональным проблемам вроде использования удобрений, и доносах, увенчивающих диспуты поэтов. О целом поколении, которое «превратилось в массу обескровленной, немой, умирающей плоти». О «великом эксперименте», потребовавшем (совсем по Горькому, писавшему, что для комиссаров народ вроде лошади, которой прививают тиф, чтобы испытать вакцину) «содрать кожу» с людей, словно с кроликов, и погонять их «кнутами в светлое будущее...»

Реакция на эти речи Иванова, отличающегося непорушенной цельностью фанатика Идеи (что, впрочем, не уберегло его от трибунала), однозначна и вполне соответствует понятиям тех, для кого «догма выше человека». Страх перед «нелепостями» осуществляемого эксперимента, по этим представлениям, «наивная чепуха» и только. Кто сказал, что «мы... не можем пожертвовать всего несколькими сотнями тысяч ради величайшего в Истории опыта»? Ради достижения «всеобщей справедливости» можно пойти и не на такие жертвы.

В одной из статей Горького цитируется простецкое высказывание матроса Железнякова, сказавшего, что «для благополучия русского народа можно убить и миллион людей». Иванов закален в той же свирепой вере. Имя Достоевского появляется на этих страницах вполне естественно: по замыслу автора. Иванов предстает как новый Шигалев из «Бесов», только уже не теоретизирующий, а занявшийся практикой. Ну, а практика описана в горьковских статьях.

И все-таки в этом эпизоде интереснее Рубашов. Потому что у него уже есть опыт тяжелых разговоров с Немым Собеседником. И «нелепости», до которых развился благословивший казни социализм, для него уже далеко не тайна. Как будто все ведет к тому, что Рубашов (благо не обольщающийся насчет уготованной ему участи) сделает напрашивающийся шаг, признав коренной порок в самой Идее, его себе подчинившей.

Но: «Он понимал, что его рассудок поддерживает Иванова».

Фраза эта, возможно ключевая в романе Кёстлера, поскольку ею охарактеризован не просто определенный человеческий тип, а определенная разновидность сознания, для которого выкладки рассудка отменяют требования этики и гуманности.

Другое дело, что эти требования все равно неистребимы и Немой Собеседник заста-

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти т., М. 1962, т. XXIV, с. 199.

вит Рубашова возвращаться к ним снова и снова, раздваивая с виду монолитный мир героя, которого еще и по этой причине преследует ощущение, будто все с ним происходящее — мучительный, неотвязный сон, погружение во «тьму», откуда нет исхода.

Для нас, читателей Кёстлера, это ощущение, разумеется, усилено тем, что «Слепящая тьма» — роман, написанный человеком, который не наблюдал событий, составляющих сюжет, собственными глазами. Очень легко объяснить неточности, допускаемые Кёстлером, просто неосведомленностью. Ведь, не пережив того, что пережил герой, нельзя было достичь безукоризненной правды подробностей.

Подробности действительно в ряде случаев не вызывают доверия. Уже не говоря о такой повествовательной условности, как дневник заключенного — вещь решительно невозможная в реальных условиях того времени,— неубедительны и многие детали. Даже мелкие погрешности такого рода режут наш слух, хотя их не замечал западный читатель.

Скажем, через зарешеченное окошко Рубашов видит часовых, разгуливающих по стене, под которой расчищенная от снега тропка для прогулок. Но вот А. М. Ларина вспоминает, что в лагерях, на пересылках снег под стеной был как раз девственно чист — простреливаемая зона, куда запрещено ступать и заключенным, и надзирателям. Это свидетельство принадлежит вдове Н. И. Бухарина, самого близкого из возможных реальных прототипов кёстлеровского героя.

А впрочем, действительно ли неточности появились помимо авторской воли? Понятно, что основной фактографический материал достался Кёстлеру из вторых рук. Но кое-что добыл он сам. Он ведь бывал в СССР в 1932—1933 годах, причем не только в столице, а на Волге, на Украине. Легко вообразить себе картины, которые открывались ему в ту пору сразу вслед «великому перелому».

Теперь невозможно сказать, до какой степени над ним тогда имели власть официально санкционированные версии. Хотя бы отчасти Кёстлер их принимал, как многие тогдашние интеллигенты Запада [1]. И пережил едва ли не все, что выпало испытать левым западным писателям его поколения: энтузиазм, сомнение, навязанное себе молчание. Но пережил по-своему.

Этот выходец из Венгрии, для которого с детства родным был немецкий язык, стал блестящим журналистом, обладавшим слишком высокими профессиональными навыками, чтобы легко довериться пропагандистским обманам. Как член Германской компартии, не допускавшей никаких — даже по частным поводам — дискуссий насчет верности проводимой Сталиным линии, он молчал и после убийства Кирова, и после введения законов, санкционировавших внесудебные расправы над «контрреволюцией», в которой можно было обвинить даже детей, достигших двенадцатилетнего возраста. Но это не было молчанием безмыслия. Исподволь формировался будущий автор «Слепящей тьмы».

Приход Гитлера к власти заставил Кёстлера эмигрировать. Он обосновался в Париже, затем в Цюрихе, выучился писать по-английски; лондонская «Ньюс кроникл» послала его своим корреспондентом в Испанию, где разгоралась гражданская война. Несколько месяцев он провел на самых горячих участках ее фронтов. Здесь Кёстлер впервые лицом к лицу столкнулся с шпиономанией и нетерпимостью к оппозиции, с чистками, репрессиями, травлей, с практикой сталинизма, внедрившегося в стан республиканцев и нанесшего их делу поистине непоправимый ущерб.

В конце его испанской одиссеи была Малага. Кёстлер не успел эвакуироваться, когда в город вошли фашистские полки. Он был схвачен и ждал расстрела. Спасли его протесты европейской демократической прессы.

Обо всем этом Кёстлер рассказал в документальной книге «Испанское завещание». Ее у нас издали летом 1937 года. Затем спрятали в спецхран. Это произошло сразу после публикации его первого романа «Гладиатор». Казалось бы, повода не было, ведь «Гладиатор» — исторический роман о восстании Спартака. Но в нем есть размышления о феномене тоталитаризма, едином по существу и всегда устремленном к абсолютной тирании, как бы толково ни эксплуатировал он прекрасные слова и понятия.

Кёстлер заговорил об этом раньше других писателей Запада. Книга была напечатана весной 1939 года.

Полугодом ранее он вышел из партии. Его мотивы были родственны тем, которые руководили первой женой Бухарина, Н. М. Лукиной: старая большевичка, она отослала Сталину свой партийный билет, потому что не могла примириться с перерождением революции в диктатуру, поддерживаемую клеветой, бесправием и беззаконием.

Вот теперь, зная наиболее важные факты биографии Кёстлера, вновь задумаемся: правдоподобно ли, чтобы он был недостаточно осведомлен о том, что решился рассказать? Подобному предположению противоречит хотя бы россыпь штрихов, выдающих как раз очень наблюдательный взгляд. А ведь это книга зарубежного автора, причем напечатанная полвека назад и явившаяся первой серьезной попыткой постижения истоков, природы и практики сталинизма, предпринятым в мировой литературе. Для тогдашнего читателя все в ней описанное было внове и убеждало прежде всего своей истинностью, впоследствии подтвержденной прямыми свидетельствами. И прицельный, неподвижный взгляд Первого, каким он изображался на репродукциях и открытках, висящих над каждым изголовьем, и белые пятна, оставшиеся на обоях от снятых в спешке портретов вчерашних вождей, которые оказались диверсантами и фашистскими наймитами. И вмиг исчезающие книги по истории революции. И сухие, сугубо деловые разговоры, которые для безопасности следует непременно приправить двумя-тремя вполне казенными фразами.

Но суть дела все-таки не в том, сколько воспроизведено Кёстлером как бы с натуры, а сколько домышлено, суть — в намерен-

[1] См. «Советский опыт и писатели Запада». Из бесед в редакции. «ИЛ», 1989, № 8—9.

ном смешении того и другого, чтобы возник особый художественный эффект бреда, ставшего неотвязной реальностью, ночного кошмара, заполняющего собою все двадцать четыре часа календарных суток, тьмы, наступившей в полдень и ослепляющей, точно раскаленное солнце.

Кёстлеру казалось, что только на стыке, на совмещении — как во сне — ирреального и строго достоверного можно отыскать художественный язык, передающий существо того специфического феномена действительности XX века, который философы-экзистенциалисты потом обозначат особой категорией — «вселенная концлагерей», выстроенная по законам последовательного и беспощадного расчеловечивания. Будущее показало, что этот язык достижим и другими путями, прежде всего — документальной реконструкцией, предпринятой не сторонним наблюдателем, а одним из переживших: Тадеушем Боровским в книге об Освенциме, Варламом Шаламовым в колымских рассказах. Но Кёстлер был первопроходцем. И хотя после «Слепящей тьмы» литература продвинулась дотаточно далеко в художественном освоении коллизий, открытых в этом романе, путь, избранный Кёстлером, по сей день остается творчески действенным. Самому Кёстлеру такое художественное решение, во всяком случае, позволило впрямую коснуться главного — непостижимых, не поддающихся логическим объяснениям метаморфоз, которые, попав во «вселенную концлагерей», претерпевает личность: и заурядная, и выдающаяся.

В воспоминаниях А. М. Лариной «Незабываемое» есть эпизод, который следует перечитать с максимальной сосредоточенностью, как он ни тяжел. Июнь 1937 года. Члены семей разоблаченных (не обязательно — уже осужденных) «врагов народа» особым распоряжением НКВД выселены из Москвы. Тащится обширными степями бесплацкартный вагон астраханского поезда, битком набитый приволжскими пассажирами, едущими до ближайшего городка. Из рук в руки переходит газета с сообщением ТАСС о процессе над «бандой фашистских шпионов-убийц», прокравшихся на руководящие посты в РККА: Тухачевским, Уборевичем, Якиром, Корком... Зачитывается вслух: «Приговор приведен в исполнение».

К месту ссылки этим вагоном следует семья Тухачевского: его мать — старая крестьянка, так и не обучившаяся грамоте, и жена, и дочь-подросток. Убитые, раздавленные стремительностью настигшего их несчастья — со дня ареста маршала не прошло и двух недель, — они теперь должны вытерпеть еще и вот такие комментарии: «И что им только нужно было — и положение, и слава!» Или: «Изверги, наймиты, изменники, пули им мало, четвертовать, повесить их надо было! Слишком легкая им смерть!»

Читать такие мемуарные свидетельства тяжело. Но необходимо. Не только для того, чтобы ясно представить себе реальную историю сталинского времени. Сталинизм довел до чудовищных масштабов неуклонно осуществлявшееся растление народа, который приучали верить любой напечатанной в газетах фантастике, позабыв о веками державшемся завете милости к падшим. Мы часто повторяем, что народ был главной жертвой сталинизма. И куда реже отдаем себе отчет в том, что народ несет свою вину за то, что сталинизм на несколько десятилетий сделался проклятьем нашей истории.

Горький еще в 1918 году писал: «Те муки, те страдания, от которых зверем воет и мечется русский народ, — не могут не изменить его психических навыков, его предрассудков и предубеждений, его духовной сущности. Он скоро должен понять, что, как ни силен и жаден внешний враг, страшнее для русского народа враг внутренний — он сам своим отношением к себе, человеку, ценить и уважать которого его не учили, к родине — которую он не чувствовал, к разуму и знанию, силы которых он не знал и не ценил, считая их барской выдумкой, вредной мужику».

Скоро должен понять... Если бы это действительно произошло!

Ведь люди, ехавшие тем поездом, — самые обыкновенные люди, колхозники или скромные служащие, — еще вчера считали героями нынче осужденных, пели о них песни и рассказывали легенды. Но хватило нескольких абзацев на газетной полосе, и с той же убежденностью в безусловной своей правоте они растаптывают, проклинают недавних кумиров. Найдется, правда, один, который не поверит про Якира, — еще с фронта ему известно, какой это человек. Да ведь только про Якира, не про других. И его тут же припрут к стене неотразимым аргументом: «Сами же признались, сами!»

У Кёстлера ожидающий процесса Рубашов обдумывает в камере аргументацию изобретенного им «закона относительной зрелости масс». Доказательства получаются очень стройными: сознание масс никогда не поспевает за экономическими, технологическими, политическими переменами, тем более такими резкими, как в эпохи революций; масса не способна самостоятельно думать, у нее нет собственных представлений о правильном и ложном — забота вождей обеспечить ее истинами, на данный момент конечными и недискутируемыми. Причем изложить их надо в формах самых доступных своей примитивностью: «Упрощенная и бесконечно повторяемая мысль легче укладывается в народном сознании — то, что объявлено на сегодня правильным, должно сиять ослепительной белизной, то, что признано сегодня неправильным, должно быть тускло-черным, как сажа».

Упования на «глас народный», попытки взывать к совести и нравственности — лишь жалкое политическое донкихотство. Совесть? Но ведь это химера. Порядочность? Но «мы заменили порядочность полезностью». В неопределенном будущем подобные категории, возможно, и обретут относительно реальное содержание, но не сейчас, не в это тектоническое время. Сейчас «народу нужен лубок».

Самому Рубашову не доведется присутствовать при испытании выведенного им закона практикой, однако такая сцена в романе Кёстлера есть. Дворник Василий на гражданской войне сражался в рубашовской бригаде; ему бы, конечно, показалась дикой

мысль, что пройдет два десятка лет и он окажется понятым при аресте своего командира, а потом должен будет выслушать подробности о процессе, на котором речь обвинителя прерывалась негодующими выкриками из зала: «Смерть бешеным собакам!» Не верящий в газетном отчете ни слову, он подпишется — сила солому ломит — и под резолюцией фабричной ячейки, одобряющей приговор, но не читая, и отвернется к стене, и вспомнит Евангелие, багряницу, терновый венец...

Зато его дочь, Вера Васильевна, просто упивается красноречием прокурора, изобличавшего подсудимых в чудовищном намерении убить Первого. Эта Вера Васильевна недавно обзавелась мужем, но у нее лишь койка в общежитии, где не больно-то намилуешься. Вот она и послеживает за отцом — не выдаст ли сомнений в добровольности рубашовского самооговора, не предоставит ли зацепки для доноса о неблагонадежности. Порядочность отменили, торжествует полезность. С точки зрения Веры Васильевны, полезно, чтобы дворницкая принадлежала не отжившему свое ветерану, а ей.

Учитывал ли Рубашов, что из его теории легко выводятся подобные житейские приложения? Вероятно. Однако его это не интересовало. Потому что для него величие целей оправдывало все.

Рубашов пришел к своим умозаключениям по доброй воле. И задолго до тюрьмы. Он вовсе не кривит душой, разъясняя немецкому подпольщику Рихарду, которого фактически отдал на казнь за отступление от догм: «Партия не ошибается... На каждом повороте ее пути остаются трупы заблудившихся и отставших». Печальная участь другой его жертвы, Малютки Леви, по-человечески очень симпатичного Рубашову, тем не менее вызовет с его стороны лишь те же самые размышления о необходимости выдерживать принятый Партией курс неуклонно: «Отдельные люди не принимались в расчет. Совесть, разум и побуждения личности ничего не значили в процессе Истории. Смерть не была для Партии таинством — она наиболее естественно пресекала... любой политический уклон».

Нам хорошо памятны такие установки. Мы знаем, чем они были оплачены в нашей истории, да и не только в нашей. Рихарду Рубашов со всей прямотой заявил: «Раньше чем объединяться, надо решить, чей метод правилен». Кёстлер, который и в Германии, а потом в Испании боролся с фашизмом до последней возможности, остававшейся газетчику, мог бы из собственного опыта многое рассказать, что в тогдашних условиях означало подобного рода сектантство.

Мемуары выживших в сталинских лагерях дополнили бы этот рассказ свидетельствами тотального истребления всех, кто по самому мелкому пункту, хотя бы теоретически, мог возразить Вождю. Свидетельствами о навязанной террором атмосфере рабского единомыслия, духовной и нравственной немоты, предательств, самобичеваний, неостановимых падений тех, кого почитали героями.

Да, это не вся наша история. Но наша история хранит в себе и это.

Процессы, наподобие того, который описан Кёстлером, имели своей целью (а возможно, даже сверхзадачей) всем и каждому внушить так четко сформулированную Рубашовым идею эфемерности субъективных качеств и намерений человека перед лицом исторической необходимости, якобы выражаемой сталинским режимом. Сама по себе казнь, или, как выражаются у Кёстлера, «ликвидация», вовсе не требовала палаческой помпы. Она потребовалась главным образом как доказательство, что режим способен стереть в порошок любую волю, любое сопротивление.

Безропотность жертв казалась присутствующим, в особенности тем, кто знал этих людей прежде, необъяснимой. Говорили о гипнотическом воздействии на подсудимых. Подозревали даже, что вместо них на скамье сидят хорошо подгримированные актеры, которые вызубрили порученную им роль шпионов, капитулировавших перед неопровержимыми уликами.

В романе Кёстлера дворник Василий, молчащий под бдительным оком дочери, не выдержав, пробурчит: «Откуда ты знаешь, про чего он думал, когда говорил, что, мол, растоптал себя в прах», — и можно не сомневаться, что эту реплику он оплатит собственной головой.

Когда убеждались, что подставных лиц в суде не было, как не было и гипнотизеров, оставалось либо признать правоту полыхающего гневом Государственного обвинителя, либо констатировать всемогущество пытки. В массовом сознании, разумеется, безраздельно доминировал первый вариант. Из собственного детства я запомнил разговоры в очередях о ядовитом порошке, который сыплют в пупки младенцам, об отравленных зубных пломбах, чумных бациллах на скальпелях — готовился процесс «врачей-убийц», последнее, к счастью недовершенное, преступление сталинизма.

Понимавших, каким образом добываются «чистосердечные» признания, было сравнительно мало, да и они перешептывались о пытках разве что с самыми испытанными друзьями. Думали, что в пытках все дело. Кёстлер понял: не в них одних.

Рубашова не бьют. Обходятся без того, что в сталинской директиве органам называлось эвфемизмом «меры физического воздействия», допустимые в отношении упорствующих врагов.

Но ведь Рубашов, собственно, и не упорствует. Не пытается опровергнуть предъявленные ему обвинения, хотя даже следователю ясно, что они стоят на грубой подтасовке и домыслах. Защищается вяло и больше по инстинкту, чем по убеждению.

Потому что, отказывая индивиду в каких бы то ни было правах перед Историей, Рубашов искренен — с этим он прожил жизнь. И всегда презирал тех, кто «все еще наивно, по-обывательски верит, что виновность или невиновность личности может серьезно приниматься во внимание, когда решаются судьбы мира».

Если правильное решение судеб мира отчего-то требует, чтобы гвардеец Партии был расстрелян как предатель, его, Рубашова, долг не сопротивляться, отстаивая попранную честь, даже не просто с покорностью

подставлять затылок под пулю, а еще и растоптать себя во имя интересов Дела.

Они и не понадобятся следствию, жесткие меры. Хватит всего лишь очень яркой лампы, которая на допросах всегда светила прямо в глаза. Довольно будет этого несильного раздражителя, чтобы заключенный окончательно потерял чувство реальности. Погрузился — уже едва ли не буквально — в слепящую тьму.

Однако выбранное Кёстлером заглавие несет в себе, понятно, и емкий метафорический смысл.

Не так уж сложно опознать реальный исторический прообраз Рубашова. Все писавшие о романе Кёстлера называют одно и то же имя: Н. И. Бухарин.

Может быть, это делается даже слишком прямолинейно. В конце концов, перед нами роман, читая который мы — таковы законы его поэтики — вспомним скорее искусство Кафки, нежели типичные приемы авторов беллетризированных биографий. Тут важен скорее воплотившийся в Рубашове тип сознания, а не портретное сходство с человеком, который — предположительно — стоял перед глазами Кёстлера. Однако если обратиться к тогдашней доподлинной истории, выяснится, что среди действующих ее лиц в Бухарине этот тип сознания на самом деле воплотился всего последовательнее.

Очевидно, Бухарин не мог не сознавать, что молнии обрушатся и на его голову, — это становилось яснее год от года, а потом уже месяц от месяца. И каково его главное побуждение в той тяжкой ситуации? Сохранить членство в партии, не допустив раскола. На глазах Бухарина партия, обескровленная репрессиями, вместе с продуманной системой приема, приводившей к преобладанию сталинских приверженцев, утрачивает свое лицо. Но он этого словно не хочет замечать. Им движет забота о монолитности рядов, о единстве. Выше для него нет ничего на свете.

Объявлена несовместимой с пребыванием в ВКП(б) критика сталинской идеи принудительных колхозов — и Бухарин больше не критикует, признает свои мнимые заблуждения, тайком оплакивая мрущих в тайге мужиков да по пути из крымского санатория раздавая на станциях опухшим от голода детям все, чем богат. На XVII съезде он с трибуны назовет своего будущего убийцу «фельдмаршалом пролетарских сил» — так надо для единства, что бы он в действительности ни думал о Сталине и его роли. Вторично судят Зиновьева и Каменева, признающихся в немыслимых злодеяниях,— Бухарин не возмущается надругательством над законностью. Даже не воспринимает позорный процесс как прямое предупреждение лично ему. В нем лишь закипает злость против фрондеров, ради собственных выгод пытавшихся ослабить партию фракциями и посмевших оклеветать его, Бухарина, имеющего столько заслуг.

И так — до самого конца, до голодовки накануне февральско-мартовского пленума 1937 года, который исключит его из партии, дав санкцию на уже произведенный арест. В отличие от Орджоникидзе, от Гамарника, от немногих других, Бухарин примет условия затеянной Вождем бесчеловечной игры.

Сказать, что Бухарин их принял, заботясь исключительно о своем выживании, — значит, не сказать почти ничего. К развязке он, судя по всему, был готов, иначе не составил бы своего «Обращения к будущим руководителям», которое теперь широко известно. Причины, заставлявшие Бухарина идти на компромиссы с совестью, определялись не его личными качествами, а образом мышления, в высшей степени типичным для людей его духовной формации.

Это были политики по всему своему жизненному опыту, по призванию, по человеческому складу. Категории политики для них неизменно оставались исходными и важнейшими, нравственные категории — вторичными по значимости и не существовавшими вне политических своих следствий. Суровость времени только помогала укрепиться пагубным верованиям, будто нет никаких моральных непреложностей, а во имя решения насущнейших политических задач можно и оступать от «абстрактных» норм нравственности, потому что История эти отступления оправдает. Не оправдает она только одного — разрушенной монолитности. Потому что без монолитности сама История окажется вовсе не такой, какой она задумывалась.

Кёстлер писал «Слепящую тьму» по горячему следу событий, далеко не все зная об их потаенных пружинах, и тем удивительнее, сколь многое он понял. Николай Залманович Рубашов, разумеется, не копия Бухарина. Но в герое Кёстлера сосредоточено главное, чем отличались люди такого типа и что предопределило их страшную судьбу.

Кроме Первого, Рубашов единственный, кто остался от старой гвардии, расстрелянной поголовно, не считая упредивших казнь выстрелом себе в висок. Он слишком честен, чтобы перед самим собой делать вид, будто в Движении, которому отдана его жизнь, не наступила пора тягчайшего кризиса. И вопросы его преследуют те же самые, которые мучили Бухарина да и многих ветеранов революции, ставших свидетелями тотального наступления сталинизма: отчего плоть Партии покрыли «отвратительные кровавые язвы»? Отчего «хирургическое вмешательство», посредством которого Движение намеревалось исцелить недужный мир, привело к новым гнойникам? Отчего «проклятия заключенных» заглушают «возвещенную нами свободу»? Отчего устлан телами невинно погибших путь к грядущей светлой жизни?

Но есть черта, дальше которой Рубашов не пойдет при всей своей аналитичности, при всем трезвом понимании нынешней безысходности и мрачных перспектив, ожидающих Движение в последующие годы. Он ни при каких условиях не выступит против Первого, потому что монолитность неприкосновенна. Он и в тюрьме будет гордиться тем, что был яростным противником всех, пытавшихся не подчиниться большинству, которым Первый манипулировал по своему усмотрению. Сознавая, что Партия — это фактически воля Первого и только, он тем не менее со всей искренностью скажет, что ей неведомы ошибки. И не откажется, даже перед расстрелом, от своих выступлений, добивавших оппозицию. И

не раскается, даже в последний час, в предательстве по отношению к близкой ему женщине, которую казнили, облыжно обвинив.

Он может с безоглядной смелостью назвать вещи своими именами: диктаторство, кощунство, истребление,— но воля Рубашова парализована, потому что он пленник слепящей тьмы, которая погубила людей родственного ему миропонимания, и еще хорошо, если только физически.

Это миропонимание, считавшее себя марксистским, в действительности шло от Никколо Макиавелли, чьим усердным читателем был Сталин. Эпиграф, взятый Кёстлером из этого итальянского мыслителя конца XV века, вовсе не случаен. Маркс сказал, что у Макиавелли «теоретическое рассмотрение политики освобождено от морали...»[1]. Сталинизм просто сделал этот метод из умозрительной абстракции прикладным руководством.

Роман Кёстлера — о том, почему это оказалось возможно.

В нем предпринята попытка соединить начала и концы, воссоздав всю цепочку перерождения идеи, которой жила рубашовская старая гвардия. Среди откликов на «Слепящую тьму» прозвучал и такой: Кёстлер всерьез принял ходовой лозунг 30-х годов: «Сталин — это Ленин сегодня», только вложил в этот афоризм смысл, противоположный апологетическому, изобразив сталинизм неизбежным следствием Октября[2]. Будь это в самом деле так, думаю, потребовался бы совсем иной художественный ход. И мы прочли бы что-нибудь схожее, например, со «Скотным двором» Дж. Оруэлла, где линия от 1917 к 1937 и другим годам действительно прочерчивается автором с неуклонной прямотой, впрочем не становясь от подобной неуклончивости убедительнее.

Кёстлер постигает опыт, накопленный между двумя этими датами, иначе и, на мой взгляд, глубже. Там, где Оруэллу виделся главным образом трагифарс, Кёстлер обнаруживал трагедию. И эта трагедия, по его пониманию, была неотвратима не только оттого, что произошла подмена революционного энтузиазма масс притязаниями авторитарной системы. Объективно трагической представала сама революция, прибегшая «к топору, к этому ultima ratio притесненных». Герцен, которому принадлежат приведенные слова, говорил о том, что ultima ratio пользоваться нельзя, «пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора»[3], но не исключал случаев, когда таких надежд нет.

Для Кёстлера оправданием топора уже не служили и самые исключительные ситуации. У человека, пережившего 30-е годы и на себе испытавшего, что такое террор, безусловное неприятие топора очень понятно. Но роман Кёстлера — не исповедь, а размышление над тем, каков ход истории, когда ultima ratio признается неизбежностью. Наивно и бесполезно задним числом рассуждать о том, на самом ли деле была неизбежность, однако понять следствия подобного выбора в пользу насилия Кёстлер считал необходимым — хотя бы для будущего. И эти следствия для него зависели главным образом не от субъективных качеств того, кто в романе назван Первым, даже не столько от конкретных исторических обстоятельств, но от характера самого выбора, совершенного тогда, в первые месяцы революции.

Можно назвать подобный взгляд фаталистическим, недиалектичным, но нельзя отказать ему в серьезности и принципиальности. Через полвека после своего появления «Слепящая тьма» читается нами как остроактуальный роман именно потому, что в ней различимы не одни лишь отголоски ушедшей эпохи, а большие смыслы истории. Те, над которыми всем нам еще думать и думать, постигая драматизм идущего к концу века.

Мне кажется, все происходящее с Рубашовым может быть понято только в контексте этих вот больших смыслов, этих мучительнейших проблем, которые связаны с допустимостью насилия для революционного переустройства и возможностью обуздать насилие после таких яростных и страшных его вспышек, какими для нас ознаменовалась революция, а затем гражданская война.

Рубашов решает для себя всю эту сложнейшую проблематику с прямолинейностью, которая раз за разом оборачивается заурядным прагматизмом,— и тем готовит свой жестокий финал.

В тюремном дневнике он запишет, что «мыслил и действовал по нашим законам: уничтожал людей, которых ставил высоко, и помогал возвыситься низким, когда они были объективно правы». Ему не придет в голову, что низость и правота никогда не могут стать союзниками. Признать это для него было бы равносильно отказу от того, что он считает «революционной моралью XX века», а мы называем сталинской программной, аргументированной аморальностью. Ее и подразумевал Кёстлер, выбирая заглавие для книги.

Сомнение все-таки пробудится в Рубашове, начнет возводить свои плотины и преграды, только слишком шаткие, чтобы устоять под безжалостным следовательским напором Глеткина, на вид тупого, а на деле сразу же — опыт помог — нащупавшего слабую точку в наспех построенной обороне допрашиваемого. Предшественник Глеткина Иванов мог, раскавычивая Макиавелли, прямо обосновывать право общества превратить в подопытное животное любую личность, раз того требует забота о благе для всех. Не любя Достоевского, Иванов с легкостью оправдывал Раскольникова, если бы тот «прикончил старуху по приказу Партии — для создания фонда помощи забастовщикам». Он не считается с лицемерием, которого режим в обязательном порядке требует даже от тех, кому доверены важнейшие карательные функции, и оплатит головой свое пристрастие к теоретизированию без тактических умолчаний.

Сменивший его Глеткин к теориям рав-

---

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 314.

[2] Примерно эти соображения определили оценку романа, которую дает Т. Мотылева. См. «Советский опыт и писатели Запада». «ИЛ», 1989, № 8.

[3] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти т., Т. XIV, с. 239.

нодушен. Для Глеткина все кристально ясно: высказывания Первого не обсуждаются, а принимаются к исполнению, потому что они всегда гениально мудры; несоответствия его высказываний реальностям, пусть очевидные для каждого, также не обсуждаются, потому что касаться данной темы могут только враги, ставленники мировой реакции; революционный бастион надлежит защитить «во что бы то ни стало, ценой любых жертв»; не понимающие всего этого подлежат уничтожению.

Отчего же Рубашов, презирая этого «неандертальца», так быстро перед ним капитулирует, с такой готовностью подчиняется? Виноваты ли в этом яркая лампа и усталость, или тот факт, что за примитивным Глеткиным стоит Государство со всею своей мощью? Конечно, и то, и другое. Но не как факторы решающие.

Решающей станет минута, когда Рубашов с содроганием распознает в топорных речах Глеткина свои же, лишь примитивно выраженные мысли, свою, лишь доведенную до утилитарных выводов логику. Рубашову станет ясно, что эта сила неодолима — во всяком случае, для него. И она в самом деле всевластна, пока вне какого бы то ни было этического сомнения остается для Рубашова сама идея насилия как вернейшего способа преобразовывать мир, уповая на грядущую справедливость, которая извинит, спишет все «издержки»

Нужно быть совсем другим человеком, чтобы противостоять глеткиным и всей олицетворенной ими системе — по-другому думать и по-другому чувствовать. А Рубашову не хватит сил отказаться от того, во что он верил и чем дышал всю сознательную жизнь. И кроме того, ему ведь полуобещали, что, возможно, в каком-то бесконечно отдаленном будущем, когда Движение победит окончательно и бесповоротно, его самоубийственные фантазии на суде оценят как честно исполненный долг перед Историей, требовавшей «ликвидации» всех, кто хоть на миллиметр отклонился от прямой линии.

А на что же еще, помимо проблематичного снисхождения праправнуков, оставалось уповать ему, во имя безукоризненной прямизны этой линии старавшемуся заглушить Немого Собеседника, который не ошибся, опознавая происходящее как кошмар наподобие случающихся во сне, заполненном чудовищами?

Имя переводчика «Слепящей тьмы» Андрея Кистяковского обведено в журнальной публикации траурной рамкой. Он переводил Кёстлера «в стол» и не надеялся увидеть свою работу (может быть, лучшую у этого безвременно ушедшего мастера) напечатанной. Да и кто бы тогда в это поверил?

Обдумывая опыт послереволюционных лет, Рубашов придет к выводу, что «в нашей стране абсолютно невозможна демократическая форма правления — из-за крайней политической незрелости масс — и степень личной свободы индивида должна быть урезана до предела». Еще и сегодня найдется немало людей, готовых подписаться под каждым словом на этой странице рубашовского дневника. Для них сам факт выхода «Слепящей тьмы» криминален, а общественное обновление, сделавшее этот факт естественным,— в лучшем случае недолговечная оттепель, которую всего разумнее игнорировать.

Подобная психология жива, да и странно было бы, если бы она, воспитывавшаяся десятилетиями, исчезла в одночасье. Вот отчего — а не только для восстановления исторической справедливости — делом нашей принципиальности стало издание таких замолчанных и оболганных книг, как роман Кёстлера. Читать их горько: они, помимо многих иных чувств, вызывают стыд, поскольку описанное в них — неотъемлемая часть нашего прошлого, того в нем, что только теперь преодолевается всерьез и, мы верим, навечно. Но этот стыд, эта горечь целительны для нашего общественного сознания.

◆

Критика

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИР ОБ «УЛИССЕ»*

■

Составление ЕКАТЕРИНЫ ГЕНИЕВОЙ

КАРЛ ЮНГ

Письмо Джойсу от августа 1932 г.

...Ваш «Улисс» открыл миру столь обескураживающую психологическую проблему, что ко мне неоднократно обращались по этому поводу как к человеку, считающемуся специалистом по вопросам психологии.

«Улисс» оказался слишком твердым орешком и побудил мой ум не только к совершенно неординарным усилиям, но также и к весьма нелепым (с точки зрения ученого) блужданиям. Ваша книга в целом заключала для меня бесконечно много трудностей, и я размышлял над ней около трех лет, прежде чем мне удалось войти в нее. Но должен сказать, что я испытываю чувство глубокой благодарности к Вам, а равно к Вашему гигантскому труду, потому что я очень многое узнал из него. Я, вероятно, никогда не смогу с уверенностью сказать, доставил ли он мне удовольствие, ибо он требует слишком изнурительной работы нервов и серого вещества. Я также не уверен, что Вам понравится то, что я написал об «Улиссе»... так как я не мог не поведать миру о том, сколь утомлен я был, как я ворчал, как ругался и как восхищался. 40 страниц сплошного текста в конце — это череда истинных психологических перлов. Думаю, лишь чертова бабушка знает так же много о настоящей женской психике. Я — нет.

Итак, я осмеливаюсь рекомендовать Вам свое маленькое эссе как занятный опыт совершенно незнакомого человека, заблудившегося в лабиринте Вашего «Улисса», которому удалось вырваться из него по счастливой случайности. Во всяком случае, Вы сможете понять из моей статьи, что сделал «Улисс» с человеком, всегда считавшим себя уравновешенным психологом.

Монолог об «Улиссе»

«Эуропеише ревю», сентябрь 1932 г.

Улисс, фигурирующий у меня в заголовке, имеет отношение к Джеймсу Джойсу, а не к тому практичному, влекомому штормами персонажу гомеровского мира, который знал, как хитростью и делом обезопасить себя от враждебности и мстительности богов и людей, и который после утомительного странствия вернулся к домашнему очагу. По резкому контрасту со своим греческим тезкой, джойсовский Улисс пассивен, он лишь исследует сознание — только глаз, ухо, нос и рот, чувствительный нерв, без всякого выбора и контроля подвергающийся воздействию ревущего, хаотичного, бессмысленного водопада душевных движений и событий, происходящих в материальном мире, — и регистрирует все это с почти фотографической точностью.

«Улисс» — книга, на семистах тридцати пяти страницах которой льется поток времени — семисот тридцати пяти дней, в которых заключен один-единственный бессознательный каждый день Каждого Человека, абсолютно безотносительный к 16 июня 1904 года в Дублине — день, в который на самом-то деле ничего не происходит. Поток, берущий начало в пустоте и впадающий в пустоту. Не есть ли все это одно невероятно длинное и чрезмерно усложненное стриндберговское высказывание о сути человеческой жизни, высказывание, которое никогда не кончается, что приводит читателя в смятение? Возможно, оно действительно касается жизненной сути, но что уж совершенно точно, так это то, что оно касается десяти тысяч поверхностей жизни, окрашенных в сотни тысяч цветов. Насколько я могу судить, на этих семистах тридцати пяти страницах нет очевидных повторов и ни одного благословенного островка, где бы многострадальный читатель мог отдохнуть. Ни единого месте-

* Продолжение. Начало см. в «ИЛ», № 5, 8. Все переводы, кроме специально оговоренных, выполнены по двухтомному изданию: James Joyce. The Critical Heritage. Ed. by Robert H. Deming. London, Routlege and Kegan Paul, 1970. Материалы приводятся в извлечениях.

чка, где он имел бы возможность посидеть в одиночестве, опьяневший от впечатлений, и откуда он мог бы спокойно обозреть пространство пройденного пути, не важно, равняется оно ста страницам или даже меньше. Если бы он только мог увидеть что-нибудь обычное, узнаваемое, проскользнувшее туда, где его и не ожидают. Но нет! Безжалостный и непрерывный поток катится мимо, скорость его и стремительность возрастают на последних сорока страницах до того, что он смывает даже знаки препинания. Это придает той самой пустоте жесточайшее выражение, от которого перехватывает дыхание, напряжение достигает такой степени, что становится невыносимым и чревато взрывом. Совершенно безнадежная пустота — доминанта всей книги. Она не только начинается и кончается ничем, в ней нет ничего, кроме ничего. Она чертовски бесполезна. Если мы взглянем на книгу с точки зрения литературного мастерства, это абсолютно блестящее, адское порождение чего-то чудовищного.

У меня был старый дядя, который обладал способностью всегда схватывать суть явления. Однажды он остановил меня на улице и спросил: «Знаешь, как дьявол терзает души грешников в аду?» Когда я сказал, что не знаю, он объявил: «Он заставляет их ждать». И с этим ушел. Его замечание пришло мне на ум, когда я впервые продирался сквозь «Улисса». Каждая фраза будит ожидания, которые не сбываются; и в конце концов, полностью сдавшись, вы попадаете в ловушку. Действительно так: ничего не происходит, и ничего из этого не проистекает, и все же тайное ожидание, вопреки безнадежному смирению, засасывает читателя от страницы к странице. Семьсот тридцать пять страниц, которые содержат лишь ничто, ни в коей мере не состоят из белых листов бумаги, напротив, они заполнены плотным текстом. Вы читаете, и читаете, и читаете, и вы притворяетесь, что понимаете то, что читаете. Временами вы проваливаетесь в какую-то фразу, как в воздушную яму, но когда наконец достигаете должной степени смирения, вы уже ко всему привычны. Так и меня до страницы сто тридцать пятой не покидало чувство безысходности, я дважды засыпал. Неправдоподобное многообразие стиля Джойса оказывает монотонно гипнотическое воздействие. До читателя ничего не доходит; все уворачивается от него, ускользает, оставляя его сидеть разинув рот. Эта книга всегда проходит где-то выше или рядом; она не в ладу сама с собой, она одновременно иронична, саркастична, ядовита, надменна, печальна, полна отчаяния и горька...

ВАН ВИК БРУКС

Мнения Оливера Олстона (1941)

...В большинстве наших критических работ исследуются вопросы литературной техники, но технические новации, кажется, единственное достоинство, которого требуют и которое высоко ценят авторы этих работ. Не обогатил ли писатель чем-нибудь жизнь, а превзошел ли он всех других какими-нибудь новыми трюками — вот что обычно интересует критику. Престиж таких писателей, как Джойс, Элиот и Эзра Паунд, зиждется на оригинальности формы их произведений; и, вероятно, в век техники это естественно. Но как можно игнорировать гораздо более важный вопрос, неотделимый от течения современной мысли, — о состоянии, которое один психолог назвал «гонкой смерти», то есть о желании умереть, которое сосуществует в нашем сознании с желанием жить... Джеймса Джойса, ирландского иезуита с болезненной психикой, Элиот назвал ортодоксом, но тот сделал для разрушения традиции гораздо больше, чем сам Элиот. Разве не он в «Улиссе», в «Быках Гелиоса», прошелся по всей английской литературе, глумясь в своих пародиях над величайшими писателями, извращая каждого из них — Гиббона, Бёрка, Голдсмита, Лэма, Де Куинси, Диккенса, Рескина, Ньюмена, Беньяна, Бёрнса и дюжину других. Какими глупцами он их выставил, пользуясь в своих шаржах их стилем для выражения ничтожного и непристойного смысла! — и все для прославления Джеймса Джойса. Ибо каким же выдающимся человеком должен он быть, если сумел указать их место всем этим писателям! Прошлое в книгах Джойса всегда дурно пахнет, в то время как Джойс самодовольно пребывает в своем «сопливо-зеленом» мире; и при этом его представляли еще как писателя, победившего традицию!..

Кроме всего прочего, в литературе нельзя забывать о здоровых устоях, а Джойс совершенно с этим не считается. Извращение Джойсом традиции почти полностью стерло ее в сознании, которое и без того уже было от традиции отторгнуто...

...Говорят о «развитии романа», высшей точкой которого являются «Поминки по Финнегану»... Но существовал ли какой-то определенный роман, который должен был развиваться? И не был ли Джеймс Джойс, к примеру, лишь пеплом от сгоревшей сигары, и не были ли все они — лишь пеплом 1890-х, если оставить в стороне вопросы литературной техники? И действительно ли они постигли «смысл своей эпохи», на что всегда претендовали? Или, может быть, они были лишь летучими мышами, сонмища которых носились в сумерках между двумя войнами?

ТОРНТОН УАЙЛДЕР

Джеймс Джойс, 1882—1941

Литературный некролог. «Поэтри», 1940—1941 гг.

...Как Сервантес, он ощупью искал свою тему и свою форму. Судьба художника — это судьба поисков им своей темы и своего мифа, спрятанных от него, но уготованных ему каждым часом его жизни, это его «Путешествия Гулливера», его «Робинзон Крузо». Как Сервантес, Джойс безуспешно пробовал себя в поэзии и драматургии. Того, кто знает несравнен-

ные возможности ритмов его прозы, удивят эти стихи — бесцветная мелодика, сдавленное чревовещание. Того, кто помнит полные живой энергии диалоги из «Дублинцев» или ту известную, как бы пронизанную электричеством сцену ссоры за рождественским столом из «Портрета художника в юности», удивит деревянность его пьесы «Изгнанники».

Как Сервантес, с большим успехом он обращается к жанру короткого рассказа и, как Сервантес, именно в пределах толстой книги находит свою форму и свою тему.

«Улисс» дал литературе новый метод— внутренний монолог. В своем вековом развитии реализм столкнулся с проблемой реалистического описания сознания. Для реализма сознание — это бессвязное бормотанье, стремительный поток, несущий обрывки образов и ассоциаций. Джойс с таким мастерством овладел методом воспроизведения всей полноты этой картины, что вопрос о каких бы то ни было его предшественниках просто отпадает. Он один оказался способен так организовать нечто очевидно бессвязное и заурядное, некое бесконечное витание в облаках, что оно действительно стало искусством...

Трудно сказать, ненависть ли погребла это обретение Джойса под развалинами языка, разложенного на атомы, или любовь через смех этого гения шутки и через несравненную музыкальность стиля одержала здесь свой величайший триумф...

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Фрагмент лекции об «Улиссе» из курса, читанного в Корнеллском университете в 1948—1958 гг.*

...Прежде чем перейти к обсуждению содержания и стиля книги, хочу сказать несколько слов о главном действующем лице, Леопольде Блуме. Пруст изобразил своего Свана личностью с индивидуальными, неповторимыми чертами. Сван не литературный и не национальный тип, хотя и известно, что он сын еврея — биржевого маклера. Джойс же, создавая образ Блума, заведомо хотел ввести в среду ирландцев — коренных жителей Дублина кого-то, кто был бы и ирландцем, как он сам, Джойс, но в то же время и изгоем, паршивой овцой в стаде, какой был он сам, Джойс. Поэтому-то и избрал он, вполне обдуманно, тип постороннего, тип Вечного жида, изгоя. Однако позднее я покажу, что порой он слишком откровенно нагнетает и подчеркивает так называемые национальные особенности. Еще одно соображение в связи с Блумом: очень многие авторы, так обильно писавшие об «Улиссе», либо слишком наивны, либо слишком порочны. Они склонны видеть в Блуме самого обыкновенного человека. Вероятно, и Джойс хотел изобразить обыкновенного человека. Но совершенно очевидно, однако, что в половой сфере Блум если и не находится на грани безумия, то уж по крайней мере являет собой типичный клинический случай острой половой озабоченности со всеми возможными причудливыми осложнениями. Он, безусловно, абсолютно гетеросексуален — вовсе не гомосексуален, как большинство господ и дам у Пруста (homo здесь — это греческое «одинаковый», а не латинское «мужчина», как думают некоторые студенты), — но в широких рамках любви к противоположному полу Блум предается действиям и желаниям, которые определенно являются отклонением от нормы с точки зрения науки о поведении животных. Не буду утомлять вас перечислением его странных фантазий, но об одной скажу: в голове у Блума и в книге Джойса тема пола постоянно переплетается с темой отхожего места. Бог свидетель, у меня нет совершенно никаких возражений против так называемой откровенности в романах. Напротив, я думаю, что у нас ее слишком мало, да и то, что есть, стало вполне приличным, даже банальным под пером тех, кого называют грубыми писателями, — эдаких милашек из литературных клубов, баловней клубных дам. Но вот с чем я не согласен: с предположением, будто Блум — весьма обычный гражданин. Это неправда, что мысли обычного гражданина непрерывно заняты физиологией. Я не приемлю здесь мысли о непрерывности, а вовсе не омерзительности. Вся эта слишком уж патологическая чепуха кажется искусственной и необязательной в конкретном контексте книги. Советую наиболее щепетильным из вас просто полностью отрешиться от этого особого пристрастия Джойса.

«Улисс» — восхитительное сооружение, рассчитанное на долгие времена, но оно было чуть-чуть переоценено критиками того сорта, что интересуются больше идеями, общими местами и человеческими аспектами, нежели самим произведением искусства. Должен особо предостеречь от того, чтобы видеть в скучных скитаниях и ничтожных приключениях Леопольда Блума летним днем в Дублине точную пародию на «Одиссею», где рекламный агент Блум исполняет роль Одиссея, или Улисса, человека весьма хитроумного, а виновная в нарушении супружеской верности жена Блума представляет целомудренную Пенелопу, в то время как Стивену Дедалу предназначена роль Телемака. Что очень неопределенное и очень смутное эхо гомеровской темы скитаний слышно в образе Блума, это бесспорно, на это указывает и название романа; и в книге множество классических аллюзий, равно как и разных иных аллюзий, встречающихся по ходу дела, но было бы пустой тратой времени искать прямых параллелей в каждом персонаже и в каждой сцене. Нет ничего унылей, чем пространная и назойливая аллегория, основанная на сильно истертом мифе — вот почему после того, как произведение было опубликовано частями, Джойс немедленно снял псевдогомеровские названия глав, увидев, на что готовы ученые и псевдоученые зануды. И еще. Один такой зануда, человек по имени Стюарт Гилберт, введенный в заблуждение шуточным списком, составлен-

* Перевод выполнен по изданию: Vladimir Nabokov. Lectures on Literature. A Harvest/HBJ Book, 1982.

ным самим Джойсом, обнаружил в каждой главе преобладание одного какого-нибудь органа — уха, глаза, живота и т. д. Мы не будем обращать внимания и на этот скучный вздор. Всякое искусство по-своему символично, но мы хватаем за руку — «Попался!» — критика, который преднамеренно превращает утонченный авторский символ в избитую аллегорию доктринера, тысячу и одну ночь — в сборище идолопоклонников.

Какова же тогда главная тема книги? Это очень просто.

1. Безнадежное прошлое. Очень давно умер в младенческом возрасте сын Блума, но память об этом жива в его крови и мыслях.

2. Нелепое и трагическое настоящее. Блум все еще любит свою жену Молли, но отдается на волю Судьбы. Он знает, что в 4 часа 30 минут того дня в середине июня Бойлан, разбитной импресарио Молли, ее концертный агент, навестит ее, — и Блум ничего не предпринимает, дабы предотвратить свидание. Он очень тщательно старается не оказаться на пути у Судьбы, но вместе с тем весь день только и делает, что встречается с Бойланом.

3. Жалкое будущее. Блум постоянно встречается еще с одним молодым человеком — Стивеном Дедалом. Мало-помалу он начинает думать, что это, быть может, тоже перст Судьбы. Если уж у его жены должны быть любовники, то чувствительный, артистичный Стивен — более подходящая для этого фигура, чем пошляк Бойлан. В самом деле, Стивен мог бы давать Молли уроки, помог бы ей с ее итальянским произношением, что профессионально важно для нее как для певицы, короче говоря, он мог бы оказывать на нее облагораживающее влияние, трогательно думает Блум.

Словом, главная тема романа: Блум и Судьба.

Каждая глава написана в определенном стиле, вернее, в каждой преобладает определенный стиль. Никаких особых причин для того, чтобы в одной главе повествование велось просто, без затей, в другой — при помощи журчащего потока сознания, в третьей — сквозь призму пародии, нет. Никаких особых причин нет, но очевидно, что постоянный сдвиг точки зрения делает знание более разнообразным, неожиданные, яркие вспышки его возникают то тут, то там в романе. Если вы когда-нибудь пытались наклониться так, чтобы перевернутая голова ваша оказалась между колен лицом назад, вы увидели мир в совершенно ином свете. Попробуйте принять такую позу на берегу моря: очень забавно наблюдать за тем, как люди ходят, если вы смотрите на них вверх ногами. Кажется, что при каждом шаге они как бы отдирают ноги, приклеенные к земле гравитацией, не теряя, однако, достоинства. Так вот этот трюк с переменой угла и точки зрения можно сравнить с новой литературной техникой Джойса, с тем новым поворотом, из-за которого трава видится более зеленой, а мир более новым.

В тот день в Дублине персонажи постоянно сталкиваются в своих скитаниях. Джойс никогда не теряет контроля над ними. В самом деле, они приходят и уходят, встречаются и расстаются, встречаются снова как живые части тщательно составленной композиции, движущиеся в своего рода медленном танце судьбы. Повторение многих тем — одна из наиболее поразительных особенностей книги. Темы эти гораздо более определенно очерчены и гораздо более осознанно проводятся, чем это можно наблюдать у Толстого или Кафки. «Улисс» в целом, как мы постепенно убедимся, — это продуманный узор из повторяющихся тем и совпадения незначительных событий.

Джойс использует три основных стиля:

1. Подлинный Джойс: прямой, ясный, логичный и неторопливый.

2. Незавершенная, поспешная, рваная речь, представляющая собой так называемый поток сознания, а лучше бы сказать камешки, проложенные для перехода через поток сознания. Образчики можно обнаружить в большинстве глав, хотя обычно прием используется только для характеристики главных действующих лиц. Эту особенность стиля мы будем обсуждать подробнее в связи с самым знаменитым примером — финальным монологом Молли ...а здесь сделаем лишь одно замечание— при использовании такого приема преувеличивается словесная сторона мышления. Человек не всегда мыслит словами, он мыслит и образами, в то время как техника потока сознания предполагает лишь течение слов, которые могут быть записаны. Трудно, однако, поверить, что Блум беспрерывно разговаривает сам с собой.

3. Пародирование всевозможных неромантных форм: газетных заголовков... музыкальных форм... драматических мистерий и фарсов... экзаменационной модели «вопрос— ответ»... А также пародирование стилей, свойственных литературным направлениям и отдельным авторам...

В любой момент, сменив стиль или даже в рамках одного и того же стиля, Джойс умеет усилить настроение, введя музыкальную лирическую мелодию с помощью аллитерации и ритмических языковых средств. Пользуется он этим приемом главным образом для выражения чувств грустных, тоскливых. Поэтический стиль ассоциируется чаще со Стивеном Дедалом, но, случается, характеризует и Блума, например, когда тот избавляется от конверта, в котором было письмо Марты Клиффорд. Или несколькими фразами выше — конец видения огромного потока пролитого пива...

Каждую минуту, однако, от Джойса можно ожидать любого словесного трюка — каламбура, перестановки слов, словесных перекличек, чудовищных соединений слов или звукоподражания. Это, равно как и перегруженность частными ссылками, аллюзиями и иностранными выражениями, производит порой впечатление излишней смутности, когда подробности не выписаны с достаточной четкостью, лишь намечены, и доступны только посвященным...

Перевод с английского И. ДОРОНИНОЙ

Читальный зал

Книги, о которых говорят

МАЯТНИК ФУКО— И МАЯТНИК ЭКО...

Вступление, составление и перевод с итальянского **Е. КОСТЮКОВИЧ**

В октябре 1988 года вышел в свет «Маятник Фуко» — второй роман итальянского историка литературы, культуролога и семиотика Умберто Эко. Первый, «Имя розы»[1], во многих странах признан самой популярной книгой десятилетия и переведен на двадцать девять языков. За восемь лет, прошедшие со дня публикации «Имени розы», об этом произведении уже защищены диссертации, написаны монографии, выпущены сборники статей. Неудивительно, что когда в январе 1988 года пресса объявила итальянскому читателю, что Эко готовит новый роман, публика стала ждать его с нетерпением. Эко и его издатели вели себя интригующе. Время от времени в прессе появлялись репортажи журналистов, ухитрившихся (чудом? или с согласия заинтересованных лиц?) прорваться к секретной информации. Наконец, в день открытия прошлогодней Франкфуртской книжной ярмарки витрины всех книжных магазинов Италии оказались ярко-синими: их заполнил колоссальный тираж «Маятника Фуко». За два месяца «Маятник» перекрыл цифры реализации всех остальных книг 1988 года.

Роман очень отличается от предыдущего, выдержанного в духе своего рода интеллектуальной игры со средневековым материалом. Действие «Маятника» происходит в наши дни, и фабула романа не детективная, а скорее близка к тому, что называется «триллер»... Ночью 23 июня 1984 года, то есть в ночь Св. Иоанна, главный герой прячется в парижском музее — бывшей церкви. Он должен подкараулить незнакомых, но грозных врагов. Это завязка книги. В финале — только в финале — раскрывается, что же он увидел. Герой оказался на настоящем бесовском шабаше с кровавыми и страшными жертвоприношениями. И оказался не только свидетелем, но, к сожалению, и жертвой.

Однако устроители радения — не нечистая сила. Они — порождение нашего мира, только выделяются среди нас особым направлением ума: верят в существование тайного центра управления историей, во всемирный заговор, в зловещий тайный План, которым определяется ход вещей. Попав под гипноз собственных измышлений, они предполагают, что в мире нет случайностей и что всякая деталь и всякий факт истории символичны по отношению к Заговору. Эти люди занимаются дешифровкой истории и современности и сами подпадают под власть созданного ими мрачного мира.

Хуже всего, что под властью того же гипноза оказываются люди совершенно иного склада, которые должны были бы, в сущности, противостоять тем. Это три редактора знаменитого миланского издательства, просвещенные, ироничные, интеллектуальные. Из чисто исследовательского интереса они берутся изучать оккультизм.

Мимоходом Эко в динамичной, занимательной форме сообщает читателю множество подлинных и легендарных исторических сведений: любители познавательного жанра найдут в таком чтении немалое удовольствие.

Из истории рыцарского ордена тамплиеров герои узнают, что каждые сто двадцать лет должно происходить собрание глав ордена. Место и время собрания — это тайна, а ключ к тайне утрачен в глубине веков. Однако герои настолько сообразительны, что разгадывают шараду истории и устанавливают, где и когда должна быть назначена встреча. Но парадокс в том, что те, кто действительно приходит, приез-

[1] Журнальный вариант романа в переводе Е. Костюкович опубликован в «ИЛ», 1988, № 8 — 10. *(Прим. ред.)*

жает и прилетает ночью в бывшую церковь, узнали о месте встречи не от кого иного, как от тех же самодеятельных следопытов!

Дальше — самое страшное. Адепты тайного знания в действительности никаким тайным знанием не владеют. Но они одержимы мыслью, что это знание существует и что им владеет кто-то другой. Поэтому они хватают героев-наблюдателей, чтобы выведать у них хоть что-то о самих себе...

Круг мотивов этого романа крайне важен в современном мире. Одержимость скрытыми смыслами — то же самое, что поиск абсолютной истины. На этом держится идеологическая, психологическая, нравственная нетерпимость. В этом корень насилия.

Как и в предыдущей книге, Эко снова посылает читателю важное идейное сообщение, прикрыв его оболочкой сюжетной занимательности. Практика показала, что первый роман Эко сумел привлечь к себе читающую публику разного типа: и любителей детектива, и интеллектуалов. Того же можно ждать и от «Маятника Фуко». Сейчас многие читатели увлекаются футурологией, Нострадамусом, мистицизмом, переосмысляют традиционные представления о возможностях человека. Эко дает пищу их уму и в то же время показывает, что факты можно сближать и переосмыслять самыми разными способами. Из этой книги видно, до чего опасны безответственные игры и как нечувствителен переход от жонглирования словами к настоящей крови. Особенно когда начинает действовать толпа...

При той гигантской рекламной кампании, которую развернули автор и издательство, при том невероятном успехе, которым пользовался предыдущий роман, разумеется, нельзя было ожидать от итальянских критиков, чтобы они покорно расхвалили новую вещь мэтра, к тому же столь необычную по мысли и по стилю. Обмануты все ожидания тех, кто воображает, будто знает, как пишет Умберто Эко. Разумеется, надо было предвидеть бурную реакцию. Но чтобы такую...

Одни критики вцепились в роман, как стая голодных псов. Другие не менее яростно кинулись его защищать. По фрагментарным отзывам, приводимым ниже, наверное, можно себе представить накал бушующих в итальянской прессе — по сей день — страстей. Становится видно и другое: очень мало кому, среди летающих в воздухе пуха и перьев, удалось остановиться и задуматься о настоящем «послании» этой умной и, судя по всему, удавшейся книги. Но внимание к ней огромно — что и требовалось доказать.

Известный историк итальянской литературы, профессор Римского университета **Альберто Азор Роза,** пишет доброжелательно. Его отзыв почти академичен, свободен от групповых амбиций: «Прежде всего хочу сказать, что по сравнению с «Именем розы» здесь притязания автора возросли необыкновенно. Конечно, странное утверждение — при том огромном успехе, который имел роман «Имя розы». Но я не сомневаюсь, что «Маятник Фуко» для самого автора гораздо важнее, гораздо ближе к его представлению об идеальном произведении. И, естественно, сейчас он гораздо больше рискует...

«Имя розы» блистательно демонстрировало аксиому: о чем нельзя теоретизировать, о том следует рассказывать. Я многократно утверждал, что эта книга создавалась для развлечения, в том веселом и совершенно спонтанном разгуле писательского аппетита, который, как хорошо известно, составляет одну из главных черт характера Эко. Новая книга писателя представляет собой шаг назад — и два шага вперед. «Имя розы» — роман действия (детектив) с частыми «набегами» в сферы мысли. В «Маятнике Фуко» действие (я имею в виду открытое действие персонажей) сведено к минимуму, а господствует надо всем диалог, диспут (в средневековом понимании). Содержание этой книги прежде всего — мысль. Цель прежде всего — представить систему мира, задуманную и выполненную на компьютере.

Компьютер — вот кто главный герой этой книги... Благодаря компьютеру создается иллюзорное ощущение невероятной власти над огромным материалом. Так возникает новый тип повествования, ставящий под сомнение традиционный тип, с его монолитностью и однолинейностью».

«Репубблика», 4.10.88

Альберто Арбазино — видный современный итальянский прозаик. Его статья названа симптоматично: «Маэстро радует своих завистников».

«Теперь, когда вымерли великие писатели века, мы живем так же, как живут художники после Матисса и Пикассо, музыканты после Шёнберга и Стравинского... Между ними и нами колоссальный разрыв в уровне. Поколение, пришедшее после, просто отказывается заниматься искусством — любым искусством, будь то балет, футбол, кино... При нашей системе образования, где сотни роботов обучают тысячи зомби, занятия литературой, которые раньше считались творчеством, превратились в перелистывание поваренной книги. В этой книге собраны сотни рецептов — способы стряпания суррогатов поэзии, суррогатов прозы, суррогатов эроса, суррогатов юмора... Эко сознает реальность страшного провала в культуре, соотносимого с французской или с китайской революциями...

И он обращается к выпускникам университетов, которые все стараются и никак не могут переспорить друг друга, подсыпает тут немножко латыни, там немножко философии... Эко придумал конструкцию, заворажи вающую профанов... Все остальное — дело техники».

«Венерди ди Репубблика», 30.12.88

Карло Бо, авторитетный литературный критик, специалист по современной прозе:

«Наверное, ошибок Эко не совершит никогда... Хотя бы потому, что изобретенный им род литературы рассчитан на определенный ритм, на принцип немедленного ответа. Отсюда — энтузиазм читателей, охотно идущих на его игру по заранее оговоренным правилам. Эко никогда не ввязывается в азартные игры. Он точно знает, что хочет получить...

Эко не собирается открывать никаких истин. Его интересует только идея секретного послания, а вовсе не его содержание. Отсюда страсть к интриге, к непредвиденным и захватывающим поворотам, к театральному механизму действия, цель которого — вовлечь в поле внимания как можно больше персонажей, ситуаций, загадок... В общем, этот феномен (то есть и феномен Эко, и феномен публики) состоит в заполнении некоего искусственного пространства. Это не слишком-то много общего имеет с литературой... Автор приговорил и похоронил нас, читателей былых времен, для которых самое важное значение имеет не игра рассудка, а память сердца».

«Коррьере делла сера», 21.10.88

Джулиано Манакорда, другой крупный специалист по современной итальянской литературе, с энтузиазмом поддержал первый роман Умберто Эко и с яростью громит второй в статье «Читатель в универсаме»:

«Под видом исторического романа Эко великодушно швыряет на прилавок любые проблемы сегодняшней действительности. И это его великодушие кажется подозрительным... Да нет, что там подозревать: речь идет уже не о произведении литературы, а о предмете потребления. Мы в универсаме, где выложено все что угодно: молодежный протест шестьдесят восьмого года, ложа П-2, любовь, рационализм, мистицизм, вера в историю, неверие в историю, игра, трагедия...

Идеологическое содержание книги предельно двусмысленно. Речь идет о том, что утверждение и отрицание — по сути дела, одно и то же. Только в самом конце нас ждет несколько фраз, заменяющих вывод. И вывод этот: спасение лишь в безучастном отношении к истории, в бездействии».

«Темпо», 27.11.88

Фердинандо Адорнато, литературовед, построил свой материал в форме комментированного интервью «Мой план. Интервью с Умберто Эко в Париже, в местах, описанных в романе»:

Эко: Есть болезнь, овладевшая и культурой и политикой нашего времени. Я написал «Маятник», чтобы выявить эту болезнь. От нее страдает все богословие, политика, психология. Имя ее — Синдром подозрительности. Методология ее — «копание глубже». Предполагается, что за каждым явлением таится еще одно, более сложное, а за тем — еще одно и так далее...

Я восстаю против того, чтобы Заговором объясняли смысл истории и жизни, а не против той идеи, что заговоры существуют.

Вопрос: Но, борясь против синдрома подозрительности, не придется ли вам бороться против себя? Семиология, которая учит проникать под поверхность знаков, подозревать, что между вещами существуют тайные связи,— не способствует ли она развитию синдрома подозрительности?

Эко: Безусловно, всякое знание базируется на первоначальном подозрении. Подозревать — правильно. Но следует различать подозрительность болезненную и подозрительность здоровую. Ученым может называться тот, кто, идя от знаков, для других несущественных, подозревает, что в центре Вселенной находится не Земля... Потом он обнародует свое подозрение и старается мотивировать его. А потом переходит к следующему подозрению.

Таким образом, здоровое подозрение — то, которое: а) не слишком долговечно; б) обнародовано. А болезненная подозрительность составляет бесконечную цепочку предположений, недоказуемых и секретных. Семиология же — наука, дающая возможность осознать разницу между двумя видами подозрительности.

Синдром подозрительности — не поиск скрытого смысла вещей, а неограниченное смещение смыслов. Если кому-нибудь придет в голову, что тот факт, что мы оба бородаты, как-то связывает нас с судьей Де Сика — вот это пример болезненной подозрительности.

Я рассказал историю наваждения, чтобы осудить наваждение. Однако не исключаю, что история наваждения сама по себе может превратиться в наваждение. Но тогда, значит, не надо было писать Библию, ибо всегда может найтись кто-то, кто самоотождествится с Каином, а не с Авелем. Какой-нибудь террорист, прочитав «Левиафана», пойдет кидать бомбы. Что же, делать вывод, что виноват Гоббс?

Я безумно боюсь фанатизма и, следовательно, безумной космичности мира. Я безумно боюсь насилия...

Раньше я сказал, что синдром подозрительности — болезнь нашей эпохи. Это не совсем так. Сейчас эпидемия очень распространилась, на самом же деле этот вирус присущ истории человечества вообще.

От корр.: Мне представляется, что Эко обвиняет своей книгой фашизм. Фашизм вечный, вневременной, независимый от конкретной политической реальности».

«Эспрессо», 9.10.88

Жак Ле Гофф, французский историк, в статье «Дьявол? Это Эко» утверждает:

«Это очень сильная игра временем и пространством... Умберто Эко всегда умел создавать интригующую обстановку...

Этот роман — тоже игра, которая может плохо кончиться, игра, превращающаяся в западню, план, уничтожающий собственных создателей. Именно здесь находит выход прирожденная страсть Эко к неоднозначности... и его поразительное чувство юмора.

Я отложил роман, кончив читать, в таком счастливом, потрясенном состоянии, что сразу не мог упорядочить свои ощущения.

Но Эко — великий мастер структуры. И оглавление романа, прочитанное как связный текст, многое мне объяснило».

«Эспрессо», 9.10.88

Пьер Альдо Роматти, обозреватель газеты «Репубблика», признает:

«Должен сразу заявить, что книга мне ужасно понравилась. И очень понравилось, что одна из стержневых метафор романа — к о л е б а н и я. Колебания мира и человеческой души... Эко не смог бы изложить идею этой книги в философской статье. Она может быть только рассказана. Потому что только художественное повествование позволяет передать взлеты и падения, уходы и возвращения, пустоту и переполненность... Никто не может гарантировать заранее, что эта игра удастся. Но залог удачи — честность, умение не закрывать глаза и на собственные колебания...»

«Репубблика», 9.11.88

Весьма негативное мнение о книге сложилось в папской курии. Печатный орган Ватикана «Оссерваторе романо» назвал книгу Эко «многословным наказанием». Через два дня газета «Стампа сера» обвинила ватиканскую газету в неуважении к личности. Главный редактор газеты «Оссерваторе романо», **Марио Агнес,** принес Эко формальные извинения, однако позволил себе несколько задержаться на толковании понятия «неуважение»: «По-моему, самое вызывающее безбожие в яркой обертке массовой культуры — это и есть подлинное неуважение, и не к одной личности, а ко всему христианству».

Самая злая рецензия, написанная на этот роман, принадлежит перу **Пьетро Читати** [1], критика и прозаика, весьма авторитетного в итальянском литературном мире:

«Что я всегда обожал в Эко — это шутовство. А что я называю шутовством? Комплекс вещей. Витальность, вульгарность, хитрость. Абсолютное отсутствие идей. Способность смеяться перед зеркалом, глядя на собственное гротескное отражение. Отсутствие какой бы то ни было веры. Боязнь пустоты. Способность заглатывать и усваивать все что угодно. Полную поверхностность. Умение и страсть деформировать вещи мира. Сумасшедшее желание присвоить все — книги, анекдоты, картины, цитаты — и все запихнуть в свой персональный компьютер...

Ныне Эко предстал перед нами как шут сакрального мира. Он последний из неисчислимого племени мистагогов, иерофантов, мистификаторов, шарлатанов — от Аполлония Тианского до графа Сен-Жермена... Общение с нечистой силой пошло очень на пользу рационалисту Эко. От нечистой силы книга получила почти все разумное, что в ней есть. А есть в ней чудные афоризмы. Некоторые, помимо остроумия, отличаются еще и дивной музыкальностью.

Весьма остроумна и центральная идея романа. Обыкновенная накладная из прачечной переосмысляется как тайный план мироустройства. Этот липовый план воплощается в жизнь и порождает смерть. Кто же виноват?

Хочу понять: стоило ли писать эту книгу? Борхес, Чоран, Кальвино высоко оценили бы сотню изысканных афоризмов, рассыпанных в тексте: о Бытии и его отрицании, об оккультизме, о поверхностности, о лжи, о взаимосвязях, об истории. И эта сотня кратчайших фраз, перекрещиваясь и противореча друг другу, составила б легчайшую воздушную конструкцию, многоцветное пышное облако, способное навеки влиться в мир наших мыслей. Но Эко не Кальвино, не Чоран, не Борхес. Он всего только Умберто Эко».

«Репубблика», 21.10.88

Статью известного английского писателя и литературного критика **Энтони Берджеса,** не впервые уже пишущего об Эко, можно воспринимать как ответ на замечания многих, высказавшихся о «Маятнике Фуко»:

«Эта книга стала суровой проверкой ума итальянских критиков... Дело в том, что в ней изменено традиционное пространство повествования и читатель введен в центр сферы бесконечных аллюзий. Вообще-то аллюзия происходит от «alludere» — шутить, играть. Значит, надо войти в очередную игру...

Здесь не та эрудиция для эрудиции, которую мы часто находим у Набокова и Борхеса. Тут эрудиция целиком подчинена игровой цели. Англо-американская пуританская традиция навязывает читателю чувство вины и греха... Поэтому многим кажется, что основная обязанность литературы — морализирование. С этой точки зрения, если литература не содержит дидактики, она содержит чуть ли не порнографию... А играть нам когда же? Не говоря уж о том, что игра Эко довольно-таки серьезна».

«Коррьере делла сера», 21.11.88

◆

[1] Беседу с П. Читати в редакции «ИЛ» см.: «ИЛ», 1988, № 4.

Резонанс

Предлагаем вниманию читателей часть лекции, с которой выступил в конце минувшего года в Чикагском университете известный английский советолог и китаист, член британского парламента Дж. Уолден. Вторая часть его выступления, посвященная проблемам образования и культуры, была опубликована в «Литературной газете» (№ 12, 22 марта 1989 года). Прокомментировать лекцию мы попросили одного из ведущих советских публицистов А. Нуйкина. Однако тема разговора — перспективы взаимоотношений Востока и Запада, наше общее будущее — настолько важна, что мы рассчитываем продолжить полемику с помощью ваших писем.

ДЖОРДЖ УОЛДЕН

МИРНОЕ СОЗАБЫТЬЕ, ИЛИ ИНОЙ СПОСОБ КАНУТЬ В ЛЕТУ

Со школьных лет я пытаюсь опровергнуть нравоучение французского писателя XVII века Буало, приводящее меня в бешенство: «Ce qui se conçoit clairement s'enonce aisément» («Все, что легко понять, легко и выразить»).

Я смотрю на название моей лекции и, увы, боюсь, что мне и сегодня не опровергнуть Буало. Когда придумываешь название еще до того, как лекция написана, то ближе к концу оно, бывает, самого озадачивает.

Итак, тема нашего разговора весьма обширна. Надеюсь, это позволит мне коснуться двух вопросов. С одной стороны — духовного крушения Востока, где распадается самая идея коммунизма. С другой стороны — духовной шаткости Запада, где система образования предлагает людям крайне сомнительные ценности. Востоку и Западу уже не грозит столкнуться лбами, но и нет надежды, что они различными путями придут к одному и тому же, как это представлялось нам в шестидесятые и семидесятые годы. Вместо этого перед нами открылась иная и тревожная перспектива: перспектива нашей полной победы. Каковы же будут последствия?

Четверть века назад, когда я учился в Москве в аспирантуре, я услышал популярный анекдот. Слушатель обращается к армянскому радио: «Ваше радио сообщает, что Запад висит на краю пропасти. Вы также говорите, что Советский Союз намерен обогнать Запад. Так позвольте узнать...»

В данный момент Горбачеву все еще слишком далеко до нашей пропасти, и он может пока не задумываться об ответе. Но он явно намерен двигаться в нашу сторону. Мы-то здесь, на Западе, висим над пропастью не первый день. Мы привыкли к этому. И теперь, затаив дыхание, ждем Горбачева. Он идет не один: с ним Китай и вся Восточная Европа. Полтора миллиарда человек пробиваются к нам по выжженным пустыням коммунизма. Согласитесь, для висящих над пропастью это завораживающее зрелище.

Да, мы звали их с собой. Но не в таком количестве. И не так скоро. Пускай бы уж в западный лагерь входили перебежчики — в затылок друг другу, стройной колонной. Мы обыщем их: не прихватили ли оружия,— обрядим в новое платье и тщательно разберемся, что привело их сюда. Однако перебежчиков столько, что это походит на вторжение. Как-то тревожно делается. Внезапный прилив новообращенных всегда заставляет задуматься: верен ли твой собственный путь?

Заглянуть им в глаза, понять, чего они хотят, невозможно. В налитых кровью глазах лишь оголтелое стремление к цели. И мы спрашиваем себя: что движет ими? Быть может, они идут спасти нас, оттащить от пропасти? Или грузно ступить на осыпающийся край, чтобы мы потихоньку, по одному, попадали в бездну? Или, сорвавшись в пропасть, потянуть нас за собой? Хрущев угрожал похоронить нас, но отнюдь не под телами новобранцев, ставших под наши знамена.

Эта серия лекций идет под общим заголовком «Упадок Запада». Но упадку сопутствует множество опьяняющих побед. Мы победили абсолютно во всех сферах человеческой деятельности: в экономике, науке, военной технике, культуре — мы победили повсеместно, тихо и — так уж сложилось — без особых усилий. Однако очень уж приглушенно возвещает о победе трубный глас.

Отчего мы не ликуем, не толпимся на улицах, не пируем за праздничным столом?

Что скажем мы женам и матерям, что скажем мы любимым, когда внезапно вернемся с поля идеологической брани без единой царапины? Скажем: противник сдался, поднял лапки кверху посреди боя? Но мы столько твердили о фанатизме нашего противника, что нам попросту не поверят. И придется искать причины поубедительней.

И все же ощущение такое, что противник и в самом деле сдался без боя. Они теперь делают все, чего мы хотели от них. Мы твердили: «Коллективистская экономика не сработает. Нужен свободный рынок». Не прошло и семидесяти лет, как они почти согласились. В их отечестве были и свои пророки, но к ним никто не прислушался. Николай Бердяев еще в двадцатые годы в «Философии неравенства» говорил: беда социализма в том, что он боготворит пролетариат, но не уважает труд. А год назад Горбачев сам признался своим соотечественникам: беда социалистической экономики в том, что одни делают вид, будто работают, а другие — будто платят за эту работу.

Мы предупреждали их, что человеческая личность при социализме обесценивается. Лишь в отдельных редких случаях, отвечал вначале Горбачев. Лишь несколько тысяч отдельных случаев, да и то — ошибочных. Ныне там погибшие души считают на миллионы, считают дотошно, по-канцелярски. Людской урон выявляется постепенно, не вдруг — словно неохотное признание правительством дефицита государственного бюджета. И подсчет продолжается.

Для выживших жизнь в России — или в Китае,— вероятно, улучшится. И мы за них очень рады. Но наша-то жизнь уже не будет прежней. Уже не согреет наши сердца жалость. Уже не утешимся мы праведным гневом. И уйдет в небытие радость состязания — это одна из главных грядущих потерь. А с кем теперь состязаться? Рассеется дымка раздоров, и мы сможем яснее разглядеть самих себя. И покажемся себе куда менее привлекательными, чем рассчитывали. Круто меняя курс, коммунисты затуманивают зеркало, где прежде отражались лишь наши добродетели. Как теперь, лишившись антипода, разберемся мы в том, кто мы есть? И что станется с нашим самоуважением? Не имея антипода, мы не сможем возблагодарить Господа за то, что Он создал нас иными.

И если уж нам, закаленным борцам, становится не по себе от этого неожиданного поворота событий, то что говорить об отступниках, о предателях, о слабых духом, об искренне заблудших? Прежде мы уличали их в тайном сговоре с врагом. Но теперь они заслуживают не презрения, а жалости нашей. Им больше не с кем вступать в сговор. Так вот горько и внезапно закончилась долгая эпоха иллюзий. Некоторые полагают, что эта эпоха восходит ко временам Пресвитера Иоанна, легендарного восточного праведника — правителя «Трех Индий», где были в избытке мед, млеко, мир и справедливость. Со времен раннего средневековья миф о праведной земле на Востоке питает воображение многих людей. Для кого-то он жив и поныне. Но пора бы делать выводы из собственных заблуждений. В XIII веке люди поверили было, что Пресвитер Иоанн явился на землю во плоти. Но вышла ошибка — это был Чингисхан. А сегодня восточной Атлантиды и не разглядеть из-за туч пыли: ведь Восток двинулся к Западу, висящему над пропастью.

Особенно тяжелая участь выпадет западным либералам. Грэму Грину уже не удастся вызвать взрыв злобного негодования утверждением, что он предпочел бы жить в Москве, а не в Америке. Ведь русские скоро превратят советскую Атлантиду в Атланту, столицу штата Джорджия. А Бернард Шоу не смог бы, как в голодные тридцатые годы, рассказывать московской публике, что он выбросил из окна поезда припасенную тушенку, убедившись собственными глазами — в стране голода нет.

Теодору Драйзеру повезло бы больше: сегодня, как в двадцатые годы, он бы с полным основанием воскликнул: «Все города, все поселки и деревушки России подхвачены интеллектуальным и общественным порывом, исходящим от теперешних московских вождей» («Драйзер смотрит на Россию», изд-во Констейбл, 1928).

После физической расправы над книгами во времена культурной революции в Китае сегодня издается все: от Конфуция до Апдайка. Но Альберто Моравиа вряд ли вздумает переиздавать свою книгу о культурной революции, где есть такие слова: «Для меня сегодняшний Китай — воплощенная Утопия. Возможно, она воплотилась невольно, случайно, да это и не важно...» («Красный Цитатник и Великая стена», изд-во Пеликан, 1968).

На самом деле нельзя обвинять этих писателей в непорядочности. Просто мы — и я в том числе — использовали коммунистов, дабы ярче высветить наши собственные достоинства. А они использовали коммунистов как зеркало, где отражались гримасы современного им западного общества. Впрочем, сейчас важно лишь одно: почти воплощенная Утопия, которую они усмотрели у коммунистов, в сегодняшнем меню уже не значится — окончательно и бесповоротно. Ее просто нет, поэтому обеим группировкам западных «самокритиков» придется поголодать. А голод полезен для здоровья. Утописты начнут искать спасения не в идеализированном чужом мире, а в душах своих угрюмых сограждан. Тем же, кто подтверждал свою праведность чужими беззакониями, придется оборотиться на себя. Бодлер писал в своих дневниках: «Истинного, то есть духовного, прогресса нет, кроме как внутри самой личности, и достигать этого прогресса — дело самой личности». Это справедливо и для народов.

Однако полтора миллиарда новообращенных двигаются быстрее, чем мы ожидали. И прилично ли приглашать их на край пропасти? Лучше уж в дом. Прием должен быть достойным: событие-то как-никак значительное! Они ждут от нас столь многого. И заботы нам предстоят немалые. Может, безопасней устроить два разных приема: один для русских, другой для китайцев? И картинки покосившиеся надо поровней на стенках повесить: гости будут озадаче-

ны современной живописью, как некогда мы.

Мы придирчиво осмотрим книжные полки: очистим от чтива и заполним книгами, которые не обманут ожиданий гостей. Их ведь так легко смутить. И одеться придется поприличней: они большие ревнители этикета. Музыку выключим, а то еще не расслышим друг друга. Не надо будить в них тоску по степному безмолвию. Им есть что порассказать о жизни за зубчатой стеной.

Подростка-недоумка спрячем понадежнее. Не того ожидают они от добропорядочной буржуазной семьи. Подумают, чего доброго, что у нас в каждой семье по недоумку. Как у них в прошлом веке в каждой деревне по юродивому. И убогих престарелых родителей наших лучше с глаз долой. А то гости удивятся: с чего это все четверо стариков до сих пор при нас? Они привыкли к более своевременным кончинам. Что будем пить: белое вино или что-нибудь покрепче? Как бы наша «Смирноффская» не показалась им слабоватой.

Забот у нас не счесть. Успеем ли подготовиться? Но наконец все готово, и мы тревожно прислушиваемся: вот-вот постучат, уверенно и страшно. Вдруг они окажутся чересчур разборчивы, чересчур требовательны? Вправду ли мы духовно близки им, и их влечет сюда именно это? А может, наш дом попросту побогаче, да и наша открытость и раскованность им по душе? Проездом ли они? Или мы все же достойны их внимания? А может, они и не думают уезжать?

Мы уже почти жалеем, что пригласили их. Мирная жизнь действует на нервы. Мирная жизнь снетет до одури. Когда сцепляешься с врагом в смертельной схватке, ты спокоен, сосредоточен и непоколебим. Но стоит врагу сдать позиции — ты обессиленно валишься следом.

Тени долгожданного мира все длиннее во всех краях — и дальних и ближних. Похоже, установился неожиданно долгий, теплый вечер. Возникают два вопроса. Сколько он продлится? И для чего он нужен? Чтобы ответить на эти вопросы, надо разобраться: отчего полсвета выстроилось в стройную очередь на массовое крещение, причем их новая вера зловеще походит на нашу собственную. Корни раздоров всегда понятны. Но, лишь разобравшись, на чем зиждется наступивший мир, мы поймем, насколько он долговечен.

Тоталитарные режимы повернули на демократизацию по экономическим и технологическим, а отнюдь не этическим причинам. В Советском Союзе и Китае перемены вызваны не нравственным отвращением к коммунистическим методам, а их неэффективностью. Дело не в том, что система порочна, дело в том, что от нее нет проку. Редактора газеты югославской компартии недавно спросили: потерпел ли социализм поражение. «Разумеется»,— ответил он. «И чем вы его замените»? — «А чем угодно, лишь бы прок был. Называйте как хотите».

Реформой движет не любовь к свободе. Ею движет неспособность далее затыкать рты хлебом и цензурой. Диктатуре уже не выжить. Социалистические общества не в состоянии производить продукты питания и не имеют технических возможностей перекрыть поток общения. Метод грубой силы в наше время неприменим. Можно сжечь книгу, но попробуй подожги кристалл с информацией.

Мы наблюдаем сейчас победу материального начала, а не высоких идей. Шпенглер говорил, что после смерти основателей науки мы лишь подбираем колоски и зерна, оставшиеся от их жатвы. В науке, технике, в организации производства Восток подбирает колоски за Западом. Еще Александр Поп писал:

> О способе правленья спор потешен.
> Всяк способ гож, лишь был бы он
> успешен[1],

Война — тоже не выход из экономического тупика; не столько оттого, что о ней и помыслить страшно (хотя благоразумие играет не последнюю роль), сколько оттого, что бесконечные приготовления к войне, которой не будет, стали слишком дорого стоить. Кант разобрался в этом еще два столетия назад, он предвидел, сколь обременительным окажется противостояние бездействующих армий, и написал, что мир в конечном счете оказывается разорительней, чем короткая война. Современная война уж конечно была бы короткой. В этом ее единственное достоинство. А мир сегодня стоит безмерно дорого.

Мы наблюдаем сейчас не духовное возрождение наций, а обновление управленческой этики. И оттого воцарившийся мир кажется вдвойне сомнительным. Неизвестен не только исход невыразительных реформ на Востоке, неизвестны и их истоки. Если это и можно назвать победой Запада, то лишь технологической, а не моральной. Вот почему наш триумф — одновременно и наш упадок.

Предвидя этот упадок, Шпенглер предсказал появление на Западе «кочевников нового типа; они объединяются в неустойчивые и весьма маневренные союзы, это паразитирующие горожане, без корней, напрочь лишенные воображения, ни во что не верящие, смышленые, творчески бесплодные, глубоко презирающие своих соотечественников» («Упадок Запада»)[2]. Как известно, кочевники легко снимаются с насиженных мест. И ныне от Минска до Центральной Монголии вербуются новобранцы в нашу кочевую орду.

Кое-кто может возразить: мол, одно дело — русские, другое — китайцы. Различие, безусловно, существует. Оно лучше всего сформулировано в книге Клауса Менерта «Пекин и Москва». Коротко его идея такова: русские склонны к мессианству, а китайцы предельно материалистичны. Различие постепенно стирается, но пока оно еще в силе. Даже сейчас русские ищут некое божественное предписание, дабы прикрыть свои западнические пристрастия. Да и движутся они в западном направлении много медленнее китайцев — по крайней мере в экономике.

Это видно и по лозунгам. В слове «перестройка» нет столь драматического оттенка, как в его китайском эквиваленте «гайгэ».

[1] Перевод Д. Псурцева.
[2] В русском переводе — «Закат Европы».

«Перестройка» больше походит на перестановку мебели в квартире. А «гайгэ» означает коренную реформу. Аффикс «гэ» встречается и в китайском слове «гэмин» — «революция». Китайцы упразднили свои коммуны в одночасье, разом, без всякой оправдательной теории. А русские до сих пор цепляются за коллективизацию. Несчастье Горбачева в том, что его страна не отзывается на зов руководства — запала не хватает. А у китайской контрреволюции запала в избытке — отсюда и инфляция, и тактические отступления последнего периода.

Русские явно лелеют надежду выработать подновленную, усовершенствованную, годную на экспорт модель социализма. Но я подозреваю, что их мессианство куда меньше тормозит прогресс, чем их вселенская лень. Интересно, что случилось бы с Гонконгом, поселись там русские. Не вырасти там небоскребам, и не захлебываться нам в потоке гонконгского экспорта. Зато наверняка возникла бы достойнейшая эмигрантская пресса, великолепные литературные произведения и жесточайшая борьба интеллектуальных клик.

Впрочем, для русских это лишь начало. Возможно, они, в отличие от китайцев, не сразу вступят в западный хоровод. Сперва они воззрятся на нас лениво и недоуменно из-под своего таинственного покрова. Но они неизбежно сбросят этот покров и, тяжело топоча войдут в круг. Николаю Данилевскому, славянофильскому предшественнику Шпенглера, цивилизации представлялись растениями, способными расцветать и увядать. Но он позабыл, как притягательны цветы накануне увядания. О, эти густые краски и изнуряющий аромат! Они влекут и манят, поэтому все мы вскоре встретимся на краю пропасти: Данилевский и Шпенглер, Горбачев и китайские лидеры и вы, мои почтенные слушатели.

Духовный вакуум наиболее ощутим в Китае. Их коммунизм был чрезмерно насыщен моральными догмами. К тому же у них нет религиозного тыла — их душам некуда отступать. В итоге они оказались в духовной пустыне. Я недавно побывал в Китае и был поражен: никто не желает говорить о политике, теориях и учениях. Говорят только о деньгах. Культурная революция добилась того, о чем веками мечтали революционеры: она объединила студентов и служащих, крестьян и рабочих, интеллигенцию и управленцев. Их объединяет всеобщее отвращение к идеологии и... к идеалам.

Россия, где не было перелома, способного сплотить былых противников, может еще какое-то время не тронуться с места. Но моральное, духовное и экономическое крушение, выявленное эпохой гласности, не позволит застаиваться надолго. И коль скоро она тронется с места — дорога ей одна. Достигни Горбачев власти Петра Великого — если он, как я полагаю, к этому стремится,— он будет, подобно Петру, импортировать западную жизнь. И такой импорт в конце концов подорвет эту власть.

Шпенглер утверждал, что западная цивилизация превратилась в набор приемов и рычагов, что она потеряла душу. Данилевский говорил нечто сходное о России на пятьдесят лет раньше и предлагал ей вернуть душу, обратившись к исконно русским традициям. Можно ли теперь надеяться, что Россия или Китай возродят нашу больную кочевую культуру? Начало не обнадеживает.

В Китае я разговорился с издателем. Размах издательского дела в стране воистину потрясает. По-моему, исторических аналогов происходящему просто нет. На двадцать лет миллиард людей был отторгнут от собственной культуры, затем вновь получил к ней доступ, причем не только к внутренним, но и к внешним источникам. Чем это чревато? Первые итоги весьма разноречивы. Они переиздают свою классику миллионными тиражами — «Речные заводи» и «Сон в красном тереме»,— но китайской классики не так уж много, у них нет романа XIX века. Пользуется большим спросом западная классика. Но и этот рынок, видимо, уже насыщен. Книжный бум связан сейчас с массовой литературой: рассказами гунфу, китайскими боевиками и привозным чтивом из Гонконга. Кстати, в прошлом году в Кантоне женщины занялись реслингом. Так что прежним маоистским пуританством в Китае не пахнет.

А что же Россия? Говорят, в изящных искусствах виден прообраз будущего. Недавно я беседовал с русским художником, вдумчивым человеком, евреем. Он прежде писал портреты диссидентов, тех, кого долгие годы травили, отлавливали частым неводом, кому не позволяли выехать за границу. Он поделился своими предчувствиями. Художники теперь в смятении от внезапно свалившейся свободы. Представьте, вы выбираетесь из подполья в залитые светом выставочные залы. Стены увешаны произведениями ваших современников и вашими собственными работами. И вдруг вы понимаете, что диссидентство еще не есть гениальность.

Становятся вдруг доступны не только основоположники современного модернизма — Малевич, Татлин, Кандинский, Попова,— но и западные наследники этой традиции, поскольку вас стали пускать за границу. И вот наряду со скромным, цельным и все еще трогательным Малевичем вы видите распухшие, едва ли не смердящие образы Ротко в Гарварде. Вы сравниваете здоровые ростки с гниющими плодами. Для многих это горькое переживание: точно у вас отняли новорожденного ребенка, а потом дали взглянуть на него старого и одряхлевшего.

Мой художник все же надеется на лучшее — в отдаленном будущем. Но он предвидит: во-первых, расцвет искусства политического протеста; во-вторых, неразборчивое подражание западным образцам; в-третьих, упадок техники, ремесла, того, что по-русски зовется высоким словом «мастерство». Мой художник пока не начал тосковать о своем подполье, он просто трезво оценивает перспективы развития живописи в своей стране.

Весьма интересно также, что станется с русскими книгочеями? Раньше им было легче, поскольку телевизор невозможно было смотреть вовсе. Поизносилось и стойкое целомудрие русской литературы. Со

дня на день ждем появления советского эротического романа — пускай пощекочет наши бесчувственные нервы. К слову, утрата русскими культуры чтения резко сократит рынок сбыта западной классики.

О музыке и раздумывать нечего. Абсолютно очевидно, что русские не только не равнодушны к поп-музыке, но напротив — нетерпеливо жаждут ее. Кто знает, возможно, советский поп и рок откроют доселе неведомые нам тонкости жанра? На это надеются многие. К тому же чиновники от искусства во всех странах мира готовы благословить молодежный рок-Интернационал.

Совсем недавно советское посольство в Лондоне — где прежде проходили лишь унылые дипломатические трапезы — содрогнулось от децибеллов советской рок-группы. По слухам, послу понравилось. А мы, возможно, еще пожалеем об унылых трапезах. Русские уже поговаривают о советском роке как об источнике валюты. Впрочем, это и вправду источник более надежный, чем экспорт революции или пролетарского интернационализма.

Существует еще и телевидение. Говорить о нем всерьез вроде бы банально. Но нельзя отрицать силу маленького экрана, этого Великого Анархиста, и в особенности его умение постричь всех под одну культурную гребенку. Не так страшны звездные войны, как умиротворяющее забытье, которое по спутниковой связи транслируют для нас наши новые приверженцы.

В «Упадке Запада» Шпенглер писал, что порох и книгопечатанье вошли в человеческий обиход примерно одновременно. Он заметил также, что появление первых листовок совпало с первым массовым артобстрелом во время битвы при Вальми в 1792 году. Удивительно: умения нести людям смерть и нести людям печатное слово развивались почти параллельно! Шпенглер назвал их «двумя великими средствами фаустовского покорения пространства». Правоту его интуиции подтвердила бы и нынешняя параллель: одновременное появление двух других видов оружия — еще более могучих и дальнобойных — телевидения и ядерных ракет.

Вопрос о телевидении слишком обширен, обо всем поговорить не удастся. Впрочем, вывод крайне прост: когда разверзнутся небеса, Всемирный Потоп сметет и Восток, и Запад, и чистых, и нечистых. Некоторые полагают, что эта обреченность заставит народы жить в мире и братстве. Не забывайте, однако, что зрительный образ на телеэкране каждый осмысляет по-своему, то есть сам по себе этот образ смысла не несет. Чем шире и разношерстней зрительский состав, тем мельче рациональное зерно. Пусть же те, кто верует в торжество всемирного телевидения, помнят, что телевидение по сути своей провинциально. Оно безнадежно походит на анекдот. Оно не способно к обобщению. Лоскут бытия становится на телеэкране всей тканью, новой реальностью, исполняется заветная мечта провинциала — он оказывается «в центре событий».

«Телевидение нас сблизит,— возразят мне приверженцы новой эры человеческого общения.— Оно взрастит новую расу — мирных граждан планеты». А я, честно говоря, сомневаюсь. В эссе «Вещь» Мартин Хайдеггер рассуждает о последствиях развития кино в XX веке — о сжатии пространства. Он предвидел, что телевидение вовсе разрушит понятие расстояния и привнесет в нашу жизнь «единообразие упраздненного пространства, где все смешается в бессмысленной круговерти». Все утратит свою истинную ценность и, по сути, перестанет существовать. Существование продолжится лишь в упраздненном пространстве. Для кочевников телевидение — идеальное средство общения. Но пространство упраздняется, образы обессмысливаются... Пожалуй, новая эра всемирного электронного братства потихоньку теряет былую привлекательность.

Приятно заблуждаются те, кто верит в достижение вечного мира любым способом: звездными войнами, всемирным телевидением или искусными правительственными договоренностями. Крики «да-да-да» во время телемостов ничуть не лучше, чем «нет-нет-нет» за столом переговоров. И если вы верите, что молодые «ближе узнают друг друга» и тем спасут мир, вы попросту сентиментальны.

Важно на самом деле лишь одно: что случится, когда запоздалое, ограниченное и весьма сомнительное просветительство Востока столкнется с растущим невежеством Запада?..

По иронии судьбы Восток начинает медленно и на ощупь двигаться к демократии, когда сами мы уже утрачиваем память об ее корнях...

Перевод с английского ОЛЬГИ ВАРШАВЕР

АНДРЕЙ НУЙКИН

ТОГО ЛИ НАДО БОЯТЬСЯ, Г-Н УОЛДЕН?

Реплика публициста

Беда с нашей перестройкой, да и только! Но раньше-то мы хотя бы думали, что наша «беда» — внутренняя. Оказалось: всемирная. Вот и Джорджа Уолдена мы огорчили. Да и как было ему оставаться спокойным, посудите сами? Жил человек чинно, благородно, мужественно сражался на полях идеологической брани и не с каким-то пустяковым противником, а с фанатиками, готовыми на крест и в костер за идеи коммунизма. И вдруг — нате вам...

«Противник сдался, поднял лапки кверху посреди боя»!.. Ни с того ни с сего восточные «тоталитарные режимы повернули на демократию»... «Полсвета» отреклось от своей веры, легионы отступников прониклись в одночасье западной идеологией и «выстроились в стройную очередь на массовое крещение». Это уже не

очередью попахивает, а нашествием. Горбачев идет на Запад! И не один. «С ним Китай и вся Восточная Европа. Полтора миллиарда человек пробиваются к нам по выжженным пустыням коммунизма». Воистину леденящая душу картина!

Особенно огорчает г-на Уолдена то, что народы Китая и СССР «подняли кверху лапки» не ради каких-нибудь возвышенных моральных целей, не из отвращения к коммунизму, например, или из-за незамутненной грубой утилитарностью любви к свободе. Ничего похожего. Они «повернули на демократизацию по экономическим и технологическим, а отнюдь не этическим причинам»! Это обобщение, правда, вступает в некоторое противоречие с другим, согласно которому русские «явно лелеют надежду выработать подновленную, усовершенствованную, годную на экспорт модель социализма». Экспорт идей социализма — вещь явно нехорошая, но разве она — синоним «экономических и технологических» домогательств к Западу? Если уж Горбачев, подобно Петру Великому, видит выход для страны в том, чтобы «импортировать западную жизнь», то надо ли это понимать как коварную маскировку экспорта социализма?

Очень уж тут как-то экспорт с импортом перепутываются. Впрочем, действительно, наверное, трудно — не потерять голову, видя, как население двух сверхдержав, которые Запад так долго и горячо соблазнял изобилием своего стола и удобствами своего быта, столь неудержимо устремилось к этим столам, топча поверженные пограничные столбы!

Да, здорово мы подловили Запад на слове. Сам звал нас в гости — так что теперь двери баррикадировать ему неприлично. Вот и приходится скрывать растерянность и имитировать гостеприимство. Джордж Уолден опасается, как бы Запад не подвела его чрезмерная воспитанность, излишняя привычка соблюдать хорошие манеры. Обыск-то западные люди, конечно, произведут, впуская полчища азиатов в свой дом: «не прихватили ли оружия?» Потом, «обрядят» их в новое платье. Этого добра на Западе навалом, его не жалко! Беда в другом — цепочка жертв и притворств будет расти и множиться. Надо както перевесить картинки на стенах, чтобы современная живопись чрезмерно не шокировала души, вскормленные соцреализмом. Надо запасти резервуары чистого спирта, а то ведь этим гостям даже «Смирноффская» может показаться квасом. Надо стариков где-то спрятать, а то потребуют еще их умерщвлять по своим коммунистическим обычаям. Надо... Тут-то и начнется главная трагедия победителей. Изысканная, но сильно потраченная молью западная культура может не выдержать напора дикарей и растворится в массовости, пошлости, низкопробности, утопиях всемирного коммунального братства, торжестве всемирного телевидения и скуке «мирного созабытья».

Что и говорить, картина страшнее, чем «Последний день Помпеи» Карла Брюллова! Явно нам следует принести свои извинения г-ну Уолдену и его слушателям за то, что мы так напугали их. Единственно, чем мы можем, видимо, оправдаться, так своей наивностью. Нам и в голову не приходило, что даже для известных советологов и китаистов и все китайцы («предельно материалистичны», «никто не желает говорить о политике, теориях и учениях»...) и все русские («русские склонны к мессианству», «Русские явно лелеют надежду выработать подновленную, годную на экспорт модель социализма, но я подозреваю, что их мессианство куда меньше тормозит прогресс, чем их вселенская лень») — на одно лицо. Я в Китае не бывал, но не столь давно имел удовольствие беседовать с двумя представителями этой древнейшей культуры. Не могу спорить с господином Уолденом, оба они были желтолицы и узкоглазы, но... один из них без умолку говорил «о политике, теориях и учениях». Честное слово. Другой, правда, большей частью молчал, но, может быть, просто ему со мной было неинтересно говорить на эти темы? Ну, а в России я живу уже 58 лет и за столь долгий срок не встретил среди русских двух одинаковых.

Но пишу я это вовсе не для того, чтобы что-то «опровергать» в тексте лекции Д. Уолдена. Упаси бог! Как справедливо отмечает писатель Юрий Бондарев, «мы живем в плюрализме, черт возьми»,— так что у нас нынче каждый волен думать про китайцев все, что ему хочется. Цель моя — успокоить английского парламентария, снять с него страх перед быстрой, неожиданной всеобщей и окончательной победой над нами. Честное слово, зря он себя так разволновал. Все совсем не так страшно, как ему кажется, а гораздо страшнее.

Начнем с «неожиданности». Боюсь, что г-н Уолден не совсем те книжки про нас читал. Мимо него явно прошли «Котлован» Андрея Платонова, «Мы» Евгения Замятина, «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Реквием» Анны Ахматовой, «Теркин на том свете» Александра Твардовского, «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына... Да разве все такие книги перечислить! Более полувека с тоской и надеждой многие из ленивых русских и менее ленивых представителей других наших народов ждали того «бедствия», о котором с горькой иронией говорит Джордж Уолден. И они не только ждали! Они боролись за сегодняшнюю нашу перестройку, расплачиваясь за то лишениями, позором, жизнями. И не только собственными, но и (что гораздо страшнее) жизнями близких людей — родителей, любимых, детей, друзей... Им (то есть нам) пришествие перестройки вряд ли показалось «слишком быстрым». Совсем наоборот.

Кстати, о них, то есть о нас... С чего это г-н Уолден взял, что «на поле идеологической брани» победил именно он? Он-то тут при чем, никак не возьму в толк? Ему неловко возвращаться с этого «поля» к близким и любимым после потрясающе легкой и тотальной победы «без единой царапины»... Разве уже одно это не возбуждает подозрений, что бой-то вел кто-то другой и совсем не там, где был г-н Уолден? Сопоставьте: «Без единой царапины» — это про них. «Ныне там погибшие души считают

на миллионы, считают дотошно, по-канцелярски» — это про нас. Насколько же свои воображаемые одиночные царапины автор лекции ценит выше миллионов погибших у нас! Поразительно, но эти кровавые жертвы ничего, кроме иронии, у автора лекции не вызывают. «По-канцелярски...» — наверное, студенты пришли в восторг от этой ораторской «находки». Да, пытаемся сосчитать, но никак нам это не удается даже с приближением до десятка миллионов. А ведь у каждого из этих миллионов тоже были жены, матери, любимые и дети. И каждому очень хотелось к ним «вернуться».

При всем при том наибольшее недоумение в лекции у меня вызвали разговоры об одержанных кем-то полных безоговорочных и до смешного легких победах над тоталитарными восточными режимами.

Если вести речь о нашей стране, то происшедшее в ней мы действительно считаем победой. Разумеется, не полной, не безоговорочной и уж тем паче не легкой. Но Запад-то тут при чем? Это победа гуманизма, демократии, здравого смысла, честности, совести... Одержали ее, сражаясь насмерть, здоровые силы нашей страны, нашего общества, заплатив за то дорогой ценой. Нам сочувствовали и помогали, спору нет, все демократы и гуманисты мира, но не в качестве миссионеров, открывших дикарям идеи демократии, гуманизма и товарно-денежных отношений. Не в объяснениях тут дело! Повешенный не дышит вовсе не оттого, что не понимает роли кислорода в жизнедеятельности организма.

«Прошла зима, настало лето... Спасибо партии за это»,— язвительно комментировали мы в недалеком прошлом лекции профессоров-сталинистов. И вот теперь, когда наше общество в своем естественном развитии дозрело до возможности некоторого раскрепощения и утверждения некоторых элементов демократии, нам начинают объяснять, что мы должны за это благодарить долготерпеливых зарубежных профессоров, растолковавших наконец-то нам, неразумным, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Есть сведения, что идеи демократии вполне толково обсуждались за несколько столетий до рождества Христова, а идеи гуманизма родились еще ранее — вскоре после того, как обезьяны слезли с деревьев и попробовали стать людьми. Идеи рыночных, товарных отношений — тоже не новинка. Достаточно отчетливо они были осознаны еще тогда, когда вместо ассигнований в ходу были разные шкурки, перья, раковины. Почему же мы игнорировали так долго выгоды рыночных отношений? Именно потому, что это кое-кому было выгодно. И этот «кое-кто» располагал достаточной властью, чтобы облечь эту свою выгоду в тогу высоконаучных разглагольствований, подкрепив профессорское красноречие системой лагерей, тюрем, пыточных камер и густой сетью осведомителей. Их-то в основном и просвещали западные профессора с энтузиазмом относительно приятности добра, прогрессивности демократии и важности личного интереса. Думаю, «кое у кого» было достаточно оснований издеваться над этой агитацией. А остальных русских и китайцев агитировать за демократию и рынок не требовалось — за них куда как убедительно агитировали произвол властей, скудные зарплаты и пустые прилавки.

И тут вот, разделив нас на «нас» и «не нас», я хотел бы вернуться к вопросу о «лапках». Кто из этих противоборствующих сил поднял их перед лицом западного победоносного идеологического напора? Те, кто включился у нас в борьбу за перестройку, если что и подняли пока, то разве что чуть-чуть уровень гласности и чувство достоинства в народе. Никто из них, как мне кажется, идти к г-ну Уолдену в гости колоннами с поднятыми руками не собирается. Сами уж пусть в своих «добропорядочных буржуазных семьях» подсчитывают своих «недоумков» и «зажившихся» стариков. У нас собственных забот и тревог невпроворот. Каждая честная пара рук — на вес золота.

Может быть, Джордж Уолден считает в таком случае, что «лапки» перед ним подняли противники перестройки (именно они являлись и являются оплотом тоталитарных режимов, только они давным-давно уже не фанатики, а циники): бюрократы, коррумпированные управленцы, мафиози, казнокрады, сталинисты, заправилы военно-промышленного комплекса и иже с ними? Хорошо бы, если бы так произошло. Только как это понять: борьбу с ними ведем мы, а «лапки» они начали поднимать перед г-ном Уолденом? Наши бюрократы и мафиози и перед нами-то пока не очень склонны складывать оружие, тут еще вся борьба впереди. Да и чего им делать на Западе? Им и у себя дома не худо живется. А в тех условиях с их акулами нашим захребетникам состязания не выдержать, они это прекрасно знают. Так что «лапками» своими они пока что намертво вцепились в рычаги и штурвалы управления нашим обществом, поднимать их им не с руки, насмерть они будут сражаться с народом, и не так уж пока ясно, кто и как скоро в этих сражениях одержит победу.

Известно, что в наше время со спутников можно переписать в любой из стран все номера автомашин. С какой же далекой от Земли планеты наблюдает за нашей жизнью коллега Уолден? Ведь, если вдуматься в текст его лекции, не только мы, русские и китайцы, со всеми нашими радостями и бедами ему безразличны. Ему, похоже, и будущее собственной страны, будущее тех самых «жен, матерей и любимых», о которых он с патетикой упоминает, ни капельки не волнует. В наши азиатские и фанатические руки он их будущее передает, умывая свои. Так получается.

Нет, я не мессианством начинаю заниматься, хотя я вполне русский человек и, согласно изложенной в лекции теории, должен круглосуточно заниматься именно этим. Вынужден разочаровать лектора: перестройку свою мы начали как последние эгоисты — совершенно забыв о возможных переживаниях западных профессоров по этому поводу. Просто нам захотелось пожить получше, чем жили: сытнее, благоустроеннее, честнее, дружнее, защищеннее от произвола властей. Мы и дальше, бо-

юсь, будем в первую очередь о своих нуждах заботиться. В связи с чем и западных наших доброжелателей хочется призвать: не надо нас жалеть, не надо о нас заботиться, не надо нам «помогать»! О себе позаботьтесь, себе помогите, себя пожалейте, если у вас получится.

В том-то и заключена трагическая для Запада ирония истории, что у него может сейчас получиться только в одном случае — если у нас получится.

Мы, конечно, с поля нашей «идеологической брани» не уйдем ни при каких обстоятельствах. Что сможем — сделаем и для всеобщего спасения, ну, а если сил у нас не хватит, если демократия и здравый смысл еще раз потерпят поражения в СССР и Китае, пусть на нас не сетуют. В этом случае, боюсь, впадать в хандру из-за излишней легкости викторий всему миру станет недосуг. Скуку со всех лекторов жизнь как рукой снимет достаточно скоро.

«Если ваша перестройка не удастся, мир может погибнуть»,— признался два года назад во время визита в Москву один искушенный в политике итальянский деятель.

Уж не простая ли дипломатическая галантность скрывается за этим неожиданным признанием? Не думаю.

Писатель Алесь Адамович как-то высказал по телевидению мысль, которую я полностью разделяю: «Если перестройка сорвется, СССР превратится в слаборазвитую страну — голодную, злую, утыканную ракетами с термоядерными боеголовками». Дело в том, что добровольно наш народ от идей перестройки уже не откажется, одолеть ее теперь можно только при помощи террора, опирающегося на военную диктатуру. Военные ни хлеба, ни мяса стране не прибавят, на методы рыночных отношений экономику не переведут. Что же станет основой их политики? Известно что — «закручивание гаек» внутри и поиски врагов извне. К чему это может привести мир, никому из студентов Чикагского университета, наверное, объяснять нет необходимости.

Однако положение еще более трагично. Скорее всего, для гибели цивилизации в случае провала перестройки даже на красные кнопки военным нажимать не потребуется. Нельзя, смертельно опасно для всех, чтобы страна, обладающая бесчисленным количеством промышленных гигантов, военно-промышленных производств, реакторов, ТЭЦ, ГЭС и т. д., оставалась на нашем нынешнем уровне производственной. научной, нравственной, технической и технологической культуры.

В Чернобыле в атмосферу вырвалась ничтожная доля смертельного материала одного только энергоблока. А если бы пожарники ценой своей жизни не предотвратили распространения катастрофы на весь чернобыльский комплекс? Информированные люди утверждают, что даже Англия на несколько столетий стала бы в результате необитаемой.

Но и это еще чересчур романтический вариант апокалипсиса. Есть куда более прозаические и неотвратимые. Джордж Уолден, видимо, весьма позабавил студентов, рассказав им анекдот про то, как мы, с одной стороны, доказываем, будто капитализм приближается к пропасти, а с другой — воодушевляем своих трудящихся призывами обогнать капитализм. Что тут скажешь? За добрых 30 лет своей жизни этот анекдот ничуть не утратил своей свежести. Но жизнь, к сожалению, обогатила его дополнительными мрачными подтекстами. И, памятуя про них, наверное, не стоило в ходе недолгой беседы десять раз (!) игриво вспоминать про ту пропасть. Игривость эта может быть объяснена только одним — убеждением, что не так уж плоха, стало быть, «пропасть», если наконец-то, похоже, сообразившие что к чему русские и китайцы очертя голову к ней рвутся! К тому же, чтобы «столкнуть», надо «догнать», а с этим у нас что-то пока не получается!

Не хочется говорить тривиальности, но приходится. И пропасть ужасна, и чтобы столкнуть в нее, давно уже не обязательно догнать. Даже к атомным взрывам (боевым или «мирным») прибегать не обязательно.

«Мир умирает. Что вы собираетесь делать?»— написано на обложке специального выпуска лондонского еженедельника «Санди таймс мэгэзин». Смысл — если ничего не делать, он погибнет, и очень скоро. А главное — делать надо всем странам, всем регионам сообща. По отдельности перед лицом экологической катастрофы не устоять. Только по этой причине сосредоточу свое внимание на нашей стране. Председатель Госкомитета СССР по охране природы Ф. Моргун на конференции, созванной журналом «Тайм», сказал: «Мы приступаем слишком поздно... Решительные меры для улучшения окружающей среды были приняты на Западе 15—20 лет назад. Теперь наша страна также должна начать действовать в этой области».

«Начать» — вот на что следует обратить внимание г-ну Уолдену. И не медля! Ситуация такая, что если не принять срочных радикальных мер, то очень скоро растения, выросшие на землях страны, станут полностью несъедобными. И для людей и для животных. Вода рек и озер вот-вот станет опасной даже для купания. Воздухом в крупных городах, похоже, скоро придется дышать только в противогазах. Пожинаем то, чего заслужили?

Природа, увы, государственных границ не знает. А мы относительно экологических катастроф — очень мощная держава. Ученые подсчитали, что, если высохнет Аральское море, выпитое безграмотностью в выращивании хлопка (а к тому пока дело идет неотвратимо), бесплодная соляная пустыня может поглотить даже дружественную нам Индию.

Возведение Катунской ГЭС на Алтае, по мнению специалистов, способно привести в движение столь гигантские запасы ртути, что по ложу великой Оби потечет раствор смертельного яда. Обь же впадает в Ледовитый океан, ничем не отгороженный от Мирового океана.

Из пяти миллиардов тонн углекислого газа, которые поступают ежегодно в земную атмосферу в результате сжигания угля, нефти, газа и мазута, больше миллиарда — наши. Причем показатель этот за 30

лет возрос втрое, тогда как в странах Западной Европы лишь в полтора раза. А мы продолжаем одну за другой планировать сверхмощные ТЭЦ, снабжая их сверххилыми очистными устройствами. ТЭЦ — не только творец парникового эффекта, но и главный создатель кислотных дождей. В Москве у запроектированной Северной ТЭЦ трубы возвысятся на 250 метров. Увидеть их из Англии, конечно, невозможно, но почувствовать — вполне посильное дело, когда ветер понесет тучи в английскую сторону.

И еще один штрих. В озоновых дырах, разрастание которых грозит неотвратимой гибелью всему живому, во многом, как известно, повинен фреон. Мир бьет тревогу, мир вырабатывает договоры и соглашения по прекращению промышленного использования этого газа. Мы их все тоже подписываем, ученые наши нашли фреону безопасный заменитель, к тому же гораздо более дешевый в производстве, но... В Москве, неожиданно узнаем мы, проектируется мощнейший мясокомбинат и холодильник, основанные на использовании... фреона. Газета «Известия», захлебываясь от восторга, сообщает на всю страну о том, что специалисты НИИ строительной физики Госстроя СССР разработали «уникальную систему нетрадиционного метода обогрева жилых помещений». Призывая широко внедрять эту очень экономичную и не сложную в изготовлении систему, использующую тепловую энергию земли, автор называет дома, использующие ее, «домами будущего», «домами XXI века», славит экологическую чистоту системы, а мимоходом сообщает, что одной из основ ее является... фреоновая камера. Но помилосердствуйте, кому понадобятся экономичные, теплые дома, если мы уничтожим жизнь на земле?

К чему я клоню, можно спросить? А вот к чему. Если перестройка сорвется, мы станем экологически смертельно опасными для мира. И не только потому, что террористические правительства не очень-то сентиментальны, гибнущими пташками и ландышами их никому еще растрогать не удавалось. Чтобы эффективно изменять экологическую ситуацию, нужна демократия, нужны новые технологии, здоровая экономика, большие средства и ресурсы. И самоотверженность, энтузиазм масс. Ничего этого у нас не будет без победы перестройки.

И если процессы, развивающиеся в ходе ее, кажутся «чужими», даже пугают тех, кто отнюдь не делетант в наших внутренних делах, то у мира действительно не так уж много шансов на спасение.

◆

Резонанс

Почта «ИЛ»

1. Надо ли печатать «Улисса»?

Глубокоуважаемая редакция журнала «Иностранная литература».

Я библиотечный работник и пишу от имени читателей. Все последние 3 года журнал «Иностранная л-ра» не пользуется у нас спросом, а в этом году его не хотят брать даже в нагрузку к другим журналам. «Улисс» Д. Джойса совершенно не воспринимается читателями. Люди в недоумении — зачем печатать вообще такую вещь, да еще и растянуть на целый год? В прошлом году тоже печатались бесконечные негритянские проблемы и журналы у нас только пылились на полке. Зато до дыр зачитали у нас те номера журналов, где печатался Шоу, Бенчли, Клавель, Амаду, Ф. Саган и т. п. Те, кто выписывал эти журналы лично,— переплетали и были довольны таким пополнением своей библиотеки. Неужели Вы не понимаете, что люди устали и не хотят читать про негров, войну или философию. Все просят что-нибудь романтическое, легко читаемое, приключенческое, увлекательное, детективы.

Пока еще не поздно, перестройтесь, пожалуйста,— компенсируйте скучного и нудного «Улисса» чем-нибудь легким с увлекательным сюжетом...

Н. Романовская. Киев

...Речь идет о лице журнала, и не просто одного из наших «толстых» журналов, которых, включая региональные, существует несколько десятков. Это замечание вовсе не означает моего к ним пренебрежительного отношения, отнюдь. Они становятся все более интересными. И мне думается, что именно сейчас, в условиях жесткой конкуренции, вашему журналу необходимо стремиться быть ярко индивидуальным. И ни в коей мере не следует ориентироваться на средний уровень «развитого» читателя. Это очень шаткая грань... Конечно, «Челюсти», «Мертвая зона» и т. п. проще для восприятия, но ведь это — литература, будем откровенны, весьма среднего качества. Пусть ее для привлечения непритязательных читателей публикуют «Простор» и «Подъем», «Смена» и «Огонек», если им трудно заполучить своих Пикулей и Семеновых.

Но должен же быть в стране действительно элитарный (слово, ставшее чуть ли не ругательным) — то есть печатающий настоящую литературу журнал. И в таком качестве я хочу видеть «Иностранную литературу». У вас же неисчерпаемый материал. Диапазон от практически неизвестной нам древневосточной литературы до по-прежнему редкой для советского читателя западной XX века (Пруст, Гамсун, Кафка, Жид, Сартр, Музиль, Камю, Вулф). Несомненный интерес представляют философские и этические взгляды как лучших представителей многовековой зарубежной литературы, так и современных западных культурологов...

В. Б. Иофин, Новосибирск

...Написал я вот по какому поводу. Наша семья выписывает «Иностранку» с 1961 года. Этим летом я стал перечитывать старые журналы. Думаю, что это не самое худшее мое лето. Сравнивая журнал тех лет с журналом последних, «перестроечных» лет, мне кажется, что нынешний журнал стал скучнее. Возможно, я необъективен; но это мое мнение. Попробую объяснить.

Я думаю, что в журнале появилось очень много заумных романов. Я понимаю вас. В недавние времена многие лучшие произведения Запада у нас отчаянно ругали. И теперь вы хотите восполнить этот пробел. Но получается...

Людям скучно. Это то же самое, что и с кинематографом. Наконец-то купили картины Феллини и Вендерса, а на них никто не идет. Люди не привыкли. То же и с литературой. Может быть, не стоит печатать сразу всех лучших из лучших, а умеренно чередовать. Ведь не давали печатать не только интеллектуалов, но и авторов детективов, фантастики, короче, у нас не печатали их бестселлеры.

Вот сейчас мы поняли, что люди за океаном, да и везде такие же, как и мы. Вот и напечатайте то, что у них читают миллионы. Думаю, у нас это будет читать не меньше народа.

Даже в самые черные годы застоя на ваши страницы прорывались книги типа «Челюсти». Ведь очень хороший роман. И читали его, как сейчас «Детей Арбата». Неужели вы не хотите поднять свой тираж. Не бойтесь потерять свою репутацию, ведь я не призываю вас сплошь засыпать журнал боевиками. Нет. Ведь одно не исключает другое. И серьезная литература, и вестерны, и фантастика могут соседствовать на ваших страницах.

Ниязов Азамат, 16 лет.
Алма-Ата

...Впервые не почувствовал сожаления о цене, по которой приходится приобретать ваш журнал.

Огромен мир литературы, и поэтому особенно жаль бывает тогда, когда эти 250—260 страниц заполняются скучными, серыми, незначительными произведениями, словно нарочно этим подчеркивая «монополию» журнала, которая, увы, будет пока еще сохраняться из-за нехватки в стране бумаги и полиграфических мощностей, на ознакомление советских читателей с новинками или шедеврами мировой литературы. Может, и прав Д. С. Лихачев, и «Улисс» Джойса найдет уже сейчас своего читателя, но то будут единицы, а вина в этом есть и ваша, дорогая редакция.

Александр Шелудяков,
пока еще матрос,
Московская обл.

Многоуважаемый гл. редактор.

Это правильно, что В. Набокова вы печатаете в «Иностранной литературе». Но я вас с этим не поздравляю. С большим трудом одолел 19 стр., и то только потому, что я встретил на 9 стр. интересную мысль... «Череп — это шлем астронавта...» и т. д. Но для художественного произведения, согласитесь, этого мало.

Я хорошо понял, что такое аристократ В. Набоков. Прежде всего он зануда, причем вовсе не российского типа. Скорее, английская зануда. Я это заподозрил еще тогда, когда читал его и высокопарную и низкопробную (как сказал бы Олеша) критику Гоголя. Он надувался там, как лягушка в басне И. А. Крылова «Вол и лягушка». Надувался, естественно, органично, как и приличествует аристократу... Таких Набоковых, Марлинских, графов Хвостовых у нас пруд пруди и среди аристократов, и среди плебеев, равно как и поэтов, подобных Нобелевскому лауреату...

А. Сидоров, г. Магадан

Уважаемая редакция!

Пишет Вам один из читателей и подписчиков, которого Вы приобрели в 1989 г. Несмотря на то что основное внимание людей сейчас приковано к внутренним проблемам и большую популярность получили литературно-художественные журналы, отображающие процессы, происходившие в нашей истории и литературе и недоступные нам раньше, я считаю, что «ИЛ» так же, как и в какой-то степени «Новый мир», является одним из немногих, который не тратит бумагу и время на бесплодную полемику, которым двигают не конъюнктурные соображения, который старается печатать произведения, чья ценность не определяется ни временем написания, ни временем опубликования.

Сейчас на страницах Вашего журнала и приложения к нему стали появляться имена тех классиков мировой литературы, которых раньше либо совсем не издавали, либо издавали мало (например, Джойс, Кафка, Бодлер, Рильке, Беккет и др.). К сожалению, раньше подобное было редкостью. Теперь же это должно стать системой. Мне кажется, что на страницах Вашего журнала должны печататься произведения наиболее крупных писателей (вне зависимости от их массового успеха), причем их идеологические убеждения не должны быть главным при публикации. Главный критерий — художественная ценность. Ваша задача, как мне представляется, заполнить тот вакуум в представлении о мировой литературе, который был у советского читателя все эти годы, открыть те имена (широко известные в мире), которые долгие годы замалчивались у нас. И не важно, что тираж Вашего журнала сравнительно невелик — это отражает количество истинных ценителей литературы в нашей стране.

Теперь, с Вашего разрешения, я хотел бы высказать несколько пожеланий на будущее, рассказать, каким я хотел видеть «ИЛ» (поскольку буду его читателем и в 1990 г.).

О художественной литературе я уже сказал. Теперь о других разделах. В этом году Вы начали хорошее дело публикациями А. Камю, Н. Махфуза (Нобелевская лекция) и некоторыми другими. Хотелось бы, чтобы это переросло в появление на страницах «ИЛ» рубрики вроде новомировской («Из истории русской общественной мысли»). В ней Вы могли бы знакомить читателя с выдающимися зарубежными философами и мыслителями, имена и произведения которых либо замалчивались у нас, либо упоминались в негативном контексте. Я считаю, что это удачно стыковалось бы с общим направлением журнала. Такой раздел мог бы вести один из наших ученых, например С. С. Аверинцев.

Хотелось бы в Вашем журнале получить представление о литературном авангарде на Западе и познакомиться с его наиболее заметными представителями. Ведь не секрет, что практически полная неинформированность читателя и зрителя у нас о зарубежном экспериментальном искусстве приводила и приводит к появлению различных отечественных поделок «под авангард», что лишний раз позволяет критикам бросить камень в это искусство...

С уважением, самый рядовой читатель
А. Ю. Захарченко,
Куйбышев

...Решил написать вам так как это мнение разделяют и некоторые мои товарищи, регулярно читающие журнал. Его стало трудно читать. Да-да. Будто бы он рассчитан на «элиту», или узкий круг чита-

телей. Ведь на примере хотя бы № 4 можно судить, что чтение журнала превращается в р а б о т у. Но работа бывает разная. Которая «в охотку», а которая «по принуждению», так вот эта — по принуждению, которое вы предпринимаете по отношению к подписчикам, руководствуясь, видимо, своими вкусами. Пусть будет «Улисс», хотя, согласитесь, роман — на любителя, причем искушенного, и даже призыв Лихачева не расширит круг поклонников романа. Во всяком случае, печатать его из номера в номер — это следовать «Москве», печатающей Карамзина, что так же не обязательно для ежемесячного журнала...

Пролистайте свои старые номера — вы убедитесь, что там было ч т о читать читателям разных возрастов и вкусов... «Коридоры власти» и сочные романы Амаду, «Богач, бедняк» и (кажется) «Мертвая зона», не говоря о более ранних временах, когда отдельные романы вырезались и переплетались, чтобы их читали многие. За этот год в четырех номерах не нашлось места для такой разнообразной англоязычной и французской литературы. Почему-то редакция считает, что чем сложнее, тем лучше. Но для кого? Публикации в других толстых журналах иностранных авторов говорят о том, как там думают о читателе, стремятся заинтересовать его, дать п о ч и т а т ь, а не заставлять переваривать произведения пусть и известных авторов, но далеко не самых «читаемых» даже за рубежом.

Можно приводить много доводов, почему журнал становится все менее популярным — из-за нарочитой усложненности предлагаемого материала и даже из-за неуважения к читателю, ждущего все-таки «читаемых» произведений.

С. Юрьев, инженер. Ленинград

Уважаемый т. Айтматов!

Я очень рад, что пришло наконец время, когда в Вашем журнале начали публиковать «Улисса» Джойса. Не отдельные эпизоды, как полвека назад, а весь роман. Этим поступком «Иностранная литература» отдает не только дань уважения, но и безмерно затянувшийся долг страны автору и его произведению, давно признанному во всем мире классикой XX века. В таких должниках наша культура, к несчастью, не только перед Джойсом, не только в литературе и не только перед культурами и н ы х стран, к чему, собственно, имеет отношение Ваш журнал.

Перестройка позволила начать ликвидацию опасных разрывов с мировой, а еще больше с собственной культурой. Десятки лет духовных недоборов крали у общества нравственные силы, которые так нужны ему для осознания себя, для стояния в мире, которых теперь так не хватает. Отдаленные последствия этого будут ослаблять наше общество еще очень долго. Положение нужно решительно исправлять, и многое делается.

Вот почему «Улисса» и некоторые другие публикации последнего времени я воспринимаю как важный вклад журнала в этот процесс, говоря образно, как глубокую пахоту сильно затоптанного у нас поля мировой культуры. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но думаю, что это — только начало, что главная «пахота» еще впереди.

Полный русский перевод романа такого объема и сложности сам по себе является подвигом переводчиков. Недаром Виктор Александрович Хинкис, начавший эту работу из любви к детищу Джойса и почти без надежд на публикацию, считал ее важнейшим делом своей жизни. Внезапная смерть прервала его напряженный труд, работу завершил по завещанию его друг Сергей Сергеевич Хоружий. Публикуя перевод, Ваш журнал воздает должное не только роману, но и переводчикам, благодаря которым русскоязычный читатель ныне вводится в необычную стихию Джойса. Жаль только, что журнал ограничился предельно краткими сведениями о В. А. Хинкисе и С. С. Хоружем. А ведь кроме истории романа существует уже, как видим, история его перевода, и об этом подвиге необходимо рассказать читателям. Хотелось бы прочесть такой материал при завершении публикации.

Ввиду сложности, необычности стилистики «Улисса» он требует серьезного справочного обеспечения. За рубежом, как известно, выпускались целые энциклопедии по Джойсу, с которыми и рекомендовалось читать роман. Надо отметить большую подготовительную работу Е. Гениевой, предварявшую и сопровождающую комментариями каждый выпуск публикации. В ее материалах, в статье Т. С. Эллиота «Улисс», порядок и миф», данной заранее, в предисловии академика Лихачева обрисован общекультурный горизонт романа и эпохи, биографическая канва и географическая среда обитания героев. К этому надо добавить портреты и фотографии Джойса, рисунки, виды Дублина и даже схемы городских кварталов, где происходит действие публикуемых эпизодов. Все вместе дает читателю добротный вспомогательный материал, хотя по необходимости и сжатый.

При книжном издании «Улисса», которое, как следует надеяться, не замедлит, такое обеспечение следовало бы значительно расширить, использовав опыт подготовки журнальной публикации. Надеюсь, что публикаторы думают об этом уже сейчас.

Итак, спасибо журналу за подарок многочисленным — уверяю Вас — поклонникам творчества этого «трудного» великого ирландца. А что же еще Вы готовите к печати из достижений мировой литературы соизмеримого уровня, которых мы были столь долго лишены?

С уважением!
С. Зик,
работник лесного хозяйства

...Меня злость берет, что у вашего журнала монополия на И. Литературу. Равного вам нет даже в цене (шутка). Поэтому я свои замечания выкладываю чисто объективно. Не касаясь, что у вас пользовалось спросом, что нет. Я верю, что вы стараетесь, хоть вам и наплевать на мое мнение (будем откровенны), но если бы спросили меня, я бы из ваших планов выкинул

1/3 из-за политики. Что у них загнивание, я в курсе. Что мне это преподнесет мастер словесности, я тоже в курсе. Я, может, даже всплакну. Но это немного надоело. Я, конечно, понимаю, что все это несерьезно и сроду не пишу в газеты, но тут пришлось...

Г. Кошелев, 55 лет.
Преподаватель УКПИ.
Усть-Каменогорск

Уважаемый товарищ редактор!

Сразу скажу, что со следующего года скорее всего я не буду подписываться на ваш журнал. Я очень надеялся, что после вашего прихода на пост главного редактора будут изменения к лучшему, однако этого не произошло. О том же говорит красноречиво оставшийся неизменным тираж журнала, который совсем «не смотрится» на фоне тиражей других «толстых» журналов. «Иностранка» с редким упорством продолжает печатать вещи, которые не могут заинтересовать широкую аудиторию. Неужели вы не понимаете, что романы вроде «Улисса» не в состоянии ни культурно обогатить, ни воспитать хороший вкус, так как их попросту никто не читает? Такие произведения совершенно ни к месту (и не вовремя), вызывают они лишь недоумение и раздражение. Я не призываю Вас печатать лишь детективы и фантастику (кстати, почему им не хватает места на страницах журнала?!), но при формировании портфеля редакции не лишним было бы обращать внимание и на возможную степень популярности той или иной вещи. Не забывайте, что книжный рынок у нас в стране не столь обилен, и ваш долг, я считаю, принять активное участие в его насыщении.

Я ждал появления у вас произведений, созвучных творчеству И. Шоу, Э.-М. Ремарка, Г. Маркеса и других действительно читаемых в народе авторов. Увы! Хотелось бы задать вам вопрос: задумывались хоть вы над тем, для кого предназначен ваш журнал? В виде эксперимента я опросил 18 рабочих нашего производства. Так вот, лишь 1 (один) когда-то читал ваш журнал, а некоторые даже не знают, что таковой существует. Из 9 ИТР, опрошенных мной, 4 когда-то что-то читали, все 9 (девять) не могли указать ни одной интересной вещи за последние пять лет, которая бы им понравилась. Все 27 человек не собираются подписываться на «Иностранку». Действительно, я вот выложил 20 с лишним рублей и сейчас чувствую себя попросту обманутым. Почему, спрашивается, Дж. Оруэлла «1984» печатает «Новый мир», Р. Конквеста «Большой террор» — «Нева»... Да сколько таких примеров! Почему в журнале штампуют всякую заумь, «Антирубрики» и т. п., а нет некоей ретрорубрики, где можно было бы печатать добрых старых мастеров: А. Дюма, Э. Сю и т. д. и т. п.?

Прямая вина «ИЛ» в том, что нашумевшие современные романы, ставшие на Западе бестселлерами, так и не доходят до русского читателя. А наши недавно признанные эмигранты? Если вы лично, тов. Айтматов, их не переносите, то это ваше личное дело и личная трагедия, но обделять читателя не годится [1].

Складывается удручающее впечатление, что редакцию, возглавляемую вами, перестройка еще не коснулась — нет подтверждений этому. Вы добейтесь того, чтобы за журналом стояли в очередях, как за «Московскими новостями», чтобы «ИЛ» читали и любили! А если вы этого не хотите, стремитесь к жизни поспокойнее, то, может, и не стоило занимать пост главного редактора?

Перед тем как это письмо полетит в мусорную корзину, пожелаю вам все же успеха!

С приветом
Большаков Ю. В.,
инженер НПО «Алтай»

...Я выписываю «ИЛ» второй год, раньше журнал брал от случая к случаю, прочел в нем «Шум и ярость», «Тени в раю», «Ферму», «Миссис Дэллоуэй» и некоторые другие первоклассные вещи. И вот, как я уже сказал, в 1988 г. выписал этот журнал. Конечно, Кафка, Хаксли, Эко и Бёлль — это прекрасно. Но на такой объем, как ваш журнал, и на те «возможности», какими располагает не изданная у нас мировая литература, это, простите, очень мало...

В связи с этим у меня к Вам несколько конкретных предложений.

1. Ни в коем случае не отдавать «Лолиту» в приложение к журналу — ее там никто не прочтет, она осядет у книжных дельцов и «нужных» людей. «Лолита» должна быть напечатана только в журнале, если вы, конечно, хотите, чтобы ее прочли те, на кого вы рассчитываете с ее публикацией. Пусть не в этом, так в следующем году — но только в журнале. И в связи с этим публиковать, по возможности, как можно больше англоязычного Набокова: «Под знаком незаконнорожденных», «Себастьяна Найта», «Аду», «Взгляни на арлекинов» и др.

2. «Закончить» с Кафкой — опубликовать «Процесс» и «Америку».

3. Для меня, как и для вас, центр интеллектуальной мысли Европы с конца 1-й мировой войны до 30-х годов — это Австрия, а точнее, Фрейд и Кафка. Но, посмотрите, в это же время Британия: Джойс, Элиот, Лоуренс, В. Вулф. А что мы имеем на сегодняшний день в опубликованном виде: «Миссис Дэллоуэй», «На маяк», начало «Улисса». А где поэзия и эссеистика Эллиота, где, кроме «Ноттингемских новелл», Лоуренс? Не опубликованы «Сыновья и любовники», «Радуга», «Любовник леди Чаттерлей». Сейчас пришло время опубликовать и это. Или судьба книг Лоуренса у нас схожа с судьбой «Лолиты»? Или ждем 100-летия со дня написания?

4. «Звезда» в этом году опубликует «Возвращение из СССР» А. Жида — опередили вас и в этом. Но ведь есть «Фальшивомонетчики». Может быть, уже можно, а?

---

[1] На страницах «ИЛ» были опубликованы статьи Л. Копелева (№ 1, 1988) и Е. Эткинда (№ 2, 1989), анкета писателей русского зарубежья (№ 2, 3, 1989), главы из книги Р. Орловой (№ 6, 1989). *(Прим. ред.)*

5. Одно из главных моих предложений: нужно опубликовать Сола Беллоу. Сколько можно не замечать крупнейшего современного американского писателя. А то, право, доходит до смешного: публикуем чуть ли не всю американскую историю в интерпретации Г. Видала, а до нобелевского лауреата руки не доходят. Я не призываю вас публиковать «В Иерусалим и обратно», но «Дар Гумбольдта», другие вещи Беллоу необходимо публиковать. Сами себя обедняем. Кстати, «Новый мир» отказался от публикации «Корабля дураков» К. Э. Портер. Наверное, посчитали роман чересчур «сионистским». Может, подберете, а?

6. И наконец, самое последнее. Вы обещали на этот год Айзека Башевиса Зингера. Вспоминается прошлогодняя мартовская публикация в «Комсомолке» — статья Павлика Морозова... простите Павлика Горелова о творчестве Иосифа Бродского. Пытаясь принизить значение творчества поэта, его Нобелевскую премию, Горелов вопрошает: а много ли знает наш читатель нобелевских лауреатов? И приводит в качестве примера Зингера. Становится горько. Творчество Зингера, Эли Визеля, Шмуэля Йосефа Агнона знает весь читающий мир. Это крупнейшие писатели современности, нобелевские лауреаты. Мы чуть ли не каждые 5—10 лет переиздаем Шолом-Алейхема (кстати, далеко не полного). А блестящие последователи его литературного дела, которые не только продолжили, но и творчески развили заложенные Мастером традиции,— от нас за семью печатями. Предлагая вам с е й ч а с напечатать избранные вещи этих мастеров слова, я хочу указать и вот на какую вещь: понимаете, не все погибли на фронте и в гетто во время войны, не все уехали в 70-е и в 80-е годы. Есть много стариков с крепкими, не слезящимися глазами, для которых Буковина, Галиция, Бессарабия начала века, ее атмосфера, быт не есть что-то умозрительное. Да и молодые будут вам благодарны. Русские переводы не менее распространены по всему миру, чем на идише и на иврите. Было бы желание и мужество напечатать.

Вот и все, что я хотел сказать. Надеюсь, главную мысль моего письма вы без труда поняли: я хочу видеть «ИЛ» в будущем году более интересной, чем в этом. Надеюсь, что хоть что-нибудь из предложенного мной будет реализовано в ближайшее время.

И. С. Блатков, инженер, 30 лет.
г. Киев

Провинциальный городок — Слободской. В тридцатые годы здесь была одна средняя школа — бывшая женская гимназия. Нам, ее выпускникам, повезло. В ней преподавали учителя с весьма нестандартным мышлением. Учительнице литературы Зое Александровне Рябинской впоследствии посвятили свои стихи поэты Борис Марьев и Владислав Заболотский.

В школьной программе стояли тогда три иностранных писателя, по одному из Англии, Франции и Германии.

Когда мы приступали к изучению «Гамлета», Зоя Александровна сказала нам:

— Знаете, чем отличается Шекспир от Вольтера? Вольтер говорит: «Я пла́чу», а Шекспир плачет.

Может, эту цитату я понял по-своему? Может быть! Но я применил ее на практике. Раз и навсегда она, эта цитата, стала оселком, с помощью которого я стал отличать настоящую литературу от просто чтива. Груду приключенческой литературы, лежавшую у меня на столе, я быстро рассортировал. Если я читал: «Это был мужественный, храбрый человек...» — то понимал, что автор втирает мне очки. Отважный человек не нуждается в том, чтобы о нем говорили как о храбреце. Книга летела в сторону. А в стопке ценных книг оставались «Межзвездный скиталец» и «Мятеж на «Эльсиноре» Джека Лондона. Потом к ним присоединился роман «Иметь и не иметь» Э. Хемингуэя. Я перестал читать плохие книги.

Следующий скачок в моем образовании произошел в блокадном Ленинграде. После тяжелого ранения я лежал в одном из госпиталей на Васильевском острове. Потребовались книги. Старшая медсестра дала мне ключ от книжного шкафа и сказала:

— Поройтесь там, а заодно приведите книги в порядок.

Книжное собрание состояло из случайных книг, но там я нашел несколько разрозненных номеров журнала «Интернациональная литература». В трех из них были напечатаны эпизоды из «Улисса» Джеймса Джойса. Работал над русским текстом, как я узнал из предисловия, переводческий коллектив, возглавляемый И. Кашкиным.

Читая Джойса, я опять вспомнил цитату: «Вольтер говорит: «Я пла́чу», а Шекспир плачет».

Джойс плакал, смеялся, иронизировал, страдал. Он не говорил этого, но я, читатель, чувствовал.

Журналы были не все. И тогда, и потом, после войны, я не мог найти «Улисса» — ни на русском, ни на английском языке. Встречал только отрывки из этого романа в хрестоматиях.

И вот нередо мной «Иностранная литература». «Улисс». Я слышу, как думает Стивен Дедал, я слышу, что думает Леопольд Блум. С журнальных страниц струятся флюиды, и я воспринимаю их как мысли. Не каждый автор может так писать.

Вот почему я читаю Джойса.

Е. Кузницын,
инвалид Отечественной войны,
г. Слободской

2. Audiatur et eltera pars

Я глубоко благодарен Вам, что Вы опубликовали в № 3 «Иностранной литературы» отрывки из книги И. Дойчера «Политическая биография Троцкого Л. Д.». Я несколько лет ждал этой публикации.

У меня к Вам большая просьба. Не останавливайтесь на этом.

Напомню Вам любимую пословицу В. И. Ленина: «Audiatur et eltera pars». (Да будет выслушана и другая сторона). Предоставьте слово самому Троцкому без купюр,

прежде всего его антисталинским работам:

1) Преступления Сталина,
2) Сталинская школа фальсификаций,
3) Открытое письмо к членам большевистской партии,
4) Преданная революция
и т. д.

М. Грубер, Иркутск

Спасибо за публикацию глав из книги И. Дойчера о Л. Д. Троцком! Оказывается, этот человек не был злобствующим ничтожеством, каким его у нас представляли. Боролся он не с социализмом, а со сталинизмом. Не был он врагом СССР. Боролся со Сталиным, который дискредитировал и социализм, и СССР. Получается, что Троцкий отстаивал марксизм.

Потрясает величие личности Троцкого и его трагическая судьба.

Сталинские судебные приговоры в отношении Троцкого должны быть отменены. Труды Троцкого будут издаваться на его родине. Они помогут лучше разобраться в нашей истории, понять, куда мы пришли и куда нам идти следует.

Спасибо за публикацию документов Артура Лондона. Они ярко высвечивают роль сталинизма в «лагере социализма» и в международном коммунистическом движении. Роль кровавую. О палаче Боярском известно стало благодаря «Московским новостям». Теперь стало ясно, почему большевики-ленинцы и герои гражданской войны во всем, что им инкриминировали сталинские палачи, «признавались». Это пытался в художественной форме показать Кёстлер в «Слепящей тьме». Документально это показал Артур Лондон.

Кажется, главное сражение со сталинизмом еще впереди.

В. А. Бушаков, 47 лет, член КПСС, Аскания-Нова

Уважаемая редакция!

Во-первых, позвольте выразить вам благодарность за акт мужества — публикацию главы из книги Исаака Дойчера. Меня не оставляет надежда, что «время мифа» в нашем сознании когда-нибудь закончится и наступит «время истории». К несчастью, многочисленные «новые рассказы по советской истории», в изобилии появляющиеся сегодня на страницах отечественной печати, зачастую не менее мифологичны, чем старые. В обществе, к несчастью, начисто утрачен вкус к историческому документу; но мало того — «психологическая правда истории» тем более остается для современного советского читателя тайной за семью печатями. Мы с патологическим упорством стремимся вычленить в истории прежде всего некую «социологическую схему», дать ей некое абстрактно-теоретическое объяснение с точки зрения причин, следствий и т. п., но менее всего мы желаем видеть нравственное напряжение истории. Для нас люди, с их неповторимо-трагическими личностными мирами,— это отнюдь не «первичная реальность» в нашем взгляде на историю, а лишь какие-то «функции» и «приложения» к сверхъестественному «Историческому Процессу»... Дойчеровской книге менее всего присущ этот недостаток, который, увы, в полной мере был присущ ее главному герою.

Титаническая фигура Л. Д. Троцкого — возможно, самая трагическая фигура XX века. Фигура, на которой завершилась история «классического марксизма», пытавшегося соединить идею общечеловеческого гуманизма с идеей классовой борьбы как главной движущей силой истории. Безвыходное состояние, в котором оказался грандиозный революционный эксперимент в России, создало новый пункт исторического развития человечества, немыслимый во времена, когда путь гуманистического переустройства мира на путях оседлания «законов классовой борьбы» казался столь очевидным и для Троцкого, и для Ленина. Но трагизм фигуры Троцкого заключался в том, что в отличие от Ленина он дожил до этого пункта, и когда гуманистическое содержание социал-демократического движения оказалось окончательно выжжено вакханалией «классовой борьбы», он оказался своеобразной фигурой «доисторического марксизма», вынужденной в ситуации глобального одиночества противостоять нарастающей атмосфере всеобщего политического цинизма с позиций — одновременно! — гуманистических идеалов и... классово-пролетарского подхода. Чем-то он схож с фигурой Эйнштейна, который последние тридцать лет своей жизни посвятил созданию «единой теории поля» — полностью отвергнутой научным сообществом и т. п... Но как бы ни была сегодня очевидна ограниченность тех или иных взглядов Троцкого — в чем нельзя его обвинить, так это в научной нечистоплотности. Трагическая судьба Троцкого-мыслителя, пытающегося, но не способного пробить оболочку социал-демократических и большевистских догматов, не менее уникальна, чем его жизненный путь.

Не сомневаюсь, что наступит момент, когда у нас будет издано полное (академическое) собрание сочинений Л. Д. Троцкого,— вполне очевидно, что без этого в судьбах российской революции, равно как и в судьбах марксизма в XX веке, слишком многое останется непонятным. И возникнут собственные специалисты по Троцкому — не на уровне ищущих сенсаций журналистов, а на уровне нормальных грамотных исследователей... Пока же, увы, нам приходится в лучшем случае опираться на иностранные источники.

А. М. Лобок,
канд. филос. наук,
доцент УПИ,
г. Свердловск

Редакции «Иностранной литературы» на публикацию в № 3 главы из книги И. Дойчера «Пророк в изгнании».

Даже само название книги претенциозно — я бы назвала если и пророк, то только в кавычках и добавила прилагательное — к л и к у ш е с т в у ю щ и й «пророк», но только и содержание книги было бы другим — а то автор представляет этакого мученика с лавровым венком на голове, а в действительности этого и не было, действительность с троцкистами была намно-

го серьезнее и трагичнее ее значимость для страны, где появилось это движение...

Единственная ценность этой публикации — доказано, что троцкизм совсем не безобидная[1], как сейчас складывается, да и разговора, как правило, нет о троцкизме как таковом. А необходимо понять, в какое время это движение начиналось: В. И. Ленин умер, страна нищая, разграбленная до нитки, хозяйство, развеленное до основания, средства для поднятия никаких, капстраны блокируют — ни займов, ни кредитов, только что пережили страшнейший голод, когда 35 млн. не имели куска хлеба и т. д. и т. п., страшно подумать, когда каждую минуту правительство ценило на вес золота — необходимо было выкарабкаться из труднейшего положения, найти силы и средства,— и это было сделано путем наивысшего напряжения сил народа да и партии во главе с И. В. Сталиным. О значении троцкистов сказал соратник Ленина и Сталина С. М. Киров: «Предать революцию, предать Ленина! Наглость оппозиции доходит до того, что сторонники ЦК на собрание не допускаются вообще».

И все это решал не И. В. Сталин, а съезд партии, понимаете, съезд решил, что принадлежность к троцкизму несовместима с пребыванием в рядах партии. И когда Л. Бронштейн-Троцкий получил огромнейший пинок и вылетел за рубеж, он ничего не понял из случившегося, а продолжал оголтело с бешеной энергией вести и там бурную «деятельность», а так как симпатии мира были на стороне Страны Советов — международная общественность трезво оценивала положение страны, отсюда и симпатии на стороне Страны Советов и народа, на плечи которого обрушилось столько бед и трагедий, которые не выпадали на плечи никакого другого народа.

И вся практическая жизнь страны доказала, что это был единственно правильный шаг партии — разгромить эти осиные гнезда троцкизма у себя в стране!

Теперь, что касается И. В. Сталина — он трижды отказывался от назначения его **Генсеком**, сразу после письма В. И. Ленина на съезд и дважды потом, но партия обязала **его** на эту должность. И тем более **смешно** говорить о каком-то **обогащении** — это даже звучит **кощунственно**,— кроме маршальских регалий ничего в наследство детям И. В. Сталина не осталось. Вот такое не очень богатое наследие в смысле материального.

Ну, а Бронштейн-Троцкий даже до самой смерти остался верен самому себе — верность политического авантюриста,— даже когда страна и народ **истекали кровью**, в годы Великой Отечественной, эта **гадина** (по выражению Бунина) пытался **взять реванш**, организовал троцкистский IV Интернационал и во время войны пытался устроить переворот в стране — это чистейшей воды авантюризм, если не преступление против народа и страны, и подняться на гребень волны, как поднялся **он** во время после Октября 1917 г...[2]

[1] Так у автора.

[2] Л. Троцкий убит в 1940 г. *(Прим. ред.).*

Спасибо редакции за публикацию, которая еще раз убедила современников, что позиция партии во главе с И. В. Сталиным в оценке троцкистов в то неимоверно трудное для страны и народа время была однозначна правильной — другой альтернативы не было, как разгромить осиные гнезда троцкизма. И жизнь Бронштейна-Троцкого за рубежом доказала, насколько правильна эта позиция — все попытки, цель его деятельности была сведение счетов со страной — правда, фарисейство в отношении позиции в защиту Страны Советов,— иначе это было бы просто сведение **личных счетов** этого кликушествующего «пророка» с лицом, олицетворяющим в то время нашу Родину-Россию — И. В. Сталиным. И только поэтому все упреки и сейчас сводятся не ко времени ужасно трудному в истории страны и народа—столько трагедий — гражданская, интервенция, голод, эпидемии, сиротство, разруха, Великая Отечественная (кроме финской, Халхин-Гола и прочих вылазок), атомная угроза, «холодная война», дважды восстановление страны из пепла, а лично к И. В. Сталину — **это необъяснимо**, но понятно теперь — это позиция **троцкистов** взята на вооружение. Очень и очень **убедительно!**

Т. Звонова. Москва

С большим интересом почитал отрывки из книги И. Дойчера о Л. Троцком. Узнал очень много новых фактов. Понравилось и предисловие Роя Медведева.

Жаль только, что вы опубликовали только небольшую часть книги. Думаю, что огромный интерес вызвали бы те главы, в которых описывается роль Троцкого в 1917—1921 годах. Об этом мы очень мало знаем. Даже сейчас за 4 года гласности мало нового появилось об этом. Больше повезло 37—38 годам. А вот Троцкий по-прежнему остается во многом загадочной фигурой.

Надеюсь на продолжение публикации И. Дойчера в этом году.

Заинтересовала и рубрика «Анкета «ИЛ». Очень интересно было узнать об эмигрантских писателях.

Эта тема явно не исчерпана. Думаю, ее надо продолжить. Можно было бы рассказать о литературных журналах, издающихся на Западе на русском языке: «Континент», «Синтаксис», «Грани» и т. д.

А. Дьячков, Московская обл.

...Только А. Зиновьев отвечает на вопросы прямо и просто, без злобы, скорее с отчаянием, поэтому интересен и вызывает сочувствие. Для остальных же представителей русского зарубежья самое главное — «волнение среди аборигенов» (или «в среде аборигенов» — точно не помню, В. Аксенов «Звездный билет»). Однако такая позиция в принципе деструктивна. Забавно так названо послесловие: «Вынос кривых зеркал». Какая-то проговорка-оговорка (культура!). Поэтому можно также «весело» о представителях русского зарубежья:

они были «на полпути к Луне», да заблудились «В поисках жанра». А еще лучше написал Н. Шмелев в кн. «Пашков дом»: слабоваты они оказались. Простите за легкомысленный тон, но, честное слово, вы сами меня названием послесловия спровоцировали...

В. Большаков, инженер-физик, Московская обл.

...Не нужно нам ни на 1989-й, ни на другие годы русского иностранца Набокова и подобных ему авторов. Пусть эти «белые пятна» так и остаются «белыми» — это лучше и для них и для нас...

М. Сидоров, Москва

...И вообще так ли уж нужно привлекать к сотрудничеству в вашем журнале бывших советских, а ныне, мягко выражаясь, дезертиров, которых сейчас у нас кое-кто старается возвести в ранг героев? Убежден, что за рубежом есть достаточно по-настоящему интересных писателей, с которыми и надо знакомить советских читателей...

Оленин Петр Дмитриевич, ветеран войны и труда, член КПСС с 1942 года, Куйбышев

Правильно, что вы заговорили о зарубежной русской литературе — надо дать ей место на страницах журнала, несмотря на то что вы, кажется, еще сомневаетесь, считать ли зарубежной литературу, которую нет надобности переводить на русский язык, как роман Набокова...

Лично я рассматриваю участников «Анкеты» как ваших будущих авторов, произведения которых скоро появятся в «Иностранной литературе».

И список набирается порядочный: «Любимов», «Прогулки с Пушкиным», «Спокойной ночи» Синявского; «Генерал и его армия» Владимова; «Москва 2042», «Шапка» Войновича; «Зияющие высоты», «Светлое будущее», «Желтый дом», «Гомо советикус», «Евангелие для Ивана», «Пара беллум» Зиновьева.

В. Фадеев (секретарь Российского народного фронта)

...Складывается, да что там складывается — сложилось впечатление, что «Иностранную литературу» привлекают только те авторы, что хоть одним зубом да кусают Советский Союз. А ведь это наша Родина. Плохая или хорошая.

Это же смешно: ваши диссиденты (как их официально окрестили) рассказывают нам о нашей действительности. «Что такое хорошо и что такое плохо». Пустое это дело.

И вообще термин «русский» к этим ребятам не очень-то подходит. Точнее, «русскоязычный». «Русский» как бы подразумевает и «народный». А какие же они народные? В чем их народность? Мы должны поверить на слово? С какой стати?

Ведь «народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками — для других оно или не существует, или даже может показаться пороком».

Так, по крайней мере, считал Александр Сергеевич Пушкин.

...Взрослому человеку толковать о «свободе таланта на свободный образ жизни» можно только на необитаемом острове. Того же Эткинда, вздумай он на своей второй (или третьей) Родине сочинять что-нибудь «жареное» про те власти, то государственное устройство — выбракуют и выбросят.

И пенять тут не на кого. Они сами выбрали себе судьбу.

Маяковский, Есенин, Бунин тоже сами выбирали себе судьбу. Но о них ни один человек не отзовется пренебрежительно, потому что они не поставили себя в такое положение.

Они не были дворняжками, которых можно приласкать, а можно и отпнуть.

И не надо из нас выдавливать слезы сочувствия к этим бывшим соотечественникам.

Ты талантлив — поздравляем, но при чем здесь уважение? Уважают за другие качества.

Жизнь сурова.

В. Латынцев, Тюменская обл.

Уважаемый Чингиз Торекулович!

Почувствовав недостаток в хорошей зарубежной литературе, с прошлого года подписался на «Иностранную литературу». И она сразу же оправдала мое доверие, напечатав «Замок» Ф. Кафки, «Имя розы» У. Эко, «Правосудие» Ф. Дюрренматта, много хороших стихотворений и статей. С Вашим приходом на место главного редактора я связывал много надежд, и они оправдываются (прочитать «Улисса» было моей давней мечтой). Но пишу я не только для того, чтобы похвалить Ваш журнал. С прошлого года, когда я прочитал в газете «Книжное обозрение» статью об А. И. Солженицыне, в которой призывалось вернуть ему гражданство СССР, меня очень беспокоит судьба изгнанных из нашей страны писателей. Вскоре мое беспокойство поддержал Ст. Лесневский, призвавший, тоже в «КО», извиниться перед всеми писателями-эмигрантами. А тут и «ИЛ» опубликовала с Вашим предисловием ответы писателей русского зарубежья на анкету журнала. С огромным интересом прочитал эти ответы. Они укрепили меня в мысли, что необходимо действовать немедленно. Очень хорошо, что опубликованы «Жизнь солдата Ивана Чонкина» В. Войновича, отрывки из «Школы для дураков» С. Соколова. Но этого мало.

С. Залыгин заявил, что «Новый мир» в будущем году опубликует «Раковый корпус» А. Солженицына. Вашему специализированному журналу, как говорится, сам бог велел включиться в этот процесс, тем более что «ИЛ» уже напечатала статьи Л. Копелева и Е. Эткинда. Большая просьба к Вам, Чингиз Торекулович, после Д. Джойса опубликовать в рубрике «Из

классики XX века» роман «Архипелаг ГУЛАГ». Думаю, что Александр Исаевич Солженицын заслужил такое право. Это будет реабилитацией одного из лучших советских писателей и принесет «Иностранной литературе» еще большую любовь читателей. Промедление поистине смерти подобно. Ведь Солженицыну уже 71 год; к тому же он почему-то не ответил на анкету журнала. Может быть, вы не посылали ему вопросы?

Уверен, что необходимо стремиться не только, говоря Вашими словами, «завязать подлинный, равноправный диалог», но и вновь сделать всех живущих за рубежом русских писателей советскими и печатать как можно больше их не опубликованных на Родине произведений. Ибо «ужасно, когда писатели, пишущие по-русски, лишены возможности читать друг друга» (И. В. Одоевцева), но еще ужаснее, когда этого лишены русские (и вообще советские) читатели.

Согласен с Ириной Владимировной Одоевцевой и в том, что «где бы ни вышла книга, написанная по-русски, она должна быть прочитана в России». Думаю, Чингиз Торекулович, и Вы согласны с этими словами, поэтому очень надеюсь, что мое письмо не останется без Вашего внимания.

Михаил Линьков, г. Тольятти

3. Есть ли секс в Советском Союзе?

В № 5 «Иностранки» вы приглашаете читателей принять участие в дискуссии о допустимости или недопустимости эротики в литературе и ее пределах.

Несмотря на свои «пятьдесят с хвостиком», хочу высказаться по этому поводу.

Я понимаю так позицию редакции: вы не столько за секс, эротику, сколько против ханжества — и в этих вопросах тоже.

Считаю, что разговор, который вы затеяли (№ 2 — диалог Жуховицкий — Хесслинд, № 5 — эссе Лоуренса), нужен. Нужен для воспитания в людях грамотного отношения к себе, к своему организму, к своему телу, к своей жизни. Не так просто убедить людей снять с глаз шоры и научиться любить жизнь во всей ее полноте. А еще сложнее помочь людям увидеть, какими прекрасными могут быть человеческие отношения.

Настоящая любовь — это большая роскошь, и найти ее удается далеко не всем. Но все мы истосковались по теплу, добру, нежности.

Эротика в литературе...

Какое чудо — вершина человеческой любви — описано в «По ком звонит колокол» Хемингуэя. С помощью эротики молодой человек лечит израненную душу и изуродованное тело Марии. Сколько духовности и красоты в этой эротике.

Другая эротика в «Улиссе» Джойса. Она овеяна то грустью, то здоровым грубоватым человеческим напором. Это тоже жизнь человеческая. И такая эротика имеет право на существование.

Эротика в античной литературе — от полноты ощущения жизни. Боги-люди знали цену земным радостям!

Эпоха Возрождения...

Могучие инстинкты жизни перехлестывают через край — и в литературе, и в живописи.

И на этом фоне — наша бедная «Маленькая Вера» и наш Арлекино — не менее бедный с взрослой, одинокой, «голодной», истосковавшейся по нежности женщиной на складе. Может быть, такая эротика тоже имеет право на существование, только ведь это неправда, что мы все так уродливы, что в нас истощился запас человечности. Покажите любовь и эротику во всем их блеске. А то ведь читать, мягко выражаясь,— неприятно сентенции Петрушевской и Полякова по поводу эссе Лоуренса, эротики, секса...

Писатель, на мой взгляд, не имеет права проповедовать пессимизм. Он обязан утверждать в человеке веру в его духовную и нравственную стойкость. Нельзя лишать людей нравственных ориентиров (я уж не говорю об идейных). Без этих ориентиров человек перестает быть человеком, берет в руки цепи, топоры, бросает в дома своих соседей бутылки с зажигательной смесью, убивает, насилует, грабит.

Но вернемся к эротике, сексу и сексуальному воспитанию.

В прошлом году мне довелось побывать в ГДР, там в г. Иена. нам показали музей гигиены. Там все о физиологии человека. Экспозиция начинается со стеклянных насквозь мальчика и девочки — со всеми их интимностями. Затем — взросление — и опять без секретов, любовь, зачатие, беременность, роды — с огромными и очень подробными иллюстрациями. Потом — о здоровом образе жизни, болезнях и их причинах и т. д. Компьютерная и видеотехника, ЭВМ...

Во всех залах — народ: взрослые, дети, подростки, беременные молодые женщины, школьники — одни или с учителями. И ни одной пакостно ухмыляющейся физиономии, ни смеха... Я чуть не заплакала от зависти. Да еще испытывала стыд, вспоминая, как в 10-летнем возрасте повела своего сына с приятелем (тоже лет 10—11) в Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Подошли с ними к статуе Давида. Молодцы мои прыснули со смеху, началась чуть ли не истерика. Пришлось уйти.

Или наивные вопросы сына (а с 6 лет я его растила одна, с мужем разошлись): откуда я взялся? Как я туда попал? Зачем человеку папа, если его рожает мама? А зачем человеку любовь?

И мои ответы — тоже, видимо, наивные и неуклюжие.

Это опять же к тому, что разговор о сексе, эротике нужен и на страницах журналов, и в книгах писателей, и в кино, и в театре. Только нам бы во всем и в этом тоже — побольше меры, поменьше крайностей, то есть побольше культуры.

Подписываюсь вымышленным именем — Ксения Попова, Москва

Дорогая редакция!

Пишу вам после прочтения диалога в письмах «О любви и прочем» Леонида Жуховицкого и Ларса Хесслинда.

Мне 26 лет. Работаю учителем иностранных языков и истории в сельской школе. Ваш журнал читаю уже четвертый год.

Я не могу сказать, что, став постоянным читателем вашего журнала, я всегда с большим интересом читаю все, что публикуется в нем. Наибольший интерес лично для меня представляет публицистика. Что касается художественных произведений, то, скажу честно, чаще всего, прочитав 10—30 страниц того или иного романа или повести, дальше осилить не могу. Нет, я не утверждаю, что то, что вы печатаете, неинтересно. Просто многие произведения требуют сосредоточенности, умения «погружаться» в авторский замысел, а для этого, к сожалению, нет времени. Особенно сейчас, когда журналы и газеты содержат так много важной и будоражащей информации.

Возвращаюсь к тому, с чего начал письмо. Диалог в письмах Л. Жуховицкого и Л. Хесслинда понравился мне искренностью, честностью и простотой. Такое впечатление, что два человека беседуют друг с другом, не обращая внимания ни на кого вокруг (в данном случае — на читателя). То, о чем они говорят, а именно: о любви, сексе — интересно многим молодым людям. Причем лично я чаще всего соглашаюсь с мнением по тем или иным вопросам — Ларса Хесслинда.

Ваш журнал, к сожалению, мало внимания уделяет художественной литературе и публицистике о молодежи. Поэтому очень хотелось бы, чтобы почаще на страницах «Иностранной литературы» появлялись умные и интересные статьи о проблемах любви, секса, увлечений молодых. Было бы интересно познакомиться с писателями и их произведениями, популярными среди западной молодежи. Ваш журнал только выиграл бы, обратившись к молодежной теме, если, конечно, так можно ее обозначить.

Патин Николай,
Орловская область

Дорогая редакция!

Прочла я диалоги Леонида Жуховицкого и Ларса Хесслинда, и мне стало страшно.

Это что же получается? Значит, сексуальные меньшинства — это самые несчастные люди, которым живется хуже всех? Значит, можно стать проституткой, получать за удовольствие деньги, а потом, когда им предложат жилье, хорошую работу, образование, можно и бросить эту древнейшую профессию? Значит, все можно, можно и скотоложство, так выходит? У меня нет слов от возмущения! Гомосексуалисты, лесбиянки — это извращенцы, их нужно лечить, если это больные, наказывать, если здоровые. Вот пишу, а ведь все напрасно, выбросят мое письмо, и все. Но хоть душу излить, надоели письма, статьи в защиту проституток, наркоманов, а теперь еще защищают сексуальные меньшинства, как прекрасно.

Без подписи

Добрый день, дорогая редакция!

Наконец дошли руки до второго номера «Иностранки» за этот год. Открыл я его на диалоге Жуховицкого и Хесслинда (не без некоторого мазохизма, так как Жуховицкого недолюбливаю). И сразу же наткнулся на такой пассаж (стр. 193, строка 19 снизу и далее): «...В Москве, на вполне русском заборе, я прочел надпись мелом на английском языке: «Все, в чем вы нуждаетесь,— это любовь...»

Понятия не имею, кто впервые бросил в жизнь этот лозунг: американцы, европейцы или азиаты, борцы за мир, эмансипацию или чистую природу. Или авторы знаменитой песенки? Не знаю. Но как же здорово, как точно, как мудро сказано!»

Перечисляемые здесь догадки звучат настолько дико, а смысл фразы так чудовищно искажен, что уточнение необходимо.

Откройте книгу Его Божественной Милости Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады «Источник вечного наслаждения» (ее можно купить на Арбате и во многих других местах или взять у меня почитать). Найдите в ней предисловие Дж. Харрисона — да-да, одного из «авторов знаменитой песенки». Оно заканчивается обсуждаемой фразой в ее первозданном виде: «All you need is love (Krsna)». Последнее слово есть общепринятая транскрипция санскритского слова «Кришна» (имя Бога).

Как известно, «авторы знаменитой песенки» — имеется в виду квартет «Битлз», и в особенности Джон Леннон и Джордж Харрисон,— находились под сильным влиянием Бхактиведанты Свами Прабхупады. Цикл бесед Прабхупады и Джона Леннона опубликован отдельным изданием. Многие песни поздних «Битлз» проникнуты духом Сознания Кришны, в том числе и обсуждаемая «знаменитая песенка». И смысл этой фразы состоит в следующем: «Все, что вам необходимо,— это любовь к Кришне».

К сожалению, наши молодые люди, не знающие английского (или не слышавшие песню целиком) и не читавшие «Источник...», трактуют слово «love» в данной фразе как сексуальную любовь, что вслед за ними делает и Жуховицкий (не знаю, как у него с английским, но «Источник...» он тоже явно не читал. А зря).

Если честно, то мне бы очень хотелось, чтобы справедливость восторжествовала и досадная ошибка, столь грубо искажающая смысл этого возвышенного поучения, была наконец исправлена. Сейчас, в эпоху гласности и всеобщего плюрализма, это ведь можно?

А. Кутуков, г. Москва

«Эротика и литература». Можно представить, какое количество людей откликнется на предложение принять участие в этой дискуссии. Без особой надежды на то, что мой голос будет замечен, выскажу несколько суждений по ряду аспектов этой темы.

1. Я бы поставил вопрос так: порнография и эротика («эротография», эротическая литература) — это не два класса предметов, не два класса явлений, а два типа отношений, два типа установок. Иначе говоря, суть проблемы не в том, что и как изоб-

ражается, а в том, как к этому изображаемому относится воспринимающий субъект.

Если я вижу в романе устраивающую меня моральную ситуацию — это эротика, извращенная эротика, изображение патологической эротики. Если же я воспринимаю описываемое как нравственно для меня неприемлемое, пусть без подробного описания, это для меня — порнография.

Вот почему очень верно сказал один автор (к сожалению, не могу воспроизвести точно): роман Набокова «Лолита» не является порнографическим, ибо явственно ощущается неприемлемость описываемого, нравственное осуждение героя. При таком условии — совпадении нравственных постулатов читателя и нравственной оценки (при помощи специфически художественных средств), содержащейся в тексте, никакая степень подробности или патологичности, физиологичности или девиантности описываемых сексуальных действий не может быть признаком порнографичности произведения.

Итак, мне кажется, что я изложил вполне дискутабельный теоретический критерий для различения эротики и порнографии (не анализ приемлемости описываемых форм сексуальной активности, а анализ общетекстовой нравственной оценки), который переводит проблему в русло более глубокой проблемы — какие формы сексуальной активности нравственны в современном обществе.

2. Пересказывая вкратце основные положения своей и без того краткой статьи (Борисов С. Б. Эротические тексты как источник сексуального самообразования — «Социологические исследования», 1989, № 1, с. 81—84), изложу свою позицию.

Чтение эротических/порнографических (в статье эти понятия не различаются) текстов является необходимым фактором формирования полового влечения (у девушек). Отсутствие официальных эротических художественных текстов побуждает девушек обращаться к рукописной порнографической «художественной» литературе. Поэтому необходимо издание массовым тиражом художественных текстов, где бы отношения полов изображались в рамках (общеприемлемых) нравственно одобряемых (для данного общества) принципов (см. с. 83—84). Иными словами, я сторонник литературной эротики.

3. Разрешите вкратце коснуться еще одного немаловажного среза проблемы. Бедность и/или неприемлемость разговорного эротического языка, о которой пишет Ю. Поляков,— это гигантский камень преткновения для осуществления даже элементарных половоспитательных операций. Представьте-ка одинокую учительницу (упоминаемую Л. Петрушевской), вымучивающую в 10 классе с учительского места слова «менструация» «мастурбация», «эрекция» и прочая, прочая, ежели, например, первое из них практически не употребляется даже во «внутриженских» разговорах, что же до половых органов, то они помимо «матерного» выражения иных эквивалентов в обыденной жизни практически не имеют «Социальный заказ» на «конструирование» ненапряжённой, естественной по звучанию для русского языка половой лексики существует давно, однако никаких сдвигов не наблюдается. Мне кажется, помощь может прийти из зарубежной, в том числе и русскоязычной эротической литературы. Любопытно, кстати, имеющее хождение в некоторых русскоязычных кругах Латвии слово «фетка», обозначающее женские половые органы. Связь с гоголевским «фетюком» бесспорна. Не создаст ли широкая публикация различных русскоязычных и переводных иностранных текстов предпосылок для преодоления эротической немоты русского народа?

4. И последнее. Предложение Ю. Полякова пустить в прокат склеенные кусочки эротических моментов из разных фильмов весьма остроумно, но — увы — уже осуществлено. Из рассказов «зрителей» я узнал, что в воинских частях (вероятно, не только в них) еще в годы «застоя» предприимчивые киномеханики «крутили» солдатам подобным образом скомпонованные «ленты». Так что дело за немногим.

На этом разрешите закончить затянувшееся письмо.

С уважением,
Борисов Сергей Борисович,
ассистент кафедры философии
и научного коммунизма
Шадринского гос. пед. института,
1963 г. р.

Здравствуйте, дорогие товарищи редакторы многострадальной «Иностранной литературы».

Приветствую ваш «Резонанс» (наконец-то вы все чаще и чаще начинаете общаться с вашими читателями).

Прочитал тему дискуссии «Эротика и литература» и не могу не высказать свое мнение.

Полностью согласен с Юрием Поляковым «Об эротическом ликбезе...». И я уверен, большинство подписчиков и читателей «ИЛ», прочитав, скажут ему за это большое спасибо! Спасибо за правдивую статью, развенчавшую нашу «коммунистическую эстетику», наше «политическое лицемерие» — перед своим народом.

Хоть я и понимаю, что вся редакция «Иностранной литературы» коммунисты, и все это останется заигрывающими дискуссиями с читателем, а проще говоря — с толпой, по их понятию, жаждущей клубнички. И не более.

Будем реалистами, до сегодняшнего дня у нас политика партии управляла и управляет искусством.

Одна только лицемерно переделанная цитата Ленина: «Искусство должно быть понятно народу» — дала хорошую почву для «...общественно-политических издательств». Ведь, по сути, у нас в стране нет ни одного «общественного» журнала, который был бы вне политики партии.

И наш многострадальный журнал «Иностранная литература» тоже политический журнал. А где как не в нем показывать всю многогранность культур нашей земли. И о каких мировых художественных шедеврах можно говорить, если все они доходят до нас через сито редакторов...

«Сито», «ножницы» пока еще существуют! И не просто «вдруг» у нас упала челове-

ческая культура — ее просто уничтожали, навязывая свою «тоталитарно-политическую».

У нас сейчас, ввиду «гласности», появилась мода дискутировать на тему «эротики», «секса».

А то страшное, что у нас появились медицинские консультации сексопатологов (от нашего всеобщенародного невежества),— не многие полностью понимают, точнее боятся это признать.

Воспользуюсь приемом Юрия Полякова, сравнив секс с едой. Выходит, что даже сейчас, в период гласности, наши рьяные блюстители нравов считают, что лечить «рак желудка» по коммунистической морали лучше, чем дать человеку разнообразную духовную пищу мирового человечества.

Ведь, напечатав в свое время, да даже сейчас, такие художественные шедевры, как «Камасутра» и многие другие,— разве появились бы у нас медконсультации сексопатологов. Ведь именно к ним обращается большинство, а не к сексологам. Каждый третий разведен!

А пока, уважаемый читатель, с тобой просто заигрывают в «плюрализм и свободу слова» — давая скудную витаминами пищу.

Вот истинная цитата В. И. Ленина (если уж мы не можем без политических догм): «Искусство должно быть понято народом». И «Улисс» Джойса, написанный для нас, дорогой читатель, еще в начале уже кончающегося века, дает еще раз это понять.

P. S. Поспорил с ребятами по работе, что это письмо, адресованное в «Нашу почту» «Резонанса», так и не будет напечатано. Потому что подрывает редакторские устои.

Буду рад, если ошибусь.

Архипов Владимир, 27 лет, рабочий, Сахалинская область

...После первоначального осмысления содержания эссе Д. Лоуренса «Порнография и непристойности», опубликованного в нашей стране через 60 лет после его первой публикации за рубежом, создается впечатление, что автор еще в те далекие годы ставил своей целью поднять эротические проблемы на самый гребень волны демократического подхода и понимания.

С высоты той волны невольно хочется признать неправоту «доброй нашей женщины», о которой упоминает Ю. Поляков, поспешившей на одном из телемостов с испугом ответить своему зарубежному оппоненту: «Да что вы, никакого такого секса у нас нет!» Ю. Поляков предполагает, что она, наша добрая советская женщина, просто погорячилась, но можно также допустить мысль и о том, что наша соотечественница не погорячилась, а сказала честно и откровенно, полагая в своей наивной искренности, сформированной в застойные времена не ею самой, а обществом и государством, что секс — это не все то, что относится к половой жизни, а все то, что относится к крайней непристойности и цинизму в половой жизни. И в таком понимании секса нет и доли вины нашей соотечественницы, но есть большая вина идеологического аппарата нашего общества, который, «заботясь» о нашей нравственности, остерегая и формируя ее на свой лад, уводил нас в сторону от истины не только в области политических, экономических, социальных, но и эротико-эстетических вопросов. И уж если мы благодаря такой идеологической обработке не совсем верно истолковываем понятие секса, то такие составляющие синонимического ряда, предложенного Ю. Поляковым, как «коитус», «соитие», и вовсе режут наш слух, пугая своей «заграничной извращенностью».

Да, нам крайне необходимо повысить свой культурно-эстетический уровень в вопросах эротики и секса, повысить не только с целью устранения того нездорового любопытства к порнографической продукции, по которому быстро узнают наших соотечественников за рубежом, из-за которого внутри страны ловкие дельцы и начинают успешно стричь купоны на секс-видеофильмах, но и с целью совершенствования своего знания и понимания интимных отношений.

Именно поэтому хочется разделить уверенность Ю. Полякова в том, что со временем и у нас появятся солидные монографии по вопросам секса, именно поэтому хочется согласиться и с призывом Д. Лоуренса бороться с настоящей порнографией, которая «почти всегда на нелегальном положении... таится, не рекламируя себя», которую, однако, можно легко обнаружить по «тем наглым выпадам, которые она позволяет в отношении секса и духовности человека».

...Ироническое сомнение Л. Петрушевской в том, что освобожденные, чистые эротические переживания в духе Боккаччо нам не позволяет формировать наша удручающая действительность, имеет, увы, все права на свое существование. Да, ни о какой освобожденности и тем более чистоте эротических переживаний не может быть и речи, если они, эти переживания, осуществляются в подсобках среди ведер и швабр, в кустах домов отдыха, в подъездах, на семинарах «по распр. перед. опыта»... Безусловно, что в вышеперечисленных местах может иметь место секс, вот только какого уровня и с какой гаммой переживаний...

Таким образом, хотим ли мы этого или нет, но придется все же признать, что правильное понимание секса очень жестко связано с экономическим, социальным и эстетическим уровнем развития, с той реальной действительностью, которая нас окружает.

И если общество не в состоянии обеспечить своим членам этот необходимый уровень, то поневоле удовлетворение своих потребностей может переместиться в чисто физиологическую сферу, и тогда секс станет лишь порнографией и непристойностью, приобретет ту неразумную бесстыдность, которую мы часто наблюдаем на улицах в период «кошачьих» и «собачьих» свадеб. И если эта неразумная бесстыдность наших «младших братьев» все же ограничивается Природой и имеет периодический характер с большей направленностью на продолжение рода, чем на удовлетворение похоти, то физиологические возможности человека, наделенного в отличие от «младших братьев» разумом, не ограничиваются ни этим разумом, ни Природой, если из всех жиз-

ненных потребностей есть возможность удовлетворить лишь физиологические. Примером тому могут послужить немалые случаи сексуальной распущенности в беднейших слоях народов царской России.

Вот почему, с учетом нашей нынешней действительности, в которой, увы, не смогли разобраться более 2000 депутатов нашего первого Демократического съезда, вряд ли можно расставить все точки над «и» в вопросах секса, даже если напечатаем тысячи прекрасных монографий с самыми тщательными инструкциями по эстетике секса...

...Полагая, что секс есть собственность интимных отношений лишь двух личностей, ни в коей мере не следует его понимать как безоговорочное право мужа на свою жену, или, наоборот, как на личную собственность. Да, сокровенность быть должна, должна быть и собственность, но не друг на друга, а на те интимные отношения, которые формируются супругами. Только при таком отношении к сексу возможно взаимное уважение и правильное формирование секса как взаимной собственности, формирование без попирания личностных достоинств, напоминанием, например, о «супружеском долге», одновременно с необязательностью соблюдения собственного супружеского и гражданского долга.

Только при таком отношении к сексу будут исключаться мнения, которыми справедливо возмущается Д. Лоуренс, мнения о том, что после половой связи с женщиной должно восторжествовать мужское достоинство и унизиться женское, что после этого женщина становится более недостойной и презренной.

Да, секс нельзя переводить на позиции мнений его эквивалентности «стакану воды», но его также нельзя определять лишь с позиций верности «супружескому долгу», это будет противоречить пониманию секса как глубоко личной, сокровенной и задушевной близости. К сожалению, у нас еще немало таких семей, в которых абсолютно отсутствует возможность существования «сокровенной и задушевной», но зато просматривается глубочайший диктат «супружеского долга», приводящий порой к таким действиям со стороны мужа, которые можно однозначно расценить как преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности.

Говоря о проблемах отношения к сексу в условиях современной действительности, хотелось бы отметить нежелательность автоматического копирования опыта Запада в этом вопросе. Да, мы можем и должны поучиться у Запада и в вопросах становления и развития демократии, и в совершенствовании экономики страны, и в укреплении научно-технической базы, однако нам обязательно нужно учитывать и свою мораль, свои нравы, обычаи и традиции, формировавшиеся в совершенно новых и иных социальных и политических условиях государственного строительства.

Да, демократия — это свобода. Да, демократия — это гласность. Да, демократия — это раскрепощенность человека как личности. Но именно потому, развивая демократию, на основе плюрализма мнений, увеличивая свободу, гласность и раскрепощенность во всех сферах нашей жизни, надо все же очень ответственно относиться к свободе, гласности и раскрепощенности в области интимных отношений. Все-таки не следует сводить интимные отношения к таким отношениям, когда они становятся настолько примитивными и безличностными, что секс вдруг превращается в сплошную порнографию и непристойность.

И вновь, возвращаясь к ответу, поспешно-стыдливому ответу нашей соотечественницы, что у нас нет секса, хочется, с учетом вышеизложенного, опять задать себе и другим вопрос: «Так есть ли у нас секс?» Секс в том его понимании и осмыслении, в которых хотели бы его видеть граждане нашей страны...

С наилучшими пожеланиями,
Владимир Канов. 37 лет,
инженер,
г. Красноград, Харьковской области

Эротика и литература?

Во-первых, эротика была, есть и будет, пока будет человечество. Низменные инстинкты? А кто вправе судить то, что создала Природа? Может, конечно, нравственнее научиться любоваться женщиной в оранжевой куртке дорожных рабочих и решительно плеваться в сторону «безнравственности» конкурсов красоты. Может, нравственнее, что мы довели женщину в нашем обществе до уровня бесполой рабочей скотины? Я слышал выступление Распутина на съезде, где он упрекал теле и радио и литературу в развале морали у молодежи. Да, в нашем новом обществе, созданном на основе гуманных теорий, пороков оказалось больше, чем в «старых». Да, мы оберегали общество от эротики, но откуда бездуховность, подвалы, кусты, притоны, проституция и просто шлюхи?

Япония, США и т. п. открыты для эротики и почему-то не сгинули в пучине разврата, а по уровню жизни (куда входят продолжительность жизни и экономика жизни) гораздо выше нас, и порядочные люди там не вывелись.

Если литература делает искусственно упор на патриотизм («Целина», «Возрождение»...) — это нравственно?

Если молодежь не только не может свободно ознакомиться с тем, что создало человечество, но и вообще лишена в своей стране книг, кроме «Как закалялась сталь», «Судьба человека», «Повесть о настоящем человеке» и т. п., это нравственно?

Человека нельзя, невозможно научить жить и жизни никому, даже самым гениальным деятелям культуры и общества, любыми заключениями любых комиссий о том, что нужно и можно людям, а что нет.

Человек должен научиться морали САМ на основе доступа (свободного!!!) ко всей человеческой, мировой культуре и плохой и хорошей. В человеке Природа заложила отличный инстинкт самосохранения, и можно не сомневаться, что выбор морали будет им осуществлен как надо. Нужно не лишать человека информации (в наше время это и невозможно), а, наоборот, дать ему все, что есть в жизни.

Посмотрите, как мудро сделала религия. Она не пошла по пути безоговорочного от-

рицания пороков человека. Вначале она перечислила пороки человека, а затем на конкретных ситуациях (в Библии) из жизни царей и т. п. показала, к чему этот порок привел. Отрицая пороки, она их показала на ярких жизненных примерах.

Библия убеждает, а не прячет эти пороки от людей.

Можно закрыть глаза людям, что у нас ничего в мире «такого» нет. Но надолго ли можно держать человека на привязи? Даст ли это идиллию социализма, когда все всё равно знают, что на Западе есть что-то необычное, и это необычное стараются достать. И вот продают видеокассеты «оттуда», открытки и т. п. Можно стоять посреди человеческой культуры, засунув голову в песок, как страус, но даст ли это здоровое общество?

Культура не может быть только социалистической или капиталистической, она общая — ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ.

Плоха или хороша эротика? Не знаю. Но она есть, и, значит, о ней должны знать все!!! В этом я абсолютно уверен, как и в том, что каждый человек способен ничуть не хуже Распутина разобраться, нужна ему лично эта эротика или нет.

Настоящая литература обязана показать ВСЮ жизнь. И никакие редакторские ножницы не спасут общество от разврата и т. п. Эта миссия находится не у ножниц и не у редактора, а у всех людей планеты, вместе взятых. Мы не можем идти вместе со всем миром и порознь. Мы ЕДИНЫ на планете.

Можно о себе: 39 лет (рабочий-шахтер), есть сын и дочь.

P. S. Не надо «сахарить» жизнь и делать вместо ее самой муляж из чистых грез.

Мы уже старались показать, что наш строй самый сахарный. Только полная и всесторонняя правда без всяких запретов обо всем может произвести здоровую морально личность.

И. Б. Минаков,
г. Белово
Кемеровской области

...Современная периодика отказалась от взгляда на мир через розовые очки и очень гордится этим. Хотя оснований для гордости не так-то много. Невооруженный взгляд, естественно, принес массу новых впечатлений. Но благостные картинки недавних лет еще свежи в памяти. Противоречивые образы теснят друг друга, взаимопроникают и переплетаются, образуя причудливые узоры. В результате складывается весьма пестрое панно, по стилю близкое скорее к эклектике, чем к плюрализму. Так что само по себе обращение к ранее запретной теме еще ничего не значит. И у меня нет желания хлопать в ладоши в честь предложенной журналом дискуссии «Эротика и литература». Но высказаться по существу стоит.

К сожалению, из трех публикаций, положивших начало разговору, наиболее убедительным выглядит эссе Д. Г. Лоуренса, написанное в далекой Англии 60 лет назад. Наши же современные авторы оказались, увы, не на высоте. Людмила Петрушевская высказывается эффектно, но о чем? Вчитываюсь в ее язвительные фразы, оцениваю их остроумие, но не могу понять, какое отношение они имеют к любви, эротике, сексу. Ведь речь идет о чем-то неприличном, грязном, том самом, что под похабный хохоток, с пьяным энтузиазмом обсуждалось в пивнушках, пока их еще не истребили. Чего стоит даже не допущение, абсолютная убежденность, что свободная любовь немыслима под сенью супружества. Так и веет одной из «попыток оскорбить секс», против которых направлен весь пафос Лоуренса. Да и не только секс. В итоге вроде бы и меткие выстрелы получаются, но совсем по другой мишени.

Что же касается Юрия Полякова, то он пустился в такие теоретические изыски, за которыми суть дела почти не просматривается.

Но в чем оба автора сходятся, так это во взгляде на нашего читателя как на туповатого переростка, черпающего информацию о взаимоотношениях полов либо из идеологически выдержанных брошюр общества «Знание» тридцати- пятидесятилетней давности, либо из скабрезных надписей на стенах мест общественного пользования.

Ну зачем же так? Не скажу, что советский читатель избалован эротической литературой, но ведь и не лишен же ее начисто. Ему всегда были доступны и Апулей, и тот же Боккаччо, и Цвейг, и Мопассан, и прелестные сказки «Тысячи и одной ночи». При желании можно было свободно познакомиться с поэмами Василия Львовича Пушкина, не говоря уже о «Гаврилиаде» и «Царе Никите» его гениального племянника. А если вспомнить о героических усилиях, предпринимавшихся самиздатом, дабы одарить нас официально непризнанными зарубежными и отечественными шедеврами, среди которых хватало и эротических, то следует признать, что не такие уж мы обделенные. И отнести крайность позиции уважаемых авторов на счет модного ныне унижения паче гордости...

Напрасно Петрушевская так уверена в легкости, с какой можно писать о сексе. Тема эта ничуть не легче, как, впрочем, и не труднее любой другой. Но специфика все же есть. Учитывая относительную бедность нашей эротической библиотеки, можно смело утверждать, что любое детальное описание полового акта в литературном произведении вызовет к нему огромный читательский интерес независимо от того, на каком уровне и с какой целью оно было сделано. Халтурщики, как правило, пишут быстрее, так что мы рискуем столкнуться с потоком низкопробного эротического чтива. Но вытеснить низкопробную литературу может только литература более высокой пробы, а достичь зрелости можно, лишь пройдя сквозь все перипетии развития. И уж, во всяком случае, перестав смотреть на любовь через замочную скважину.

Порнография возникает там и тогда, где и когда стараются соблюсти мнимую благопристойность и закрывают глаза на естественные проявления человеческой природы. В этом Лоуренс безусловно прав. Соответственно и проблема секса в постановке «прилично — неприлично» вряд ли представляет собой объективную человеческую проблему (сама жизнь решает вопрос однознач-

но) и не является всеобъемлющей во времени и пространстве. Его, скажем, не слишком обеспокоила Индия. Там издревле существует достаточно высокая эротическая культура. В гораздо меньшей степени присущи подобные проблемы мусульманским странам. Не знал их античный мир и наши предки славяне в пору язычества. Да и «Песнь Песней», честно говоря, не ориентирована на радеющих об умерщвлении плоти монашков.

А вот для христианства интересующий нас аспект проблемы весьма характерен. Христианская церковь в эпоху средневековья основательно извратила взгляды на физическую природу человека вообще и на сексуальную в особенности. Преодоление извращений шло не просто и не быстро. Первый мощный всплеск принесло Возрождение, но волна вскоре угасла, и в последующие годы шли разве что редкие круги по воде. Следующий заход состоялся уже в XX веке, и тут дела пошли куда активнее. Но освобождение от многовековых догм закономерно вызывает перекос в противоположную сторону. Поэтому завышенный, неадекватный интерес к сексуальной сфере какое-то время неизбежен. Уйдя от пуританской морали, пережив стадию повальной гиперсексуальности, люди возвращаются к естественному взгляду на секс, обогащенные опытом и знаниями.

В Западной Европе этот процесс близок к завершению, хотя не думаю, что и там все гладко. Мы в него только вступаем. Чрезмерная приверженность теории классовой борьбы долгое время застила нам все остальные стороны человеческого существования, в том числе и сексуальную. Незаметно для самих себя мы оказались в положении опоздавших и теперь вынуждены все начинать заново. Так не будем же ударяться в панику из-за того, что в начале пути излишнее смакование физиологических подробностей любви приобретет широкую популярность. Вкусив запретного плода, люди довольно скоро разберутся, что, хотя секс и есть прекрасный дар природы, пользоваться им нужно умело. И придаваться сему блаженному занятию все-таки лучше вдвоем с особой противоположного пола, к которой чувствуешь искреннюю симпатию. Хотя варианты и не исключены. Наконец, нам придется вспомнить, что, по выражению И. Бродского, дети — оправданье нашей наготы, и любовное наслаждение отнюдь не отменяет ответственности в любви. А подкрепить ответственность можно только соответствующей культурой.

В. Кутин, г. Киев

Уважаемая редакция!

Если начинать серьезный разговор о сексе, то прежде всего надо уточнить, на каком языке разговаривают любовь и секс. Мать выражает свою любовь к ребенку прежде всего поцелуями. Даже в голосе важны оттенки любви, а не конкретное значение слов. В сексе естествен язык осязания. Широко доступный, не зависящий от интеллектуального развития, имеющий тысячи оттенков, он позволяет всем без исключения людям выражать и находить сладость любви и секса. Но он же и предопределяет сокровенность, потому что на оттенки осязания очень действует окружающая обстановка: холод, дождь, посторонние люди. Даже присутствие животных меняет оттенки осязания. Попытка подменить естественный язык секса другим, например разглядыванием или рассуждениями, невольно вызывает внутренний протест, потому что лишает человека специфичного только для любви и секса комфорта осязательности. Такая подмена похожа на те ненужные лекции перед исполнением симфонических концертов, в которых объясняется, какие леса, луга и т. п. изобразил автор в музыке. Это вносит только дискомфорт в личное восприятие музыки. В любви язык осязаний очень тонок и легко заглушается памятью разума, тем, что видел, слышал, читал. Это может привести к катастрофе сексуальных отношений, то есть лишить человека природой данной ему сладости бытия. Внутреннее чутье толкает большинство людей на защиту этого сокровища, то есть к «пошлой сокровенности» и к отрицанию несвойственных сексу языков выражения. Наиболее беззащитна, как всегда, молодежь. Она-то и оказывается обкраденной всевозможными торговцами «сексуального просвещения» (к ним отношу и Д. Г. Лоуренса).

Раскрытие тайны — большое удовольствие не только для ученых, но и для любого человека. Дети очень стремятся раскрывать тайны. Первые сексуальные впечатления особенно потрясающи, если они сопровождаются приоткрытием тайны обнаженного тела. Чтобы не обкрадывать чувства собственных детей, хотелось бы, чтобы эти тайны не раскрывались до тех пор, пока дети не созреют. Раньше на сакраментальный детский вопрос «откуда берутся дети?» родители отвечали: «рождаются»; и дети не задавали других вопросов, потому что понимали: рождение — это чудо появления нового, а чудо не требует объяснения. Сейчас же «просвещенные» родители пытаются рассказывать детям о мамином животике и т. д.

И все-таки сексуальное просвещение необходимо, но в рамках основной его цели: сохранение здоровья, предупреждение нежелательных беременностей и инфекционных заболеваний. Способствуют ли этому фотографии обнаженных женщин, которых так много на современных выставках? Конечно нет. Строгие учебные телерекламы по гигиене половой жизни, по применению контрацептивов и презервативов очень бы помогли этому делу.

Интеллектуалы утверждают, что есть еще одна достойная цель сексуального просвещения: раскрыть полноту языка осязания и разнообразие сопутствующего ему мира звуков, запахов и т. п. Но если говорить откровенно, то, имея соответствующее окружение и обстановку (права Л. Петрушевская), люди и сами без сексуального просвещения очень быстро справляются с этой задачей. Грань же, разделяющая созидательное от разрушительного в подобном просвещении, очень условна и меняется в течение жизни даже у одного человека. Это прекрасно чувствовали писатели прошлого века.

Надеюсь, в своей подборке отзывов вы предоставите место не только тем, кто за безудержное сексуальное просвещение.

Л. И. Воробьева, Москва

Болгария

VI СЪЕЗД БОЛГАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ — ЭТАП ДУХОВНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ

Важным событием литературной жизни страны стал VI съезд болгарских писателей. Впервые съезд был лишен какой-либо парадности, впервые не были приглашены зарубежные гости, дабы ничто не мешало тому откровенному разговору, который и состоялся на нем.

С отчетным докладом выступил возглавлявший в течение десяти лет Союз писателей известный поэт Любомир Левчев. К начавшейся в Болгарии перестройке, заявил он, нас привел путь развития, намеченный генеральной линией партии. Ежегодные апрельские дискуссии болгарских писателей, в ходе которых обсуждались итоги литературной работы, можно назвать подготовительными курсами для поступления в школу гласности, которая открылась сегодня. Многое еще надо сделать, чтобы окончательно сбросить с себя груз прежних идеологических предрассудков и стереотипов. Однако признание своих ошибок ни в коей мере не означает отказа от социалистических идеалов, а плюрализм, о котором сейчас столько говорится, подразумевает различные взгляды на совершенствование социализма.

После доклада развернулась острая и страстная полемика, в ходе которой выступили литераторы, долгие годы не принимавшие участия в работе Союза. Была осуждена сложившаяся в его руководстве практика, когда одни писатели (в основном занимавшие высокие посты) благоденствовали — их книги широко издавались, им присуждались премии, предоставлялись зарубежные командировки, — в то время как другие, не менее достойные, оставались в тени, а творческие и социальные проблемы, затрагивающие интересы большинства членов Союза, не решались. Критические замечания были высказаны и по докладу. Как пишет «Литературен фронт», указывалось, что за красивыми словами докладчика не всегда стоят дела.

Много внимания было уделено и вопросу очищения от догм сталинской эпохи, которые нанесли ущерб и болгарской литературе. В этой связи говорилось о влиянии на умонастроения болгарских писателей процессов, происходящих в наши дни в культуре Советского Союза, о значении опыта, нередко горестного, русской и советской литературы. Подчеркивалась необходимость более глубокого анализа ряда страниц истории болгарской литературы XX века, переоценки некоторых ее явлений и имен, а также издания тех, правда немногочисленных, произведений, которые не публиковались по идеологическим соображениям.

Новым председателем Союза писателей был избран поэт Павел Матев, которого советские читатели знают по выходившим на русском языке сборникам стихов. Давая оценку прошедшему форуму, П. Матев, как сообщает «Литературен фронт», отметил: пришло время бесстрашно всмотреться в себя, признать, что наши представления о развитом социалистическом обществе оказались идеализированными и неверными, что мы только начинаем строить истинный социализм на основе законности, совести и нравственности, что наши дискуссии нередко были организованными и превращались во взаимные реверансы, что плюрализм взглядов нам просто жизненно необходим. Теперь прежде всего нужны нормализация обстановки в Союзе писателей, создание климата, благоприятного для творчества всех литераторов сокращение аппарата, предоставление большей самостоятельности секциям и редакциям его печатных органов. Обновленный Союз должен стать центром духовной жизни в новых условиях перестройки общества в целом.

Великобритания

ОБ ЭТОМ ПОМНЯТ МИЛЛИОНЫ

Во время второй мировой войны из Великобритании было эвакуировано три с половиной миллиона детей, однако историки и писатели почему-то обходили вниманием это событие, которое по масштабности и последствиям обозреватель

Иллюстрация к книге «Не успев попрощаться».

(Журнал «Лиснер»)

журнала «Лиснер» Филип Оукс сравнивает с Дюнкерской операцией. Исключение, да и то частичное, составляют, пожалуй, лишь роман Ивлина Во «Флагов не жалеть» и пьеса Джека Розенталя «Эвакуированные».

Теперь же к ним добавилась книга под названием «Не успев попрощаться», выпущенная издательством «Блумсбери». Ее автор, журналист Бен Уикс,— один из тех детей, которые «и по сей день, полвека спустя, зализывают нанесенные войной раны». В газетах разных стран Уикс поместил объявления с просьбой присылать ему воспоминания. Ответы почти восьми тысяч людей, переживших в детстве эту эвакуацию, и легли в основу книги.

«Читать такие правдивые, непридуманные рассказы порой тяжело,— отмечает рецензент. — Напуганные, замученные, уставшие от долгой дороги дети сталкивались с поразительным равнодушием встречавших их «опекунов». По прибытии очередного конвоя детей, словно на невольничьем рынке, разбирали по домам, причем симпатичных принимали охотно, а ребятишки, скажем, с прыщами или в очках неизбежно попадали в «неходовую партию». Разумеется, возникало множество проблем, связанных с социальным положением, вероисповеданием, образовательным и культурным уровнем «гостей» и «хозяев», с различиями быта и жизни в Вебикобритании и США. Все это сказалось на дальнейших судьбах детей, пишет Ф. Оукс.

«Не успев попрощаться» — сборник ценных своей подлинностью, волнующих и зачастую трогательных свидетельств очевидцев. Хотя книга, по мнению рецензента, «сделана добросовестно», затронутая тема все же «заслуживает еще более основательного и значительного исследования».

ГДР

УСПЕХ СО «ВЗЛОМОМ»

«Работа редко бывает благодарным трудом. Деяние — всегда». Это кредо профессионального «специалиста по сейфам» Маркварда пошатнулось, не выдержав проверки суровой действительностью в разрушенном Берлине 1946 года. Бывший «медвежатник» зарабатывает хлеб свой насущный на панихидах, благочестивыми речами провожая ушедших в мир иной и призывая оставшихся не покидать стези добродетели. Однако, несмотря на то, что его безгрешный труд (приравненный к труду свободных художников и других представителей творческих профессий) дает ему продуктовую карточку первой категории, Марквард — в душе — стремится к большему. Человек слаб, убеждения его тленны, как и он сам, да и слова старинных приятелей Маркварда Графа и Любовица о совершенно беспроигрышном плане и о том, что грешно раньше времени зарывать свой талант в землю... Несколько дней спустя была поколеблена казавшаяся комиссару уголовной полиции Кольморгену непреложной истина: «под Рождество всякий немецкий преступник предается отдохновению». Ибо именно в святочную ночь в самом центре Берлина взломанными и обчищенными оказались сейфы в главном управлении имперских железных дорог, где побывало упомянутое выше трио злоумышленников.

Шумным успехом был отмечен выход на экраны ГДР кинокомедии «Взлом», снятой на студии ДЕФА популярным в стране кинорежиссером Франком Байером (его предыдущие картины, такие как «Жак-фаталист», «Остановка в пути», были неоднократно удостоены различных наград) по сценарию Вольфганга Кольхаазе.

Картина, в основе которой лежат действительные события, происходившие среди развалин бывшей столицы рейха, «не должна была превратиться ни в репортаж, ни в реконструкцию этого дела»,— приводит слова Ф. Байера западногерманский журнал «Синема». Ничего подобного не произошло. Получился веселый, «полный ироничной серьезности» фильм. В значительной степени, отмечает «Синема», это произошло и оттого, что троицу злодеев, работающих «по ту сторону» закона, блистательно сыграли великолепные актеры, признанные звезды театра и кино, которым для работы над этим фильмом пришлось преодолеть две государственные границы: Рольф Хоппе (Марквард), живущий в Западном Берлине Отто Зандер (Любовиц) и западногерманский актер Гёц Георге (Граф).

Рольф Хоппе и Отто Зандер в фильме «Взлом».

(Журнал «Синема»)

Индия

БХАРАТИ МУКЕРДЖИ — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ АМЕРИКАНСКИХ КРИТИКОВ

Национальная премия американских критиков за 1988 год присуждена 48-летней Бхарати Мукерджи за сборник «Посредник» и другие рассказы». Как сообщает в журнале «Тайм» Эмнли Митчелл, авторитетное жюри из 485 критиков и редакторов выбрало эту книгу, считая, что Мукерджи, индианка по происхождению, «добавила еще одну яркую главу к образному повествованию о жизни иммигрантов в США». Это событие стало вехой на творческом пути писательницы, начавшемся около сорока лет назад в Индии, когда девятилетняя Бхарати написала свой первый роман о девочке-сыщике, навеянный, по ее признанию, чтением английской литературы.

Детство и юность Б. Мукерджи прошли в Калькутте, где дочь состоятельного химика-фармацевта закончила университет, получив несколько ученых степеней. Поощряемая родителями, Бхарати решила продолжить обучение, совершенствуя писательское мастерство в университете штата Айова, и в 1961 году уехала из Индии. Долгое время жила и рабо-

тала в Канаде — на родине мужа, писателя Кларка Блейза, затем переехала в США. За эти годы вышли в свет книги Мукерджи: «Темнота» — сборник рассказов о таких же, как она, американских иммигрантах, романы «Жена» и «Дочь тигра», другие работы. Вот что говорит писательница о себе в еженедельнике «Нью-Йорк таймс бук ревью»: «Оглядываясь вокруг, вижу меняющийся облик Америки. Но где, в каких книгах можно прочесть об этом? Кто напишет для нас, для новых американцев, приехавших из других стран?» «Подобно хамелеону», без особого труда воплощаясь в своих персонажах, Мукерджи, по ее словам, повсюду находит темы для новых рассказов — «по всей стране, на разных ступенях социальной лестницы». По мнению рецензента журнала «Тайм», основная идея ее произведений в том, что нельзя легко и без боли изменить заветам предков, прокладывая новые пути. Герои Мукерджи, пишет Э. Митчелл, не чувствуют себя настоящими американцами, хотя связи с родиной оборваны, казалось бы, навсегда. Автор статьи в воскресном приложении к индийской газете «Фри пресс джорнэл» Инду Сарайя считает, что Мукерджи прежде всего отражает в своих книгах мучительный, но неизбежный процесс ассимиляции. «Благодаря таким писателям, как Сальман Рушди и Бхарати Мукерджи,— отмечает Инду Сарайя,— упрочились позиции Индии на литературной карте мира».

Польша

КНИГА ГОДА

По результатам опроса читателей, проведенного еженедельником «Культура», «книгой 1988 года» признан роман Станислава Сроковского «Репатрианты». Успех этого произведения, считает «Культура», следует рассматривать как свидетельство возросшего интереса общественности к литературе «большой» и «серьезной» в ущерб так называемому «чтиву».

Имя С. Сроковского — поэта, прозаика и драматурга — хорошо известно в стране. Его роман-лауреат — вторая часть задуманной писателем трилогии о судьбах поляков, проживавших на «пограничных землях» Польши, Украины и Белоруссии. Действие «Репатриантов» происходит во время второй мировой войны, в одном из поездов, увозящих людей с насиженных мест в неизвестность. Повествование ведется от лица главного героя, крестьянского паренька, выросшего где-то на границе Подола и Волыни. Драму репатриантов поневоле, попавших в жернова истории, автор показывает тонко и в высшей степени человечно — насильственное переселение народов предстает в его изображении феноменом колоссальной разрушительной силы, не менее страшным, чем война и оккупация.

«Репатрианты» написаны в свойственной Сроковскому манере: его внимание сосредоточено не на фабуле, а на внутреннем развитии действия, на подтексте, звучащем сегодня, по мнению обозревателя «Культуры», весьма актуально. Так, воссоздавая среду совместного обитания людей разной крови и вероисповедания, писатель сумел очень точно передать особенности речевого строя населения «пограничных земель». Язык его персонажей — конкретное и вполне реальное свидетельство взаимопроникновения различных культур, формирования особого, характерного только для данных районов типа мышления.

Гармония межнациональных отношений, как бы говорит читателю С. Сроковский, складывается веками, разрушить же ее — дело считанных дней. И потому одна из важнейших задач современности — сохранить и приумножить, быть может, самое ценное на земле — совокупность национальных культур и традиций, обогащающих и дополняющих друг друга.

США

ВИРТУОЗНЫЙ ФИНАЛ С ГОРЯЩЕЙ ПАРТИТУРОЙ

В Далласе (штат Техас) состоялась премьера оперы «Письма Асперна», созданной известным американским композитором Домиником Ардженто. В основу либретто легла одноименная повесть Генри Джеймса.

Эта (двенадцатая по счету) опера шестидесятидвухлетнего профессора Миннесотского университета, лауреата Пулицеровской премии «удалась на славу», отмечает рецензент «Ньюсуика», называя ее «лучшим музыкальным прочтением Г. Джеймса». Действительно, Д. Ардженто сумел сохранить и блестяще переложить на музыку большую часть диалогов и повествования, передал дух и характер литературного произведения.

«Кто я такой, чтобы править самого Джеймса?» — вопрошает композитор. Но тем не менее он решился на смелое творческое переосмысление образа Асперна и более глубокое раскрытие взаимоотношений героев. При этом он опирался на «данные в книге намеки» писателя, поясняет «Ньюсуик». У Г. Джеймса главный герой — поэт (прообразом которого отчасти послужил П. Б. Шелли), у Д. Ардженто он — композитор (прообразом стал Винченцо Беллини, кстати, современник Шелли). Место действия перенесено из Венеции в Комо — «любимое местечко композиторов стиля «бельканто». Оставшиеся после смерти Асперна бумаги — не письма (как у Джеймса), а партитура оперы «Медея», за которой охотится его биограф. Таким образом, «Письма Асперна» — это, по выражению рецензента, «опера в опере». Подобный прием применялся и раньше (тем же Д. Ардженто в опере «Казанова»), но здесь он играет особую объединяющую роль, считает обозреватель.

Сюжетные ходы, привнесенные Д. Ардженто, имеют строгую логическую последовательность. Таков и виртуозный финал оперы, где одна из героинь сжигает страница за страницей хранившуюся у нее партитуру «Медеи». Вот как это объясняет сам композитор: «Я хотел, чтобы публика содрогнулась, видя, как у нее на глазах уничтожается произведение искусства. А горящие письма — даже если это письма Шелли, не говоря уж об Асперне,—

Ф. фон Штаде и Р. Стилуэлл в опере «Письма Асперна».

(Журнал «Ньюсуик»)

впечатляют не так сильно».

Успех премьеры могут по праву разделить дирижер Н. Решиньо, художник Дж. Конклин и режиссер М. Ламос. Настоящими «королевами сцены», безусловно, были известные певицы Э. Сёдерстрём и Ф. фон Штаде, «прекрасно владеющие любимым инструментом Д. Ардженто — человеческим голосом».

НЕНАПИСАННЫЙ РОМАН О'НИЛА

«Необыкновенно замкнутый человек, он остался загадкой даже для самых близких людей»,— пишет об известном американском драматурге Юджине О'Ниле обозреватель журнала «Лиснер» Кристофер Бигзби. Вышедшие недавно «Избранные письма Юджина О'Нила» по-новому представляют читателю жизнь и творчество их автора, интересен также подробный комментарий редакторов Т. Богарда и Дж. Брайера. «В сборник вошли 560 писем, и это лишь пятая часть всей переписки! — восклицает рецензент.— Поистине эпистолярное богатство О'Нила не уступает его плодовитости как драматурга».

Многие письма Юджина О'Нила сохранились, однако сам он не сберег ответов своих корреспондентов, поэтому перед читателями предстает только одна сторона диалога. «В результате мы как бы смотрим на всех глазами О'Нила — личности, тонко чувствовавшей малейший намек на фальшь, неискренность», — резюмирует К. Бигзби.

Юджин О'Нил, отмечает «Лиснер», был прекрасным драматургом, но безусловно мог бы стать и хорошим прозаиком. В этом смысле «Избранные письма» можно считать его ненаписанным романом: ведь письма — это предназначенная конкретному читателю проза.

Главным героем такого условного романа мог бы выступить сам автор — противоречивая натура, человек трагической судьбы. Он

Юджин О'Нил с Беатрис Эш.

(Журнал «Лиснер»)

жаждал любви — и с непостижимой твердостью одного за другим отвергал близких. Он создавал «лучшие классические американские пьесы» — и во многом презирал театр. Он, столько написавший, в последние годы молчал, пораженный тяжелым недугом.

В конце жизни сознание и память Юджина О'Нила были населены призраками прошлого, они проникли и в его пьесы, в частности в драму «Долгий день уходит в ночь», о которой он говорит в предпоследнем своем письме. Публикация переписки О'Нила, по мнению журнала, в определенной мере воздает должное одному из родоначальников американского театра. Ведь последние двадцать лет жизни признанного мастера, оказавшего огромное влияние на современное театральное искусство Америки, прошли в незаслуженном забвении.

В одном из писем молодого Юджина О'Нила сказано: «В глубине души все мы понимаем, что по логике вещей жизнь каждого из нас — несбывшаяся надежда, что всем нам уготована одна судьба — невозможность осуществить мечту. Но мы понимаем, что без надежды нет жизни, и до последнего вздоха стремимся к мечте, ибо вопреки доводам разума уверены: за этой надеждой стоит некий духовный смысл и где-нибудь в «цветущих краях» мы увидим, что все надежды были не напрасны».

ПРИТЧИ «АМЕРИКАНСКОГО МАФУСАИЛА»

Британский еженедельник «Таймс литерари сапплмент» сообщает о выходе в свет десятого по счету сборника рассказов и притч одного из старейших прозаиков США, лауреата Нобелевской премии Исаака Башевиса Зингера. В авторском предисловии писатель подчеркивает, что искусство, на его взгляд, «не должно бунтовать или злобствовать» — напротив в нем скрыт «созидательный и исправляющий потенциал». Акт художественного творения И. Б. Зингер уподобляет божественному акту сотворения мира и человека, и библейские мотивы не случайно служат основой многих рассказов, в частности новеллы «Смерть Мафусаила», давшей название сборнику.

Рецензент еженедельника Брайан Шейетт считает особенно удачным то, что наряду с относительно новыми произведениями здесь представлены и ранние работы «польского периода», написанные первоначально на идиш, например, «Иудей из Вавилона». Однако «американские» рассказы Зингера, созданные в последние годы, во многом близки «польским» новеллам.

По мнению Б. Шейетта, сборник обладает определен-

Исаак Башевис Зингер.

(Журнал «Магазин литтерер»)

ным тематическим единством: стержнем здесь являются «древние, вечные импульсы — зависть, ревность, вожделение». Перед читателем чередой проходят неприкаянные современники, щепками плывущие по жизненному потоку.

Кроме того, объединяет эти рассказы и столь характерная для творчества И. Б. Зингера «вера в торжество зла в современном мире», пишет еженедельник. Это убеждение прозаика вполне соответствует каббалистической доктрине «цимцум», выделяющей особую значимость зла в момент созидания.

Подобно герою рассказа «Обвинитель и обвиняемый», предстающему сразу в трех ипостасях — пишущего на идиш литератора, буддиста и католического священника,— Зингер всегда многогранен. И эту его многогранность с новой силой подтверждают новеллы сборника «Смерть Мафусаила», хронологически охватывающие почти весь период долгой писательской жизни И. Б. Зингера, считает «Таймс литерари сапплмент».

Тунис

«ДУНОВЕНИЕ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА»

Свержение «пожизненного» президента Аль-Хабиба Бургибы в результате бескровного переворота 7 ноября 1987 года способствовало оздоровлению обстановки в Тунисе, снятию многих запретов, наложенных прежним режимом. Стало легче дышаться писателям, журналистам, другим представителям творческой интеллигенции — отменены многие цензурные ограничения, покончено с практикой запрета и конфискации книг и газет, предания суду литераторов и артистов по произволу властей.

Об этих положительных изменениях свидетельствуют многочисленные со-

общения тунисской прессы. Так, еженедельник «Ат-Тарик аль-джадид» — орган Тунисской коммунистической партии — опубликовал недавно статью под характерным названием «Дуновение свежего воздуха». В ней сообщается, что судебные власти признали несостоятельными обвинения, выдвинутые при прежнем режиме против тунисских писателей — доктора Монсефа аль-Марзуки, автора публицистической книги «Пусть патриот проснется», и Хасана Бен Османа, автора сборника рассказов «Аббас теряет рассудок».

Правление Союза тунисских писателей выразило удовлетворение этим решением суда, добавив, что после оправдания Бен Османа оно считает необходимым снять запрет на его книгу подобно тому, как ранее был снят запрет на книгу «Пусть патриот проснется» и другие издания.

«Таким образом, — отмечает обозреватель «Ат-Тарик аль-джадид», — два писателя, которые жили более года в обстановке «кафкианского кошмара», свободно вздохнули, и вместе с ними испустили вздох облегчения многие писатели и читатели».

Статья «Дуновение свежего воздуха» была напечатана в «Культурном и литературном приложении» к еженедельнику «Ат-Тарик аль-джадид», которое выпускается раз в неделю с июня 1988 года. На страницах приложения освещается культурная жизнь Туниса, печатаются стихи, рассказы, интервью с деятелями литературы, искусства и науки, рецензии и заметки о новых книгах.

Франция

ФРАНЦУЗЫ В ОЖИДАНИИ ГОДО И КРЭППА

На французском телевидении закончились съемки сразу двух постановок по произведениям Сэмюэла Беккета — «В ожидании Годо» и «Последняя лента Крэппа», сообщает журнал «Нувель обсерватёр». Это первая за тридцать пять минувших лет телевизионная экранизация пьес Беккета, подчеркивает обозреватель Нита Руссо.

Фактически, продолжает рецензент, завершена работа над четырьмя постановками, поскольку обе пьесы были экранизированы одновременно на двух языках — английском и французском. Англоязычный вариант осуществила труппа театра «Сеи-Кентен» при поддержке компании «Вижуэл пресс» университета штата Мэриленд. Спонсором франкоязычного варианта выступила «Камера континенталь», в его подготовке участвовали Роман Поланский, Рюфюс, Ж.-Ф. Бальмер, Ж. П, Жорис, Р. Бертен, Ж. Карме.

Сцена из телеспектакля по пьесе С. Беккета «В ожидании Годо».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

Как известно, нобелевский лауреат весьма ревниво относится к своим произведениям: разумеется, он сам перевел на французский язык написанную по-английски пьесу «Счастливые дни», а на английский язык — «В ожидании Годо», созданную на французском. Он придирчиво следил за постановкой «Конца» в «Комеди Франсез» (1988). Не менее щепетилен известный драматург и романист в отношении своей частной жизни: упорно избегает встреч с журналистами (на одной из редких пресс-конференций, например, появился, закурил сигару и... скрылся, не сказав ни слова), крайне редко допускает к себе одного-единственного фотографа, причем негативы всегда оставляет у себя.

Свой официальный многолетний запрет на телепостановки пьес С. Беккет отменил лишь при условии, что режиссером будет Вальтер Асмус, которому драматург «доверяет как самому себе». Еще в 1974 году они осуществили совместную постановку «В ожидании Годо» в Западном Берлине. После этого немецкий режиссер ставил пьесы Беккета в театрах Чикаго, Лондона, Дублина, Копенгагена и Кракова. На вопрос Ниты Руссо о том, почему выбор пал именно на него, Вальтер Асмус, улыбнувшись, отвечает: «Есть несколько режиссеров, чьи постановки автор одобрял, среди них — Роже Блен, Пьер Шабер... А я, видимо, просто последний из них».

В. Асмус рассказывает о Беккете, не знакомом широкой публике, о его живом интересе к политике и к ... телевидению! «Он прекрасно разбирается во всех тонкостях телесъемок, вплоть до звуковых и световых эффектов, и дает мне прекрасные советы». В таком случае можно считать большой удачей, что С. Беккет в течение нескольких месяцев присутствовал на съемках своих пьес, заключает Н. Руссо.

ПАМЯТИ ЖАНА ЖЕНЕ

В связи с трехлетием со дня смерти Жана Жене (1986) в рамках Парижского фестиваля усилиями его организаторов, а также Фонда Жене при Библиотеке современной французской литературы был проведен первый международный коллоквиум, посвященный памяти видного драматурга, писателя и поэта. Как сообщает журнал «Кензен литтерер», в коллоквиуме приняли участие люди, хорошо знавшие Ж. Жене, исследователи его творчества, писатели и театроведы: Бернар Дор, Хуан Гойтисоло, Эдмунд Уайт, Франко Куадри, Дарио Беллецца. Помимо кино- и видеофильмов была показана первая постановка пьесы Жана Жене «Она», осуществленная под руководством режиссера Брюно Байена.

Этой пьесой, созданной еще в 1955 году, но увидевшей свет только сейчас, издательство «Арбалет» начинает серию посмертных публикаций Ж. Жене: «Каторга», «Фея», «Безумцы». «Все эти произведения выходят лишь после смерти автора согласно его желанию»,— поясняет на страницах «Магазин литтерер» Марк Барбеза — постоянный издатель Жана Жене, «открывший» его еще в середине 40-х годов и поддержавший вместе с Жаном Кокто его литературную деятельность.

Герой пьесы «Она» — папа римский (титул папы — Его Святейшество — по-французски женского рода). Изображение главного действующего лица и всего происходящего носит гротесковый характер, доходящий порой до буффонады. Так, впервые римский понтифик появляется на сцене на роликовых коньках. Не случайно газета «Монд» называет пьесу «метафизическим фарсом», подчеркивая условность действия. Газета «Фигаро» отмечает двойственность фигуры главного героя, сочетание помпезности и юмора, лиричности и гротеска, трагичности и веселого богохульства».

Оценивая пьесу, «Кензен литтерер» пишет: «В ней Ж. Жене поднялся на более высокий уровень метафоричности. Единой метафорой воспринимается вся пьеса». Журнал «Магазин литтерер» выделяет использование «удивительного, неожиданного, остроумного языка, начиная с названия пьесы и далее, до самого конца». В самом деле, обилие каламбуров, двусмысленностей, ироничных реплик делает пьесу занимательной, интересной и для читателей, и для зрителей. «Произведения Жана Жене — одного из самых оригинальных писателей — обладают любопытной особенностью: они как бы ускользают от читателя в тот самый момент, когда кажутся полностью понятыми»,— резюмирует английский еженедельник «Таймс литерари сапплмент».

ФРГ

«ОБЛОМОВ» ФРАНЦА КСАВЕРА КРЁЦА

Что может сказать роман Гончарова «Обломов», повествующий о русских проблемах середины прошлого века, жителям сегодняшней Федеративной Республики, с ее напряженными темпами трудовой деятельности, конкурентной борьбой и заботой о том, как бы не отстать в общей гонке?

Задать этот вопрос побудила рецензента газеты «Франкфуртер альгемайне» Ренату Шостак новая сценическая версия знаменитого романа, которую предложил известный баварский драматург Франц Ксавер Крёц, осуществивший ее постановку в одном из мюнхенских театров.

Его Обломов предпочитает деятельности бездействие не из-за природной лени и не из-за каких-либо социально-политических причин, а потому, что опасается ее непредсказуемых последствий. Он остается лежать в постели из-за обостренного чувства ответственности — чтобы не причинить никому вреда. Человек действия, считает он, фатально причиняет страдания другим, будь то женщина, которая его любит, или крестьяне, от которых он требует работы. Когда не знаешь наверняка, обернутся ли твои усилия добром, лучше от действий вообще воздержаться.

Подобные идеи, замечает Рената Шостак, развивает в своей книге «Принцип ответственности» современный немецкий философ Ханс Йонас. Неизвестно, читал ли Йонаса Франц Ксавер Крёц, но роман Гончарова он прочел очень тщательно, заимствовав из него сюжет, характеры, логику доказательств.

Правда, порой он откровенно модернизирует первоисточник, отходя от него довольно далеко ради своих злободневных целей.

Обломов выглядит в пьесе типичным героем Крёца — это «добрый человек, оказавшийся в тисках обстоятельств». Артист Вольфганг Райнбахер играет его «с нежной печалью, природным достоинством и робким простодушием».

Антипод Обломова Штольц в исполнении Херберта Ро́ма — грубый, типично немецкий деятель холодного «бухгалтерского» склада. Его голос порой заставляет вспомнить то ли учителя Гнуса из знаменитого романа Генриха Манна, то ли самого доктора Геббельса. Для этого «представителя прогресса» даже любовь означает «труд, воспитание, порядок». Его жизненная философия вмещается в слова: «Я работаю, следовательно, я существую». Впрочем, на сцене Штольц не работает, он разглагольствует.

Еще менее симпатичной выглядит в трактовке Крёца Ольга, роль которой в спектакле исполняет Оливия Григолли: она «холодна, истерична, кокетлива».

Порой, замечает рецензент, «материал первоисточника сопротивляется такой инсценировке», и тогда она приобретает откровенно «опереточные» черты. Но в целом верность духу романа сохранена, поэтому поклон «папаше Гончарову», которым заканчивается спектакль, кажется вполне оправданным.

В мюнхенском театре «Каммершпиле» состоялась премьера спектакля по пьесе известного западногерманского писателя и драматурга Бото Штрауса. В комедии с многозначительным названием «Гости» речь идет о двух актерах, репетирующих на сцене театра пьесу, которая будто через увеличительное стекло показывает сложившиеся между ними отношения. Пожилой актер играет известного биолога, ему вот-вот должны присудить Нобелевскую премию, молодой — эмигранта из ГДР, «разъеденного алкоголем и честолюбием», «личность, рано потерпевшую крушение». «Как это бывает в театре и в жизни, оба эгоисты, оба честолюбивы». Один актер неустанно проповедует реализм, другой хочет совершить революцию на сцене, «все равно какую».

По мнению корреспондента журнала «Шпигель» Хельмута Карасека, перед зрителем предстает в высшей степени «забавная битва» характеров, где сам «театр иронизирует над своим пафосом, выдает свои тайны».

Сцена из спектакля «Гости».

(Журнал «Шпигель»)

Авторы этого номера

ДЖОН ФАУЛЗ (JOHN FOWLES; род. в 1926 г.) — английский писатель. Окончил Оксфордский университет. Автор романов «Коллекционер» («The Collector», 1963), «Маг» («The Magus», 1966), «Женщина французского лейтенанта» («The French Lieutenant's Woman», 1969; рус. пер. 1985), «Причуда» («A Maggot», 1985), повестей «Башня из черного дерева» («The Ebony Tower», 1974; рус. пер. напечатан в «ИЛ», 1979, № 3), «Мантисса» («Mantissa», 1982), сборника афоризмов, посвященных проблемам искусства и философии «Аристос: автопортрет в идеях» («The Aristos. A Self-Portrait in Idea», 1965) и др. произведений.
Роман «Дэниэл Мартин» издан в Англии в 1977 г. («Daniel Martin». London, Jonathan Cape, 1977). Печатается с сокращениями.

ИРЕНЕУШ ИРЕДЫНЬСКИЙ (IRENEUSZ IREDYŃSKI; 1939—1985) — польский драматург и прозаик. Дебютировал сборником стихов «Всё рядом» («Wszystko jest obok») в 1959 году. Автор повестей «День обманщика» («Dzień oszusta», 1962), «Человек эпохи» («Człowiek epoki», 1971), «Манипуляция» («Manipulacja», 1975), сборника рассказов «Эмоциональные связи» («Związki uczuciowe», 1970), многих пьес, в том числе «Последний отрезок дороги» («Ostatni odcinek drogi». 1962), «Нисхождение в ад» («Zejście do piekła», 1964), «Прощай, Иуда» («Żegnaj, Judaszu», 1971), «Мария» («Maria», 1975), «Наркоманы» («Narkomani», 1976). Пьеса «Террористы» была напечатана в польском журнале «Диалог» в 1982 г. («Terroryści». Warszawa, Dialog, 1982, № 5).

ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ (род. в 1939 г.) — советский литературный критик, доктор филологических наук. Автор книг «Джек Лондон» (1975), «Модернизм в литературе США» (1979), «Американский роман 20—30-х годов» (1982), «Грустный мир Сарояна» (1982), «Мир Марка Твена» (1985) и многих статей, публиковавшихся в периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

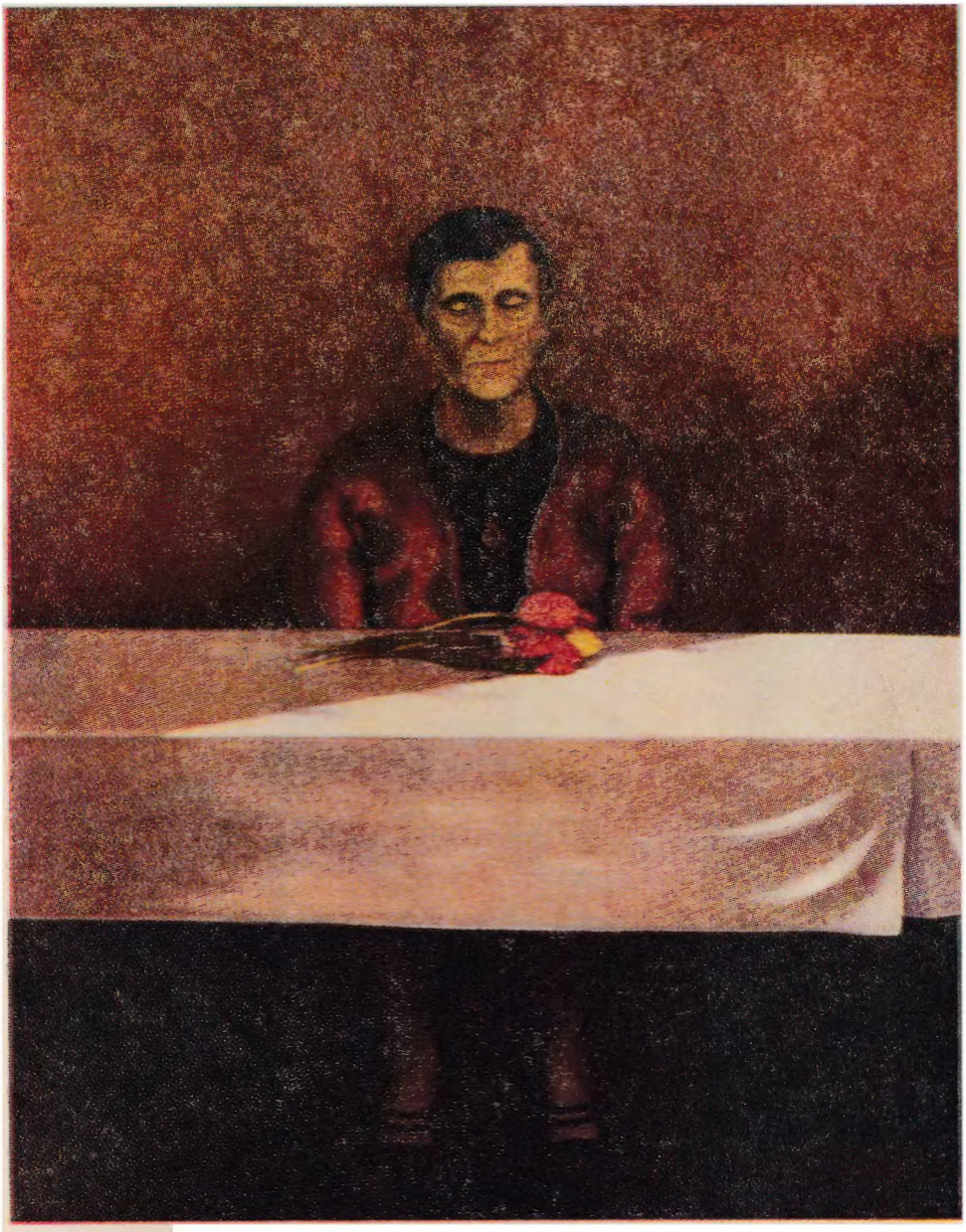
Переводчики

ЗДОРОВОВ ЮРИЙ АРСЕНЬЕВИЧ (род. в 1943 г.) — советский литературовед, переводчик. В его переводах с английского изданы повесть У. Голдинга «Чрезвычайный посол», роман Р. Ная «Странствие «Судьбы», рассказы и повести У. Коллинза, Д. Хеммета, Р. Карвера и др.

БАСМАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (род. в 1918 г.) — советский поэт и переводчик. В его переводах с китайского изданы книги: Синь Цицзи «Стихи» (1962), Ли Цинчжао «Строфы из граненой яшмы» (1970), «Цветет мэйхуа. Классическая поэзия Китая в жанре цы» (1979), «Строки любви и печали (поэтессы Китая X—XIX вв.)», 1986, «Голос яшмовой флейты (классическая поэзия Китая)», 1988. Переводы М. Басманова и его статьи неоднократно печатались в антологиях китайской поэзии, на страницах «Иностранной литературы» и других изданий.

КЛИМОВСКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ (род. в 1931 г.) — советский режиссер, переводчик польской драматургии и прозы. Переводил произведения С. Мрожека, Ю. Тувима, Т. Боровского, С. Виткевича.

◆



Награжденная.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130—6545 Иностранная литература № 10, 1989, 1—256